Эм. Казакевич

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1988



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ТРЕТИЙ

СИНЯЯ ТЕТРАДЬ
ПОВЕСТЬ

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ

ИЗ ДНЕВНИКОВ И ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1988

ББК 84Р7
К14

Составление и подготовка текста
Г. О. КАЗАКЕВИЧ

Комментарий
Л. А. ГЛАДКОВСКОЙ

Оформление художника
А. ЛЕПЯТСКОГО



ПОВЕСТЬ

К $\frac{4702010200-234}{028(01)-88}$ подписное

ISBN 5-280-00421-9 (Т. 3)
ISBN 5-280-00420-0

1

Светлое северное небо слабо озаряла туманная луна. Две лодки плыли по озеру.

Ленин сидел на корме первой лодки и все время, напрягая зрение, вглядывался в белесый сумрак далекого берега. Он размышлял о том, что если там, на заозерном сенокосе, будет спокойно и безопасно, он сможет выписать туда синюю тетрадь с заметками и закончит давно наболевшую и чрезвычайно важную брошюру.

Он вглядывался в туманную даль настороженно и пристально, потом подумал, что это вглядывание ни к чему и что можно, в сущности, закрыть глаза. Такая мысль не приходила ему в голову раньше. Закрыв глаза, он теперь только услышал скрип уключин, бормотание и всхлипы воды, теперь только почувствовал себя сидящим в лодке под необъятным небом, на котором лунный лик в дымке легкого тумана неторопливо отплывает все влево, все влево.

Его обволокло ощущение глубокого покоя, впервые за долгое время. Было похоже на то, как если бы он много месяцев подряд бежал, бежал быстро, то в гору, задыхаясь, то под гору, еле сдерживая бег; мимо проносились дома, улицы, города, страны, людские толпы; бесконечное множество слов, выкрикиваемых на разные голоса и произносимых жарким шепотом — слова русские и иностранные, ученые и простецкие, жесткие и мягкие, дорогие и ненавистные,— напирали, сталкивались, били в него, как струи ветра в бегущего. И вот он сразу остановился. И оказался в маленькой лодке, плывущей под светлым небом по темной воде. Оборвалось завихрение слов, мелькание лиц, замерли в мозгу молоточки-головоломки почти неразрешимых

проблем. Уключины тихо поскрипывали, вода безмятежно бормотала.

Между тем берег приближался. Не было бы ничего сверхъестественного, если бы у самого берега лодку встретил винтовочный залп. Стоило одному из десятка людей, знавших местопребывание Ленина, проговориться или нарушить правила конспирации, и здесь могла очутиться засада юнкеров и казаков. За каждым деревом на берегу мог прятаться юнкер или казак. Ленину вспомнилось виденное им в прошлое воскресенье у Таврического дворца лицо одного казака — тупое и безглазое, такое же красное, как и лампасы на его штанах. И Ленин представил себе, что именно этот бравый казак и может стоять за одним из деревьев на берегу — с узкими глазами, не способными ничего видеть, способными только прицеливаться.

Ленин не чувствовал никакого страха и подумал о том, что, в сущности, мало дорожит жизнью Ульянова. Этот Ульянов, родившийся сорок семь лет назад в городе Симбирске, прочитавший горы книг и исписавший горы бумаги, очень устал, страдает бессонницей и головными болями. Быстрая и безболезненная смерть не пугала его, человека ох как твердо знающего с отроческих лет, что он смертная частица неумирающей природы! Но жизнь Ленина, вождя самой революционной партии в России, следовало сохранить обязательно.

Видно, жизнь его была нужна революции, если его смерть так понадобилась врагам ее. Разумеется, долгие годы готовя революцию, он готовил и себя к ней. Право же, он даже ходил помногу в городах и горах Европы, плавал подолгу в ее реках и озерах, бегал на коньках и ездил на велосипеде — ради революции: чтобы не сломаться физически, когда она грянет, чтобы выдержать ее напряжение, когда настанет час действий. Однако о значении собственной личности он задумывался редко и только недавно, три месяца назад, вернувшись в Питер после десяти лет эмиграции, впервые полностью осознал свою роль в событиях.

С юмористическим удивлением, как о чем-то доисторически давнем, вспоминал он переезд через финскую землю — последний этап своего нашумевшего на весь мир дерзновенного возвращения в Россию. Они с женой были тогда озабочены проблемой: каким образом, если поезд придет в Петроград ночью, смогут

они добраться на Широкую улицу, к Анне Ильиничне,— найдется ли извозчик поздно вечером на Финляндском вокзале, тем более в пасхальный день. Когда же он увидел на перроне почетный караул военных моряков и толпу встречающих, массу людей на Привокзальной площади, броневики у выхода из царского подъезда вокзала и военные прожекторы, осветившие красные флаги и надписи «Привет Ленину», он ощутил всем сердцем, как слабо чувствовал за рубежом размах революции и как много сделано в эмиграции, в повседневной, лишенной внешних эффектов, изнурительной работе, иногда казавшейся ничтожной по результатам, комариными укусами на огромном теле царского исполина. Как живое воплощение этой негромкой и будничной работы промелькнул в рядах встречающих питерский рабочий Чугурин, воспитанник партийной школы в Лонжюмо, близ Парижа. Лицо Чугурина было мокро от слез.

Поднявшись на броневик, Ленин увидел море кепок и картузов и немножко устыдился своего черного заграничного котелка, такого несуразного на броневике, среди толп восставших рабочих. Он снял котелок как вещь, которая уже никогда не понадобится, спрятал его за спину, потом положил на сиденье рядом с шофером — солдатом броневого дивизиона. Когда броневик тронулся по улицам Петрограда, сопровождаемый тысячной толпой, Ленин вспомнил о своих тревогах насчет извозчика и подумал не без некоторой грусти, что, вероятно, никогда больше не будет ездить на извозчике, никогда больше не будет «частным лицом», что наступила пора либо возглавить революционную Россию, либо умереть. Эта мысль, несмотря на все возбуждение и восторги тех дней, иногда мелькала у него в голове.

Тогда же он вспомнил глубокомысленное иносказание «Одиссеи»: полжизни стремясь к родной Итаке, Одиссей не узнал ее, когда очутился на ее берегу. Он, Ленин, сразу узнал свою Итаку, но не сразу понял, что он — ее Одиссей.

В те дни он это понял. Он понял, что является человеком, который способен чрезвычайно тонко чувствовать пульс революции, ее приливы, отливы, подспудные течения. Никогда еще не был он так проницателен, не видел так ясно внутренние пружины, двигающие людьми, группами людей, собраниями и учреждениями, с такой легкостью не отличал важное от второстепенного.

Он тогда с особо пристальным вниманием наблюдал своих партийных товарищей и, отдав должное их опыту, революционному пылу и разнообразным талантам — ораторским, литературным и организационным,— пришел к выводу, что некоторые из них могли бы заменить его, если бы его не было. Но поскольку он был, никто из них не мог его заменить. Русская революция не зависит от одного человека, но она, по-видимому, выдвинула именно его, чтобы он выразил ее наиболее ясно и последовательно.

Ленин неподвижно сидел в лодке, закрыв глаза. Отдаваясь ощущению покоя, он, конечно, сознавал, что покой этот мнимый, что вот сейчас, сию минуту, все проблемы дня опять встанут перед ним во весь свой гигантский рост. Еще мгновение — и снова с неотвратимостью кровообращения прихлынут к сердцу переживания и тревоги последних дней, глухое беспокойство за Надежду Константиновну, сестер, партийных товарищей, сдержанная, но тем более сильная нежность к ним — людям его партии, жизнерадостным и аскетическим, пылким и суровым, преданным общему делу до последнего дыхания; снова ранит его острое как бритва чувство ответственности за жизнь и душу рабочих, матросов, солдат, чьи лица сейчас опять замелькают перед его умственным взором. Он мягко сопротивлялся возврату трудных мыслей и сложных политических расчетов, ему надо было отдохнуть от них, и он отдыхал сколько мог. И когда уже нельзя было от них уйти, он открыл глаза, чтобы встретить их возвращение, как пловец встречает грудью волну.

Открыв глаза, Ленин увидел совсем близко неподвижные кусты. Стена низкорослого леса стояла у самой воды. О борта лодки начали царапаться камыши. Лодка ткнулась носом в берег.

2

Емельянов сложил весла, мгновение посидел, прислушиваясь, потом встал, вышагнул на берег и вытянул за собой лодку. Коля соскочил. Рядом пристала вторая

лодка. Там зашептались, засуетились. Недалеко человеческим голосом закричала выпь.

Ленин нащупал у своих ног баул с бумагами, взял его под мышку и сошел на берег. Подошли четверо из другой лодки. Емельянов окинул хозяйским взглядом людей, лодки, озеро и кивнул Ленину:

— Двинулись.

Он пошел вперед, Ленин за ним. Зиновьев и сыновья Емельянова — Коля, Александр, Кондратий и Сергей — пристроились сзади друг за дружкой. Вначале ноги ощущали влажную, чуть посапывающую под тяжестью шагов низину, затем почва стала тверже. Пахло болотом и луговыми травами.

Емельянову была знакома эта тропинка. Он досконально изучил местность перед тем, как везти сюда Ленина, однажды даже приезжал сюда ночью. Поэтому он шел уверенно, немножко вразвалку, довольный тем, что все так точно продумал, и желая, чтобы Ленин это заметил. Мешок с вещами легонько оттягивал его правое плечо. Уверенный в безлюдье этих мест, он все-таки огорчался тем, что Ленин запретил ему брать с собой какое бы то ни было оружие. У него были припасены три винтовки. Хорошо смазанные, с несколькими десятками снаряженных обойм, они лежали в одном потайном месте. Но Ленин и слышать об этом не хотел. Он только засмеялся, махнул рукой и сказал:

— Очередь для винтовок наступит позднее, берегите их. Вы говорите, они смазаны? Это хорошо. Они будут нужны. Не три штуки, а три миллиона; на меньшее я не согласен. А три нас не спасут. В случае осложнений они нас только сделают смешными. Смешными людьми или смешными трупами. Сегодня мы с вами политики, а не бойцы.

Емельянов был старым партийным боевиком, через его руки в 1905 году и позднее прошло немало винтовок. Он считал, что оружие никогда не может оказаться излишним. С наганом в кармане или с винтовкой за спиной он чувствовал бы себя увереннее. Но он, поворчав, смирился.

Несмотря на то что Ленин несколько дней жил у него в сарайчике на чердаке, спал там на соломе и ел вместе со всей семьей картофельный суп, селедку и пшенную кашу с молоком, охотно беседовал с детьми и Надеждой Кондратьевной и частенько помогал ей мыть

посуду — одним словом, жил общей с ними жизнью, Емельянов и теперь с трудом представлял себе, что ровное дыхание человека над самым его ухом — дыхание Ленина. О Ленине говорила вся Россия. Нельзя было проехать в пригородном поезде, не услышав это имя, еще три месяца назад известное не слишком широкому кругу — большевикам-партийцам, самым передовым рабочим и, конечно, активным деятелям враждебных большевизму партий. С его приездом в Питер в разноголосом хоре взбудораженной России зазвучал новый голос поразительной силы и звонкости, все нарастающий и нарастающий, так что он вскоре стал заглушать все другие голоса. Это было похоже на могучий призывный клич трубы среди верещания свистулек, визга губных гармоник и теньканья балалаек. Не то чтобы рабочие, а тем более рабочие-большевики, не понимали до апреля своих классовых интересов. Но их захлестнуло ощущение непривычной свободы, их время занимала охота за переодетыми в штатское жандармами и шпиками, митинговщина, бесконечные выборы и депутации. Рабочие Сестрорецкого оружейного завода, где служил Емельянов, собственной властью уволили начальника завода генерал-майора Гибера и его помощника генерал-майора Дмитревского; Главное артиллерийское управление скрепя сердце утвердило решение рабочих. Все были страшно довольны этим, ходили веселые и гордые. Еще 21 марта рабочие на общем собрании, после доклада представителя питерских большевиков, постановили, что «все меры Временного правительства, уничтожающие остатки старого строя, укрепляющие и расширяющие завоевания народа, должны встречать поддержку рабочего класса». Две недели спустя такая резолюция была бы уже невозможна.

Многие большевики, в том числе сам Емельянов, и до приезда Ленина выражали примерно те же мысли, что Ленин, но это были только разговоры, они не имели обоснования, в них отсутствовали твердое знание и убежденность. Хотелось всех поздравлять, всем верить, — по крайней мере всем, кто носил на груди красный бант. Пока не раздался тот призывный клич трубы.

Луна пропала за тучей. Емельянов слышал за собой легкие шаги Ленина. И душа Емельянова преисполнилась восторга и веселого злорадства оттого, что он

спрячет Ленина в этой чащобе от всех врагов — Керенского и Половцева, Рибо и Ллойд-Джорджа, от всех двенадцати казачьих войск, от всех чуек и поддевок всех губерний России, от разведок всех стран Антанты. Так он шел и радовался и немножко удивлялся тому, что этот «трубный глас» во плоти идет вслед за ним в рыжем пальтишке с плеча Сергея Аллилуева, в потертом емельяновском картузе, с баулом под мышкой.

Среди деревьев показался светлый прогал.

— Здесь,— сказал Емельянов.

Ленин остановился, осмотрелся, увидел стожок сена с приткнувшимся к нему сбоку шалашом, положил баул на траву, сделал несколько шагов в темноту, пропал в ней и, вынырнув снова, сказал, потирая руки, словно собирался приняться за косьбу:

— Косы, грабли есть?

— Есть,— ответил Емельянов.— Утром сами посмо́трите.

— Надо, чтобы все было, как у настоящих косарей.

— А как же! Обязательно. Костер развести?

— А не опасно?

— Нет. Тут кругом ни души.

Ленин сказал после краткого раздумья:

— А все-таки не надо сегодня. Поспим без костра. Завтра оглядимся и начнем правильную жизнь.

Старшие мальчики — Александр, Кондратий и Сергей — пошли осматривать окрестности. Младший — тринадцатилетний Коля — остался: он любил быть среди взрослых. Зиновьев сел на траву и начал разуваться: левую ногу терла неумело намотанная портянка.

Ленин подошел к шалашу, заглянул в него, потом влез и крикнул оттуда:

— Чудесно! Замечательное жилье! Тепло, мягко и хорошо пахнет.— Он развалился на сене, негромко смеясь, потом сказал: — Конечно, хорошо бы тут иметь спрятанный в сене беспроволочный телефон для связи с Питером... Надежда на вас, Николай Александрович. Смотрите, газеты доставляйте аккуратно...

— Все будет сделано,— отозвался Емельянов, гремя в темноте котелками и чугунками.— Так. Все на месте. Ну, ребята, пошли. Запоминайте дорогу, чтоб в случае чего могли сюда попасть в любое время. Провожу вас к лодке. Завтра утром, Сашка, твой черед привозить газеты.

Ленин сказал из шалаша:

— Вы там на берегу поговорите погромче, а мы послушаем. Проверим, как слышно с берега. Коля, залезай сюда.

Коля залез в шалаш и уселся рядом с Лениным. Емельянов со старшими сыновьями ушел. Шуршание их шагов по траве вскоре затихло. Ленин обнял мальчика за плечи и сказал:

— Слушай.

Прошло минут пятнадцать. Ничего не было слышно. Ни голосов, ни плеска весел. Ленин удовлетворенно кивнул головой и спросил:

— Будем спать, Григорий?

— Неужели вы сможете заснуть, Владимир Ильич?

— Вне всякого сомнения,— ответил Ленин уверенно, хотя точно знал, что не заснет.

— Я не смогу.

— Напрасно. Мы теперь вроде затравленных зверей. Надо засыпать быстро, спать чутко... Что у вас там с ногой?

Зиновьев жалобно ответил своим тонким голосом:

— Да все эта тряпка... Завернулась... Натерла.

— Относитесь к неприятностям по-философски. Ночь под старой луной располагает к философствованию. Эта луна уже все видела... Наверно, и скрывающихся от полиции интеллигентов, не умеющих завертывать портянки.

— Вы все шутите...

Послышались шаги.

— Это я,— сказал Емельянов из темноты.

Ленин и Коля вылезли и сели у входа в шалаш. Емельянов уселся возле них. Ленин спросил:

— Вы разговаривали?

— Да.

— И громко?

— Да.

— О чем же вы говорили?

— Хе-хе... Я сказал: «Чухонцы уже спят, наверно. Завтра с утра начнут работать. Как будто люди неплохие, опытные косцы...» Саша ответил: «Только жалко: по-нашему не понимают...» И еще в этом роде.

— Молодцы. Конспираторы. Значит, на берегу нас не слышно. Это хорошо.

Зиновьев влез с одеялами в шалаш и начал там устраивать постель.

— Папа, а костер утром будем разжигать? — спросил Коля.

— Будем, будем,— ответил Емельянов.

— Я разожгу.

— Ладно. Пока залезай, спи. Уже поздно.

— Можно, я еще немножко посижу?

— Тебе бы все сидеть...

Зиновьев в шалаше повертелся и затих.

— Тут один недостаток,— негромко сказал Ленин.

— Комары? — Емельянов виновато развел руками.— Да, комарья много, особенно ночью.

— Нет, не то. Нельзя работать по ночам, вот что худо.

— Может, оно и лучше,— заметил Емельянов.— Отдохнете.

— Хорошо курильщикам,— сказал Ленин после короткого молчания.— В такую вот ночь без света сидят и курят трубочку... И безделье, в сущности, и все-таки какое-то занятие.

— А вы давно не курите?

— Никогда не курил. Времени не было, и потом — лишний расход. Жили более чем скромно, каждую копейку приходилось рассчитывать. Помимо того — отвлекает. Страстишка хоть и небольшая, а все же страстишка. Привыкнешь — замучаешься без табака, не сможешь работать. А в нашем ссыльном да эмигрантском бытии остаться без табака было весьма нетрудно. Так и прожил скучную жизнь: не курил, не пил вина, за барышнями почти не ухаживал...— Он рассмеялся.— Но интересную все-таки жизнь, как вы думаете? А теперь так уж совсем как в авантюрном романе! Шалаш в глуши за озером... Страшные заговорщики под личиной финнов-косарей... Григорий, вы спите? Спит. Устал. Ему отдохнуть надо всерьез, он совсем измотался.

3

Но Зиновьев не спал. Его поташнивало, голова легонько кружилась. Он только что в лодке испытал странное чувство. Передняя лодка, на которой находился Ленин, была еле видна, а за ней простирался

белесый мрак. И Зиновьеву вдруг померещилось, что передняя лодка приближается к отвесной бездне, а он на второй лодке, как привязанный, безвольно следует за Лениным. Ему захотелось крикнуть: «Стойте! Не надо! Остановитесь!»

После разгрома июльской демонстрации, анализируя события, приведшие к июлю, Зиновьев переживал целую гамму сомнений и опасений. Сегодня, в эту теплую сырую ночь на туманном гниловатом озере, эти сомнения с особой силой одолевали его. «Верно ли мы плывем? Не сгинем ли в этом тумане? Нет ли в отваге и непримиримости Ильича элемента сектантства или, что еще опасней, жертвенности, обреченности?» Ленин занимает слишком крайнюю позицию, все хочет довести до конца, недостаточно расчетлив, не способен на разумные компромиссы, не учитывает колебаний масс. В конце концов, размышлял Зиновьев, поеживаясь от сырости, ведь они-то всего-навсего кучка интеллигентов, а кругом простирается бескрайняя Россия, полная жадных хуторян и корыстолюбивых лавочников, пьяных мастеровых и юродивых богомольцев, Иванов Ивановичей и Иванов Никифоровичей, чудотворных икон и животворящих крестов. Ведь эта Россия никуда не делась, она существует, хотя и в полуобморочном состоянии. Массы же необразованны, анархичны, как они доказали третьего и четвертого июля, на них трудно полагаться. Получив видимость свободы, они готовы все ломать и кромсать, как бурсаки у Помяловского. Неудача приводит их в уныние. Представители некоторых восставших полков пришли к Керенскому с повинной. Иные корабли Балтийского флота осудили большевиков как агентов Вильгельма. Кронштадт выдал «зачинщиков». Арестованы Каменев, Коллонтай, Раскольников, Рошаль, Сиверс и многие другие. «Правда» и «Солдатская правда» разгромлены.

А Ленин сидит теперь возле шалаша и разговаривает так, словно приехал сюда на дачу. Он осведомляется у Емельянова, может ли рабочая семья прожить с огорода, сколько стоят овощи на рынке и, наконец, какой породы рыба водится в Сестрорецком Разливе, и говорит при этом, что «уха без ерша или хотя бы окуня — пустое дело».

Вчера Зиновьев, читая свежие газеты, с горечью сказал Ленину:

— Как быстро массы склоняются перед силой!

Не обернувшись к нему, Ленин быстро ответил:

— Это пока они сами не стали силой! — Сказав это, он обернулся, заглянул в газету, которую Зиновьев читал, пробежал ее глазами и продолжал: — Массы — народ практический, они не станут понапрасну лезть в петлю. Они не одиночки-интеллигенты. Эффектный жест и громкая фраза не по их части. Жест и фразу они уступают разным Керенским и Авксентьевым, кончившим классические гимназии и прочитавшим старика Плутарха, который не одного гимназиста уже свел с ума... Массы поймут, что провалились потому, что действовали неорганизованно. Они это учтут в следующий раз.

Зиновьев слабо улыбнулся: говорить о «следующем разе» при нынешних обстоятельствах — значило предаваться самообольщению.

Зиновьев понимал, что следовало сказать Ленину ясно и недвусмысленно о своей точке зрения. Но он молчал. Он боялся. Его мысли, выраженные вслух, были бы восприняты как проявление слабости и нерешительности — качеств, презираемых Лениным и всей партией больше всего на свете. Ведь Зиновьев, повторяя настойчиво и добросовестно, с истовостью почти молитвенной, ленинские формулировки, слыл среди товарищей последовательным и стойким; расхождения, бывавшие у него с Лениным, никогда не доходили до конфликта. Если он теперь, в сложнейший момент, проявит слабость и нерешительность, то ему тут нечего делать с Лениным, нечего скрываться, нечего числиться ближайшим сподвижником, нечего поедать емельяновский ржаной хлеб и пшенную кашу. Тогда он нуль. Разве мог он на это согласиться? Он не мог.

Он питал к Ленину любовь почти женскую, полную ревности, безотчетную и расчетливую в одно и то же время, — любовь, которую Ленин умел внушать, сам о том не подозревая, всегда относя привязанность к себе только за счет привязанности к своим партийным воззрениям.

Бодрость Ленина вызывала в Зиновьеве одновременно и зависть и раздражение. Но в последние два дня перед переездом сюда, на заозерный сенокос, эти два противоречивых чувства сменились третьим, еще более сложным: Зиновьеву стало казаться, что Ленин только

искусно притворяется бодрым и неунывающим, а в действительности знает, что революция не удалась, что они обречены, что палачи Временного правительства при злорадном молчании современных пилатов — Плехановых, Потресовых и Черновых — казнят неудавшегося русского Робеспьера и его товарищей. Почти с торжеством ловил Зиновьев мгновения, когда Ленин задумывался, становился рассеянным и печальным. Эта рассеянность, этот скорбно-сосредоточенный взгляд вызывали в Зиновьеве приливы острого страха перед будущим и в то же время чувство приятного самоуспокоения: значит, он, Зиновьев, не так уж плох, значит, его безрадостные мысли не являются признаком ничтожества, слабости...

Верно, Ленин сразу опоминался; спохватившись, что молчит и что все кругом тоже молчат, он тотчас же начинал говорить о событиях, размышлять вслух о вероятных поворотах революции, насмехаться над близорукостью эсеро-меньшевистских деятелей, шутить по поводу неудобств подполья и т. д. Но Зиновьев не был склонен принимать его оживление за чистую монету.

Торжественный лунный свет вдруг полился в треугольное отверстие шалаша, стволы деревьев вдали затеплились, как свечи. Это напомнило Зиновьеву виденную им в венском музее картину на евангельский сюжет. В том состоянии духа, в каком он находился сейчас, он не мог не подумать, что Иисус, если он существовал как историческое лицо, тоже, вероятно, перед тем как его схватили, притворялся веселым, смеялся и шутил, а не плакал и сетовал, как это изобразили наивные и чувствительные авторы евангелий.

В этот момент Ленин рассмеялся.

— Вот и луна опять появилась, — сказал он. — И как видите, Николай Александрович, она отплывает все влево, все влево... Ни дать ни взять, как Россия в ближайшем будущем. Гм, гм... Григорий спит. Коля клюет носом. Попытаемся заснуть, а, Коля? Николай Александрович, а знаете, когда мы сделаем революцию, нашу, настоящую, придется вам переменить имя-отчество. Уж очень по-царски звучит!

Послышался смех Емельянова. Потом Емельянов спросил:

— А скоро мы сделаем революцию, Владимир Ильич?

Короткая пауза. Зиновьев ясно представил себе, как задумался Ленин, как сощурил глаза, как лицо его стало сосредоточенно и деловито.

— Скоро. Дело в том, что ни одна из коренных задач революции не решена. Если бы буржуазия могла немедленно прекратить войну, немедленно дать крестьянам землю, немедленно установить восьмичасовой рабочий день и рабочий контроль над производством, немедленно ограничить прибыли капиталистов и военных спекулянтов,—она могла бы предотвратить революцию. Но тогда она не была бы буржуазией! Рябушинский и Бубликов могли бы тогда спокойно вступить в нашу партию... Скоро, теперь уже скоро!.. Тогда и ваши три винтовки пригодятся.

4

Проснувшись утром, Зиновьев не сразу понял, где находится. Он очумело высунул голову из шалаша и слева, среди густых зарослей ивняка, увидел Ленина. Ленин сидел на пеньке перед круглым чурбаком и быстро писал. Нежаркое утреннее солнце освещало его склоненную голову. Вокруг него вились зеленые и желтые стрекозы, и он то и дело отмахивался от них, иногда провожая их рассеянным взглядом и снова опуская глаза к бумаге. Вот на бумагу заползла гусеница, и он так же рассеянно взял ее пальцами, большим и указательным, и, не глядя, кинул в кусты. Он уже и здесь чувствовал себя как дома—завидное свойство, не раз удивлявшее Зиновьева.

Лицо Ленина было, как всегда во время писания, сосредоточенно. Не изменив выражения лица и не глядя на Зиновьева, он сказал:

— Проснулись, Григорий? Вы спите по-городскому, забыли, что вы финн-косарь и что пора приступать к делу, а то не заработаете на зиму ни гроша... А детей куча! Я вот уже полторы статейки написал. Поработал пером, как косой... Умоетесь—почитаете.

Емельянов возился у горящего костра. Котелок и чайник висели над костром на железном стержне. Котелок уже кипел. Коли не было видно, но вот он появился из-за деревьев, предварительно свистнув по-птичьи.

— Все спокойно,—выпалил он.—Лодок не видать.

— Тише, не мешай,—негромко сказал Емельянов, кивая на Ленина.

Коля не мог удержаться, чтобы не сообщить,—правда, понизив голос:

— Ежиху с ежатами видел!

— Как она? Верная ежиха? Не выдаст?—деловито спросил издали Ленин, по-прежнему ни на кого не глядя и продолжая быстро писать. Казалось, он посмотрел на Колю только своим виском, где на мгновение собрались усмешливые морщинки.

— Своя!—воскликнул Коля, улыбнувшись во весь рот.

— Не мешай,—шепнул Емельянов сердито. Он подошел к Зиновьеву с ведром.—Умоетесь тут или к озеру сходите?

— Не знаю,—замялся Зиновьев.—Лучше здесь, пожалуй. Ничего, ничего, я сам.

— Солью вам. Так будет удобнее.

Зиновьев достал из чемодана мыло и зубную щетку, а порошка никак не мог найти. Говорили они вполголоса, но Ленин услышал и сказал, не меняя позы:

— Возьмите мой порошок. У изголовья, завернуто в полотенце, там увидите.

Котелок с картошкой вскоре закипел вовсю, Емельянов потыкал вилкой, пробормотал «готово» и шепнул Зиновьеву:

— Позовите его... Или, может, не надо мешать?

— Владимир Ильич, завтрак готов.

— Иду, иду,—быстро сказал Ленин, подняв голову, но пошел не сразу, посидел, подумал, его лицо приняло скорбное выражение, как раз то самое, которое вызывало в Зиновьеве сложное чувство.

Без бороды и усов лицо Ленина очень изменилось, стало суровее и проще: борода и усы обычно скрадывали волевое, твердое очертание губ, теперь же большой, решительный рот обнажился. Только когда Ленин улыбался, он становился прежним: кожа натягивалась на скулах, суживала глаза, собиралась под глазами и на висках в хитрые и добрые морщинки.

Посидев с минуту, он присоединился к остальным у костра. Ел он быстро и молча, только время от времени спрашивая:

— Саши с газетами не слыхать?

— Рано еще,— отвечал Емельянов, при этом неизменно доставая из кармана большие серебряные часы.— Газетные киоски открываются в восемь. Да пока купишь, да вернешься, да на лодке полчаса...

Ленин постарался скрыть свое нетерпение, но это у него не очень получалось. Он то и дело оглядывался на тропинку, ведущую к озеру, постукивал пальцами по колену. Он, без сомнения, не замечал теперь ни окружающих, ни приятного тепла, идущего от костра, и уж, во всяком случае, ел, не имея никакого понятия, что именно он ест.

— Как получим газеты,— сказал он, наконец вставая,— садитесь, Григорий, заканчивать свою статью о третьеиюльских событиях.

— Да, обязательно,— ответил Зиновьев, но тут же развел руками: — Но куда? Газеты закрыты...

— Наши что-нибудь придумают. В Кронштадте напечатаем. Кронштадтцы-то, надеюсь, свой «Голос правды» сохранили? Там люди решительные... И возможности большие...

— Трудно сказать,— пробормотал Зиновьев.— При этих обстоятельствах сохранить газету?.. Более чем сомнительно.— Стараясь скрыть свое уныние, он все-таки заставил себя встать и произнести довольно бодро и даже несколько игриво: — Писать, писать, писать.

— Десять часов,— объявил Емельянов, посмотрев на свою серебряную луковицу.— Саша вот-вот появится.

Ленин и Зиновьев пошли к расчищенному Емельяновым пространству среди зарослей ивняка и расположились там. Они некоторое время молча поработали, каждый за своим пеньком, каждый со своей чернильницей-невыливайкой. Солнце подымалось все выше, стало тепло. Ленин писал быстро. Иногда он вставал и прохаживался взад-вперед, шепча почти вслух слова статьи, затем снова садился. Наконец он поднял глаза на Зиновьева. Тот сидел, задумавшись, его большие глаза навыкате смотрели в пространство. Ленин улыбнулся.

— Не пишется? — спросил он.— В таком случае почитайте.

Он сложил листочки рукописи, перегнулся через чурбак и подал их Зиновьеву.

Это была еще не законченная статья, называвшаяся

«К лозунгам». Зиновьев лег на траву и начал читать. Он лежал и читал и восторгался необычайной энергией, прямотой и глубиной изложения. «Достойно самых лучших работ Маркса,— думал Зиновьев, умиляясь все больше,— Маркса эпохи «Новой Рейнской газеты», того периода, когда он находился в средоточии революции и ему казалось, что революция эта будет победоносной...» Его мягкие, несколько рыхлые черты лица отвердели, но по мере чтения лицо все больше вытягивалось. Он покачал головой, сложил листочки, долго и старательно укладывал их в ровную стопочку.

— Что? Не понравилось? — спросил Ленин, взметнув на него левую бровь.

— Статья замечательная... только...

— Что только?

— Совершенно неожиданная по постановке вопроса. Как? Снять в нынешний момент популярнейший лозунг «Вся власть Советам!»? Ленинский лозунг! Ваш лозунг! — Он встал, недоумевающий, почти испуганный.— Лозунг, вами излюбленный, вами разработанный! И вы так спокойно от него отказываетесь! Непостижимо! Невероятно! И, мне кажется, невыгодно! К этому лозунгу массы привыкли! Да, да, и с этим надо считаться!

Ленин усмехнулся:

— Ах, так! Значит, вы за статью, но против того, что в ней написано?

Зиновьев замахал руками:

— Совсем не то, совсем не то! Я согласен по существу ваших рассуждений, но сомневаюсь в тактической целесообразности. Я похвалил вашу статью...

— Как образцовое, но не имеющее практического значения произведение большевизма?

— Подождите, не прерывайте меня. Может быть, дело в формулировках. Надо их смягчить. У меня такое впечатление, это эсеры и меньшевики из ЦИКа начинают понимать ошибочность своего поведения, опасность для них же самих травли большевиков... Они начинают догадываться, что стоит дать буржуазии палец, и она отхватит всю руку... Есть ли смысл при этих обстоятельствах...

— Ах, вот что! Вы хотите дать возможность мелкобуржуазным деятелям исправить ошибку! Вы все еще никак не можете забыть, что меньшевики и эсеры

считают и именуют себя социалистами? Это детская наивность или просто глупость, это внесение мещанской морали в политику. Нынешние Советы — пособники контрреволюции. Как можно при этих обстоятельствах говорить о какой-то их «ошибке»? Они умыли руки, выдав нас контрреволюции. Они сами скатились в яму контрреволюции. В лучшем случае они похожи на баранов, которые приведены на бойню, поставлены под топор и жалобно мычат. Милюков и тот это знает. Вы напрасно морщитесь. Враги иногда лучше видят и точнее понимают обстановку. У них не грех поучиться. Бульварное «Живое слово» верно писало о теперешних Советах, что они, как пошехонцы, заблудились в трех соснах. Вдруг кто-то сказал: надо позвать казаков. И Советы облегченно вздохнули и позвали казаков... Вот они что, ваши нынешние Советы!

— Мои Советы,— слабо усмехнулся Зиновьев.

— Для меня в итоге июльских событий стало ясно одно: власть должна быть взята революционным пролетариатом самостоятельно. Тогда снова появятся Советы, но не эти, не теперешние, не предавшие революцию, не старые Советы, а обновленные, закаленные, пересозданные опытом борьбы.

— Это все правда. Но стоит ли...

— Стоит ли говорить массам правду? Обязательно стоит. Массы должны знать правду. Нет ничего опаснее обмана.

— В принципе да...

— Раз в принципе, значит — и в частностях, и всегда, и при любой обстановке!

— Ах, Владимир Ильич, зачем вы мне говорите общие места, известные мне не хуже, чем вам! Вы говорите вообще, а я говорю о тактике.

— Превосходно. Наша тактика — говорить массам правду. Правду надо им говорить даже тогда, когда это нам невыгодно; только тогда они будут нам верить. Мы будем непобедимы в том случае — и только в том случае,— если всегда, при всех поворотах истории будем говорить массам правду, не будем выдавать желаемое за сущее, не будем врать из так называемых «тактических соображений»... Ибо тактика от стратегии вовсе не так сильно отгорожена, как это кажется некоторым товарищам... Я раскричался, забыл, что мы в подполье.

— Именно забыли,— усмехнулся Зиновьев не без ехидства.— А мы в подполье! И поэтому мне кажется неверным говорить и писать сейчас о взятии власти революционным пролетариатом самостоятельно, как вы сказали только что. Такая постановка вопроса послужит поощрением для разрозненных выступлений, которые помогли бы контрреволюции, как это и случилось...

— Надеюсь, что последние события научили рабочих не поддаваться на провокацию в невыгодный момент. Неужели вы не видите, что этап мирного развития революции окончился бесповоротно и наступил новый, в котором все будет решаться силой оружия? Не видите? Странно! А я вижу. И я все это напишу, обязательно!

Зиновьев угрюмо помолчал, уселся, снова полистал странички рукописи и сказал своим тонким голосом:

— Подумайте все же о формулировках. Мне кажется, статья написана в раздражении... В абсолютно законном раздражении против Дана и Церетели... Церетели... Но раздражение — плохой советчик.

— Ничуть не худший, чем перепуг!.. Кадетская «Речь» называет нас удалыми ушкуйниками типа Васьки Буслаева. Что ж, на научной основе, вооруженные знанием и пониманием процесса развития общества, ушкуйники не худшая категория россиян. «Смелость, смелость и еще раз смелость» — это сказал уже не Васька Буслаев, а Дантон — величайший революционный тактик в истории человечества.

Голоса спорящих то понижались, то разносились так далеко, что Емельянов даже несколько встревожился. Он выслал Колю дозором к озеру и вправо в лес, а сам, возясь со своим несложным хозяйством, прислушивался к спору. Он всей душой был на стороне Ленина,— он, старый партийный боевик, всегда был на стороне решительных действий.

«Ну и песочит, ну и песочит!» — одобрительно, во весь свой ослепительный рот улыбался Емельянов, слушая Ленина, и при этом, чтобы не обидеть Зиновьева, если тот оглянется, заслонял свою улыбку поглаживанием черных усов. Ленин на этом маленьком лужке казался ему немного похожим на их заводскую динамо-машину, прикованную к стене и подрагивающую от заключенной в ней энергии, как бы желая сорваться с места, и пойти, и пойти!

5

И все-таки Зиновьев, хорошо знавший Ленина, был не совсем неправ в своих догадках насчет его душевного состояния. Действительно, к сердцу Ленина то и дело приливало чувство горечи и одиночества.

Это чувство, не часто посещавшее его душу, широко открытую для общения с людьми, может быть, было следствием многомесячного напряжения, чрезвычайной усталости от выступлений на митингах и собраниях и от постоянного внешнего спокойствия и собранности, стоивших ему немало сил. Его равнодушно-насмешливое отношение к бесчисленным нападкам и клеветам даже удивляло товарищей, но оно было не более как выработанным в течение жизни умением отметать чувствования ради дела. Впрочем, это умение и посейчас давалось с большим трудом.

Как ни странно, но совсем мелкий случай, которому он вначале не придал никакого значения, вывел Ленина из равновесия.

Третьего дня, находясь еще на чердаке емельяновского сарая на станции Разлив, он попросил Емельянова подыскать среди рабочих-большевиков Сестрорецкого завода умного, расторопного парня, способного выполнять несложные, но требующие выдержки и сметки обязанности связного. Из Питера к Ленину приезжал связной ЦК, но не мешало иметь под рукой человека, которого можно в срочных случаях посылать туда.

Емельянов пообещал привести такого человека, и Ленин, подумав, предложил устроить для предполагаемого связного нечто вроде испытания. Емельянову следовало подвести его поближе к сараю или завести вовнутрь и затеять с ним разговор, а Ленин послушает, и затем, если человек окажется подходящим, Ленин спустится и откроется ему.

На следующий день к Емельянову пришел молодой рабочий. Через одну из щелей чердака Ленин следил за обоими, смотрел прищурясь, как они медленно шли по дворику, как остановились возле дачи, как подошли к сараю. Парень, выбранный Емельяновым, Ленину понравился. Это был крепкий русый человек, смирный, улыбчивый, с хорошим правильным лицом; он отно-

сился с какой-то приятной уважительностью к Емельянову и его жене Надежде Кондратьевне, которая в тот момент подошла поздороваться и затем исчезла в садике по своим многочисленным хозяйственным делам.

Емельянов завел парня в сарайчик, и оба они уселись за столик. Ленин же, страшно заинтересованный, прилег на сено и стал слушать.

Емельянов кашлянул, прислушался к чердаку и спросил:

— Ну, Алексей, как дела в заводе?

— Дела! — ответил Алексей.— Дела плохие. Совсем нас прижали. Проходу нет. Хоть беги куда глаза глядят.

— Это почему же?

— Спрашиваешь! Жить не дают. «Германские шпионы, агенты Вильгельма»... Все разладилось.

— Ну, дело естественное,— сказал Емельянов, беспокойно заворочавшись на лавке,— понятно, враги пролетариата...

— Враги!.. Если бы одни враги. Все говорят! Хоть беги куда глаза глядят.

— Заладил: беги, беги... Обыватели болтают чепуху, в ты раскис.

— Или вот про Ленина... Разве одни обыватели толкуют? Старые революционеры и те... Им-то какой расчет? Нехорошо все. Некрасиво.

— Глупый ты, глупый, глупый! Веришь всякой дряни... Ну, ладно, пошли, пошли...

— Не то что верю... А мы с тобой в душе у него не были. Кто его знает? Мы люди рядовые, рабочие. А он за границей всю жизнь прожил. Что ты, возле него был все время? Сам знаешь — Азеф, Малиновский. Им тоже верили. А Малиновский — тот был даже большевиком, членом ЦК... Мне от этих разговоров муторно, я ночами не сплю. А сам-то Ленин? Скрылся? Если бы не скрылся, явился бы на суд, оправдал себя — тогда дело другое. А то скрылся. Пишут, на аэроплане перелетел в Германию.

Емельянов сидел подавленный. Его сердце учащенно билось. Он уже не слышал, что говорит Алексей, он прислушивался к чердаку. За окошком на улице пропел петух и пролаяла собака, и Емельянову хотелось, чтобы собака лаяла, в петух пел громче и дольше,

чтобы ничего не слышно было на чердаке. Он резко встал, опрокинув лавку, и сурово сказал:

— А я думал — ты человек... Эх!.. Ладно, пошли, пошли...

— Ты напрасно обижаешься, Николай Александрович,— зачастил Алексей,— совсем напрасно! Тут душа болит. Делюсь с тобой, как с товарищем.

— Ладно. Пошли.

Алексей помолчал, потом сказал, отвернувшись:

— Болеешь все?

— Да.

Они вышли из сарая. Алексей неловко кивнул головой и ушел. Емельянов постоял минуту, потом медленно вернулся в сарай, постоял и здесь минуту, прислушался. Было очень тихо. Он густо покраснел, обдернул рубашку и стал подниматься по лесенке на чердак. Ленин сидел за столом и писал. Когда голова Емельянова показалась в отверстии чердака, он вскинул на Емельянова глаза, пронзил его довольно долгим проницательным взглядом, потом неожиданно повеселел и сказал:

— Ну, батенька, и выбрали вы связного! Ну и выбрали! Ничего, ничего, не огорчайтесь... Рабочий класс, он ведь, к сожалению — и к счастью, и к счастью! — не состоит из однородной массы.— Он подошел к отверстию чердака, присел на корточки и ласково хлопнул Емельянова по плечу.— Не огорчайтесь.

Емельянов просветлел, вздохнул с облегчением и, помолчав, проговорил виновато:

— Плохо я, оказывается, знаю людей...

Ленин повторил так же ласково, но уже рассеянно:

— Не огорчайтесь.

Однако позднее вечером, работая над статьей «Политическое положение» в прохладной баньке на берегу озерка, примыкавшего ко двору Емельяновых, он призадумался и сам огорчился. Именно потому, что парень-то был в общем хороший, искренний. В нем чувствовалась начитанность, культура, свойственная лучшим питерским рабочим. Правда, Ленину парень не понравился, когда уходил,— не понравилась его круглая, чуть сутулая, жирноватая спина. Но он понимал, что спина тут ни при чем, что неприязнь к спине — просто маленькая компенсация за пережитое во время разговора.

В баньке было чисто, прохладно и сумеречно. Ленину взгрустнулось. Он опустил голову на руки, скрещенные на столе,— поза, ему несвойственная. Он понял, что им овладевает то состояние нервного перенапряжения, которое заставляло его в Швейцарии и под Краковом немедленно бросать работу, уходить в горы, бродить там пешком, изнурять себя физически. Здесь это было невозможно. Он был прикован к этой баньке и к чердаку, и не так к ним, как к событиям в Питере, к столбцам газет различных направлений, орущих, клевещущих, пытающихся сбить с толку рабочий класс и солдатские массы, опорочить в их глазах партию большевиков.

Он поднял голову. Газетные страницы лежали веером на столе, источая яд каждой своей строчкой. Вот кадетская «Речь»: «Партия народной свободы требует, чтобы немедленным арестом Ленина и его сообщников свобода и безопасность России были ограждены от новых посягательств».

«Они не провокаторы, но они хуже, чем провокаторы: они по своей деятельности всегда являлись вольно или невольно агентами Вильгельма II... Народ имеет право требовать от правительства свободной республики исчерпывающего расследования всей деятельности Ленина. К изучению большевизма мы не раз еще вернемся в ближайшем будущем». Это пишет Владимир Бурцев.

«Господа, когда слышишь голоса прошедших через Германию лиц, когда вдумываешься в то, что они проповедуют, то для меня явственно звучит: продолжительное пребывание среди немцев, пропитанность их идеями — вот это что. Тут русского ничего нет». Это речь октябриста Савича.

Речь Милюкова: «Во всех случаях, связанных с именем Ленина, я отвечал только тремя словами: арестовать, арестовать, арестовать!»

«В зале Первого Кадетского Корпуса (Университетская набережная, 15, церковный вход) лекция С. А. Кливанского (Максим), члена Совета Р. и С. Д., «Революционеры или контрреволюционеры?» Критика ленинизма. Вход 30 коп.».

«Кабаре Би-Ба-Бо. Итальянская, 19. Сегодня — съезд к $10^1/_2$ ч. веч. Лекарство от девичьей тоски. Песенка о Ленине. Кусочек пляжа. Песенка о больше-

вике и меньшевике. Сказка о дедке и репке. Человек запломбированный и мн. др. Вход 10 рублей».

«Родные братья-казаки, к вам, свободные сыны привольных степей, дорогая мать-Россия протягивает руки и горько плачет. Найдите среди себя Ермака или Минина, а гражданина Керенского возьмите себе за Пожарского и спасите Россию. Довольно предательств, анархии и ленинского позора, скажите: руки прочь, принесите на ваших шашках мир и получите в награду мировой орден».

Глаза Ленина презрительно сощурились. «Нет худа без добра»,— подумал он, глядя в крошечное окно баньки на серое озерко. Кадеты и Керенский пересолили. Миллионы экземпляров буржуазных газет, на все лады порочащие большевиков, помогают втянуть широчайшие массы в оценку большевизма. А когда они его оценят по достоинству, тогда крышка и кадетам и Керенскому. Эсеры и меньшевики, как и полагается мелким буржуа, мечутся из стороны в сторону. То они выступают в защиту Ленина от клеветы, устами самого Церетели объявляют, что Ленин «ведет идейную, принципиальную пропаганду», образуют следственную комиссию для разбора «дела Ленина», то поддерживают клевету, распускают следственную комиссию, требуют явки Ленина на суд буржуазии.

Обидно только за рабочих, за этого Алексея с его жирноватой спиной, который поддается вражеской агитации, все еще верит в благородство «старых революционеров» из нынешних Советов и в справедливость буржуазного суда. «С его жирноватой спиной». Да будь она неладна, эта спина!

Этот Алексей ненароком упомянул и Малиновского и разбередил свежую рану, еще не зажившую в душе Ленина. Роман Вацлавович Малиновский, кооптированный в 1912 году в члены ЦК партии, лидер фракции большевиков в IV Государственной думе, оказался провокатором, получавшим от охранки пятьсот рублей в месяц — высший провокаторский оклад. Буржуазная печать после Февральской революции злорадно поносила большевиков в связи с делом Малиновского, обвиняла Ленина в «выгораживании» провокатора. Правда заключалась в том, что Ленин действительно не верил в предательство Малиновского до самого последнего времени, когда были опубликованы точные и

неопровержимые доказательства из архива департамента полиции. Не верил, хотя некоторые товарищи предостерегали его, хотя Надежде Константиновне Крупской с ее тонким чутьем на людей Малиновский не нравился, хотя Малиновский вел себя странно, отказался внезапно и самовольно от мандата члена Государственной думы и уехал за границу. Не мог верить, не хотел верить. Почему? Не потому ли, что Малиновский был рабочим, слесарем? Ленин питал к рабочим людям особого рода слабость — не только к рабочему классу в целом, в к каждому сознательному и еще несознательному рабочему в отдельности. Он терпеть не мог тех социалистов, которые, наподобие Плеханова, обожали «пролетариат», клялись «пролетариатом», но не больно жаловали Ваню, Федю, Митю, Ивана Ивановича и Пелагею Петровну, не верили в их разум, не ставили их ни в грош. «Пролетариат» постепенно превратился для таких социалистов в нечто расплывчатое, неопределенное, беспочвенное, стал формулой, сухой, как скелет, пустопорожней, как бог.

Да, Ленин гордился искусными выступлениями рабочего в Думе, его начитанностью, любознательностью, его талантом рассказчика и надеялся, что со временем из этого человека выработается настоящий рабочий вождь, «русский Бебель». Даже узнав, что жена Малиновского совершила попытку самоубийства,— теперь казалось вероятным, что ей стало известно предательство мужа,— и позднее, когда Малиновский появился в Поронине испуганный и развинченный, Ленин не допускал возможности его предательства и относил все за счет надломленной нервной системы и чувства обиды на подозрения, о которых Малиновский знал. Между тем Малиновский, рабочий лидер, наводивший страх на председателя и товарищей председателя Думы, произносивший в Думе с таким пылом речи, написанные для него Лениным, давал, оказывается, эти речи на предварительный просмотр директору департамента полиции Белецкому!

— Так что, уважаемый Алексей,— сказал Ленин вслух,— рабочий рабочему рознь...

Ленин с сокрушением подумал, как, в сущности, легко заслужить бурное одобрение этого Алексея и таких же доверчивых недоумков, как он. Еще не поздно отдаться в руки полиции. Алексей не понимал,

что никакого суда не будет, в лучшем случае Ленина упрячут за решетку, лишат возможности влиять на события, а в худшем — и это почти несомненно — убьют по дороге в тюрьму. (Прекрасный повод для Алексея покаяться в своих заблуждениях и поплакать Емельянову в жилетку!) Пойдя на это, он, Ленин, поддался бы непростительным для пролетарского революционера мелкобуржуазным иллюзиям.

И тем не менее — слаб человек! — хотя все это было ему совершенно ясно, Ленин заметил, что не перестает все время сочинять в голове свою речь перед буржуазным судом. Он, казалось ему, слышит выступления прокуроров и отвечает на них, излагая пятнадцатилетнюю историю большевизма, его идеологию, его цели. Что касается болтовни о шпионаже, то ее глупость и бездоказательность были ясны самим обвинителям. Все обвинение основывалось на показаниях пойманного русской контрразведкой свежеиспеченного немецкого шпиона — прапорщика Ермоленко, который якобы сообщил: завербовавшие его офицеры германского генштаба сказали ему, что, кроме него, в России действуют в качестве агентов Германии Ленин и другие большевики. Поверить в то, что офицеры генштаба германской армии раскроют перед только что завербованным рядовым агентом свою агентуру, могли только совершенно темные люди. Все эти «показания» были инспирированы русской контрразведкой и ее руководителем генералом Деникиным еще в мае и не были обнародованы тогда только за их полной абсурдностью. Лишь в июле, напуганный вооруженной демонстрацией, министр юстиции Переверзев решил при помощи ренегата Алексинского пустить в ход эту убогую клевету, чтобы дискредитировать большевиков в глазах солдат.

Разбить доказательства клеветников в судебном заседании было проще простого. Ленин видел перед собой лица «свидетелей» — пожираемого неутоленным честолюбием Григория Алексинского, скользкого и омерзительного, как все ренегаты; видел засыпанный перхотью пиджачок Бурцева, «революционера-террориста», как он величал себя, хотя никогда никого не убил, человечка с острыми глазками на заросшем грязноватой бородкой лице; видел честолюбца и позера, анархиствующего денди Бориса Савинкова; видел бывшего марксиста Потресова и бывшего большевика

Мешковского; видел всех этих бывших людей, их профессорские бородки и обвислые щеки, слышал их слова, полные ненависти и страха, и отвечал им, ловил их на передергиваниях, лжи, невежестве, ненависти к революции, страхе перед массами, презрении к русскому рабочему классу, неуважении к пролетарской демократии и сладеньком преклонении перед демократией европейской, буржуазной, с ее рабочими певческими союзами и «марксистскими» пивными! Он был готов встретиться с ними в судебном зале и где угодно и высказать им все свое презрение. И, может быть, больше всего мечтал он сойтись лицом к лицу с Плехановым, посмотреть ему в глаза, сцепиться, схватиться с ним теперь, когда сам вырос вместе с революцией. Чудовищное превращение Плеханова-интернационалиста в заурядного российского ура-патриота, Плеханова-революционера — в смятенного обывателя-либерала до сих пор, несмотря на весь опыт прошлых лет, огорчало и удивляло Ленина. История — сложная штука. Возможно, что Вольтер и даже Руссо были бы противниками вдохновленной их идеями Великой французской революции, если бы они дожили до нее. Какое счастье суметь умереть вовремя! Плеханов этого не смог.

Увлекаясь, Ленин в своем одиночестве все сочинял и сочинял свою речь — вернее, свои речи — перед судом. Его глаза начинали задорно посверкивать, губы кривились в усмешку. Презрение его к политическим противникам из лагеря мелкой буржуазии вовсе не было агитационным приемом: он действительно воспринимал их статьи, их речи, их стиль, их повадку, их слюнявые проповеди и громкие клятвы с чувством глубочайшего неуважения. Они даже временами удивляли его своим полным непониманием происходящего. Керенский казался ему попросту невзрослым человеком, шумливым недорослем. Дан и Церетели были злыми, вороватыми мальчишками, Мартов — мальчишкой слабым и несчастным, Чернов — мальчишкой гадким и самовлюбленным. Они все оказались настолько недостойными размаха и значения русской революции, что Ленин, право же, удивлялся своему прежнему серьезному к ним отношению.

Впрочем, они были скроены по образу и подобию российского обывателя, выражали его колеблющуюся

природу, говорили на его половинчатом языке. Их посулы и фразы туманили обывателю голову. Свести на нет их влияние — насущная задача дня. Без этого нельзя было дать бой главным противникам, представителям крупной буржуазии, откровенной и полуоткровенной контрреволюции — Милюкову и Маклакову, Рябушинскому и Терещенко. Эти знали, чего хотели. Это были деловые люди, люди крупного торгового расчета, привыкшие подходить к вопросам политики строго деловым образом, с недоверием к словам, с умением брать быка за рога. Сражение шло именно с ними, после июля именно они осуществляли власть в государстве, и суд, на который Ленина призывал явиться этот Алексей, был их судом.

Следовало во что бы то ни стало показать рабочим вредность иллюзий о нынешних соглашательских Советах и о правосудии Керенских и Переверзевых.

В маленькой прохладной баньке Ленин задумал тогда две статьи, названные впоследствии «К лозунгам» и «О конституционных иллюзиях».

6

Первую из этих статей он уже кончал, сидя у шалаша среди зарослей, когда раздался условленный свист и на лужке появился старший сын Емельянова — семнадцатилетний Саша. Ленин рванулся ему навстречу и взял у него из рук увесистую пачку газет. Не произнеся ни слова, он сел на траву возле потухшего костра рядом с Зиновьевым и Емельяновым и начал перелистывать газеты, время от времени похмыкивая ■ разнообразных интонациях либо многозначительно и быстро произнося: «Так, так», «ага», «так, так». Казалось, он ведет с кем-то молчаливый яростный спор, в его глазах появлялись то презрение, то уныние, то страсть, то удовольствие, то азарт.

— Разговор пошел о восстановлении смертной казни,— сказал он, наконец подняв голову.— Вот телеграмма Корнилова, смахивающая на ультиматум: «Армия обезумевших, темных людей, не ограждаемых властью от систематического развращения и разложения, потерявших чувство человеческого достоинства, бежит. Или это бегство будет прекращено и этот стыд снят революционным правительством, или если оно это сделать не может, то неизбежным ходом истории будут выдвинуты другие люди, которые, сняв бесчестье, вместе ■ тем уничтожат завоевания революции и потому не смогут дать счастья стране...» Вы слышите, Григорий, эти глухие угрозы? Очень интересно! Очень показательно! Дальше хлеще: «Я, генерал Корнилов, вся жизнь которого с первого дня сознательного существования доныне проходит в беззаветном служении родине, заявляю, что отечество гибнет... Необходимо немедленно, в качестве временной меры...» Временной? Боится все-таки сказать всю правду, виляет «беззаветно служащий» родине — «...вызываемой исключительно безвыходностью создавшегося положения, введение смертной казни и введение полевых судов на театре военных действий». Вот это разговор серьезный. Без виляний. Почти без виляний. И тут же — глядите! — уже указ правительства о восстановлении смертной казни за подписями Керенского, Ефремова и Якубовича. Ультиматум принят. С небольшим изменением, очень характерным для краснобая Керенского: введены, видите ли, не полевые суды, ■ военно-революционные. Для пущей красоты, чтоб массы приняли сие мероприятие за революционное. Корнилова поддерживает другой ужасный революционер — Борис Савинков, террорист-беллетрист: «Смертная казнь тем, кто отказывается рисковать своей жизнью за родину, за землю и волю». Фразеология ух какая революционная, ■ внутри труха, ибо нет земли и нет воли! А что тем временем делает ЦИК Советов? Что поделывают наши социалисты? Ага! Так, так! Вот они, «вожди полномочных органов российской демократии». Отчет об объединенном заседании ЦИК Советов Рабочих и Солдатских Депутатов и Исполнительного Комитета Крестьянских Депутатов. Речь Керенского: «Правительство спасет Россию и скует ее единство железом и кровью, если доводов разума, чести и совести окажется недостаточно». Это намек на нас. Аресты, убийства и подлая клевета считаются доводами разума, чести и совести. Ему отвечает сам Николай Семенович Чхеидзе. Он обещает полную поддержку Временному правительству. Так, так, Керенский обнимает Чхеидзе, они целуются. Как они любят целоваться! История России должна запи-

сать на своих скрижалях, что, восстанавливая смертную казнь, мещане любили целоваться. Господин Федор Дан вносит — весьма кстати в связи с восстановлением смертной казни, весьма кстати! — резолюцию с требованием, чтобы я и вы, Григорий, явились на суд. Тот самый Федор Дан, который пятнадцать лет назад повез в своем чемодане с двойными стенками из Мюнхена в Белосток мою книжку «Что делать?», книжку, которой он безмерно восхищался и в которой, кстати, уже тогда ясно провозглашалась наша цель — социалистическая революция. Зигзаги истории!.. А вызванные правительством войска для подавления большевиков продолжают прибывать в Питер. Прибыли сто семьдесят седьмой Изборский полк, Венденский пехотный полк, девятая команда Кольта с пулеметами, третья школа прапорщиков... Четырнадцатый Митавский полк в полном боевом вооружении прошел на Дворцовую площадь, здесь его приветствовал — ха-ха! — не кто иной, как Виктор Чернов, вождь эсеров и министр буржуазного правительства... Дело катится к бонапартистской диктатуре, а социалистические министры служат для нее ширмой. Чрезвычайное собрание офицеров Петроградского гарнизона. Эти неплохо понимают обстановку, получше, чем бывшие марксисты. Капитан Журавлев говорит, что «профессиональной организации, какой является Совет, не по силам заниматься государственными делами». Капитан Милованов предлагает ввести смертную казнь и в тылу, и для штатских. Еще лучше и точнее выражается сотник Хомутов: «Нужен хирург. Хирург — единая военная диктатура». О! Договорились. А вот статейка некоего Арбузьева,— псевдоним, разумеется. Разумеется, кадет, несомненно, кадет. Называется статейка кратко, но многозначительно: «Он». Лирическая статейка с очень ясной политической подоплекой. «За последний месяц,— пишет этот кадет (несомненно, кадет!),— я часто думал о нем. Старался его себе представить. Искал его лицо среди встречных прохожих, пробовал угадать его имя в длинных вереницах неизвестных прежде имен, которые ежедневно преподносит нам газетная пресса. Потому что я с каждым днем все меньше и меньше сомневаюсь в его приходе. Кто он? Конечно, военный. Офицер. Поручик или, может быть, молодой капитан. Чин в настоящее время не имеет значения. Дорога

открыта талантам. Он, должно быть, желчен, упорен в труде, чудовищно самолюбив, но умеет скрывать это. Ум у него совершенно холодный, трезвый, свободный от всяких иллюзий, гибкий и острый, как шпага. Такие слова, как «отечество», «свобода», «пролетариат», «равенство», «демократия», «социализм» и «всеобщее счастье», не имеют для него никакого обаяния. Он смотрит, выжидает, рассчитывает. 3 июля после стрельбы на Садовой мне одну минуту чудилось, что я вижу его. Взволнованная толпа шумела, как море. И вот, словно пловец на гребне волны, на плечах группы людей появился офицер в кожаной куртке, с тремя нашивками, обозначающими число ранений, на рукаве. Через плечо его была перекинута винтовка, которую он только что отнял у красногвардейца. Он был невелик ростом, грациозен и гибок. Пристально и зорко глядели блестящие черные глаза. Его профиль напоминал... ну да, конечно, призрачное, неверное сходство,— но он напоминал Наполеона в молодости. Вам не кажется ли, читатель, что вы слышите отдаленное эхо его поступи? В голубом мерцании белой петроградской ночи не замечаете ли вы, как чья-то исполинская тень поднимается от земли к небу?..» Вот она, мечта буржуя! Буржуй прекрасно видит, что в голубом мерцании белой петроградской ночи от земли к небу поднимается исполинская тень победившего пролетариата. Он это видит, и дрожит от ужаса, и мечтает, чтобы эта тень была заслонена другой, милой его сердцу тенью российского бонапартия с винтовкой, отобранной у красногвардейца, тенью возлюбленного диктатора, циника, для которого такие слова, как «отечество», «свобода», «пролетариат», «социализм» и «всеобщее счастье», не имеют никакого обаяния... Насчет поручика или молодого капитана буржуй говорит так, зря, для красного словца. Тут не поручик, тут полный генерал найдется. Может быть, тот самый, «вся жизнь которого проходит в беззаветном служении» и который в «качестве временной меры» ввел смертную казнь. Но все эти Арбузьевы ведут счет без хозяина. Эти профессора и присяжные поверенные все еще думают, что массы, толпа — навоз истории. Они все еще уверены, что смогут достигнуть своих целей министерскими комбинациями и распределением портфелей!.. Ну-с, а вот и поэзия, слушайте:

И с кухаркою на кухне
Песню пел гусарскую.
Эй, Расеюшка, не рухни
В яму луначарскую...
Мне не надобно ханжи,
Поцелуя женина.
Ты мне лучше покажи
Спрятанного Ленина.

Гм, гм... А вот и плохие известия. В Ревеле разгромлены большевистские газеты «Утро правды» и «Кийр»... В Гельсингфорсе закрыта «Волна». В Кронштадте запрещен «Голос правды»... Статью свою кончили, Григорий? Не кончили? Все равно — кончайте. И я свою сейчас закончу. Ничего, где-нибудь напечатаем. Чего ты, Саша, так приуныл? Не бойся. Они ведут счет без хозяина. За газеты спасибо, хотя ты и привез дурные вести. Дурные вести укрепляют характер... Уже уходишь? Передай привет матери. До свидания, Саша. Кто завтра привезет газеты?

7

В полдень стало очень жарко. Зной лежал на лужке, как нечто весомое и неподвижное, и даже тень, обманчиво темная, не могла побороть его, превратилась в одну видимость, прокалилась насквозь. В тени напрасно искали убежища тучи комаров, ящерицы и стрекозы. Ленин все чаще отрывался от работы и глядел на полуголого Емельянова, косившего траву неподалеку.

Емельянов косил только ради конспирации, с тем чтобы стог поднимался выше, как на порядочном сенокосе. Но делал он это споро, умеючи и с удовольствием. Он вообще был мастером на все руки. Косить здесь было трудно. Ленин разок попробовал и чуть не сломал косу: в траве торчало много мелких пеньков. Еще будучи на чердаке в сарае, Ленин иногда любил глядеть через щели на то, как Емельянов плотничает и копает, как Надежда Кондратьевна с двухгодовалым Гошей на руках готовит обед у очажка, сложенного во дворе. Ее чистый лоб покрывался каплями мелкого пота, милое лицо румянилось. Ленин думал о том, что эти рабочие люди — настоящие революционеры, готовые отдать жизнь за освобождение рабочего класса. Так они безропотно, несмотря на смертельную опас-

ность, согласились укрыть у себя Ленина. Но семья есть семья. Пока суд да дело, они справляют свои хозяйственные дела расторопно и любовно, поливают грядки, готовят пищу, поправляют завалинку дома, растят своих семерых детей, воспитывая их незаметно, без нотаций и криков, силой собственной честности перед собою и людьми, неизменной правдивостью и постоянным трудом.

Это была первая русская рабочая семья, в жизнь которой Ленин вошел за последнее время. Ему нравилось слушать русскую речь из детских уст — а то он вообще мало общался с детьми, и если и общался, то с детьми эмигрантов, которые разговаривали по-французски или по-немецки. На рассвете, мучимый бессонницей, он слезал с чердака и неслышными шагами пробирался среди спавших на сене детей. Дети лежали разметавшись, румяные, теплые, детский храп и ровное дыхание умиляли его. Ему хотелось, чтобы их видела Надежда Константиновна. Он испытывал в эти мгновения тихую зависть к Емельяновым, к их семейным заботам и радостям, которых он, профессиональный революционер, был лишен раньше и будет лишен всегда.

Проснувшись, вся семья принималась за дело — каждый в меру своих сил работал для общего благополучия.

Ленину нравилась эта неторопливая человеческая деятельность большой семьи. Когда он глядел на них, на их труд, как теперь на Емельянова с косой, им овладевала страсть к физическому труду, ему хотелось копать, строгать, носить землю, мыть полы. Он скоро забывал об этом желании, возвращался к своим статьям и газетным полосам, и его снова захватывали всего целиком кипения других страстей, страдания и чаяния масс, коварные происки партий.

Когда Коля вернулся со своего «обхода» по берегу озера, он застал Ленина снова ушедшим целиком в работу. Сев у шалаша, он долго смотрел на Ленина, как тот пишет, думает, встает, прогуливается, размышляя, взад и вперед, не обращая внимания на страшную жару. Коле хотелось позвать Ленина купаться, но он не посмел прервать его работу: отец за это сердился.

Посидев, он снова ушел к озеру. Здесь в укромном месте были спрятаны удочки. Он достал одну и сел

удить, но рыба не клевала: было слишком жарко. Поэтому он спрятал ее, из того же укрытия достал лук и стрелы и пострелял в цель. Все утро ходил он вокруг шалаша, добросовестно исполняя свои обязанности разведчика. Он тихо ступал по тропинкам, бесшумно раздвигал ветки деревьев, вглядывался в причудливые очертания сухостоя, замирал, прислушиваясь к неясным звукам леса и звону комарья в зарослях.

Углубившись в чащу, он вскоре услышал отрывистый свист косы и крадучись добрался до лесной поляны, где находился сенокосный участок Рассолова, тоже сестрорецкого рабочего, живущего в поселке Разлив, неподалеку от Емельяновых.

Коля лег, пополз и замер за деревом. Рассолов косил, то и дело вытирая пот со лба, косил мелкими, осторожными взмахами, негромко бормоча проклятия в те мгновения, когда коса задевала за скрытый в траве пенек или кочку. Коля смотрел на него, сощурив глаза, как Ленин, и хотя отлично знал Рассолова и его сына Витю, но для интереса воображал, что это не Рассолов, а шпик Временного правительства, прикидывающийся косарем для слежки за Лениным. Сжав правую руку в кулачок с вытянутым указательным пальцем наподобие револьвера, Коля старательно прицелился Рассолову в лоб, затем в грудь, соображая, куда лучше стрелять, чтобы покончить с «гадюкой» одним выстрелом, не затевая перестрелки, так как она может привлечь других шпиков, скрывающихся повсюду, за каждым деревом.

Рассолов между тем кончил работать, обтер косу травой, приставил ее к стенке шалаша, покряхтел и сел обедать. Он вынул из мешка каравай хлеба, бутылку постного масла, связку зеленого лука и несколько огурцов. Он сидел к Коле боком, привалившись к стогу, и Коля, сменив гнев на милость, решил, что на сей раз стрелять не будет, так как теперь стрелять невыгодно, несподручно. Коля попятился в глубь леса и пошел влево, по-прежнему бесшумно, замирая на месте при каждом звуке. Вскоре он наткнулся на большой муравейник, застыл возле него, приник к земле и, затаив дыхание, стал наблюдать муравьев так, словно и они могли оказаться шпиками. Муравьи сновали вверх и вниз, взад и вперед, переползали один через другого. Присутствие Коли они все-таки заметили: в куче

поднялась большая беготня, муравьи задвигались быстрее, заторопились, словно делая революцию. Вероятно, у них был и свой Керенский. Один муравей тащил за собой красный стебелек,— наверно, большевик. Только митинговать они не умели, делали свое дело молча. И не лузгали семечек, как солдаты на Невском.

Коля обошел муравьиную кучу и направился к берегу. Он уже немножко устал прятаться, приникать к земле, замирать при каждом шуме, воображать всех шпиками и казаками. Но, выйдя к озеру, он сразу лег плашмя на землю: по озеру плыла лодка. У Коли замерло сердце. Он рванулся было к шалашу, но потом раздумал, решил понаблюдать. Вскоре он различил фигуры двух людей, и минуту спустя узнал брата Кондратия. Брат сидел на веслах. Коля улыбнулся, но из кустов не вылез, а, постаравшись забыть, что узнал брата, сделал серьезное лицо и стал напряженно следить за лодкой. Все-таки это было кое-что, не муравьиная куча! «Сюда плывут»,— пробормотал Коля озабоченно. На корме сидел человек в кожаной куртке. «В кожаной куртке в такую жару»,— подозрительно подумал Коля. Лодка врезалась в прибрежный камыш. Коля узнал человека в кожаной куртке — это был рабочий Сестрорецкого завода Вячеслав Иванович Зоф, несколько раз приезжавший к Ленину.

Не показавшись брату и Зофу, Коля отполз от берега в кусты и побежал к шалашу. Отец уже кончил косьбу и возился у костра. Приятно-горьковатый дымок шел оттуда. Ленин и Зиновьев, чуть видные за густым ивняком, по-прежнему писали. Коля громко просвистел снегирем и затаился в зарослях, не выходя на лужок для пущей таинственности.

Через минуту на залитом солнцем лужке появились Зоф и Кондратий. Ленин быстро пошел им навстречу, но затем остановился, скосил голову набок, окинул Зофа усмешливым взглядом и сказал, подмигнув Зиновьеву:

— Вот он самый, в кожаной куртке... Грациозен, гибок. Пристально и зорко смотрят блестящие глаза...— Он засмеялся и снова пошел навстречу Зофу, который был смущен и обескуражен непонятными ему словами.— Вам никто не говорил, что вы похожи на Наполеона в молодости? Нет?.. Ну и слава богу. Скидайте куртку, товарищ Зоф, в ней можно изжариться.

— Я взял ее ради подкладки,— сконфуженно объяснил Зоф.

Он снял куртку, распорол подкладку и вытряхнул целый ворох бумаг. Внезапно набежавший ветерок их подхватил, Ленин бросился ловить, Зоф — помогать. Ленин смеялся, а Зоф, вторя ему несколько неуверенно, удивлялся его непосредственности и поразительному самообладанию в такой тяжелый момент.

Но когда бумаги были пойманы, Ленин нахмурился и негромко спросил:

— Значит, все наши газеты закрыты? Кронштадтский «Голос правды» тоже? Как это кронштадтцы допустили?..

— Вместо него выходит «Пролетарское дело». На следующий день после запрещения «Голоса правды» уже выходила новая газета. Редактирует Людмила Николаевна Сталь.

— Прекрасно! — воскликнул Ленин и повернулся к Зиновьеву.— Видите, как мы с вами и предполагали, кронштадтцы не опозорились.— Он пошел к своему рабочему месту среди зарослей и тотчас вернулся с листками рукописей.— Садитесь, товарищ Зоф. Я вам сейчас все растолкую. Вот вам две только что написанные статейки — «Политическое положение» и «Благодарность князю Львову». Тут у меня еще одна статейка, написанная раньше, в Питере, насчет ухода кадетов из министерства. Эти три статейки передайте в «Пролетарское дело». Вместо «вооруженное восстание» я всюду в тексте написал слова «решительная борьба», чтоб власти не придрались и не закрыли газету — она теперь у нас единственная... Надеюсь, что рабочие правильно поймут это выражение... Каков тираж газеты?

— Не знаю, вышел только один номер. Точнее сообщу в следующий раз... Вот письма. Надежда Константиновна и товарищ Лилина здоровы. Бельишко и кой-какую снедь пришлю с Токаревой завтра.

— Очень хорошо, с ней я отошлю еще одну статью, которую постараюсь закончить сегодня. Очень важная статья. А сейчас я напишу письмо в редакцию «Пролетарского дела» — за нашими двумя подписями, Григорий. Надо, чтобы Кронштадт, и не только Кронштадт, но и Питер знали, что мы живы, что мы работаем и отвергаем гнусную клевету.

Ленин сел писать. Зоф смотрел, как быстро и

сосредоточенно он пишет. Вокруг него роилась мошкара и летали стрекозы. Он отгонял их рассеянным движением левой руки. Иногда на бумагу заползала гусеница, он брал ее и, не глядя, бросал в кусты.

— Что в Питере? — спросил Зиновьев.— Революционные части разоружены?

Зоф отвел глаза от пишущего Ленина и начал рассказывать:

— Да, я сам побывал рано утром на Дворцовой площади, когда разоружали Первый пулеметный полк. Площадь была вся оцеплена войсками. Вдоль Зимнего стояли казачьи и кавалерийские части, возле Главного Штаба — самокатчики, по фасаду министерства финансов и министерства иностранных дел — части Первой гвардейской дивизии, а вокруг Александровской колонны — батальоны Егерского и Семеновского и прибывшие с фронта контрреволюционные части. На Певческом мосту было полно грузовиков с пулеметами... Наши пулеметчики стали подходить отдельными командами и складывать оружие в центре площади... После разоружения солдат отправили под конвоем в Соляной Городок.

Зиновьев, покачав головой, спросил:

— Что им конкретно угрожает?

— Наверно, их отправят на фронт по третьему разряду. Как штрафников...

— А скажите, они сдали все оружие? — спросил издали Ленин, подняв голову от бумаг.— Неужели все оружие сдали?

— При сдаче обнаружена большая недостача пулеметов. Там был большой шум в связи с этим. Поручик Козьмин кричал и возмущался.

— Значит, припрятали оружие! Рабочим передали, ясно! Молодцы! Вы точнее узнайте про это все, это очень важно, чрезвычайно важно. А настроение, разумеется, тяжелое среди солдат? Вам не удалось побеседовать с ними? Ни с одним из них?

— С Борисовым я разговаривал. Настроение ожесточенное. Они оскорблены и обозлены... Борисов — очень сознательный крестьянин, из Владимирской губернии. Он, увидев меня, заплакал, но потом усмехнулся злобно, погрозил кулаком и сказал: «Ладно, пусть они нас пошлют на фронт, мы там, на фронте, тоже поработаем — не обрадуются!..»

Ленин задумчиво спросил:
— Борисов? Это какой Борисов? Я его знаю?
— Да нет, вряд ли...
Ленин повеселел.
— Вряд ли,— сказал он.— Это хорошо, что вряд ли. Значит, их много таких.— Он нагнулся над бумагой, снова стал быстро писать, потом встал с места и протянул написанное Зиновьеву. Пока Зиновьев читал письмо в редакцию, Ленин подошел к Зофу.— Теперь у меня к вам еще одно важное поручение. Очень важное. В Стокгольме — Надежда Константиновна знает, где именно,— находится одна моя тетрадка. Это синего цвета тетрадка в твердом переплете. Она озаглавлена «Марксизм о государстве». Надо ее как можно скорее переправить сюда, ко мне. Запомните: синяя тетрадь. Это архиважно. Запомнили?
— Запомнил.
— Вы куда сразу отсюда направитесь?
— В Выборгскую управу. Передам Надежде Константиновне статьи, машинистки тут же их перепечатают, и не позже завтрашнего утра они будут в Кронштадте, у товарища Сталь.
— Отлично. Надежде Константиновне передайте, чтобы ко мне не ездила: за ней, несомненно, следят. Про синюю тетрадь не забудьте.

Зиновьев, углубленный в чтение, немало удивился, когда услышал просьбу Ленина насчет синей тетради. Эта тетрадь была ему знакома: в Поронине и позднее в Цюрихе Ленин вносил в нее все главное, что Маркс и Энгельс высказывали по вопросу о государстве. Просьба Ленина о доставке синей тетради сюда, в шалаш, удивила Зиновьева ничуть не меньше, чем разговоры Ленина с Емельяновым о ценах на капусту и качествах ухи с окунями и без окуней; после июльского разгрома и разоружения большевистских полков углубляться в чисто теоретические изыскания казалось Зиновьеву совершенно бессмысленным занятием. Разве что Ленин хочет оглушить себя, занять свое время и мысли сложными диалектическими хитросплетениями? Или он действительно верит, что тетрадка, превращенная в брошюру, даже если допустить, что она попадет из этой заозерной глуши к людям, сможет теперь сыграть какую-нибудь роль, будет иметь теперь какое-нибудь значение? И снова Зиновьеву показалось, что бодрость

Ленина деланая, что он бравирует ею перед Зофом, Емельяновым и перед ним, Зиновьевым. Зиновьев подписал письмо, отдал его Зофу и посмотрел на Ленина исподлобья. Ленин стоял босиком в траве, темная косоворотка на нем была расстегнута, а в глазах зажигались и гасли искорки, знакомые искорки, появлявшиеся там в минуты волнения и азарта. Вот он пошел провожать Зофа, и Зиновьев слышал издали, как Зоф говорит ему, что арестованы Крыленко, Мехоношин и Арутюнянц, а Ленин, словно не расслышал дурных известий, толкует свое:
— Материал в тетрадке весь подробно выписан, довольно стройно изложен и частично проработан. Написано мелко, но разборчиво, так что не придется угадывать и расшифровывать. Актуальнейшие вопросы диктатуры пролетариата...
Голос его замолк в отдалении.
«Нет, мне надо встряхнуться,— подумал Зиновьев, закусывая губу.— Может быть, я слабый человек, расстроенный поражением и потерявший бодрость. А он? Кто он? «Мировой дух», как выражался Гегель?»
Вернувшись, Ленин сказал:
— Жара страшная. Работать нельзя: в голове какая-то каша. Пойти полежать, что ли?
Он влез в шалаш и вскоре затих.
«Мировой дух» пошел спать в шалаш»,— подумал Зиновьев, перефразировав известный афоризм Гегеля. Он сказал Емельянову:
— Надо встряхнуться, а, Николай Александрович? Пойдем искупаемся?
Они пошли к озеру, оставив Колю на всякий случай сторожить у шалаша. Коля уселся на пенек, где обычно сидел Ленин, и стал клевать носом, однако старался не спать, помня вечные предупреждения матери и отца: быть начеку. Он вдруг вспомнил мать и затосковал по ней — вещь, недостойная разведчика, как он тут же решил про себя. Он встал и начал ходить взад и вперед, как Ленин.

6

Надежда Кондратьевна Емельянова в продолжение всего этого времени находилась в необыкновенно приподнятом настроении. Чем бы она ни занималась, что

бы ни делала — мыла посуду, готовила похлебку, стирала белье, полола грядки, штопала чулок, укладывала спать детей,— она мысленно все время стояла на краю своего двора, у пруда, соединяющегося протокой с озером Сестрорецкий Разлив, в одной и той же неподвижной позе: спиной к озеру, с раскинутыми в обе стороны руками, как бы защищая озеро и заозерный лужок шалашом от всего враждебного мира.

Ее глаза стали зорче, слух изощреннее. Она начала замечать все, что творилось кругом и чего не замечала раньше. Она различала женские и мужские шаги за заросшим сиренью забором; голоса людей, раздававшиеся по соседству и на улице, привлекали теперь ее внимание и служили пищей для размышлений.

Она ловила себя на том, что стала меньше думать о муже и сыновьях, которым в случае провала грозили величайшие беды. Она думала только о Ленине и о том, что от нее и ее близких зависит его безопасность.

Эти неясные, но сильные ощущения пронзали ее до самого сердца. Она не могла бы объяснить свои ощущения словами, но она чувствовала, что находится в самом средоточии великого, и сильнее, чем ее муж, чутьем материнским, женским, понимала личность Ленина. Николай Александрович прекрасно знал, что означает Ленин для партии, но он подходил к нему, как партиец к своему лидеру, как солдат к командиру. Он больше думал о деле, чем о личности.

Так же относилась к Ленину и Надежда Кондратьевна до того, как узнала его. Она восприняла поручение партии укрыть вождя партии не то чтобы равнодушно, но совершенно практически и сразу начала соображать, где его поместить, чем кормить, что стелить, высказала много верных замечаний о недостатках сарая, находившегося у самой изгороди, рядом с улицей, о политических настроениях соседей и т. д.— словом, делала все так, как привыкла делать в качестве большевички, жены боевика, укрывавшей во время революции 1905 года оружие и всякую нелегальщину, переживавшей не раз обыски, аресты мужа, всегда готовой на все неприятности и беды, связанные ее положением.

Ее хладнокровно-деловое отношение переменилось вскоре после появления Ленина в их сарае. Он оказался не похожим ни на какие ее представления. Его

простота и необыкновенная деликатность, живость и общительность поразили ее. Она, по-видимому, не ожидала, что знаменитый человек может быть так прост и безыскусствен. Ее удивил его пристальный и почти жадный интерес к ней, ее мужу, ее детям, ее дневным заботам. Он, этот интерес, был и самым простым, житейским интересом к людям, и не совсем простым, не совсем житейским. Он относился именно к ней, именно к ее мальчикам — Коле, Саше, Кондратию, Сереже, Гоше, Леве, Толе,— к их маленьким делам и жизненным потребностям, но в то же время интерес этот был частью интереса к чему-то гораздо большему — ко всем трудящимся людям, их заботам и жизненному опыту. Часто, когда ему о чем-нибудь рассказывали, он задумывался и говорил:

— Это интересно...

— Это очень важно...

— Это надо будет учесть...

Видно было, что он любое сообщение — самое мелкое — о жизни людей и их нуждах немедленно взвешивает на особых весах, думает о применении в гораздо большем масштабе того, что узнал, о чем услышал. Он был весь с ними, людьми, среди которых жил, и был весь не здесь, а с огромным множеством других, незнакомых ему лично людей. Так художник любуется местностью или рассматривает людей, как и всякий человек, но в то же время в отличие от других соображает: «я это напишу», «я это могу написать», «это мне может пригодиться».

Глядя, как она делает все по дому правой рукой, на левой руке все время держит Гошу, он качал головой и как бы мимоходом говорил:

— Нам нужно будет добиться создания таких детских очагов, которые могли бы хоть немного освободить матерей от тяжести домашних забот.

Она по нескольку раз в день мыла посуду, делала эту привычную работу бездумно, механически и очень удивилась, когда он как-то раз неожиданно сказал:

— Мы создадим дешевые общественные столовые, чтобы женщины могли заниматься большими, не только маленькими делами.

Ей льстило это непривычное внимание к ее домашним заботам, хотя она понимала, что это внимание относится не только к ней.

Однажды он произнес слова, особенно поразившие ее:

— Та революция непобедима, которую поддерживают и в которой участвуют женщины.

Вечером, после трудового дня, он спускался вниз по лесенке с чердака. Заслышав его шаги на лесенке, все домашние преображались, глаза детей загорались любопытством, предвкушением предстоящей занимательной и живой беседы.

Надежда Кондратьевна, штопая чулок, подметая угол или подавая чай, слушала его разговор с мальчиками, и ее материнская душа радовалась тому, что дети общаются с ним и от этого станут умнее и образованнее. Он рассказывал им о сибирской ссылке, о западных столицах, о швейцарских ледниках и озерах, о жизни людей в разных странах.

Мальчики сидели неподвижно, и Надежда Кондратьевна старалась двигаться как можно бесшумнее и тихо улыбалась, когда все смеялись.

Однажды он рассказал о своем детстве и о старшем брате, повешенном ровно тридцать лет назад в Шлиссельбургской крепости. Все сидели серьезные, а Надежда Кондратьевна, нагнувшись в углу над чулком, незаметно поплакала.

В другой раз он начал шутливо предсказывать будущее мальчиков. Кондратия, недавно увлекшегося анархизмом и похаживающего в анархистский клуб, он прочил в генералы будущей пролетарской армии или, «еще лучше, в адмиралы революционного флота: море рядом, отец — почти моряк, отлично знает Финский залив. Да, будешь адмиралом!» Александра, паренька умного и смышленого, лучшего помощника матери, он определил в инженеры или даже («почему бы нет? Управлять будут рабочие!») в управляющие гигантского завода земледельческих орудий, «который мы обязательно построим. Будешь выпускать железные плуги и тракторы (не знаешь, что это? Это американские машины для быстрого и легкого возделывания земли). Они перепашут всю русскую землю, сровняют все межи». Коля, с его вдумчивыми и ясными глазами, будет ученым, который придумает аэроплан для полета на Луну и первый же туда полетит. Сказав это, Ленин повернулся к Надежде Кондратьевне и стал ее уверять, что учиться дети пролетариев будут бесплатно, «поэтому, — сказал он, смеясь, — вам не надо беспокоиться, Надежда Кондратьевна, расходов — никаких».

— А я? — спросил десятилетний Толя застенчиво.

— А я? — осведомился шестилетний Лева деловито.

— Не знаю, что и придумать для всех, — комично развел Ленин руками. — Кем захотите, тем и станете!

Он говорил в шутку, но не совсем. Глядя на него и на детей жаркими от нежности глазами, она готова была молиться богу, в которого не верила, за его здоровье и благополучие и, разумеется, за сидящих вокруг него детей.

Иногда же Ленин задумывался, становился молчалив, рот его твердел и лицо менялось почти до неузнаваемости. В таких случаях все замолкали, начинали, как по уговору, заниматься каждый своим делом, читали книжки, газеты или выходили из сарайчика во двор.

Зиновьев был тоже человеком образованным, вежливым и разговорчивым. Но он был несколько рассеян, невнимателен. На детей не обращал внимания. Иногда при всех заговаривал с Лениным по-французски или по-немецки, — видимо, чтобы никто не понял, — а Ленин явно сердился на него за это и обязательно отвечал по-русски.

Привыкнув к Ленину, Надежда Кондратьевна с трудом верила (настолько был он смешлив, оживлен и любезен), что за ним погоня, что тысячи людей рыщут, отыскивая его след, и их отделяет от него, в сущности, только тонкая стенка сарая. А заглянув в газету, где шла бешеная травля, или послушав в лавке разговоры о нем, она приходила в ужас от своей внутренней беспечности. Тогда она ловила во дворе и по углам детей, в сотый раз напоминала об их обязанности: молчать, ни словом, ни взглядом не выдавая присутствия в доме посторонних, забыть про обитателя чердака. Когда они собирались вместе, она глядела на каждого по очереди пронизывающе и властно. За Кондратием она следила особенно упорно, почти враждебно. Она не могла ему теперь простить его увлечения анархизмом — раньше она не обращала на это никакого внимания. Он смущался под ее пристальным взглядом, конфузливо улыбался. И тогда она, зная его честность и стыдясь своей подозрительности, быстро трепала его

по щеке. Она была бы рада вместить всех семерых детей в себя, не зная, как иначе передать им чувство тревоги и ответственности, проникающее насквозь все ее существо.

9

Утром, как обычно, Надежда Кондратьевна отослала старших детей за газетами для Ленина. Ради конспирации они покупали газеты в разных местах: на станции Сестрорецк, на курорте, в Тарховке и на Раздельной. У каждого из мальчиков был постоянный список. Саша покупал газеты эсеровские и меньшевистские — «Рабочую газету», «Известия Петроградского Совета», «Новую жизнь», «Волю народа», «Единство», «Землю и волю», «Известия Всероссийского Совета крестьянских депутатов» и «Дело народа». Кондратию были поручены газеты и журналы большевистские — «Пролетарское дело», московский «Социал-демократ», «Работница» и какие появятся. Черносотенные и бульварные газеты — «Живое слово», «Новое время», «Новую Русь», «Народный трибун» Пуришкевича и другие — покупал Сережа. Буржуазные газеты — питерские «Речь», «День», «Русская воля» и «Биржевые ведомости», московские «Утро России», «Русские ведомости» и «Русское слово» — оставались тоже за Кондратием. Иногда их покупала на станции Разлив сама Надежда Кондратьевна.

Сегодня она собралась в лавку за покупками и решила заодно купить на станции свою долю газет.

Когда старшие мальчики разъехались, Надежда Кондратьевна надела шляпку с вишнями и накидку — материно наследство — и, оставив десятилетнего Толю нянчиться с Гошей и Левой, отправилась в поселок. Знакомый приказчик в лавке незаметно спроворил ей покупку без очереди, и она пошла на станцию к газетному киоску. Она очень спешила. Кто-нибудь мог приехать из Питера, да и вообще ей казалось страшно оставить свой пост на берегу пруда. Однако, уже уходя со станции, она наткнулась на своего родственника Фаддея Кузьмича, владельца галантерейной лавки в Сестрорецке. Он был сильно навеселе. Картузик его торчал на самой макушке, рыжеватые усы были залихватски закручены. Он любил поговорить о политике. До

9 января 1905 года он был рьяным монархистом, но после расстрела рабочих в Петрограде возненавидел царя и стал таким же рьяным республиканцем, а теперь всюду прославлял Керенского и только что не молился на него.

— А, Кондратьевна, сколько лет, сколько зим! — сказал он, снимая картуз.— Наше вам с кисточкой! Давненько не видались! — Заметив торчавший из ее кошелки сверток газет, он ехидно усмехнулся: — Почитывает Николай Александрович? — Вытащив газеты из кошелки, он удивленно протянул: — Э-э-э, вижу, поумнел твой супруг... Вот что стал читать! Правильно. Кончились большевички... Наш великий вождь Керенский Александр Федорович пристукнул их!

Она промолчала и пошла по направлению к дому. Он, однако, увязался за ней и, шагая по песку чуть сзади, не переставал говорить без умолку. А она тем временем не без удивления вспоминала, что еще каких-нибудь две недели назад считала его умным и интересным человеком, а теперь видит, что он петушист и глуп до отвращения. Впрочем, она почти не слушала его, и думала свою думу и по-прежнему с той же силой воображения представляла себя стоящей с распростертыми руками на берегу пруда спиной к озеру. Она мечтала отвязаться от Фаддея Кузьмича и поскорее очутиться дома, словно ее отсутствие могло сказаться на безопасности тех, в шалаше. На людях она даже и в мыслях не называла Ленина его именем, а именно так: «те, в шалаше». Она стремилась выжечь из собственной памяти это имя как бы из опасения, что оно может быть прочитано на ее лице. Слушать Фаддея Кузьмича она стала только тогда, когда услышала имя Ленина из его уст.

— А про Ленина слыхала? Уже известно, где Ленин! Нашелся, сударик!

Она приостановилась на мгновение, Фаддей Кузьмич догнал ее и повернул к ней свое большое рыжеусое глупое лицо.

— В Швеции! — выпалил он и прищелкнул языком.

Она пошла дальше, и он снова пустился за ней.

Возле своей калитки она замедлила шаг, надеясь, что он отстанет, но он не отставал, может быть надеясь на рюмку вина или просто тосковал о собеседнике, хотя бы молчаливом. Они вошли во двор. Она между тем

оправилась от потрясения и даже спросила слабым голосом:

— В Швеции? Вы откуда знаете?

— Все знают. На подводной лодке бежал. Поминай как звали.

Он уселся на крылечке дачи, вынул красивую папиросную коробку «Сэръ» и взял из нее тонкую и чересчур короткую папироску явно не по размеру коробки; Надежда Кондратьевна подумала, что раньше никогда не заметила бы эту подробность.

Пока он разглагольствовал о том о сем, Надежда Кондратьевна вошла в сарай, сняла шляпку и накидку, прихватила с собой ведро картошки, вышла во двор и начала чистить картошку возле очажка. Малыши куда-то исчезли,— вероятно, ушли к соседям. Она чистила картошку и тревожно думала о том, что надо будет предупредить старших мальчиков, чтобы они не заходили: большое количество газет, да еще разных направлений, могло навести Фаддея Кузьмича на подозрение. Она неторопливо подошла к калитке и посмотрела на улицу, ведущую к станции. Улица была пустынна. Она вернулась обратно.

— Где Николай? — спросил Фаддей Кузьмич.— В заводе?

— Отпуск взял. Участок заарендовал. Косит.

— Ну?.. И впрямь, скоро сеном будем питаться, доведут Россию немецкие шпионы.

— Корову покупаем.

— Вот это хорошо, это по-хозяйски... А чего это вы в сарае живете, а дом заколочен? Дачников, что ли, нету?

— Ремонтируем.

— Сами или рабочих наняли?

— Сами.— Надежда Кондратьевна снова подошла к калитке и снова вернулась.— Может, поедете к Николаю за озеро? Лодка есть.— Она знала, что Фаддей Кузьмич без памяти боится воды, даже не купается в озере.— Там и весла.

— Нет уж... Некогда кататься.

Он поднялся с места, стал деловит. Она обрадовалась, что он уходит. А в это время на тропинке, ведущей с пруда, показался Емельянов с мешком на плечах. Увидев гостя, он остановился, сделал движение назад, но было поздно: Фаддей Кузьмич уже заметил его.

— Сколько лет, сколько зим! — произнес Фаддей Кузьмич свое избитое приветствие.— Слышал, сенокосничаешь?

— Да, вроде.

— То-то. А Ленин-то нашелся!

Емельянов несколько опешил. Он спросил, кладя на землю мешок:

— Какой Ленин?

— Какой? Твой. В Швеции обнаружен.

— Надя, дай умыться.

— По ресторанам там ходит, всех угощает, денег — куры не клюют.

— Принеси полотенце, Надя. Значит, богатый он?

— А ты что думал? Он и в Питере кутил почем зря.

— Надя, там уже огурчики есть крупные. Хорошо бы собрать. Значит, в Швеции? А я слышал — улетел в Швейцарию на аэроплане.

— Врут. В Швецию на подводной лодке — это точно. Ходит по Стокгольму с серебряной палкой, а в палке нож. Пьет только французский коньяк марки «Мартель», никаких других вин не употребляет.

— Ишь ты! Надя, рубашку дашь переодеть?

— А папиросы курит только высшего сорта, по семи рублей сотня, богдановские по особому заказу.

— Только богдановские?

— Именно. А ты никак из евонных был? Или одумался?

— Чего там... Я сам по себе.

— Брось! Знаю.

— У меня заботы другие. Корову вот задумал купить.

— Слыхал. Правильно! Постой, есть на примете. В Тарховке знакомые — телка у них подросла, красавица. Хочешь, поедем? Недорого возьмут. Мне за комиссию бутылку спирту... Ну, ладно, полбутылки.

— У меня уже дело слажено. Сейчас вот собираюсь туда идти. Так что извини...

— Пойти с тобой? Я здорово торгуюсь, ты так не сможешь. Все-таки я купец, не то что ты — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Полцены выторгую, ей-богу! И продавщик самогону нам выставит. Я шепну.

— Нет. Уж извини. Пойдем, Надя.

— Как угодно, мил-сдарь...

Фаддей Кузьмич разочарованно бросил окурок и наконец распростился.

Надежда Кондратьевна, стоявшая у калитки в ожидании сыновей, вздохнула с облегчением. Она подняла окурок с таким видом, словно это был сам Фаддей Кузьмич, и выкинула его в помойное ведро. Емельянов рассмеялся, потом обнял жену быстрым и нежным объятием и спросил:

— Газеты купили?

— Я купила. Мальчики сейчас приедут. Как там?

— Все хорошо. Нравится ему. Говорит, лучше не надо.

Она улыбнулась.

— Если что надо ему постирать или заштопать, вези сюда.

— Ладно.

— Что Коленька?

— Молодец! Разведчик!

— Вот, селедки достала. Отвезешь.

— Ладно. Французского коньяку марки «Мартель» не достала?

Оба рассмеялись. Она продолжала расспрашивать:

— Как там ночью? Не холодно?

— Ничего. Сыровато, конечно. И комары. Но ничего. Не жалуется.

— Ты загорел, Николай.

— Кошу понемножку.

— А на вид усталый.

— Не знаю с чего.

— Душа неспокойна.

— Верно, так.

— Как спали?

— Так себе. Он долго не засыпал.

— Ворочался?

— Нет, лежал тихо. Но не спал, я заметил.

— Опасается?

— Нет. Думает. С утра опять сел писать. Как всегда, газет ждет не дождется.

Вскоре появились мальчики с газетами. Картошка была уже готова, все уселись завтракать. Когда поели, подсела к столу и Надежда Кондратьевна — она всегда завтракала простывшими остатками, вечно боясь, что детям не хватит. В последнее время она, завтракая, просматривала привезенные мальчиками газеты.

Емельянов начал укладывать вещички и газеты в мешок.

— Мерзавцы, чистые мерзавцы! — услышал он восклицание Надежды Кондратьевны.

— Что там?

Он не привык слышать от жены даже таких невинных ругательств и поднял голову.

— Что пишут! Подлецы, чистые подлецы! — Она протянула ему газету.

Он, посмеиваясь над ее негодованием, взял газету, начал читать, похохатывая.

В газетной заметке, которая называлась «Ленин и шведская шансонетка», рассказывалось, что Ленин пользовался популярностью щедрого поклонника у опереточных примадонн «Летнего Буффа» и «находится в тесной связи» со шведской шансонеткой-певичкой Эрной Эймусти. «Никому неизвестны попойки, устраиваемые «мучеником» Лениным в Стеклянном Театре «Буффа». Но лакеям памятны те дни, когда Ленин платил по 110 рублей за бутылку шампанского, давал по «четвертной» на чай. Помнят и еще один случай, в котором Ленин выявил свой «пролетарский» характер. Однажды, заняв со своей дивой Эрной Эймусти отдельный кабинет № 4, он позвал лакея, чтобы заказать ужин. На звонок в кабинет вошел старший официант, массивный мастодонт «Казбек». Увидев его, дотоле спокойный Ленин вдруг пришел в ярость, затопал каблуками, неистово крича: «Пошел вон, буржуй! Пришлите другого лакея». Толстый и высокий, с солидным брюшком «Казбек» убежал, тем более что заметил в руке Ленина бомбу».

— Ну и врут, просто уму непостижимо! — искренне удивился Емельянов, затем, взглянув на Надежду Кондратьевну, ласково сказал: — Чего ты расстраиваешься?! На него и похлеще врали...

Но она не могла успокоиться. Ее почти трясло от отвращения и обиды. Ей, чисто по-женски, казалось, что эта клевета, касающаяся нравственности Ленина, серьезнее и опаснее всех других. Она тихо сказала:

— Ты ему эту газету не показывай. Зря расстроится. Оставь ее тут.

— Ну, что ты!..

— Оставь ее тут,—упрямо повторила Надежда Кондратьевна.

Емельянов не мог этого понять, говорил, что Ленин и не то еще видел, но газету все-таки с собой не взял. Так Ленин и не узнал, что находится «в тесной связи» с шансонеткой Эрной Эймусти.

10

Посетители приезжали редко,— очевидно, в Питере опасались навести сыщиков на след. Только раз в три-четыре дня появлялся «Берг» — он же Александр Васильевич Шотман. С каштановой бородкой, в пенсне и белой панаме, он выглядел настоящим барином, и это обстоятельство, в интересах конспирации, было очень по душе Надежде Кондратьевне. Еще реже приезжал Зоф. Иногда в калитку бесшумно проскальзывала молчаливая женщина в черном вдовьем платке, привозившая то каравай хлеба, то смену белья.

Все они появлялись и исчезали только с наступлением темноты.

Когда Шотман однажды пришел со станции утром, Надежда Кондратьевна удивилась. Шотман торопился. Он расспросил, не замечено ли вокруг дачи чего-нибудь подозрительного; успокоившись же на этот счет, он предупредил, что вечером привезет двух товарищей («членов ЦК»,— прошептал он в самое ухо Надежде Кондратьевне). Затем поспешно ушел обратно на станцию.

Действительно, часов в шесть вечера Надежда Кондратьевна увидела возле своей калитки двух людей. Они постояли с полминуты как бы в раздумье, затем толкнули калитку и вошли. Она пошла им навстречу. Один был щуплый человек в пенсне, с клочковатой темной бородкой и очень темными печальными глазами, другой — сухощавый, тонколицый, с остроконечной бородкой.

— Как поживает Карпович? — спросил человек в пенсне густым и грустным баском, будто и впрямь спрашивал о здоровье какого-то очень близкого и очень исстрадавшегося человека.

— Врачи говорят, здоров,— быстро ответила Надежда Кондратьевна и добавила уже естественным голосом: — Сейчас вас переправлю.

Человек в пенсне представился:

— Андрей.

— Юзеф,— представился второй, с остроконечной бородкой.

Оба приезжих уселись на лавку и сидели размягченные, видимо очень усталые, глядя мечтательными глазами на куст жасмина, росший возле забора.

— А? — спросил «Андрей», кивая на жасмин с полуулыбкой, блуждавшей на его лице.

— Да,— ответил «Юзеф», улыбаясь точно таким же образом.

— Забыли, что этакое есть на свете,— сказал «Андрей» полувопросительно.

— Да,— согласился «Юзеф».

Надежда Кондратьевна молча отломила ветку жасмина и подала «Андрею». Он приник лицом к ветке, затем, не выпуская ее из рук, спросил:

— Дождемся темноты?

— Нет,— возразила Надежда Кондратьевна.— Переправитесь сразу. Возьмете с собой удочки, вроде как бы рыболовы.

Она пошла искать кого-нибудь из мальчиков. Кондратий читал в саду книжку. Он отдал книжку матери и пошел за веслами и удочками, лежавшими в баньке на берегу. Оба гостя молча пошли за ним. В конце двора перед ними открылось неширокое озерко. Лодка, привязанная к столбику веревкой, стояла под ветками ветел.

Кондратий сел за руль, «Андрей» — за весла. Лодка поплыла по озерку и вскоре очутилась на широком раздолье огромного озера, чьи берега терялись вдали. Волны ходили здесь почти морские. «Юзеф» держал удочки вертикально, чтобы их было видно со стороны. «Андрей» сильно и ладно работал веслами.

Им повстречалась лодка с дачниками. Красивая женщина полулежала на корме, обрывала листья с ивовой ветки и кидала их за борт с задумчивым видом. «Андрей» сложил весла и некоторое время смотрел вслед лодке и плывущим по воде листьям. Он усмехнулся, снова взялся за весла и сказал:

— Люди живут так, словно на свете ничего особенного не происходит. Так, как год, и два, и десять тому назад. У Толстого еще это где-то отмечено, и весьма справедливо.

— Может, просто хотят забыться,— заметил «Юзеф».

Некоторое время плыли молча.

— Какая тишина! — сказал «Андрей».— С непривычки оглушает.

«Юзеф» заметил одобрительно:

— Вы хорошо гребете.

— Навык ссыльных времен. Три года назад, в туруханской ссылке, я арендовал крохотную лодочку. На ней, кроме меня, никто не смел отправиться по Енисею. А я посмеивался над пророчествами товарищей, которые уверяли меня, что рыбы давно дожидаются, когда попаду к ним на обед. Но я-то знал, что не буду для них лакомым куском: слишком я тощ и невкусен. Потому и ездил. Хорошо мне было, я забирался подальше вверх, а потом, когда течение само несло лодку вниз, сидел и мечтал. Стихи читал вслух. Я увлекался тогда стихами.

Тонкое, очень белое лицо «Юзефа» приобрело задумчивое выражение, он усмехнулся, но ничего не сказал.

«Андрей» тоже замолчал. По мере приближения берега он все больше волновался. Это волнение от предстоящей встречи с Лениным усугублялось еще одним обстоятельством. Дело в том, что «Андрей» вез в боковом кармане пиджака начатую им еще в ссылке работу «Очерки по истории международного рабочего движения». Уже несколько месяцев как он мечтал показать Ленину свою рукопись, но не решался, каждый раз робел и умолкал на полуслове. Сегодня он решился взять рукопись с собой: авось ему хватит смелости оставить ее Ленину. Может быть, Ленин на досуге почитает. «Андрей» был самоучкой, в ссылке самостоятельно изучил немецкий и французский, прочитал там множество книг, и ему очень хотелось писать, но не было времени и не было уверенности в собственных способностях. Он посмеивался над своим «литературным зудом», жаждая и боясь показать Ленину рукопись.

Кондратий направил лодку к берегу. Она вошла как нож в стену прибрежного камыша. Рядом в камышах качнулась вторая, привязанная к берегу лодка.

— Здесь? — спросил «Андрей».

Они выпрыгнули на берег и начали с любопытством озираться. В это время из кустов появился мальчик лет тринадцати. Он внимательно посмотрел на приехавших и неожиданно пустился от них наутек в глубь леса.

— Что такое? — насторожился «Юзеф».

— Мой брат,— улыбнувшись, объяснил Кондратий.— Бежит предупредить. Разведчик.

Они пошли по тропинке и вскоре очутились на поляне, уже утонувшей в предвечернем сумраке. Посреди ее возвышался высокий лиловатый стог. Рядом мерцал небольшой костер. Никого не было видно. Вдруг из густых зарослей справа раздалось весело и укоризненно:

— Товарищ Свердлов!.. Товарищ Дзержинский!.. Вы?.. Э-э, это неконспиративно.

Свердлов развел руками:

— Ничего не поделаешь, Владимир Ильич! Надо!

Ленин стоял среди зарослей ивняка, широко расставив ноги, словно врос в эту пустынную болотистую землю. В предвечернем свете, придающем очертаниям предметов резкую определенность, он казался отлитым из темного металла.

Вокруг него валялись газеты, прижатые к земле от ветра то камешком, то веткой.

— Что ж! Милости прошу к нашему шалашу,— сказал он.— Тут эта поговорка удивительно уместна.

Он говорил в шутливом тоне, хотя глаза его светились необыкновенной радостью и волнением. Ему не хотелось слишком откровенно проявлять свои чувства, чтобы Свердлов и Дзержинский, и по их рассказам Крупская и другие товарищи не заподозрили, что ему бывает трудно и тоскливо в этой заозерной глуши.

— Ну, раз приехали,— сказал он,— то уж рассказывайте, рассказывайте, рассказывайте все.

— Погодите, Владимир Ильич,— улыбнулся Свердлов.— Вы всегда так — не даете опомниться.

— Что ж, садитесь, опоминайтесь. Григорий, где вы? К нам гости. Наконец-то мы узнаем все из первых рук.

Зиновьев появился из шалаша заспанный, но при виде гостей оживился, побежал за чайником.

— Сейчас угостим вас чаем,— сказал он, суетясь.— Разумеется, кипятком, чаю нет, заправляем листом смородины.

Ленин сел на пенек, его лицо стало очень серьезным и озабоченным.

— Рассказывайте.

Ярко вспыхнул и разгорелся костер, возле которого Емельянов с Колей и Кондратием начали готовить ужин.

Свердлов сказал:
— К съезду все готово. Заседания будут происходить на Выборгской стороне, в здании Сампсониевского общества трезвости. На случай слежки имеем в виду еще одно помещение. Всем делегатам съезда будет роздана ваша брошюра «К лозунгам». Сегодня ее кончают печатать в Кронштадте. Шотман привезет вам пробный экземпляр.

Лицо Ленина от волнения потемнело.

— А вы читали брошюру?— спросил он.

— Читал. Все члены ЦК и ПК ее читали.

— Ваше мнение?

Свердлов сказал:

— С вашей оценкой положения совершенно согласен. Мирный период кончился.

— Надо готовиться к взятию власти,— кивнул головой Дзержинский.

Ленин покосился на Зиновьева, потом снова весь устремился к приехавшим из Питера и спросил:

— А вас не смущает снятие лозунга «Вся власть Советам!»?— и замер, ожидая ответа.

— Единственно правильный вывод из июльских событий,— сказал Свердлов.

— Хотя и неожиданный для многих,— усмехнулся Дзержинский.

— И вам не кажется, что написано в раздражении? Слишком остро?

Басок Свердлова рокотнул негодующе:

— Слишком остро? А штыки, на нас направленные, не остры?

— Так, так...— Ленин от удовольствия потирал руки.— И вы думаете, все поймут?

— Нет, не думаю.

— Вот хорошо! Не думаете. Правильно.— Ленин лукаво прищурился.— Вот и Григорий думает, что не все поймут.

— С докладчиками у нас трудности,— продолжал Свердлов.— Вы в подполье, многие товарищи арестованы. Как-нибудь обойдемся.

— Обойдетесь, конечно. Слава богу, у нас достаточно сильных, знающих товарищей.

— Политический доклад ЦК поручен Джугашвили. Он полностью разделяет вашу точку зрения на текущий момент и будет решительно защищать ее на съезде.

— Что ж, хорошо. Сталин дельный и твердый человек.

— Организационный отчет поручен мне. Затем пойдут доклады с мест: Питер, Москва...

— Кронштадт, обязательно!

— Ага. Есть!.. Далее — Финляндия, Центральная промышленная область, Север — Вологда, Новгород, Псков,— Поволжье, Донецкий бассейн, Юг — Одесса и Киев,— Урал, Кавказ, Прибалтика — Ревель, Рига,— Литва, Польша, Минск с Северо-Западом...

— Звучит внушительно. Как бы смотр сил. Хорошо! Не забудьте послать приветствие от имени съезда всем арестованным товарищам.

— Арестованным и скрывающимся в подполье. Оно уже написано.— Свердлов продолжал:— Имеем вам сообщить еще одну новость. Вот она, эта новость, в натуре.— Он достал из кармана небольшого формата газету.— В Питере снова выходит большевистская газета «Рабочий и солдат». Вот первый номер. От имени редакции прошу сотрудничать.

— Превосходно!— воскликнул Ленин.— Как вам это удалось?

— Наша «военка» — Миша Кедров с Подвойским все устроили. Их работа. Сначала Кедров попробовал было сунуться в «Новую жизнь», но Ладыжников набросился на него: «К вашей организации примазались шпионы, провокаторы, всякий сброд. Мы убеждены, что и Подвойский провокатор». Тогда Кедров с Подвойским высмотрели маленькую типографию на Гороховой, «Народ и труд» называется, и уговорили администратора, пообещав ему, что газета будет тихая, спокойная, почти «Задушевное слово». Тираж первого номера — двадцать тысяч. Он был раскуплен за несколько часов.

— Молодцы!— Ленин нагнулся к чурбаку, служившему ему столом, и взял стопку исписанной бумаги.— Вот ответ на «разоблачения» Петроградской судебной палаты. Напечатайте за моей полной подписью. А вот еще статейка — «О конституционных иллюзиях». Завтра постараюсь ее закончить и вам прислать. По-моему, статейка очень важная. Я писал ее, кроме всего прочего, и ради самоуспокоения. Да, не удивляйтесь. Я этой статейкой окончательно подчинил чувство разуму. Я доказал себе — и, надеюсь, всем товарищам по пар-

тии — правильность решения о неявке на суд. Вы прекрасно знаете, как трудно далось мне это решение. Казалось верным и весьма революционным явиться на суд и сказать все, что полагается говорить в таких случаях революционеру... Месяца два назад я бы при тех же обстоятельствах обязательно явился. Теперь я уже слишком взрослый, чтобы явиться. В революции люди быстро созревают... Очень рад, что удалось наладить газету. На днях смогу дать еще одну статью — «Уроки революции» или что-то в этом роде.— Он пристально посмотрел на Свердлова и Дзержинского, его глаза потеплели.— Завидую вам, что вы можете вернуться в Питер, окунуться в эту кашу, быть среди товарищей. Мне бы хоть одним глазком посмотреть на наш съезд.— Хитрые морщинки собрались под его глазами.— А, как вы думаете? Ведь я неузнаваем. Вы меня не видели в парике. Вот я достану парик — мне привезли несколько штук на выбор,— и вы сами взглянете... Ей-богу, это безопасно.

Дзержинский медленно проговорил в свойственной ему сдержанно-патетической манере:

— Владимир Ильич, вы не имеете права подвергать себя риску. Положение остается исключительно сложным. Вы тут слишком успокоились. Идут аресты. За вашу поимку назначена награда. Не только милиция и контрразведка, но и тысячи добровольцев ищут вас. На днях пятьдесят офицеров ударного батальона дали торжественную клятву найти вас или умереть. Позавчера в Кронштадте комендант порта Тыртов, получив шифровку от контрразведки, что вы скрываетесь на линейном корабле «Заря свободы», прибыл на борт корабля и попытался произвести обыск. Правда, обыска команда не позволила ему произвести и только официально заверила его, что вас на корабле нет. Повсюду на станциях ходят сыщики с вашими фотографиями. Фотографии розданы станционным жандармам. Не знаю, читали ли вы в газетах, что по вашему следу пущена знаменитая собака-ищейка Треф... Вы не смейтесь, Владимир Ильич, умоляю вас, тут совсем не до смеха. Знайте, во всяком случае, что если мы вас не убережем, я пущу себе пулю в лоб.

Ленин при последних словах перестал улыбаться, пытливо посмотрел в сверкающие глаза Дзержинского

и подумал: «А что? Этот — пустит... И очень даже просто». Однако он сказал сердито:

— Товарищ Дзержинский! Пулю в лоб! Какие-то анархистские эффекты... Нехорошо, нехорошо! Разве русская революция может зависеть от одного человека?! Ну, ладно, не кукситесь, не поеду.

Он по-детски приуныл и отвернулся. Потом вздохнул и сказал:

— Ну, показывайте, что там у вас, тезисы, резолюции, повестка дня, докладчики... Показывайте.

11

Совсем стемнело. Работу закончили при свете костра. Затем поужинали свежей рыбой. Рыбу эту обитатели шалаша наловили в мережи прошлой ночью.

Ленин и за ужином не переставал без конца расспрашивать о положении на питерских заводах, в Москве, Гельсингфорсе и Кронштадте, на Северо-Западном фронте, в Сибири и южных губерниях. На вопросы отвечал главным образом Свердлов. Он отвечал скупо, но исчерпывающе, наизусть называя цифры, без труда вспоминая множество фамилий, имен и партийных кличек. Ленин слушал с величайшим вниманием и вспоминал, где находится, только иногда, отвлеченный то клубом дыма, ударявшим в лицо при перемене ветра, то приглашением Емельянова есть поживее; тогда он рассеянно усмехался и незаметно веселел при мысли о том, что вот напротив него сидят скромные, немного застенчивые люди, в руках которых сосредоточены все нити большевистской организации — буржуи сказали бы: «большевистского заговора»...

Затем все пошли провожать Свердлова и Дзержинского к лодке. Постояли на берегу. Взошла туманная луна. Не хотелось расставаться.

Свердлов сказал:

— Тут, наверно, охота хорошая. Места глухие. Почти тайга.

— Да,— подтвердил Емельянов.— Глухарей и тетерок много. Чирок, утка...

— Охотники, наверно, сюда забредают, а?

— Бывает, когда сезон.

Свердлов покачал головой.

— Надо подумать о смене квартиры к началу охоты.

Ленин был молчалив. Лишь прощаясь, он сказал:

— Я поручил раздобыть некую синюю тетрадку. Надежда Константиновна знает. Напомните ей. Дело очень срочное.

При этом упоминании Лениным какой-то тетрадки Свердлов вспомнил о своей рукописи в боковом кармане, но и на этот раз не решился передать ее Ленину. «Не до того ему теперь,— подумал он.— Потом. Позднее. После революции. А может быть, уже при социализме, когда будет вдоволь свободного времени. Да и сочинение не ахти какое, нечего с ним соваться».

Он погрустнел, помахал Ленину фуражкой.

— Пожалуйста, дайте мне посидеть на веслах,— попросил Дзержинский.

Они отплыли. Некоторое время все молчали. Кондратий сидел за рулем. Свердлов рассеянно нюхал веточку жасмина, ранее оставленную в лодке. Она уже увяла, и к ее благоуханию примешивался легкий запах сырости и тления.

Он все думал о Ленине и, вспоминая о нем, улыбался той долгой и доброй улыбкой, какая появляется на лицах людей, увидевших что-то необыкновенно приятное.

Дзержинский, по-видимому, тоже думал о Ленине. Он вдруг сказал из темноты как бы про себя:

— Сломить его нельзя.

Свердлов живо отозвался:

— Вот именно! Луначарский мне рассказывал, что буквально то же самое он говорил французскому писателю Ромену Роллану: «Сломить Ленина нельзя, его можно только убить»...— На минуту воцарилось молчание, потом Свердлов закончил несколько изменившимся голосом:— Вот этого я и боюсь. Мне даже, признаюсь, снятся в связи с этим разные страшные сны.

Они все продолжали говорить о Ленине, и каждый из них говорил о нем то, что ценил и в себе.

— Он скромен и совершенно лишен честолюбия. Это большая редкость для вождя,— сказал Свердлов.

— Он горит, как факел, чистым светом,— сказал Дзержинский.

— Он человечен и добр,— сказал Свердлов.

— Он суров к врагам, но только к врагам,— сказал Дзержинский.

Снова воцарилось молчание. Лодка летела как стрела.

— Вы гребете отлично,— заметил Свердлов.

— Все та же ссылка,— улыбнулся Дзержинский.— Три раза пришлось бегать, из них два раза на лодке... В девяносто девятом — из Кайгородского, в девятьсот втором — из Верхоленска... У меня потом долго держались мозоли от этой дикой гребли.

— Спортсмены поневоле,— усмехнулся Свердлов.

Кондратий сидел за рулем молча, и ему казалось, что корни его волос холодеют от восторга и любви к этим людям.

12

Проводив взглядом лодку, Ленин сказал:

— Какие люди! Их не сломишь.

Он уселся на берегу, остальные последовали его примеру. Было тихо. Легкий туман, предвестник осени, стлался над озером. В камышах слышались всплески и шумы. Неподалеку, свистя крыльями, пронесся стремительный чирок. Из мрака донеслась безмерно печальная, надрывающая душу перекличка отправляющихся на юг куликов.

С легкой завистью Ленин еще раз перебрал в уме все, что ему рассказали товарищи. Жизнь в здешней глуши показалась ему в этот момент нестерпимой. Его мысли унеслись далеко — в Питер и дальше — в Москву и другие края, откуда съехались делегаты на съезд, и он огорченно подумал о том, как мало пришлось ему ездить по России; он ни разу не бывал на Украине, в Туркестане, не видел Кавказа и Крыма, а в привольной Сибири был ссыльным, подневольным человеком, прикованным к одному месту. Его пронзило до боли острое желание побывать повсюду, быть среди людей, говорить с ними, смотреть им в глаза, чувствовать себя частицей этой силы.

Он тихонько вздохнул и повернулся к Коле:

— Искупаемся, Коля?

— Вот здорово! — воскликнул Коля. Он втянул свой тощий живот, штанишки сами с него свалились, и он бросился в воду.

— Он вас очень любит,— вполголоса сказал Зиновьев.

— Amor d'amor si paga[1],— быстро ответил Ленин.

Все разделись и полезли в воду.

— Не уплывайте далеко,— взмолился Зиновьев, когда Ленин пропал во мраке.

— Ничего, собака Треф на воде следов не чует,— последовал ответ уже издалека.

Потом стало тихо. Зиновьев озабоченно вглядывался в темноту.

— Увлекается,— пробормотал он беспокойно.

Вскоре забеспокоился и Емельянов.

— Поплыть за ним, что ли? — сказал он и, пустившись вплавь, исчез во тьме.

Вернулся Коля. Он запыхался, но был очень весел и не переставал восхищаться:

— Ох, как плавает! А ныряет до-о-лго!..

В темноте раздался всплеск. Это вернулся Емельянов.

— Уплыл... в темноте не найдешь.

Они все трое постояли с минуту в воде, прислушиваясь. Наконец Ленин появился из мрака, лихо работая саженками.

— Владимир Ильич,— укоризненно протянул Емельянов,— разве так можно?

— А что такого? Я знаменитый пловец, Григорий это отлично знает.

Они вышли на берег и уселись на траву. Всеми овладело приятное оцепенение. Было очень тепло. Над землей плыл комариный звон.

Зиновьев, разомлев, начал рассказывать о первых днях войны, заставших Ленина в Поронине, под Краковом, об аресте Ленина австрийскими властями по обвинению в шпионаже; Зиновьев тогда жил недалеко, в Закопане. Узнав об аресте Ленина, он сел на велосипед и в проливной дождь поехал за десять километров к польскому революционеру доктору Длусскому с просьбой о заступничестве.

— Тогда было плохо, а теперь еще хуже,— пробормотал Зиновьев.

Ленин сказал глуховатым голосом:

— Для русского революционера быть обвиненным в

[1] За любовь платится любовью *(ит.)*.

шпионаже в пользу царской России — вещь в высшей степени отвратительная и тяжкая... Скажу вам по секрету, что для него есть только одна вещь столь же отвратительная и тяжкая — это быть обвиненным в шпионаже в пользу кайзеровской Германии.

Эти слова вырвались непроизвольно — Ленин ни разу не касался в разговорах этого вопроса. Емельянов впервые за все время понял, что всю шумиху с «германским шпионажем» Ленин переживает вовсе не так легко, как казалось. Впрочем, Ленин тут же перевел разговор на другое, но тотчас умолк: откуда-то с озера послышалось пение и теньканье гитары. И это теньканье и пение на лодках в темноте под звездами, среди тихих всплесков воды и комариного звона, навевали спокойствие и грусть.

— Да-а,— произнес Ленин.— Хорошо в глуши сидеть, созерцать красоты природы... Что может быть лучше с точки зрения поэта или художника? Как там сказано?.. «Бежит он, тихий и суровый, и звуков и смятенья полн, на берега пустынных волн, в широкошумные дубровы...» А мне, грешному, хочется в Питер, в гущу событий, в кипение масс... Я ведь Питер даже толком и не рассмотрел на этот раз. Даже Медного всадника не видел! А сюда бы Горького прислать... Пусть посидит, подумает. Зря он увлекся чисто политической деятельностью. В политике он путает. Он лучше видит и понимает человека и тонкости человеческих взаимоотношений, чем столкновения классов и тонкости классовых взаимоотношений... Горький и меня защищал в своей газете в статейке «Не трогайте Ленина» и в других статейках скорее как Ульянова-Ленина, то есть некую известную ему и уважаемую им личность, нежели как представителя и защитника интересов определенного класса. Политика — область человеческих отношений, имеющая дело не с единицами, а с миллионами... Он-то, наверно, сердился бы, если бы мы мешались в его творчество, указывая ему, как описывать звездную ночь или озерную зыбь... Вот такую, как сейчас... Да, для художника одиночество часто необходимо. Нам, политикам, людям земным, одиночество возбраняется. Наша стихия — массы. Поэты тоже, вероятно, несмотря на их вдохновенное ремесло, сознают, что творят для масс. Но это у них не так грубо, не так непосредственно. Возможно, что лучшие свои вещи они

создают тогда, когда забывают об этом хотя бы ненадолго. А для нас такое забвение — верная гибель... Коля, ты не замерз?

— Нет.

Ленин рассмеялся:

— А ведь мы тоже ведем теперь далеко не прозаическую жизнь. Шалаш, уединение, подполье, переодевание, ищейка Треф... Нешуточное дело для ортодоксальных марксистов, знающих «Капитал» вдоль и поперек, как мужик свой двор. Эсеры считали себя всегда романтиками, а нас, социал-демократов,— сухарями... Очевидно, Бакунин так же относился к Марксу. А поглядите-ка на эсеров! Выветрилась мужицкая романтика, поблекла. Ничего от нее не осталось. Смирные, пузатенькие... Крестьянская партия, а землицу мужику не дает, а мы, сухари, дадим! Власти хочется, а боятся. А мы, сухари, не боимся. «Мужицкого министра» Чернова обвинили вслед за мной в шпионаже, а он смиренно ушел из министерства, ждет, видите ли, законного расследования! Плюнули ему в рожу, а он утерся и сказал: «Божья роса». А мы ушли в подполье. А в подполье комары кусаются. Коля, искупаемся еще раз!

— Только, чур, далеко не заплывать,— сказал Емельянов.

Ленин и Коля снова полезли в воду, пошумели там, повозились, затем выскочили на берег и стали одеваться.

— Тебе скоро в школу,— сказал Емельянов.— Придется перекочевать обратно домой, мама велела.

Коля сказал угрюмо:

— Никуда я не уйду. Я здесь буду!

Емельянов спокойно возразил:

— Как так здесь? Учиться надо.

Ленин сказал из темноты:

— А ведь нам скучно будет без Коли... Пусть остается. Достаньте учебники, тетрадки, я с ним буду заниматься. Коля, согласен?

— Да,— буркнул Коля, стараясь скрыть свое ликование.

— Ш-ш-ш,— прошипел Емельянов: к берегу приближались две лодки с дачниками. Теньканье гитары и голоса раздались совсем близко.

— Неужели пристанут к берегу? — зашептал Зиновьев.

Мужской голос на одной из лодок пел:

Дитя, не тянися весною за розой.
Розу и летом сорвешь.
Ранней весною фиалки сбирают,
Помня, что летом фиалок уж нет.
Летом захочешь фиалок нарвать ты,
Ан уж фиалок-то нет.
Горько заплачешь, весну пропустивши,
Но уж слезами ее не вернешь...

Другой, пьяный голос со второй лодки вмешался невпопад:

Теперь твои губы, что сок земляники,
Щеки, как розы «Глуар де Дижон»...

— Замолчите, несносный!..— игриво произнес женский голос.

— Молчи, балда! — поддержал даму мужской голос.

Первая лодка загнусила, захлебываясь:

Сначала модель от Пакэна,
Потом пышных юбок волна,
Потом кружева, точно пена,
Потом, потом... она!

Вторая лодка, улюлюкая, отозвалась:

Мадам Клоц! Заберите Борю,
Ведь ребенок сам не рад,
На поле́ он сделал морю...—

и, похохотав, перешла на другое:

Германщики-чики,
Шпионщики-чики,
Вильгельмовы трепачи!

— Это уже про нас,— шепнул Ленин и тихонько-тихонько засмеялся.

Лодки удалялись.

«Белые, бледные, нежно-душистые, грезят ночные цветы»,— несся издали нестройный хор, затем пропал, истаял. Стало тихо.

— Если бы они знали, что вы здесь! — с веселым злорадством воскликнул Емельянов.

— Ах, пошляки, ах, пошляки! — весь закачался от негодования Зиновьев.

— Да,— с задумчивой усмешкой сказал Ленин.— «Щеки, как розы «Глуар де Дижон»...»

Обратно с озера в шалаш шли молча. На всех, даже на Колю, подействовала эта пошлая и ничтожная жизнь, дохнувшая винным перегаром и похабщиной на их тихое убежище. Каждый думал свою думу. Зиновьев думал о том, что старая Россия жива, она поет, разглагольствует, пьет самогон и политуру, декадентствует, торгует, похабничает, ей наплевать на революционеров, преследуемых, вынужденных скрываться; а сознательных пролетариев мало, и они теряются в огромном мещанском болоте.

Емельянов думал о том, как хорошо, что дачники не вздумали пристать к берегу; однако, когда начнется охотничий сезон, здесь вправду станет небезопасно, и, пожалуй, Свердлов верно сказал.

Коля все не переставал восхищаться тем, как Ленин плавает, и по этой причине еще больше негодовал на дачников за их частушку о «шпионщиках-чиках», и ему казалось, что эти частушки больно задели Ленина, и ему было жаль Ленина, и от этого он готов был заплакать в темноте.

Ленин же думал совсем не о том. Он думал о том, что делать революцию и строить социализм так или иначе придется также и с этими маленькими людьми, которые пели и визжали в лодках, что нельзя сделать специальных людей для социализма, что надо будет *этих* переделать, надо будет с *этими* работать, ибо страны Утопии нет, есть страна Россия. Это будет нелегко, трудно, чертовски трудно, труднее, чем сделать самое революцию, но другого выхода нет; потом подрастут вот такие, как Коля, с ними будут свои трудности, но все-таки с ними будет легче. Он положил руку Коле на плечо, и Коле показалось, что Ленин понял, о чем он, Коля, думает, и от этого у Коли сжалось сердце.

13

Купание это было последним. Ночи становились все холоднее. Надежда Кондратьевна слала теплые вещи, но все равно по утрам было страшновато вылезать из шалаша: ветер ранней осени посвистывал среди деревьев и кустов, кружил не пожелтевшие еще листья, морщил невысокую водичку на скошенном лугу. Впрочем, Ленин как будто не замечал холода, как раньше не замечал жары. Он работал теперь над своей очередной

статьей, озаглавленной «Уроки революции», и вел оживленную переписку с президиумом происходящего в Питере съезда партии.

Однажды на закате солнца Сережа привел к шалашу худощавого человека, невысокого, складного, с пышной черной шевелюрой и черными усами под большим нерусским носом. Стог и верхушки деревьев были залиты ослепительно-красными лучами заходящего солнца. Вечер был холодный и ветреный.

Человек с усами пересек поляну, оставляя за собой длинную тень, и на опушке остановился, недоуменно озираясь. Ленин, стоявший возле стога, подошел к нему и сказал:

— Здравствуйте.

Человек обернулся и посмотрел на Ленина равнодушным взглядом.

— Что, не узнаете, товарищ Серго? — спросил Ленин насмешливо, очень довольный тем, что его нельзя узнать.

Лицо Серго вдруг расплылось в улыбке. Он кинулся к Ленину, обнял его, отступил на шаг назад и снова обнял, приговаривая:

— Владимир Ильич!.. Ай, дорогой дачник!.. Ай, дорогой человек!..

Он огляделся. Все кругом было пустынно, и дул ветер. Ленин выглядел так одиноко на этом залитом лучами заката лугу и так непривычно было Серго видеть Ленина одного, без товарищей, что он не знал что сказать.

Он думал, что увидит Ленина в большой уединенной даче, вокруг которой расставлена охрана из проверенных рабочих, может быть с пулеметами. Он теперь понимал сам, что глупо было так предполагать, и в то же время был очень огорчен тем, что вождь партии, за которого сотни людей отдали бы свою жизнь, по сути дела беззащитен.

Алый закат настраивал на торжественный лад и на тихий разговор. А Серго это было трудно при его южной экспансивности. Узнав, что Ленин живет в стогу, он возмущенно всплеснул руками:

— Нехорошо! А я думал, что вы на даче за озером! Как вы тут работаете?.. У вас же нет стола!

Ленин спросил:

— Что на съезде?

— Сейчас расскажу.

Из шалаша между тем вылезли Коля и Зиновьев. Емельянов в это время был в Разливе. Сережа передал Коле кошелку с картошкой и старую овчину и начал разжигать костер.

— Оставайтесь на ночь,— сказал Ленин.— Утром уедете и к началу заседания будете уже в Питере. Условились? Вот и хорошо! Сережа, отправляйся домой. Пораньше приезжай за товарищем.

Сережа ушел к лодке.

Поели хлеба с селедкой и полезли в шалаш. Коля долго слушал их разговор, борясь с дремотой. Но слушать было неинтересно: Ленин, а иногда Зиновьев спрашивали, Серго отвечал, но называл больше фамилии и числа: «Столько-то за, столько-то против... Такой-то за, такой-то против...»

Ленин слушал с вниманием и азартом, то и дело переспрашивал, смеялся, мрачнел, произносил свое многозначительное «гм, гм», а Колю от этих имен и чисел ужасно клонило ко сну. Он еще слышал, как Серго сказал:

— Я Чхеидзе сказал все, что про него думаю. Я ему по-грузински сказал, чтобы он лучше понял: «Ты тюремщик, вот ты кто!»

После этого Коля уснул, а проснувшись на рассвете, опять услышал то же самое — Ленин задает вопросы, а Серго отвечает.

— Вы мне про делегатов расскажите, про рядовых делегатов, с мест. Что они? Какое настроение? Нет ли растерянности? Нет ли упадка духа?

— Ай, Владимир Ильич, какие могут быть сомнения! Люди полны бодрости и веры в победу. Все выросли, возмужали... Вожди! Честное слово, вожди! Артем из харьковской организации, Ворошилов из Луганска, Джапаридзе из Баку, Шумяцкий из Сибири, Бубнов из Иваново-Вознесенска, Цвилинг из Челябинска, Мясников из Минска... А наш выборжский Калинин!.. Души пролетарские — головы министерские...

— Молодежи много?

— Средний возраст делегатов — двадцать девять лет.

— А Минин так и не приехал?

— Арестован по дороге в Питер.

— И Антонов из Саратова не прибыл?

— Тоже арестован. Сняли с парохода вместе с Мининым.

— Сколько, вы сказали, рабочих на съезде?

— Семьдесят человек.

— Больше половины! Разве мы могли мечтать об этом еще полгода назад! — Помолчав, Ленин спросил: — Какое же письмо прислал Мартов?

Серго сердито буркнул:

— Нехорошее письмо! Половинчатое письмо!

Коля снова заснул, а когда проснулся во второй раз, было уже тихо. Все спали. Неяркое солнце всходило на сером небе. Коля вылез из шалаша, побежал к озеру, умылся. Затем он пошел в свой ежедневный обход.

Прежде всего он проверил, как там обстоят дела у Рассоловых на сенокосе. Он пробрался к сенокосу и, затаившись в кустах, стал наблюдать. Из шалаша торчали босые ноги. Вскоре они стали тереться одна о другую, видно замерзли, но еще не знали, что замерзли, начали шевелить пальцами, подрагивать, потом одна нога скрылась в шалаше, за ней другая, затем обе высунулись снова и опять начали тереться одна о другую. Коля чуть не рассмеялся вслух: так они были смешны, эти мерзнущие ноги. Наконец они исчезли, и спустя минуту из шалаша вылез Рассолов. Он постоял-постоял на этих же самых ногах, уже потерявших свою особность, позевал и пошел в лес. Коля хотел было отправиться дальше, но вдруг увидел, что из шалаша вылезла еще одна пара босых ног, поменьше, и вслед за ними появился заспанный Витя, сын Рассолова, друг и соперник Коли. Коля тихо хихикнул при виде его растрепанной головы и заспанного лица. Он обрадовался, что будет с кем поиграть в разведчиков или индейцев здесь, в лесу, и уже приготовился оглушить Витю пронзительнейшим кличем племени команчей, но сразу же вспомнил о своих обязанностях и осекся: Витя, узнав, что Коля здесь, неподалеку, мог повадиться к нему в гости. Коля с ужасом подумал о том, чтó мог бы натворить ненароком! Он отодвинулся в глубь леса с таким страхом, словно действительно увидел перед собой шпика.

Очутившись возле уже знакомой ему муравьиной кучи, Коля сел на траву и задумался. Все-таки жаль, что не придется побегать с Витей и что нельзя открыться ему! Вот бы он ошарашил Витю, рассказав, что

творится здесь, в болотистом лесу у озера, под самым носом у Рассоловых! И вдруг пожалел Витю, вспомнив его скучное, заспанное лицо. «Скучно ему»,— улыбаясь с чувством превосходства, подумал Коля.

— Ай, как ему скучно! — сказал Коля вслух, подражая тому веселому человеку с усами, который был теперь у Ленина.

Он обошел окрестности и, снова вернувшись к шалашу, замер в кустах, наблюдая. Отец уже приехал. С ним был Сашка. Они сидели с Лениным возле ярко горевшего костра и о чем-то разговаривали. Вскоре из шалаша вылез Серго.

— Заспались, заспались,— сказал ему Ленин.— Опоздаете на утреннее заседание. А резолюции я уже пробежал. Я там сделал некоторые поправочки. Покажите товарищам.

Серго блаженно щурился на солнце. Из шалаша вылез Зиновьев. Он выглядел оживленным и бодрым и позвал Серго к озеру умываться. Они ушли. Коля подумал о том, что Зиновьев в присутствии приезжих людей оживляется, обычно же он теперь молчалив и как-то ленив. Коля в этом ощущал некую маленькую фальшь. Он смутно думал о том, что Зиновьев на людях старается быть, как Ленин, показать людям, что он точно такой, как Ленин, что он думает, как Ленин, не менее Ленина бодр, уверен и дружелюбен. Коля не умел делать выводов из своих наблюдений, да и не очень задумывался над их смыслом, он только примечал: если бы не было Серго, Зиновьев никогда не пошел бы в это холодное утро умываться на озеро, не шагал бы так размашисто, помахивая полотенцем, не говорил бы так громко.

Вернувшись с озера, Серго отказался пить чай и ушел с Сашкой к лодке. Перед уходом он крепко пожал руку Зиновьеву, долго тряс руку Ленину, потом пошел, но остановился на опушке, обвел глазами шалаш, стог и всю поляну, развел руками, хохотнул и пропал среди деревьев.

Зиновьев сразу увял, уселся и стал разуваться: ногу терла плохо намотанная портянка.

Коля подошел к костру и спросил у отца:

— Книжки привез?

Он спросил это довольно громко, чтобы Ленин услышал и еще раз подтвердил свое обещание. Но

Ленин был, по-видимому, занят своими мыслями и смотрел отсутствующим взглядом на огонь костра. А Емельянов забыл про обещание Ленина и диву давался, почему Коля все пристает к нему насчет школьных учебников и с чего это он стал таким прилежным.

— Не мешай,— шепнул Емельянов, кивая на Ленина.— Через несколько дней сам поедешь в Питер с Сашей или Кондратием и купишь. Там тетка Марфа будет тебе шить костюм.

14

Шотман, в золотом пенсне и черной шляпе, с тросточкой в руках — ни дать ни взять прогуливающийся дачник,— приехал вечером и застал Ленина очень обеспокоенным последними новостями. Ленин сидел у костра. Отсветы пламени тревожно метались по его лицу. Газеты, полученные утром, исчерканные красным и синим карандашом, валялись окрест, как после побоища. Без этих яростно раскиданных газет пылающий костер с кипящим чайником и сидящими вокруг тремя мужчинами и мальчиком имел бы вполне мирный вид.

Ради конспирации Шотман молча собрал и сложил в кучу газеты. Затем он сел к костру и стал рассказывать. Обычно уравновешенный и сдержанный, Шотман сегодня был взволнован: в газетах появилось сообщение о происходящем съезде большевиков и цитировалось заявление Свердлова о том, что Ленин, не имея возможности присутствовать на съезде, тем не менее находится поблизости и незримо руководит съездом. В связи с этим засуетились прокуратура и контрразведка, по Питеру ходят слухи, что они собираются запросить съезд о местонахождении Ленина и в случае отказа сообщить, где он находится, возбудят против участников съезда уголовное обвинение в укрывательстве. А в вечерних газетах — Шотман привез их с собой — была напечатана сенсационная статейка: «Новые улики против Ленина». Некий Семен Кушнир, «случайно задержанный милицией в Киеве», оказался «одним из мелких немецких шпионов, работающих в России». «По вопросу о своей шпионской работе он имел личную беседу с Гинденбургом. В делах шпионажа им руково-

дил австриец Фридерис. О Ленине Фридерис говорил ему, что для Ленина касса в Германии всегда открыта и он может получать сколько хочет денег».

Об этих новостях Шотман возбужденно рассказал Ленину и Зиновьеву. Ленин быстро просмотрел вечернюю газету и махнул рукой:

— Расчет на стопроцентных идиотов! «Один из мелких немецких шпионов» имел личную беседу с главнокомандующим германской армией фон Гинденбургом... Весьма убедительно! Все это ерунда. Вот что важно, вот где гвоздь политического момента: буржуазия решила сорганизоваться против революционного пролетариата. Решено провести «государственное совещание». И, конечно, в Москве, древней столице... Под трезвон сорока сороков... Туда съедутся крупнейшие фабриканты, биржевые и банковские воротилы, помещики, царские генералы и святители православной церкви, а наши эсеры и меньшевики — за ними, петушком, петушком, как покойный Петр Иванович Бобчинский! Контрреволюция готовится к решительной борьбе. У них в арсенале кое-что есть. Вот Рябушинский на торгово-промышленном съезде провозглашает, что для выхода из положения «потребуется костлявая рука голода, которая схватила бы за горло лжедрузей народа — демократические советы и комитеты». Вот их первый союзник — голод. Второй — бонапартистская диктатура. А в крайнем случае — и мы должны всегда помнить об этом! — они пустят немцев в революционный Питер. Думаю, что русская буржуазия не забыла господина Тьера... Как только дело доходит до кармана, весь патриотизм буржуазии идет насмарку... Вот, Александр Васильевич, какие дела.

— Да, дела серьезные,— согласился Шотман, нахмурившись.

— Пожалуйста, передайте в ЦК: сейчас многое зависит от московских товарищей. Надо поднять всю пролетарскую Москву против «государственного совещания»... Вплоть до всеобщей забастовки.

— Передам, обязательно.

Чайник между тем вскипел, Емельянов разлил кипяток по оловянным кружкам и роздал всем по маленькой конфете. Ленин, устремив пристальный взгляд в огонь, взял было кружку, но затем отставил ее.

— Все-таки удивительно ничтожна дорвавшаяся до «свободы слова» буржуазная пресса! — сказал он.— Газеты полны очередной сенсацией: Временное правительство переводит Николая Романова из Царского Села в Тобольск. «Все труды по организации переезда бывшего царя взял на себя министр-президент Керенский...» Царя сопровождают четыре повара, пятнадцать лакеев... С бывшим наследником Алексеем отправляется его дядька — кондуктор флота Деревянко, матрос Нагорный и француз-гувернер Жильяр. В поезде царя три вагона международного общества, вагон-ресторан и запасный вагон. С каким смакованием, с каким распущением слюней пишет кадетская «Речь» о царе, хотя бы и бывшем! «Первым сел в мотор...», «Императрица вышла в сопровождении статс-дамы Нарышкиной...», «Николай Романов был молчалив и в угнетенно-подавленном состоянии духа... Семья же царя, напротив, проявляла оживление и большой интерес к переезду»... Все рассчитано на сочувствие и слезы лабазников и дворников... Да и сам профессор Милюков, вероятно, украдкой смахнул слезу, сказав латинскую пошлость, вроде «Sic transit gloria mundi»[1]. Газеты полны этой чепухой. А вот о событиях действительно выдающихся пишется мельчайшим петитом: в Свияжском уезде, Казанской губернии, захвачена крестьянами мельница помещицы Обуховой, в Василькове — мельница графа Браницкого, Перечицкий комитет постановил распределить между крестьянами луговую землю, принадлежащую Александро-Невской лавре. В имении помещика Прозаркевича Рославльского уезда крестьяне самовольно вспахали помещичьи поля, вырубили часть леса, захватили сенокосы. В Курском уезде у помещика такого-то крестьяне скосили и свезли к себе тридцать тысяч пудов сена, у помещика имярек захватили пар и луга... и так далее. Происходит аграрная революция по всей стране, а о ней сообщается петитом! Рабочие после непродолжительного замешательства подтверждают свою верность большевистским лозунгам; собрания рабочих Кабельного, Путиловского, Франко-Русского, Порохового заводов, Монетного двора, Путиловской верфи, «Новый Лесснер», собрание домашней прислуги в цирке «Модерн» и так далее, до бесконечности,

[1] Так проходит слава мира *(лат.)*.

принимают большевистские или почти большевистские резолюции, корабли Балтийского флота требуют освобождения большевиков,— а об этом буржуазные газеты ни гугу! Зато они печатают жирнейшим шрифтом изречения господина Милюкова: «Большевистский бунт столкнул Россию с пути стихийности на путь разумного прогресса. Большевизм уже не опасен». Не опасен? Ну, это мы еще посмотрим.— Ленин вдруг рассмеялся.— Не помните, Григорий, в какой газете это самое?..— Он стал ворошить кучу газет, достал одну и прочитал, смеясь: — «Товарищ благочинный, доводим до вашего сведения, что если вы и подвластные вам иереи не согласитесь на новый дележ церковных доходов, то все постепенно будете убиты. Боевая организация городских и сельских псаломщиков...» Революция докатилась и до церковного клира,— правда, в довольно своеобразной форме!

Ленин взял кружку и начал прихлебывать горячую воду.

Шотман сказал, роясь в привезенных им бумагах:

— Вот, возьмите тетрадь, которую вам послала Надежда Константиновна.

Ленин на мгновение оцепенел от неожиданности, потом неторопливо поставил кружку на землю и взял тетрадь. Да, это была та самая синяя тетрадь! Он подержал ее в руках, потом быстро перелистал, захлопнул и положил рядом с собой, но не надолго. Спустя минуту он снова взял ее в руки. Он то читал ее, то захлопывал, то поглаживал задумчиво, то снова читал. Ему смутно вспомнилось, что однажды он вот так же гладил, открывал и закрывал какую-то другую тетрадь и испытывал такое же спрятанное от посторонних, но острое чувство счастья. Да, это происходило двадцать с лишним лет назад. Только тогда была не синяя, а желтая тетрадь — гектографированное издание брошюры «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» — его первая «напечатанная» крупная работа.

Он даже к газетам потерял обычный интерес, не стал просматривать привезенные Шотманом вечерние газеты, то и дело брал в руки тетрадь, листал ее, удовлетворенно хмыкал, иногда лукаво взглядывал на Зиновьева и Шотмана, разговаривавших о положении в Питере.

Шотман сказал, смеясь:

— Вчера в ПК Лашевич сказал: «Вот посмóтрите, Ленин в сентябре будет премьер-министром».

Ленин, листая синюю тетрадь и прихлебывая кипяток, спокойно отозвался:

— В этом нет ничего удивительного.

Шотман улыбнулся несколько растерянно. Ленин внимательно посмотрел на него и, поставив кружку на траву, сказал:

— Неужели вы не видите, что мы идем на всех парах ко второй революции, которая создаст новое государство рабочего класса и полупролетариев деревни?

И, не дожидаясь ответа, он углубился в свою тетрадку.

Емельянов молча подкинул в костер хворосту, чтобы Ленину было светлее.

15

Читая свои выписки из Маркса и Энгельса, Ленин ощутил подъем, сравнимый, может быть, только с тем подъемом, какой он испытал 3 апреля у Финляндского вокзала, увидев на площади вооруженный питерский пролетариат с красными знаменами. Он почти забыл о том, где находится, забыл о Сестрорецком Разливе, о сидящих рядом товарищах, о своем подполье — ему казалось, что он снова стоит на броневике и перед ним миллионы уже не восторженных, а строгих глаз, устремленных на него не с ликованием и надеждой, а скорее с вопросом: «Что ты нам скажешь? что ты можешь для нас сделать? вырвешь ли ты нас из бедности и слепоты? куда нам идти? скажи, если знаешь!»

Когда он в библиотеке «Музейного общества» и в читальном зале на Зайлерграбен, 31, в Цюрихе, выписывал из сочинений Маркса и Энгельса места, посвященные вопросу о государстве и диктатуре пролетариата, он прекрасно сознавал их значение; он собирался о них писать, их комментировать, вылущить их из наслоенной усилиями мещанских социалистов шелухи и опубликовать статью на эту тему в 4-м номере «Сборника социал-демократа», задуманном им в 1916 году и

не осуществленном из-за отсутствия денег. Но тогда это были все-таки размышления в библиотечной тишине тихого швейцарского городка, они были все-таки обращены непосредственно лишь к сотням людей, большею частью знакомых ему лично или по именам и партийным кличкам, все-таки их ближайшим адресатом были группы подпольщиков в России, группы ссыльних в Туруханском и Нарымском краях, группы эмигрантов в Париже, Берне, Женеве, Нью-Йорке, Лондоне, Вене. Эта работа и была, собственно говоря, задумана как ответ на неверные суждения Бухарина и еще кого-то из русских марксистов, как опровержение подделок и мещанских иллюзий Каутского и еще кого-то из ожиревших немецких социал-демократов. Теперь все эти намерения казались уже мелкими до смешного, как заботы об извозчике в апреле 1917 года, как заграничный котелок среди кепок рабочей толпы. Теперь эти выписки и выводы из них имели то же значение, что хлеб, и соль, и спички, и ситец для миллионных масс людей.

Именно это изменение масштабов того же самого замысла потрясло его. То было ощущение, какое мог бы испытать человек, смастеривший первое колесо, если бы ему при жизни показали, к чему приведет, во что сумеет развиться, какой размах приобретет его первоначальный топорный замысел.

Разумеется, Ленин отмахнулся от этих высокопарных сопоставлений, сделал озабоченно-деловитое лицо, исподлобья взглянул на товарищей — не заметили ли они его «воспарения к небесам», столь неподходящего для практика-революционера. Но они сидели попрежнему у костра, словно ничего особенного не произошло. На всякий случай он бросил им подчеркнуто будничные слова:

— Полезная, очень полезная тетрадка.

Он не любил патетики, побаивался ее и всегда старался ее избегать.

Но все равно он был полон ликования. Он думал о Марксе и Энгельсе так, как думают о близких знакомых, пожалуй что родственниках, ему казалось, что оба старика сидят рядом и беседуют с ним мудро и благосклонно, словами бездонной глубины и прометеевской дерзости наполняя его сердце теплотой и буйным молодым весельем.

— Ах, какие же вы молодцы! — говорил он им.— Как мы с вами утрем носы рабовладельцам и филистерам земного шара! Какую кашу мы с вами заварим на нашей окаянной планете! Мы им покажем «щеки, как розы «Глуар де Дижон»!

Оба старика представлялись ему не в обычном портретном сходстве, а как сошедшие с рисунков Доре два бородатых гиганта, всезнающих, проницательных, буйно хохочущих над малютками-мещанами, тоже бородатыми, но совсем крошечными, которые взгромоздились на высокие подмостки и взялись за ручки, чтобы заслонить тех, огромных, от взглядов человеческих толп.

Еле дождавшись утра, он начал набрасывать план брошюры (он нарочито называл свою новую книгу этим обыкновеннейшим названием, опять-таки чтобы избежать витийства, патетики). У него было при этом неясное, но знакомое, почти физическое ощущение: словно он двумя пальцами правой руки, большим и указательным, вырывает из хоровода малюток-мещан одного за другим и бросает, не глядя, в кусты.

16

Последующие дни Ленин все время был занят работой над своей «брошюрой». Он почти не замечал окружающего, стал есть еще меньше прежнего, чем приводил в отчаяние Емельянова на этом и Надежду Кондратьевну на том берегу, не проявлял нетерпения по утрам, дожидаясь газет.

Набросав план брошюры, Ленин рассказал Зиновьеву содержание своей новой работы. Они находились вдвоем у шалаша, Емельянов уехал зачем-то на другой берег, а Коля, вероятно, был в лесу, собирал грибы на ужин.

— Это будет полезная штука,— говорил Ленин, прохаживаясь взад и вперед, по своему обыкновению.— Ясная программа действий на ближайшее время после захвата власти, да и не только на ближайшее. Речь здесь пойдет о характере, даже, если угодно, о стиле жизни пролетарского государства, государства типа Коммуны, причем совсем не в утопическом плане, так как нам достаточно ясны трудности и сложности

строительства социалистического общества с тем человеческим материалом, который имеется налицо... Это будет государство диктатуры пролетариата, которое, собственно говоря, имеет две ипостаси: демократия для гигантского большинства народа и беспощадное подавление угнетателей народа и вместе с ними таких бессознательных, но упорных «любителей» капитализма, как тунеядцы, баричи, мошенники, хулиганы, черносотенцы... Это будет небывалое государство, такое, которое стремится к собственному отмиранию. Оно отомрет, когда люди настолько привыкнут к соблюдению основных правил общежития и когда их труд будет настолько производителен, что они добровольно будут трудиться по способностям. Это будет государство, где нет места высокооплачиваемым чиновникам, где все чиновники будут выборны и сменяемы в любое время, где функции учета и контроля будет выполнять большинство населения; а так как вооруженные рабочие не сентиментальные интеллигентики и шутить с собой едва ли позволят, то уклонение от всенародного учета и контроля станет редчайшим исключением, а соблюдение правил человеческого общежития станет привычкой... В этой брошюре будет дан бой обеим равно опасным формам политической слепоты: размашистой анархистской дальнозоркости, то есть неумению и нежеланию видеть реальную действительность, и трусливой оппортунистской близорукости — неумению и нежеланию видеть цель, перспективу, будущее. Да, прав Энгельс. Государство есть зло, которое по наследству передается пролетариату, одержавшему победу. Победивший пролетариат отсечет худшие стороны этого зла, но вынужден будет сохранить его до тех пор, пока новые поколения, выросшие в свободных общественных условиях, окажутся в состоянии выкинуть вон весь этот хлам государственности... В моей брошюре будет, помимо того, доказана необязательность старой схемы: что-де французы начнут, немцы закрепят... Начнет Россия! Это не мессианство, а историческая необходимость... Брошюру я назову «Государство и революция».

Зиновьев слушал, и его бросало то в жар, то в холод. Он сидел на корточках, опустив голову, перебирая руками спутавшиеся мокрые травинки. Он не понимал, как Ленин мог настолько потерять чувство

реальности, что всерьез, совершенно всерьез говорит о захвате власти в ближайшее время, да еще и о типе того государства, которое будет создано в России после захвата власти. Это уже становилось опасным для самого существования партии, для судьбы революции. Но допустим, что Ленин прав, что власть можно захватить, что режим Керенского не сможет оказать сопротивления. Удача была бы для партии еще более гибельна, чем неудача. Что они будут делать, взяв власть? Быть в оппозиции к существующей власти было так понятно, так привычно. Но самим быть властью? Не митинговать, а распоряжаться? Не критиковать, а приказывать? Кто теперь будет выполнять приказы? Разложившаяся армия отдаст Россию немцам или Антанте. Крестьяне не дадут хлеба, заводы не получат сырья. Чем мы накормим голодных? Рабочие мало разбираются в том, что такое экономика, рынок, валюта и т. д. Но Ленин ведь разбирается в этом отлично. Как же он может идти на такой величайший риск, как может он всерьез говорить о взятии власти как о ближайшей перспективе?

Зиновьев чувствовал, что настала пора поговорить с Лениным начистоту, удержать его от опрометчивых шагов, чреватых тягчайшими последствиями. Надо было это сделать как можно хладнокровнее, как можно спокойнее, чтобы не выдать невзначай своего смятения.

Он встал на ноги и сказал с улыбкой:

— Вы в самом деле согласны с Лашевичем насчет близкого премьерства?

— Какого премьерства? — удивленно спросил Ленин и, вспомнив, расхохотался. — А... Конечно, согласен! Уверен.

— Ох-ох-ох... Боюсь, что вы так углубились в свой труд о будущем пролетарском государстве, что не видите, что творится в реальном государстве российском.

— Вы так думаете? — Глаза Ленина потемнели.

— Я не хотел об этом говорить...

— Почему? Говорите... То-то я вижу, что вы все молчите в последние дни.

— Вы были слишком увлечены своей брошюрой. Вы вообще перестали со мной разговаривать. Вы оживляетесь только тогда, когда кто-нибудь является из Питера... Может быть, я надоел вам на этом

необитаемом острове? Вероятно, и Пятница временами надоедал Робинзону...

— Помилуйте... Вы же собирались сообщить мне что-то серьезное!

— Я думаю, что вы и за вами ЦК совершаете ряд тактических ошибок. Вы жонглируете лозунгами!

— Я не жонглирую лозунгами, а говорю массам правду при каждом новом повороте революции, как бы ни был он крут. А вы, как мне сдается, боитесь говорить массам правду. Вы хотите вести пролетарскую политику буржуазными средствами. Вожди, знающие правду «в своей среде», между собой, и не говорящие эту правду массам, так как массы, дескать, темны и непонятливы, не пролетарские вожди. Говори правду. Если терпишь поражение, не пытайся его выдавать за победу; если идешь на компромисс, говори, что это компромисс; если ты легко одолел врага, не тверди, что тебе это было трудно, а если трудно — не хвастай, что тебе было легко; если ты ошибся — признайся в ошибке без страха за свой авторитет, так как подорвать твой авторитет может только замалчивание ошибки; если обстоятельства заставили тебя менять курс, не пытайся изображать дело так, словно курс остался прежним; будь правдив перед рабочим классом, если веришь в его классовое чутье и революционный здравый смысл, а не верить в это для марксиста — позор и гибель. Более того, даже врагов обманывать — дело исключительно сложное, обоюдоострое и допустимое только в самых конкретных случаях непосредственной боевой тактики, ибо наши враги отнюдь не отгорожены железной стеной от наших друзей, имеют еще влияние на трудящихся и, искушенные в деле одурачивания масс, будут стараться — и с успехом! — выдавать наше хитроумное маневрирование за обман масс. Быть с массами неискренними ради «обмана врагов» — политика глупая и нерасчетливая. Пролетариат нуждается в правде, и нет ничего вреднее для его дела, чем благовидная, благоприличная обывательская ложь.

Зиновьев раздраженно рассмеялся.

— Правда правде рознь,— сказал он.— Нельзя доходить до наивности. Я помню, в апреле, сразу после приезда, вы в своей речи в Таврическом дворце сказали, что у вас еще неполное представление о событиях, так как вы успели поговорить только с одним рабочим.

Это заявление вызвало гомерический смех среди меньшевиков и порядочный конфуз среди наших товарищей...

— Прекрасно. Я так сказал с умыслом. Я сказал так, потому что это правда. Зато когда я в следующий раз сказал, что встречался с многочисленными рабочими Путиловского, Трубочного и других заводов и хорошо знаю их настроение,— мне все поверили... Не дай бог дожить нашей партии до того, чтобы ее политика делалась втайне, где-то наверху, келейно,— мы-де умные, мы знаем всю правду, а массам будем говорить полправды, четверть, осьмушку правды...

— Все это очень мило, но ведь вы теперь, в условиях разгрома и разброда, не устаете призывать к вооруженному восстанию, к взятию власти пролетариатом вопреки всей расстановке сил в стране... Это — витание в облаках!

— Ах, вот оно в чем дело! Вы боитесь ответственных решений!

— Я боюсь безответственных.

— Вы боитесь того, к чему мы оба стремились всю жизнь, о чем мы писали, о чем мечтали,— пролетарской революции.

— Я боюсь вооруженной вспышки при невыгодных условиях, революции, обреченной на поражение. Мы можем потерять все.

— Все нельзя потерять. Все могут потерять отдельные лица — Ульянов, Зиновьев, Крупская, Лилина. Пролетариат не может потерять все. В одном известном вам сочинении сказано, что он ничего не может потерять, кроме своих цепей. А совершенно идеальных условий, без всякого риска, для революции не бывает... Ваши слова напомнили мне внешне простодушное, но, по сути, очень тонкое замечание старика Тацита об одном римском заговорщике, кажется о Пизоне: «Его удерживало желание безнаказанности, всегда служащее препятствием для важных предприятий». Вы кажетесь мне, Григорий, похожим на этого — гм, гм — робкого римлянина. Совершать важные предприятия при гарантии безнаказанности невозможно.

— Вы, если не ошибаюсь, обвиняете меня в трусости? Мне кажется, вы достаточно хорошо меня знаете...

— Дело тут не в личной трусости...

— Посмотрите, что делается в армии! Темные сол-

даты на митингах голосуют против «ленинцев-провокаторов»...

— Вот-вот! Они голосуют против «ленинцев-провокаторов» и тут же требуют мира и земли — то есть того же самого, что требуют «ленинцы-провокаторы». Все очень просто. Мы выражаем коренные интересы масс, и с этим ничего не смогут поделать Милюков и Керенский.

— Коренные интересы масс выражали многие партии, потерпевшие тем не менее поражение. То, что вы говорите,— философия, а не политика.

Глаза Ленина вспыхнули, но он сдержал себя и сказал спокойно, даже поначалу шутливо:

— Еще Платон говорил, что если в государствах не будут властвовать философы или если властители не научатся быть философами и государственная власть и философия не совпадут воедино, то ни для государства, ни вообще для рода человеческого невозможен конец злу. Когда мы возьмем власть в свои руки,— а это будет скоро... Вы напрасно пожимаете плечами, Григорий... Когда мы возьмем власть в свои руки, наша власть будет основываться на марксистской философии, и если мы будем ее держаться не на словах, а на деле, вовлекая в строительство массы, их творчество, их разум, то построим новое общество без серьезных ошибок.

— Но я боюсь, что вы как раз отрываетесь от масс, вы забегаете вперед, вы нетерпеливы, вас надо держать за фалды... Нам следует теперь маневрировать и ждать.

Ленин, шагавший все время взад и вперед, при этих словах Зиновьева остановился и круто повернулся к нему:

— Ждать? А кто еще так умеет ждать, как мы, русские марксисты? Разве мы мало ждали? Разве, овладев научным социализмом, выстрадав его, поверив в рабочий класс и его победу, мы не научились ждать так, как никто никогда не умел? Разве мы не подавляли в себе приступов ненависти и отчаяния, инстинктивного, вполне человеческого при виде несправедливости и подлости врагов, позыва к терроризму, к немедленным действиям — подавляли потому, что знали, как важно, работая, собирая силы, убеждая, веря, уметь ждать? Разве даже в Апрельских тезисах, вначале воспринятых многими у нас в партии как самое крайнее

бунтарство, ушкуйничество, анархизм, бланкизм, я не признал главной задачей «разъяснение» — то есть опять-таки, указав направление работы, не призвал ждать? Каменев тогда, как вы помните, даже критиковал меня «слева», утверждая, что «разъяснение», дескать, не политика; вести политику, по его мнению, значит плести политические комбинации, интриги с другими партиями, блокироваться и деблокироваться, витийствовать на парламентской трибуне! Разве, наконец, во время июльских событий и после них я не настаивал — хотя и недооценив, быть может, революционного настроения масс,— на немедленном прекращении выступления, на превращении его в мирную демонстрацию? Это ли значит не уметь ждать? Но бывают моменты, когда ждать — преступление. Такой момент может скоро наступить, он, несомненно, скоро наступит, и если мы и тогда уклонимся от немедленного действия, то мы окажемся дюжинными мелкобуржуазными социалистами, болтунами и фразерами, и рабочий класс отвернется от нас. Если мы и тогда будем ждать, если и тогда не предадим проклятию «терпение», как некогда Фауст,— мы трусы и ничтожества, и история нам никогда этого не простит.

Зиновьев затих, потрясенный трагическим пафосом, так непривычно прозвучавшим в устах Ленина. Затем он в отчаянии воскликнул:

— Но вы понимаете, что значит взятие власти теперь, в нынешний момент, в нынешней России?

— Понимаю ли я? — переспросил Ленин, неожиданно успокаиваясь и окидывая лицо Зиновьева долгим взглядом.— Хорошо понимаю. Я об этом предмете думал днем и ночью, так что голова пухла. «Нынешняя Россия»,— говорите вы. Для того, чтобы создать Россию будущую, надо сделать революцию в России нынешней — другого пути нет. Да, темнота. Да, лапотность. Да, дикость. Что ж, взяв власть, мы сможем искоренить эти мрачные черты российской действительности вдвое, вдесятеро, в сто раз быстрее. Да, наши рабочие сплошь да рядом недостаточно культурны, недостаточно просвещенны по сравнению с западными... Это усугубляет наши трудности. Однако это имеет и свои положительные стороны: русские рабочие не отравлены повседневной, превосходно организованной на Западе, растлевающей душу буржуазной пропагандой собственничества,

страсти к наживе, к мещанскому благополучию. В сердцах наших рабочих пылает великая ненависть к эксплуататорам. А такая ненависть есть поистине «начало всякой премудрости», основа всякого революционного действия...— Помолчав, Ленин добавил сухо: — Впрочем, у нас есть партия, есть ЦК, и они примут решение в нужный момент.

— Это все слова! — подавленно проговорил Зиновьев.— Слова! Вы прекрасно знаете, что ваше мнение имеет решающее влияние на ЦК.

— Что ж, я горжусь тем, что умею убеждать товарищей. Руководитель — тот, кто умеет убедить при наличии абсолютной свободы мнений. Но вот после решения свободы мнений уже быть не может. Вы помните, некий римский полководец много веков назад велел казнить собственного сына за то, что тот ослушался приказа во время сражения. Доимператорские римляне знали, что такое дисциплина. Поэтому этот латинский посад стал Римом.

Зиновьев еще что-то говорил, цитировал Маркса, Энгельса и Прудона, но Ленин, словно потеряв интерес к разговору, замолчал.

Тем временем наступил вечер, серый и ненастный. Урывками шел дождик, с озера тянуло холодом. Молчание становилось тягостным. Стук дождевых капель казался Зиновьеву тиканьем больших туманных часов, отсчитывающих время этого тяжкого молчания. Он смотрел вниз, в землю, ожидая. Ленин прошелся по поляне, вернулся, остановился возле шалаша, потом снова пошел от него к лесу. И Зиновьеву показалось, что он ушел, чтобы никогда не вернуться. Зиновьев поднял голову. Ленин стоял на опушке в характерной для него позе — несколько расставив ноги, словно врос в землю, наклонив голову немного набок, заложив большие пальцы рук за проймы жилета. Он словно прислушивался к чему-то — к шуршанию листьев, к мерному постукиванию капель. Потом он вернулся. Казалось, он готов был обрушить на голову Зиновьева тонны новых доказательств. Но он ничего не сказал, снова ушел к опушке и там начал шагать взад и вперед, сначала медленно, потом быстрее — от шалаша к лесу, от леса к шалашу. Зиновьев постоял, постоял и ушел в шалаш.

17

В это время из лесу появился Коля с полным ведром грибов. Зиновьев слышал издали, как Ленин оживленно разговаривал с Колей. По-видимому, они перебирали грибы, и Ленин громко восхищался удачным сбором и говорил:

— Ну и красавцы! А завтра после дождика их будет еще больше.

Коля сказал с некоторой грустью:

— Завтра я еду в город.

— Неужели?.. Завидую тебе.

— Я там книжки и тетрадки куплю.

— А когда вернешься?

— Через три дня. Тетя Марфа будет мне шить костюм.

— Превосходно. Завидую тебе вдвойне... А гляди-ка, какой подосиновик! Это ведь подосиновик? Весу в нем не меньше чем полфунта... А это какой гриб?

Дождь усилился, и Ленин с Колей побежали к шалашу. Они влезли, улеглись рядом, снова заговорили о грибах, и Зиновьеву казалось, что Ленин говорит о грибах ему назло. Впрочем, вскоре стало тихо. Коля уснул. Ленин лежал неподвижно,— может быть, тоже задремал.

Но Ленин не спал. На душе у него было смутно и тяжело. Разговор с Зиновьевым поразил его. Он считал Зиновьева партийным товарищем, полностью разделяющим его взгляды на все важнейшие вопросы политики. Зиновьев был образован, необыкновенно усидчив, обладал прекрасной памятью и глубоким знанием марксистской литературы. На каждый случай жизни он мог вспомнить подходящую цитату. Для литературной работы это штука удобная, а вот для политической борьбы, где нужны быстрые и самостоятельные решения,— тут нет вещи более противоречивой и коварной, если цитирующий не способен учитывать переменчивость времен, когда та или иная «цитата» появилась на свет божий. К примеру, нет ничего легче, чем во время наступления найти убедительнейшую цитату о важности организованного отступления, а при спаде движения — зарываться, подтверждая свое шапкозакидательство фейерверком отличнейших цитат времен наступ-

ления. Цитата! Каких бед способна ты наделать в качестве орудия догматического ума!

Вспоминая весь разговор, Ленин все больше сердился, досадовал и на себя: за то, что как-то проморгал колебания и сомнения товарища, не пытался повлиять на него, был слишком в нем уверен,— и на Зиновьева: за то, что тот отмалчивался, вел себя неискренне и так мало, оказывается, вник в сущность переживаемого момента.

Сколько потерь за эти двадцать лет! Соратники по старой «Искре» — блестящий Плеханов, талантливый Мартов, деятельный Аксельрод, милая, добрая Вера Засулич,— они теперь были врагами, непримиримыми и беспощадными. Хорошо было успокаивать себя тем, что они стали врагами постольку, поскольку отражают половинчатую идеологию класса мелкой буржуазии,— это было верно, но нисколько не утешительно. Ломались дружбы и привязанности, приходилось отрезать от себя людей, как куски собственного тела. И как радостно было, несмотря на все ученые рассуждения о половинчатой идеологии мелкой буржуазии, как весело становилось на душе, когда намечалось сближение с ними — с Плехановым, с Мартовым! Нынешняя революция, очевидно, отдалила их навсегда.

Ленин прислушался к дыханию Зиновьева и с внезапной безмерной горечью подумал: «Неужели предстоит и такое? как там сказано? «Не успеет трижды пропеть петух...»

Его больно кольнуло в сердце, и он тихонько вылез из шалаша, чтобы освежить голову под дождем.

Дождь вскоре превратился в грозовой ливень. Ломаные молнии то и дело безжалостно впивались в покатую твердь огромного неба, и казалось, что, вкусив его, напившись его огненной крови, зажигались и отпадали от него и мгновенно гасли, сытые, и пропадали в невидимом громовом полете, чтобы через минуту впиться в его плоть в другом месте. Дрожащие деревья и кусты то ярко освещались, то пропадали в густейшем мраке. Прямой ливень огромной силы, тяжелый, как свинец, бил и бил по земле и отражался от нее миллионами мельчайших брызг, похожих в свете молний на медленный дым, относимый в сторону ветром.

Ленин стоял, втиснувшись в стог. Холодные брызги достигали его, но он этого почти не чувствовал. Он

все думал о потерях, понесенных партией. Он теперь вспоминал погибших товарищей. Он вспомнил Николая Евграфовича Федосеева, гениального юношу, которого он в молодости считал своим учителем и надеждой русской революции. В минуту отчаяния Федосеев застрелился в Верхоленской ссылке; ему было тогда 27 лет. Ленин вспомнил Ивана Бабушкина, умнейшего петербургского рабочего-слесаря, беззаветного революционера, расстрелянного карательной экспедицией в 1905 году; Иосифа Дубровинского, человека необыкновенной проницательности и доброты, покончившего самоубийством в Туруханском крае — месте своей последней ссылки; обаятельнейшего Николая Баумана, настоящего революционного вождя, убитого черносотенцами; Виргилия Шанцера, умершего в полицейском приемном покое для душевнобольных, и даровитого Сурена Спандаряна, кончившего свою честную, многострадальную жизнь в Красноярской тюремной больнице; екатеринославского рабочего Вилонова, погибшего в эмиграции от туберкулеза; рабочего-большевика Якутова, расстрелянного в Уфимской тюрьме, и многих других.

Вспоминая этих людей, Ленин жалел, что их нет теперь, в решительный момент, и в приступе тоски ему на какое-то мгновение показалось, что они были бы сильнее и мудрее, чем те, кто остался в живых. И он в своей ревнивой и страстной придирчивости вспоминал о недостатках своих нынешних товарищей: о властолюбии одного, тяжелом характере другого, нерешительности третьего, легкомыслии четвертого — и думал о том, что после взятия власти эти черты способны развиться до уродливых размеров. «Самое трудное и страшное,— думал он,— это драться беспощадно не с врагами, а с близкими людьми, с единомышленниками. А не драться никак нельзя... Надо только никогда не забывать, что нет ничего прекраснее, чем убедить товарища в его ошибке и вернуть на верный путь. Нет, нет, власть не должна, не может развратить людей, помнящих, для чего она взята, знающих твердо, что движение само по себе ничто, если оно не имеет великой и ясной цели. Нет, нет, в лице большевиков появился, употребляя выражение Герцена, «новый кряж людей», который способен на великое самопожертвование, на растворение своей личности в воле и чаяниях рабочего класса.

А со всем мелким, личным, корыстным надо бороться общими силами, и каждый из нас должен с этим бороться в себе самом».

В это мгновение Ленин при свете молнии увидел возле отверстия шалаша Колю. Сонный мальчик тер глаза, еще не понимая, что его разбудило и что происходит вокруг, и, очевидно, думая, что видит сон. Когда же он понял, что все это наяву, он смешно испугался, раскрыл рот и заморгал глазами. Он долго не мог опомниться от ужаса и очарования этой ночи, и при свете молний Ленин то видел, то не видел, но ясно представлял себе лицо мальчика, испуганное и очарованное. Так или иначе, но вид мальчика подействовал на Ленина успокоительно, и он мысленно поблагодарил Колю за его комично-испуганное лицо, вернувшее Ленина на милую землю с ее заботами и делами.

Ливень стал утихать. Ленин закрыл глаза, постоял так с минуту, глубоко вздохнул, вытер руками мокрое лицо и, словно стерши вместе с водой свое тяжелое настроение, почти весело прошептал:

— Коля.

Мальчик встрепенулся:

— Кто там?

— Треф.

— Кто там?

— Собака Треф.

Коля радостно засмеялся и, стараясь разглядеть Ленина в темноте, высунул голову под дождь, затем выскочил из шалаша.

— Ты куда полез? Промокнешь насквозь...

Они взялись за руки и постояли так с полминуты молча. Коле было непонятно, почему Ленину вздумалось стоять под грозой, в его голове пронеслась странная и смутная мысль о том, что вождю революции к лицу стоять в одиночестве среди молний и что он должен себя чувствовать среди бушующей природы уютнее, чем обыкновенный человек. Но Ленин, словно бы нарочно, с целью опровергнуть Колины вдохновенные догадки, сказал:

— Ну и продрог же я, зуб на зуб не попадает! Скорее в шалаш, под крышу, под одеяло!..

18

Зиновьев слышал шум ливня, раскаты грома, разговор Ленина с Колей. Он знал, как решительно Ленин рвет с людьми, которые расходятся с ним по важным вопросам политики, и чувствовал, что деревенеет от неприятного чувства одинокости.

Ленин улегся рядом, от него повеяло запахами дождя и мокрых трав. Зиновьев все собирался заговорить, но не решался; он был полон сознания своей правоты и отчаяния от невозможности убедить в ней Ленина. Он почти враждебно прислушивался к ровному дыханию Ленина. «Он поймет, что я был прав, но это будет слишком поздно»,— думал он, закусывая губу.

Вскоре Зиновьев заснул тяжелым сном. Проснулся он довольно поздно и, сразу вспомнив то, что произошло накануне, замер и долго лежал с закрытыми глазами, словно не решаясь посмотреть на свой осиротевший мир. Наконец он приоткрыл веки. Ленин лежал в шалаше головой к выходу и писал. В отверстии шалаша виднелся треугольный кусочек дождя, уже не бурного, а ленивого и, казалось, нескончаемого. И пахло дождем и мятой.

Коли уже не было,— по-видимому, он отправился на другой берег, с тем чтобы уехать в Питер.

Ленин, по своему обыкновению не отрываясь от работы, спросил:

— Проснулись? Кругом — всемирный потоп...

Он больше ничего не сказал, только еще энергичнее заскрипел пером, но этот скрип был очень выразителен. Снова воцарилось молчание.

Когда приехал Емельянов, Ленин встрепенулся, устремился ему навстречу. Емельянов был спокоен, бодр, широко улыбался, по-хозяйски осматривал залитый водой лужок, потемневший стог и угрюмое небо. Он соскучился по Ленину и беспокоился за него по случаю наступившего холода и ненастья.

— Не протекает шалаш? — спросил он прежде всего.

И сразу же взял топор, принялся рубить ветки и укрывать шалаш еще одним слоем. И от его деятельного спокойствия Ленину стало приятно и радостно. Он сказал почти с сожалением:

— Придется съехать с этой квартиры. Для людей непогода не страшна, а вот для бумаги... У меня все тетрадки отсырели...

Емельянов замер на месте с топором в руке и заметно погрустнел.

— Да,— проговорил он.— Действительно...

В тот же вечер Сережа привез Шотмана. Поеживаясь от сырости и то и дело протирая пенсне, Шотман сказал:

— Все. Больше вам тут жить нельзя.

Еще с неделю тому назад Емельянову удалось раздобыть у себя на заводе несколько бланков заводских удостоверений личности. Ленин выбрал удостоверение на имя рабочего Константина Иванова. Теперь оставалось сфотографировать Ленина, наклеить карточку взамен содранной карточки подлинного Иванова и поставить на фотографии недостающую половинку печати. Все это должен был устроить Шотман.

— Есть проект,— сказал он,— переправить вас в Финляндию. Товарищ Зиновьев может поехать или с вами, или в Лесной — там есть подходящая конспиративная квартира.

Зиновьев вылез из шалаша и сказал своим тонким голосом:

— Я поеду в Лесной... Думаю, что буду более полезен ближе к Питеру. Да и для Временного правительства я не представляю такого интереса, как Владимир Ильич. Значит, решено.— Он ждал, что скажет Ленин, но Ленин писал список поручений товарищам; казалось, он был уже не здесь, а где-то в новом, финляндском, еще ему самому неведомом убежище. Зиновьев продолжал: — Пожалуй, сегодня и отправлюсь, а, Александр Васильевич? — Он обращался к Шотману, но смотрел на Ленина.

Ленин ничего не сказал и продолжал писать:

«...хлеба
план Гельсингфорса
клей: маленькая трубочка
иголку и черн. нитку
конвертов простых
«С — Дт» № 47
красн. и син. крдш

пероч. ножик
химич. крдш
ручка
мои тезисы о полит. положении (съезду)
политглот шведский и финский...»

Начали укладывать вещи Зиновьева. Ленин развеселился, пошучивал.

— Мы перепутали все вещи,— сказал он.— Не знаю, где ваше, где мое. Попадет вам от Златы Ионовны...

— А вам от Надежды Константиновны.

— Мне нет, вы же знаете, она не от мира сего... Да и вещички ваши получше, кажется. Нет? Чужие всегда кажутся лучше...

Зиновьев хмурился, он понимал, что Ленин избегает серьезного разговора.

Емельянов и Сережа отнесли вещи в лодку. Когда стемнело, Зиновьев с Шотманом собрались в путь. Ленин пожал Зиновьеву руку и сказал:

— Будьте осторожны, Григорий... Кто знает, когда удастся свидеться. Надеюсь, что скоро. И в добром согласии.

Зиновьев поспешно сказал дрогнувшим голосом:

— Ну, конечно, конечно...

Ленин обрадованно поднял на него глаза. Но Зиновьев уже пожалел о своем примирительном тоне и с досадой подумал: «Опять я ему уступаю? Вместо того чтобы решительно бороться с гибельным для партии экстремизмом, я опять поддаюсь воле и обаянию Ленина? Нет, я не имею на это права».

Он сухо добавил:

— Будем надеяться.

Ленин ничего не сказал, только потемнел лицом. Все-таки он пошел провожать отъезжающих к берегу, а когда лодка отчалила, долго следил за ней, иногда покачивая головой. Погода была нехорошая, дул порывистый ветер, и лодка то поднималась на пенистые гребни, то почти пропадала из глаз. Вскоре она слилась с темнотой.

— Ну, что ж,— сказал Ленин и повернулся к Емельянову, оставшемуся с ним на берегу.— Лодки уплывают, жизнь идет своим чередом.— И добавил: — Пошли разжигать костер.

— Пошли,— добродушно отозвался Емельянов,

притворившись, что не заметил, как Ленин низвел тайную свою мысль к бытовому шалашному разговору. Емельянов, человек сдержанный, не высказывался вслух, но он кое-что понимал в сложных взаимоотношениях последних дней и втихомолку негодовал и огорчался вместе с Лениным.

На следующий день поздно вечером приехал с фотоаппаратом Дмитрий Ильич Лещенко, старый партийный товарищ, некогда сотрудник «Звезды» и «Правды». Теперь он работал вместе с Надеждой Константиновной Крупской в культурно-просветительной комиссии Выборгской районной управы. Проговорили до утра о питерских делах, о Надежде Константиновне, о Луначарском, который был арестован на квартире Лещенко, где жил последнее время.

На рассвете Ленин разбудил только что уснувшего Лещенко и нетерпеливо сказал:

— Ну, снимайте, снимайте меня!

Он уже был в парике и кепке. Лещенко посмотрел на туманное небо и покачал головой: было темновато. Все-таки он стал снимать. Но у него не было штатива, а держа аппарат в руках, он никак не мог поймать лицо Ленина в объектив.

— А может быть, мне сесть? — спросил Ленин.

— Это было бы отлично!

Ленин молча присел на корточки и терпеливо ждал, пока Лещенко сфотографирует его. Потом он проводил Лещенко к лодке и, прощаясь, сказал несколько сконфуженно:

— Вы Надежде Константиновне, пожалуйста, не говорите про весь этот — гм, гм — антураж... Сырость, мокрый стог и прочее. Условились? Скажите, что все хорошо, удобно, сухо... Не забудете? Смотри́те!

Через два дня удостоверение было готово. Ленин внимательно осмотрел его и остался доволен: кажется, оно не могло вызвать никаких подозрений.

Наконец настал день отъезда. Ленин и Емельянов ждали Шотмана. Тот почему-то запаздывал. Вдруг из леса раздался предупреждающий свист Сережи, который заменял теперь Колю в качестве «разведчика». Ленин решил, что идет Шотман, и пошел ему навстречу. Но вместо Шотмана на опушке появился незнакомый мальчик, а за ним показался мужчина в рабочей одежде. Ленин остановился, затем начал медленно

отходить к шалашу. Емельянов побледнел, весь подобрался, но тут же обмяк, вздохнув с облегчением. Он узнал Рассолова и его сына Витю.

— Здравствуй, Николай Александрович, — сказал Рассолов, бросив быстрый взгляд на стог, затем на Ленина, усевшегося на корточки возле шалаша.— Хорош стожок, да... Никак, ты кончил косьбу?

— Да, вроде так, — ответил Емельянов неопределенно.

— Может, пойдет ко мне твой чухонец поработать? Хоть денек или полдня... Один я никак не управлюсь. Хвораю, а Витька еще слабоват.

Емельянов с трудом сдержал улыбку и ответил:

— Не пойдет он.

— А может, пойдет?

— Не пойдет, говорю тебе.

— Он по-нашему понимает?

Емельянов покосился на Ленина. Ленин сидел с каменным лицом. Глаза его совсем исчезли, превратились в тусклые, равнодушные щелки.

— Нет, — сказал Емельянов.— Он только по-своему. Я финский язык немного знаю, вот и объясняемся кое-как.— Он уже опомнился и нес напропалую: — Не пойдет, и не пробуй. Я вот сам просил его покосить на берегу, не хочет, спешит домой, что-то у него там стряслось.

Рассолов повздыхал, поохал и ушел вместе с Витей.

Пока их шаги окончательно не замерли и еще минуту после того Ленин оставался в той же позе. Потом он стремительно встал и рассмеялся, в глазах у него заходили искорки. Он сказал:

— Спасибо, Николай Александрович, что меня в батраки не отдали!

— Невыгодно, — засмеялся и Емельянов.

Они еще долго смеялись над этой историей, и только приход Шотмана настроил их на более серьезный лад. Шотман, необыкновенно взволнованный возложенной на него ответственностью, не мог взять в толк, как может Ленин смеяться перед предстоящим ему опаснейшим путешествием.

Шотман пришел не один. Вместе с ним был невысокий крепкий финн. Поздоровавшись с ним, Ленин назвался:

— Иванов.

— Рахья,— ответил финн, не моргнув глазом.

Емельянов и Сережа отнесли вещи Ленина в лодку. Затем Емельянов вернулся один: Сережа повез вещи на тот берег.

Пока Емельянов с Шотманом окончательно уславливались о пути следования до Финляндской железной дороги, почти совсем стемнело.

— Ну, как говорится, в добрый час,— сказал Емельянов. Его голос прозвучал торжественно.— Двинулись, Владимир Ильич.

Он пошел вперед, за ним Рахья, а Ленин с Шотманом сзади.

Коля как раз в это время вернулся с Кондратием из Питера. Не застав дома никого, кроме малышей,— мать куда-то ушла по делу,— Коля недолго думая сгреб учебники и тетрадки, купленные в Питере, сел в лодку и отправился за озеро. С Сережей он разминулся.

Пристав к берегу, он выскочил из лодки и пустился к шалашу почти бегом, с бьющимся сердцем. На знакомом лужке было тихо и безлюдно. Кругом царило полное запустение. Железная перекладина для котелка валялась в остывшем пепле костра. В шалаше не было ни подушек, ни одеял — ничего. Вмятины в сене были холодны и остылы. Коля вначале задрожал от ужаса, решив, что Ленина выследили и арестовали. Но потом он обнаружил в известном ему месте под сеном кипы газет, да и сам стог и шалаш стояли нетронутые, целые. Тогда он понял, что Ленин просто уехал.

Все кругом было пустынно, словно прошедшие дни были сном, чудесным и коротким, словно ничего этого не было — ни Ленина, ни радостных ночей у костра, ни птичьего свиста, ни разведки, ни обещания заниматься с Колей — ничего. Уехал, даже не простился, обманул. Коля посмотрел на свои книжки и тетрадки и горько всхлипнул. Потом обида прошла, но осталась печаль, слишком большая для маленького сердца Коли. Коля долго сидел у остывшего костра, наконец поднялся и медленно пошел обратно, к озеру, к прежней своей жизни, казавшейся ему теперь пустой и неинтересной.

А Ленин и его спутники в это время уже были далеко.

Выбравшись на проселочную дорогу, они затем свернули на тропинку. Им преградила путь речка. Емельянов хотел было, сделав крюк, обойти препятствие, но Ленин решительно разделся и перешел речку вброд, а за ним то же сделали и остальные. Спустя некоторое время наткнулись на обширное болото, обошли его и незаметно очутились среди торфяного пожара. Кругом тлел кустарник, дым ел глаза. Под ногами горел торф. Наконец Емельянов нашел тропинку. Побродив в темноте еще полчаса, они услышали отдаленный гудок паровоза.

— Вышли, кажется,— виновато сказал Емельянов.

— Эх вы,— язвил всех троих Ленин.— Карты-трехверстки не имеете, дорогу не изучили... Так с вами и войну проиграешь...

— Научимся, товарищ Иванов,— негромко и лукаво отозвался из тьмы дотоле молчавший Рахья.

Ленин сказал серьезно:

— Скорее учитесь, время дорого.

Затем Емельянов и Рахья отправились в разведку на станцию, а Ленин с Шотманом уселись под дерево. Ночь была темная, безлунная, время тянулось медленно. Ленин нащупал в боковом кармане синюю тетрадь.

«Ага,— улыбнулся он.— Синяя тетрадка. Хорошо бы поскорей закончить брошюру. Удастся ли? Посмотрим, что ждет меня на этой станции и на других остановках на пути к цели... И сколько их еще будет, этих остановок...»

Когда Емельянов и Рахья вернулись и сообщили, что поблизости находится станция Дибуны, а не Левашово, как предполагалось, Шотман похолодел: Дибуны были расположены всего в семи верстах от финской границы, здесь легко напороться на пограничные разъезды. Однако выбора не было. Пошли к станции. Издали замерцали станционные огни. Ленин, напрягая зрение, некоторое время пристально вглядывался в их туманное мерцание. Потом он неожиданно ускорил шаг, догнал Емельянова и тронул его за плечо.

— Ну, так, Николай Александрович,— сказал он.— Мало ли что приключится за суматоха. Значит, вот что. Передайте нижайший поклон Надежде Кондратьевне, сыновьям привет, а Коле — особый.

— Передам. Спасибо.

— Я очень благодарен вам и вашей жене за все. Причинил я вам немало хлопот. Не поминайте лихом.

— Что вы, что вы, Владимир Ильич... Мы всей душой...

— Ну и прекрасно... Да, денег у меня с собой очень мало. Моя жена, Надежда Константиновна, знает... Она вам возместит расходы при первой возможности.

— Да полно, Владимир Ильич. Обижусь, ей-богу, обижусь.

— Ладно уж! «Обижусь»! Вы не такие богачи, чтобы содержать беглых революционеров... Да, чтоб не забыть. Алексея, того самого, помните, «связного»... Не обижайте его. За ошибку не надо взыскивать. Он сам поймет. События, революционный опыт помогут ему понять... Так вот,—не обижайте его.

— Хорошо, Владимир Ильич.

— А то я наших товарищей знаю. Будут его шпынять без надобности... Не забудьте, пожалуйста.

— Хорошо, Владимир Ильич, не забуду.

— Ну, вот и все... И спасибо.

Емельянова глубоко и радостно потряс этот разговор, он сам не знал почему. Лишь позднее он понял, что дело тут было не только в человеческой чуткости Ленина и даже не в том, при каких обстоятельствах эта чуткость проявилась; дело было в беспредельной уверенности Ленина, что события будут обязательно развиваться так, что Алексей поймет, не сможет не понять свою ошибку. Может быть, только в этот момент Емельянов по-настоящему понял, что рабочая революция действительно дело ближайшего будущего, и со всей полнотой осознал, какого человека скрывал он у себя в Разливе.

Станционные огни между тем приближались. Ленин приостановился, дождался Шотмана, и они пошли дальше в прежнем порядке: Емельянов и Рахья впереди, Шотман с Лениным сзади.

1961

КАК Я ПИСАЛ «СИНЮЮ ТЕТРАДЬ»

(Ответ читателям)

I

После того, как была опубликована моя повесть «Синяя тетрадь», я получил много писем от читателей различного возраста и разных профессий. Эти письма, помимо лестной оценки моего труда, содержат и разнообразные вопросы насчет того, как я писал это свое произведение, каким образом сумел воссоздать образ Ленина, какими материалами пользовался и т. д.

На первые письма я старался отвечать, но затем писем стало приходить все больше, и так как вопросы, задаваемые читателями, в общем сводились к одному и тому же, я решил ответить своим читателям в печати, не каждому отдельно, а всем вместе. Признаюсь, что делаю я это не только потому, что хочу угодить моим читателям, ответить на все их недоумения и не потому, что рассчитываю своим отчетом о работе над образом Ленина помочь другим, менее опытным писателям,— хотя я был бы, разумеется, рад, если бы статья моя оказалась кому-нибудь полезной—но и, главным образом, для себя самого. Мне самому хочется подытожить свою работу, оглянуться назад, подумать над проблемами, которые поставила предо мной моя тема, осмыслить те трудности, которые встретились мне на моем пути и, может быть, еще раз пережить то несравненное наслаждение, какое испытывает писатель при соприкосновении с описываемым им героем, открывая в нем все новые и новые черточки, восторгаясь от любви к нему и содрогаясь от страха за него.

* * *

Над повестью о Ленине, которая была позднее названа мною «Синяя тетрадь», я работал почти два года. Работа эта принесла мне много счастья. Бывали дни и ночи, когда мне казалось, что я нахожусь с глазу на глаз с Владимиром Ильичем Лениным, человеком, под чьей звездой мы родились и росли. Бывали минуты, когда мне казалось, что я слышу его голос, вижу, как он смеется, задумывается, страдает.

Всю мою жизнь меня больше, чем другие люди на свете, интересовал Ленин. Разумеется, в этом смысле я не одинок, все мое поколение, миллионы людей думали о нем с пристальным, жгучим интересом. В годы детства и юности мы не знали, и не могли понимать Ленина, но нам хватало веры в него, веры почти религиозной и не нуждавшейся в анализе. Он был олицетворением справедливости и правды. Мы это понимали своими незрелыми умами, но незрелый ум ребенка иногда более чуток, чем изощренный мозг взрослого. Взрослый понимает — ребенок знает.

Начал узнавать Ленина я значительно позднее, когда мне было за двадцать и когда я с истовостью и непримиримостью молодого человека стал подвергать сомнению все на свете, иначе говоря — проделывать в собственном мозгу опыт поколений, усвоенный мною раньше «на веру» <...>

<...> Так как я художник, а не историк, то моя задача могла заключаться только в том, чтобы показать Ленина — человека.

Начиная свою работу, я точно знал, что трудности воплощения образа Ленина в литературе необыкновенны. Задача эта несколько проще в кино и на театре — не потому, что повесть о Ленине труднее написать, чем пьесу, а потому, что в пьесе о Ленине на сцену выходит актер, загримированный под человека, которого мы любим. Увидев его лицо, походку, жесты, услышав милый нашему сердцу картавящий говорок, мы готовы многое простить. Мы испытываем искреннее удивление и благодарность чудесным людям, давшим нам возможность как бы видеть и слышать умершего гения. Литература не может дать эту иллюзию. Что же она

может? Она может показать ход мыслей. Согласитесь, что когда речь идет о мыслителе — ход мыслей играет некоторую роль. Но задача эта необыкновенно сложна, и именно потому, что речь идет о мыслителе.

«Ленин весь в словах, как рыба в чешуе», — потрясающе точно выразился некогда Горький. Это обстоятельство необычайно затрудняет художественное воплощение личности Ленина. Верно, личность его отображена с поразительной силой в его произведениях, но писатель ведь не может писать произведение о произведениях! Прибавьте к этому органическую ненависть Ленина к позам и внешним эффектам, к заготовленным заранее остротам, ко всей мишуре внешнего блеска и треска...

Вряд ли найдется другой человек, который бы так полно подчинял (и старался подчинить) чувство — разуму, всю жизнь — одной цели. Описывая такого человека, столь целеустремленного и как бы рассудочного, научно-мыслящего, почти каждую минуту рискуешь стать пресным и представить своего героя пресным и суховатым, каким Владимир Ильич никогда не был, ибо сочетал ум великого ученого и мощь непобедимого бойца с сердцем ребенка.

И наконец, — последнее препятствие: я люблю его. Его любят миллионы людей. Восторг не содействует объективному изображению, любовь слепит глаза, лишает твердости пишущую руку. Ее надо глубоко прятать, чтобы читатель не заподозрил тебя в том, что ты хвалишь Ленина, потому что принадлежишь к его партии, а не потому принадлежишь к его партии, что любишь Ленина.

Итак, приступая к работе, я видел буквально глазами всю почти вогнутую крутизну этого замысла, всю многоступенчатость предстоящих препятствий. Я знал наперед, что не смогу исчерпать сокровища этого необычайно целенаправленного, изощренного и чуткого интеллекта, сложнейший ход его мыслей, чаще всего слишком глубоких для «беллетризации», иногда же слишком злободневно-политических, чтобы они могли вполне войти в таинственные, изменчивые, чуть туманные края искусства.

...И вот повесть написана и даже напечатана, — а напечатать ее было не легче, чем написать, — и я

ставлю перед собой вопрос: что мне удалось? Что мне не удалось?

На этот вопрос могут ответить только мои читатели. Я же опять болею своей застарелой болезнью — неудовлетворенностью и недовольством собой. И перед моими глазами маячат еще зыбкие очертания другой повести о Ленине, нашем учителе, нашем великом спутнике. Может быть, в той повести я сумею досказать то, что не досказано в этой. До свидания, Владимир Ильич.

<1961>

Рассказы и очерки

ПРИ СВЕТЕ ДНЯ

Рассказ

1

Наступал час рассвета. Утренняя серость постепенно, но с каждой минутой все напористее и быстрее вползала во все щели, проникала в темные подворотни, слизывала густые тени с порогов и стен. Прямоугольные пространства заполнились еще неопределенным туманом, вовсе не напоминавшим о солнце, но этот туман понемногу светлел, белел, розовел и вдруг, неожиданно задрожав, зажегся желтыми солнечными лучами на оконных стеклах верхних этажей.

Это повлекло за собой целый ряд новых звуков и картин. Ранний храбрец автомобиль зафыркал в ближнем дворе. Донесся протяжный гудок отдаленного завода. Захлопали форточки. Зашаркали шаги. Дворничиха в белом фартуке громким и сладким зевком встречала в воротах встающее солнце. Продрогший за ночь милиционер гляделся в маленькое зеркальце и поправлял русую челку — при свете утра он оказался девушкой. С трамвайных рельсов с тихим шелестом убегали разгоняемые первым трамваем желтые листья.

Человек шел по мостовой, глядя по сторонам с любопытством, выдающим приезжего. Он был одет в солдатскую шинель, и за спиной у него висел вещевой мешок — старый, побуревший от пота и дождей. Весь вид этого человека напоминал о недавно закончившейся войне, и только кепка на голове — обычная рабочая кепка, по-видимому, совсем новая,— была единственной данью наступившему мирному времени. Она и выглядела не к месту, и лицо человека — скуластое, голубоглазое, с добрыми, словно припухшими губами,— из-за этой кепки многое теряло в своей солдатской выразительности.

Человек внимательно и чуть удивленно приглядывался к оживающим московским улицам. Большая машина, поливающая мостовую, прошла мимо, обдав его водяной пылью. Он улыбнулся и приветливо помахал рукой шоферу. В этом движении чувствовалась свобода — однако не развязность городского жителя, а скорее независимость исходившего тысячу дорог солдата.

Даже в том, что он шел не по тротуару, а по мостовой, даже и в этом, пожалуй, сказывалась солдатская закваска, привычка к хождению строем, к ощущению себя не единицей, а частью колонны, для которой тротуар — слишком тесное место.

Хотя человек был, несомненно, нездешний — его мятая шинель свидетельствовала о сне на вагонной полке — и, возможно, даже приехал в Москву впервые, но в нем не чувствовалось никакой растерянности: военная привычка к перемене мест выбила из него, как и из большинства бывших солдат, следы провинциальности, деревенщины, скованности движений. Возле перекрестков он останавливался, читал название улицы и шел дальше уверенным и ровным шагом. Было похоже, что кто-то подробно растолковал ему путь следования, и он — из спортивного, быть может, интереса — не задавал ни милиционерам, ни ранним прохожим никаких вопросов.

Единственное, что с несомненностью выдавало его принадлежность к деревне, была приветливость: он здоровался с ремонтными рабочими, уже собиравшимися к своим «объектам», вежливым и веселым: «Здравствуйте».

В этом слове и, главное, в том, как оно произносилось, можно было распознать и просто естественную приветливость русского деревенского человека, и особое уважение к труду рабочих, подновляющих не какие-нибудь дома, а дома столицы, Москвы — предмета гордости и мечтаний миллионов сердец в различных дальних углах обширнейшего из государств.

Так он прошел всю Кировскую улицу и вышел на площадь Дзержинского. Тут, на этой площади, к которой сходилось множество широких и узких улиц, можно было бы и спросить, как идти дальше, но, постояв с минуту в задумчивости, человек перешел на противоположный тротуар, перерезал наискосок еще

улицу, поплутал в каких-то переулках и очутился на другой площади. Здесь он остановился, соображая, как идти дальше, но внезапно заметил в очертаниях площади и в простиравшейся вдоль нее высокой красной стене что-то торжественное и необыкновенно знакомое. Затем он увидел Мавзолей Ленина и тогда понял, где находится. Он весь похолодел, ибо, зная, что Красная площадь существует, и в подробностях зная все, что на ней расположено, он тем не менее был огорошен тем, что все здесь на самом деле именно такое, каким оно представлено в кинофильмах и на тысячах виденных им рисунков, фотографий, картин и газетных заставок. Больше всего удивило его, быть может, то обстоятельство, что он просто вошел на эту площадь, точно так же как и на любую другую. В своей гордости за Москву и в особенности за ее святая святых — Красную площадь — он, пожалуй, предпочел бы, чтобы сюда входили по-особому, как-то совсем не так. Чтобы сюда билеты продавали, что ли.

— Так вот куда ты залетел, Андрей Слепцов,— сказал он себе вполголоса и вынул правую руку из кармана, словно для отдания чести. Левая же рука осталась в кармане, и это было бы странно для солдата, если бы рука существовала. Но руки левой не было, а был только рукав.

Андрей Слепцов постоял на Красной площади добрых минут двадцать, наконец повернул направо. У Охотного ряда он впервые обратился к постовому милиционеру, и тот растолковал ему, куда идти дальше. А идти ему следовало до площади Пушкина, чтобы затем, повернув по бульвару, дойти до нужного переулка.

Однако было слишком рано стучаться в дом. Поэтому Слепцов, не заворачивая в переулок, сел на бульваре на скамейку. Здесь он вскоре незаметно задремал.

Когда он проснулся, было уже часов девять. Все кругом изменилось до неузнаваемости. Пустынные гулкие улицы, широко и свободно лежавшие под нежаркими утренними лучами солнца, превратились в шумливый и пестрый человеческий улей. Гул и топот, жужжание и цоканье, человеческие голоса и короткие сигналы автомобильных сирен заполнили все на этой огромной ярмарке, стремительной, пританцовывающей, то и дело вскрикивающей, всхрапывающей от удовольствия, от любования собственной огромностью, собственным многоголосием и разнообразием. Это все было настолько неожиданно, что у Слепцова зарябило в глазах. В состоянии радостной растерянности прошел он сквозь строй нянек с детьми с бульвара в переулок, а там — к тому двору, который был ему нужен.

То был обычный московский двор среди многоэтажных стен большого кирпичного дома. Но и здесь люди любили цветы и траву. Посредине двора был устроен маленький садик с клумбами, на которых уже не было цветов, однако оставалась зеленая травка. Этой травке Слепцов подмигнул, как доброму знакомому и союзнику среди кирпича, стекла и асфальта.

Окинув взглядом бесконечное множество окон и балконов, Слепцов вдруг заволновался. Он застегнул шинель на все крючки и направился к дому, к одному из подъездов, возле которого на низкой скамеечке сидела старушка в белом платочке, в очках и вязала чулок. Нехитрое и древнее ее занятие живо напомнило Слепцову деревню, и он поэтому обратился к ней запросто:

— Скажи-ка, бабушка, где тут Нечаева проживает?

Старушка подняла на него строгие глаза, но медлила с ответом, разглядывая пришельца довольно бесцеремонно. Слепцов слегка улыбнулся и осведомился:

— Не оглохла, бабушка?

Бабушка была готова рассердиться на него за непочтительный вопрос, но тут заметила пустой рукав и, сразу же погрустнев и подобрев, сказала:

— Иди, голубчик, вон туда, напротив, в шестой подъезд, и подымись на третий этаж.

Слепцов медленно пошел туда, куда ему указали, и поднялся по лестнице. На третьем этаже он перевел дух, проверил крючки на шинели и позвонил. Дверь отворилась.

2

На пороге стоял бледный мальчик лет двенадцати. Он молча ждал, что скажет пришедший. Пришедший же стоял тоже молча и только смотрел на мальчика; лицо солдата приобрело беспомощно нежное выражение.

— Стало быть, я Андрей Слепцов,— сказал он наконец. Его голос заметно дрожал.— Вот какое дело.

Он подождал, пристально вглядываясь в мальчика и, видимо, ожидая, что имя и фамилия о чем-то ему напомнят. Но мальчик молчал все так же выжидательно и отчужденно. Тогда Слепцов, слегка обидевшись, отрывисто спросил:

— Тебя Юрой зовут?

— Да,— сказал мальчик, удивившись.

— Да, Юрой,— уже веселее заговорил Слепцов.— Я тебя узнал. Еще бы не узнать... А ты вот меня не узнал. А не узнал ты меня потому, что сроду не видел.— Он засмеялся коротким взволнованным смешком и продолжал: — Что же ты так плохо гостей принимаешь, даже в дом не позовешь? А я, можно сказать, почти неделю все еду да еду. Издалека, значит. Из Сибири. Слышал про город Красноярск? Ну вот, я из-под самого Красноярска к тебе в гости и пожаловал, Юрий Витальевич...

Мальчик неуверенно сказал:

— Пройдите, пожалуйста.

Он отступил в глубь коридора и отворил другую дверь. Слепцов пошел вслед за ним, и они очутились в небольшой квадратной комнате, служившей, видимо, столовой и в то же время детской. Тут помещались буфет с посудой, стол, небольшая кровать и этажерка с книжками, школьными тетрадками и глобусом. На покрытом клеенкой столе стыл стакан чаю, лежал кусок хлеба, желтел на блюдце кусочек масла. Очевидно, звонок Слепцова оторвал мальчика от завтрака. Слепцов окинул взглядом стол и сказал:

— Да ты, оказывается, завтракал. Садись, продолжай, не стесняйся. А где мама?

— Мама ушла на службу.

— Ольга Петровна, значит, на службу ушла? — переспросил Слепцов, с видимым удовольствием называя мать мальчика по имени-отчеству и как бы лишний раз доказывая этим свою полную осведомленность в отношении людей, к которым приехал.— Так, так... Ну что ж, придется подождать.— Он говорил все это многозначительно, напуская на себя некоторую таинственность, что никак не шло к его открытому и ласковому лицу. Поставив свой вещевой мешок возле двери, а поверх мешка бросив шинель и кепку, он уселся на

стул. Затем он окинул взглядом этажерку с книгами, глобус, глаза его посуровели, и он спросил: — Как учимся?

Мальчик ответил несколько уклончиво:

— Ничего.— Его тонкое лицо на мгновение затуманилось, и он, пересилив себя, добавил: — Две тройки. А все остальные пятерки.

— Понятно,— сказал Слепцов. Он внимательно посмотрел на мальчика и решил после короткого размышления не упрекать его за тройки. Он только повторил: — Понятно.— И добавил: — Твой отец был человек ученый, и ты должен быть тоже ученым человеком, культурным, одним словом сказать — советским.

Мальчик слабо улыбнулся поучению солдата — в этой улыбке сказалась некая доля столичного высокомерия по отношению к простоватому ходу мыслей провинциала. Слепцову, во всяком случае, эта улыбка не понравилась, и, выказав несомненную тонкость в понимании затаенных мыслей, он недовольно и сурово посмотрел мальчику прямо в глаза, отчего Юра смутился и принялся за завтрак.

Пока он, сидя в неловкой позе, медленно пододвигал к себе чай и хлеб, Слепцов, расположившись в углу в мягком кресле — здесь было уютно и полутемно,— глядел на него так внимательно, словно изучал каждое его движение, и искал в повороте головы, в линии губ и подбородка и вообще во всей повадке мальчика знакомые черты. И, находя их во всем, а главное, во взгляде, несколько рассеянном и печальном, удовлетворенно покачивал головой. Его только удивляла напряженность в позе и во всем поведении мальчика. Он, разумеется, не мог знать, о чем думает Юра в это время. А Юра думал о том, что вот нужно пригласить приехавшего издалека человека к столу, а на столе всего в обрез, и сахару нет, есть только маленькая конфетка, которой и на стакан чаю не хватит,— все в той скудной норме, какую получали по карточкам. И мальчик, сидя в неловкой позе — ему было стыдно, что он не зовет человека к столу, и в то же время жалко поделить с ним свой убогий завтрак, ибо он сам был очень голоден,— размышлял о том, как быть. Наконец он, вздохнув потихоньку и посмотрев на хлеб и масло долгим прощальным взглядом, поднял на Слепцова серьезные глаза и сказал:

— Садитесь, пожалуйста. Мы позавтракаем вместе.

Приняв не без внутренней борьбы такое решение, Юра явственно повеселел, у него будто камень с души свалился. И, заметив в нем эту перемену, Слепцов тоже оживился, встал с места и воскликнул:

— Хотя я и не очень голодный, но не откажусь, раз ты меня приглашаешь! Только уж не обижайся, я и свои харчи к твоим прибавлю.

Он подошел к вещмешку, ловко развязал его единственной рукой и стал молча выкладывать из него на стол свертки, один другого аппетитнее и жирнее. На столе понемногу образовалась горка вкуснейшей еды, среди которой были связки копченой и вяленой рыбы и полосы жареного мяса.

Мальчик смотрел на все это и не верил своим глазам. Потребовалось трехкратное приглашение Слепцова, чтобы Юра принялся за обильную пищу, ненормированную, жирную, острую и притом еще пахнущую дальними дикими пространствами, где рыбу не покупают в магазине, а ловят в больших реках, а мясо достают с помощью ружья и ножа. Юра опьянел от еды и, как все пьяные, стал болтлив. За время завтрака он успел поведать Слепцову немало своих горестей и радостей, в том числе обиду на учительницу географии, несправедливо ставившую отметки, подробности своей ссоры с приятелем, неким Федей, историю разных находок и пропаж и многочасовых прогулок в одиночестве или стаей, с ленивым глазением на уличную жизнь большого города, с сованием носа во все уличные перепалки и во все раскрытые окна нижних этажей.

Слепцов слушал внимательно, иногда покачивая головой, как бы в подтверждение своего внимания или в знак согласия. Потом он спросил:

— Кем ты желаешь быть? — И тоном всесильного человека, от которого зависит все, добавил: — Ты не тушуйся, скажи.

Может быть, человек, выложивший на стол такую гору вкусной еды, и впрямь показался Юре всесильным. Так или иначе, он откровенно признался в том, что хочет быть летчиком-истребителем. Слепцов вошел к нему в такое доверие, что Юра чуть было не высказал ему свою самую главную и самую постоянную мечту — обычную, хотя и тщательно скрываемую, лелеемую в дальних тайниках души сладкую мечту всех мальчиков, много болевших и физически слабых, но в то же время (может быть, именно поэтому) очень самолюбивых: быть силачом, притом самым сильным силачом на свете. И вовсе не ради почестей и славы. Он был бы готов согласиться на то, чтобы никто на свете не знал о его силе — до поры до времени, до первой увиденной им несправедливости: большие обижают маленького, сильные — слабого, злые — доброго, богатые — бедного, многие — одного.

Глядя исподлобья на Слепцова и отмечая про себя нежность слепцовского взгляда, Юра тем не менее не решился рассказать сибиряку о своей мечте, понимая, в сущности, что это детская мечта, слишком прекрасная, чтобы быть осуществимой. При этом он с практичной и печальной мудростью ребенка, редко в своей жизни евшего досыта, подумал, что, если бы у него каждый день был такой завтрак, как сегодня, он и в самом деле мог бы стать силачом. В связи с этой мыслью ему пришло в голову, что он слишком увлекся чужой едой; и, вместо того чтобы потянуться за очередным куском рыбы, он, помедлив минуту, откинулся на спинку стула.

— В школу, что ли, пора? — спросил Слепцов.

— Нет, я во второй смене, — ответил мальчик. — Мне нужно уроки доделать.

— Правильно, — согласился Слепцов. — Я тебе мешать не буду. Ты делай, а я здесь в уголке посижу.

Однако сел он не сразу. Он медленно обошел всю комнату, изучая предметы обстановки внимательными глазами. Увидев на стене два женских портрета, он спросил, кто эти женщины, а узнав, что одна — знаменитая ученая Мария Кюри, а другая — знаменитая артистка Комиссаржевская, поглядел на них с уважением. Затем он полистал настенный календарь, повертел глобус и наконец уселся в то же мягкое кресло в уголке. Здесь он искусно закрутил одной рукой с помощью колена цигарку махорки, но подумал, что в комнате курить, вероятно, не полагается и следовало бы выйти покурить на улицу или хотя бы в коридор. Но было лень вставать. Юра медленно и старательно писал. Стенные часы с резьбой приятно и долго прозвенели. Слепцова опять стало клонить в сон. Он боролся со сном, так как хотел проводить Юру в школу, но с каждой минутой все больше сказывалась

усталость пяти дней путешествия в бесплацкартном, напиханном людьми вагоне, и Слепцов наконец уснул — второй раз за утро.

3

Слепцову приснилось, что он сидит в устланном соломой окопе и курит махорку, а рядом с ним дремлет капитан Нечаев, командир батальона. Слепцов внимательно смотрит на бледное, усталое лицо Нечаева, на его мокрую набухшую шинель. Длинные ресницы Нечаева опущены, они влажны от дождя, нежно перепутаны и приклеены к подглазьям. Слепцов должен разбудить капитана, потому что обязан сообщить нечто очень важное. Он мучительно вспоминает, что́ именно он обязан сообщить, и не может. Но вдруг он слышит рядом с собой детский плач, и тогда он почему-то вспоминает, что́ должен был сказать капитану Нечаеву. Он должен был ему сказать, что исполнил его предсмертное завещание — приехал в Москву, к его семье, и передаст ей все, что обещал передать. И тут Слепцов во сне вдруг спохватывается, что Нечаев-то сидит рядом живой и, следовательно, не мог еще сказать ему предсмертных слов. И Слепцову становится страшно, и он хочет разбудить Нечаева, но боится, что если он его разбудит, то Нечаев сразу умрет, раз он уж и так умер. Во сне Слепцов понимает, что все это какая-то «мура», несусветица, и ему приходит в голову, что, может быть, Нечаев не умер, а Слепцову только снилось, что комбат умер и, умирая, просил побывать в Москве у его семьи; и даже то, что война кончилась, Слепцову тоже только приснилось здесь, в окопе. И Слепцов опять чувствует всю запутанность ситуации, но никак не может из нее выпутаться. Но что действительно кажется совсем реальным, то это плач ребенка рядом. Слепцов по этому поводу удивляется — как здесь очутился ребенок, может быть, где-то поблизости скрываются беженцы, бездомные. Слепцов глядит поверх бруствера и видит невдалеке маленький городишко, пестрый, с желтыми и розовыми домиками, явно нерусский — вероятно, один из тех венгерских городков с труднопроизносимыми названиями, которых Слепцов немало навидался, перед тем как вражеская разрывная пуля раздробила ему руку.

В этот миг ресницы Нечаева вздрагивают и с трудом отлепляются от лица, Нечаев открывает свои большие глаза и взглядывает на Слепцова взглядом неторопливым, всевидящим и как бы очень успокоенным и довольным.

Слепцов, похолодев, проснулся. Детский плач наяву оказался еще громче, чем во сне. Но Слепцов еще некоторое время находился в обаянии сна, и, когда наконец очнулся окончательно и понял, где находится, его сердце жарко сжалось от никогда с такой силой не испытанного чувства счастья.

Юры уже не было. Не было на столе и его тетрадей. Сибирская снедь, аккуратно сложенная на газете и укрытая другой газетой, была придвинута к тому углу стола, который был ближе других к Слепцову. Плач младенца доносился из соседней комнаты, а вскоре появился и сам виновник этого шума. То была маленькая девочка, лежавшая на больших красных руках молодой грудастой женщины с растрепанными соломенными волосами. Женщина держала девочку перед собой на ладонях полувытянутых рук — одна ладонь под головкой, другая под попкой — и слегка покачивала, голенькую, полненькую, кричащую и с остервенением совавшую себе в рот маленькие кулачки с похожими на лепестки крохотными пальцами.

Продолжая покачивать младенца на полувытянутых руках, женщина певуче спросила:

— Издалека, что ли?

— Издалека, — ответил Слепцов и спросил, в свою очередь: — Чего она у вас надрывается?

— Не пойму. Уж и так и этак...

— Может, есть хочет?

— Не-е... Недавно ела. Срыгнула даже. Може, животик болит, кто ее знает. Бессловесная ведь.

Слепцов подошел к младенцу. Девочка, уловив своими блуждающими глазами незнакомое лицо, широко улыбнулась беззубым ртом, обнажив десны чистейшего розового цвета. Трудно было даже поверить, что за мгновение до того она плакала так надрывно, словно ее маленькое сердце до края переполнилось всеми горестями и несправедливостями нашей окаянной планеты. Слегка возгордясь своим успехом и преисполнясь по этой причине особой нежности к девочке, Слепцов почмокал губами, пощелкал языком, повращал глаза-

ми — одним словом, энергично пустил в ход все небогатые двигательные возможности человеческого лица; он был готов пожалеть, что у него нет длинных ушей, чтобы ими похлопать. Младенец продолжал улыбаться с бессознательно-покровительственной миной, словно знал, что все эти ухищрения делаются ради него; и казалось — он улыбается уже через силу, только с целью поощрения столь больших стараний.

— Пойдешь ко мне? — спросил Слепцов. — А? Пойдешь? Иди ко мне. Не заплачешь?

Он осторожно просунул под младенца свою единственную руку и ловко уложил его на руке, головкой к своему плечу. Девочка лежала на руке, как в колыбели, и внимательно смотрела на лицо Слепцова, которое теперь видела в ином ракурсе, что, может быть, показалось ей особенно забавным. Нянька между тем, обрадованная неожиданным умиротворением девочки, засуетилась, выбежала, принесла пеленки и одеяльце, закутала девочку, снова уложила ее на слепцовскую руку и сказала удивленно и фамильярно:

— Тебя бы няней. Ишь как смеется!

— У меня на детей приворотное слово есть, — деловито объяснил Слепцов.

Нянька широко раскрыла глаза и села на стул.

— Ну? Врешь.

— Вот тебе и ну. Погляди мне в глаза. Огоньки видишь?

Нянька с некоторым почтением посмотрела Слепцову в зрачки, увидела в них светлые отсветы окон и неуверенно сказала:

— Вижу будто.

— В них-то все и дело. А теперь я скажу слово, а ты повтори, и если запомнишь, то у тебя дите всегда будет спокойное и довольное. Слушай. Секешфехервар.

Он повторил еще дважды, делая при этом таинственное лицо:

— Секешфехервар. Секешфехервар.

И сам улыбнулся: это название венгерского города было испытанием для всего Третьего Украинского фронта.

Она уже поняла, что он шутит, однако шутки его, притворно серьезная мина и ласковые морщинки сбоку глаз понравились ей, развеселили ее. Она впервые посмотрела на него не как на странного посетителя,

неизвестно по какому делу приехавшего, а как на приятного и видного собой мужчину. И она перешла с «ты» на «вы», стала жеманно выговаривать слова, неестественно похохатывать, глядеть на него уже не прямо, а искоса, с тем примитивным, но, в сущности, милым кокетством, какое было в ходу в ее деревне, и все хотела, но не решалась спросить, есть *ли* у него семья.

Вдруг она всплеснула руками:

— Ой, горе мое! Очередь не пропустила *ли* в булочной?! Вам все се́ше, хе́ше, а тут хлеба может не хватить. Я мигом. Не скучайте.

Она искоса бросила на него последний зазывной взгляд и убежала. Хлопнула дверь, другая, и стало очень тихо, даже тише, чем в деревне. В деревне лает собака, квохчет курица, мычит корова, а здесь было беззвучно-тихо, как может быть тихо в пустынной городской квартире на малопроезжем переулке днем, о ту пору, когда дети в школах, а старшие — на службе.

Слепцов, оставшись в одиночестве с девочкой на руках, или, вернее сказать, на руке, устроился удобнее в кресле. Ему хотелось курить, но он не стал тревожить задремавшего младенца и только приговаривал:

— Сейчас твоя мамка вернется, хлебца принесет из очереди свеженького, молочка тебе даст, тогда мы закурим, выйдем, значит, в коридор, культурно, чтобы на тебя дымом не пыхать.

Он запел вполголоса диковатую колыбельную, созданную каким-то человеконенавистником для запугивания маленьких детей:

Анадысь на дворе
Чтой-то грохотало,
А как вышел я на двор —
Оно перестало...
У-у-у, у-у-у...

Девочка задремала, затем проснулась, заплакала было, но, опять увидев в поле своего зрения то же лицо, пристально и упорно стала в него вглядываться, и при этом ее взгляд выражал такой, казалось, ясный и глубокий ум, такую, казалось, сосредоточенную мысль, что Слепцову, растроганному и пораженному, на мгновение представилось, что она все знает о нем и видит его насквозь. И лишь когда она снова беззубо и розово

улыбнулась, он как бы опомнился от своей минутной иллюзии и сказал умиленно:

— Девочка. Девочка. Маленькая девочка.

И он подумал, что маленькие девочки приятнее и нежнее мальчиков,—у него-то самого было двое мальчишек, и он относился к ним с нарочитой грубоватостью, чтобы «не мягчели зря». А с девочкой он был бы гораздо ласковее. Он не мог бы быть с ней грубым, думал он теперь.

«Мамка» все не приходила. Девочка лежала спокойно, с открытыми глазами.

— Какая ты будешь?—спросил Слепцов.—Скажи, пожалуйста.—Он вскинул вверх глаза, посмотрел на портреты знаменитых женщин и, сделав движение подбородком к строгому лицу Марии Кюри, спросил:—Вот такая, как эта?—Он сделал такое же движение подбородком по направлению ко второму портрету и опять спросил:—Или же вот как та?.. Скажи. Чего же ты не говоришь? Не тушуйся, девочка. Маленькая девочка.

Но вот брякнул замок, звякнула цепочка, стукнула дверь, застучали каблучки.

— Вот и мамка твоя,—сказал Слепцов и посмотрел на дверь, заранее ухмыляясь.

Но когда дверь открылась, вошла совсем не «мамка», а она, Ольга Петровна Нечаева,—рослая, светловолосая, несколько полная, стремительная, будто летящая. Слепцов сразу узнал ее по десятку фотографий, бывших всегда при комбате, а теперь лежавших у Слепцова в нагрудном кармане. Не имея возможности встать—рука была занята, кресло было низкое и глубокое,—Слепцов только смотрел на нее и ничего не мог сказать дрожащими губами.

4

Ольга Петровна остолбенела при виде девочки на руках у чужого человека, но именно то, что незнакомец держал малютку на руках (девочка пускала пузыри и хватала его за подбородок), немного успокоило Ольгу Петровну: вор вряд ли стал бы нянчить младенца в чужой квартире. Ольга Петровна решила, что незнакомец—односельчанин или приятель Паши. Однако он был человеком с улицы и поэтому никак не годился в

няньки по санитарно-гигиеническим соображениям. Поэтому она подбежала к нему, довольно резким движением отняла у него ребенка и недовольно спросила:

— Где Паша?

Слепцов встал с кресла. Он стоял очень сконфуженный, как будто в чем-то виноватый.

— Мамка ее?—переспросил он.—Она в очереди. Хлеб получает... Здравствуйте, Ольга Петровна. Я Андрей Слепцов. Вы, может, знаете... Может, слышали... верней, читали мою фамилию...

— Как читала? Где читала?—недоуменно спросила Ольга Петровна, тем временем быстро закутав ребенка и положив его на подушку, которую ради этого взяла с изголовья Юриной постели и кинула на кровать плашмя.

— Я по поручению моего командира, Виталия Николаевича Нечаева... прибыл из Сибири. Как обещал ему. Хотя поздненько, но прибыл. Раньше никак не мог, уж извините, долго после ранения лечился...

Ольга Петровна замерла над ребенком, потом выпрямилась, обернулась и медленно пошла к Слепцову. Он тоже сделал шаг ей навстречу. В глазах у нее был испуг—вероятно, оттого, что солдат говорил о ее муже, как о живом, как о где-то существующем. Потом она вдруг непривычно для себя засуетилась, заволновалась.

— Садитесь, садитесь,—сказала она.—Да, да... Превосходно... Я сейчас... Минуточку.

Она вышла будто бы по хозяйству, а на самом деле для того, чтобы постоять в одиночестве, отдышаться, прийти в себя. В то же время она, несмотря на свое внезапное волнение, продолжала механически делать свои обыденные дела и находила в этом некое успокоение. Она сняла через голову и повесила в шкаф на плечики свое платье и вместо него надела, сняв с соседних плечиков, пестрый халат с короткими рукавами. Затем она пошла в кухню, зажгла керосинку и поставила на нее эмалированный чайник. Сменила заварку в фаянсовом чайнике. Сложила в миску грязные стаканы для мытья.

Понемногу она успокоилась. Когда в коридоре позвонил телефон, она пошла к нему уже своей обычной, быстрой, будто летящей походкой, несколько преувеличенно самоуверенной, и в трубку говорила уже с полным самообладанием, с обыкновенными своими

чуть насмешливыми в конце фразы интонациями, придающими ее разговору своеобразную прелесть.

— Да, да. Кормлю ребенка,— сказала она.— Нельзя ли наш разговор отложить на завтра? У меня тут гости. Значит, сегодня меня в институте не ждите, хорошо? До завтра.

Положив трубку, она постояла с минуту неподвижно и с досадой отметила, что ей трудно вернуться обратно в столовую, к однорукому солдату. Она упрямо мотнула подбородком и пошла в столовую.

— Садитесь,— сказала она с оттенком приказания в голосе, застав Слепцова на прежнем месте посреди комнаты. Ее взгляд упал на мясо и рыбу, по-прежнему лежавшие на краешке стола, и она, улыбнувшись без нужды, а только так, для того чтобы имитировать непринужденный разговор, добавила:— Вижу, вы тут уже успели позавтракать.

— Да, мы тут вместе с Юрой,— пробормотал Слепцов сконфуженно, и в его глазах пробежало выражение жалости, почему-то кольнувшее Ольгу Петровну, как упрек.

Она сказала деловито:

— Значит, вы говорите, что Виталий Николаевич...

Лицо Слепцова сразу стало просветленным и торжественным.

— Да,— сказал он.— Он скончался на моих руках и просил... поручил мне... я ему дал слово. И вот я прибыл.

Ольга Петровна быстро закивала головой. Она с ужасом чувствовала, как ею опять овладевает непривычная для нее суетливость и разорванность сознания. Она с беспокойством покосилась на девочку. Та лежала молча, глядя в потолок с сосредоточенным, задумчивым видом. От девочки Ольга Петровна быстро перевела взгляд на солдата— солдат был точно так же сосредоточен и задумчив. Ольга Петровна села на тот стул, на котором утром сидел Юра,— между девочкой и солдатом,— положила на стол крест-накрест свои белые полные руки с золотистыми волосиками и сказала:

— Я вас слушаю.

Слепцов медленно заговорил:

— Товарищ Нечаев умер на моих руках, в полном сознании. Мы не успели его довезти до санитарной части. Мы пробовали, но дорога была плохая, в ухабах,

и ему очень было больно от тряски на повозке, так что пришлось нести его на носилках. А ранения у него были тяжелые. Весь батальон был в большом горе, его у нас все любили, и солдаты и офицера́. Командир дивизии тоже: чуть что, как важное задание— сразу капитан Нечаев... К слову сказать, после его смерти уже— а умер он, вы, наверно, знаете, второго мая тысяча девятьсот сорок четвертого года, в праздник,— денька через два пришел приказ о присвоении ему звания майора. Так что если у вас в бумагах не указано про это, то надо сказать в военкомате— может, пенсия будет поболе... Любили его за честность, за душевность... Да вы-то знаете, не чужой ему человек... И в бою он был спокойный. Может, был бы жив, если бы не честность его да храбрость: его не раз хотели у нас забрать— то в армию, в отдел кадров, то в оперативный отдел в корпус— человек образованный и к тому ж боевой командир. Но он не хотел, отказывался. Еще за неделю до последнего боя командир дивизии при мне его звал в свой штаб. «Ты интеллигент,— говорит он ему,— ты совестливый, всегда хочешь примером солдату быть, лезешь вперед как безумный... Убьют тебя. Переходи ко мне». А товарищ Нечаев засмеялся и говорит: «Интеллигентов так редко хвалят! За это одно я здесь останусь». А командир дивизии ворчит: «Разве я тебя хвалю? Я тебя ругаю, а ты думаешь— хвалю...» Оба они были интересные, как сойдутся— такое наговорят.

В дверях показалось круглое лицо Паши. Увидев хозяйку, она оробела— как бы та не накинулась на нее за то, что бросила ребенка на чужого дядю и развела уже после получения хлеба тары-бары с соседскими няньками. Но хозяйка ничего не сказала, даже не обернулась к ней. Более того, не желая, чтобы Паша с ней заговорила, она еще ближе подвинулась к солдату и несколько раз настойчиво повторила:

— Продолжайте, продолжайте.

Паша бесшумно прошмыгнула мимо нее к кровати, взяла девочку и унесла ее из комнаты, облегченно вздохнув на пороге.

— Продолжайте,— повторила Ольга Петровна, но, когда Слепцов снова заговорил, она вдруг встала с места и сказала:— Подождите. Я отлучусь на несколько минут по хозяйству.

5

Пока Ольга Петровна была в отсутствии, перед глазами Слепцова проходили, словно наяву, картины военной жизни. Он почти забыл, где находится. Вокруг клубился туман фронтовых дорог, шли с потушенными фарами вереницы грузовиков, вились среди сырых опадков хвои неглубокие траншеи, саперные лопатки ударяли по дерну, рассекая тонкие корни трав, дождь стучал по капюшонам плащ-палаток; дождь и вёдро, зной и стужа, ночевки в лесу на елочном лапнике и в позолоченных залах княжеских дворцов — все это сменяло одно другое. Когда Ольга Петровна вошла и уселась на прежнем месте, Слепцов заговорил свободно и плавно, забыв про свое смущение, словно перед привычными слушателями — такими же, как он, инвалидами,— в колхозной чайной.

Между прочим, Ольга Петровна была уже не в халате, а в черном закрытом платье, но солдат не заметил этого переодевания, а если и заметил, то не уловил его нарочитости.

— Повстречались мы с Виталием Николаевичем в первый раз,— начал Слепцов свой рассказ,— еще в сорок первом году, летом. Прибыл я тогда из тыла с пополнением в Действующую армию. Бросили нас под Москву в контрнаступление — только не в то большое, зимнее, а раньше, когда немец был еще в силе, а мы только изредка́ огрызались как могли. И вот тогда собрали много сил на одном участке и бросили против немца... Идем мы, значит, из штаба дивизии в полк. Перед этим дожди прошли большие, дорога вся размытая, ноги не идут, а на душе тревога: почти все молодые, необстрелянные, на западе зарево и стрельба такая, что душа уходит в пятки, на дороге — побитые кони, много побитых коней, и ямы от бомб. Однако идем мы, а рядом с нами топает по грязи офицер, старший лейтенант — не наш, а попутчик,— курит все время, шинелишка худая, сапоги кирзовые.

Из чего эта кирза делается — это никому не известно; вещь хотя и неказистая, а прочная, держится долго, зато уж если поползет на нитки, то расползается быстро. А у этого старшего лейтенанта голеница крепко поползли... Лицо у него худое, темное, и в очках он.

И вот мы идем и замечаем — не ест он ничего, а потом и курить перестал. Мы привал делаем — и он садится отдыхать. Мы, значит, едим, а он — того, не ест. И стало нам его жалко, особенно когда заметили мы, что он не курит, а курильщик, видно, отчаянный.

И вот старший из нас, Черепанов, пожилой человек, доброволец, бывший уральский партизан, подходит к старшему лейтенанту и так вежливо приглашает: пойдемте, дескать, покушайте с нами. Старший лейтенант к нам подсел, поел, махорки мы ему дали, и дальше пошел он с нами как наш человек. А в полку он исчез. Когда же мы пришли в батальон, видим — он уже там, и он и есть наш командир батальона. Прислали же его из другого полка, где он командовал ротой и так хорошо воевал, что получил повышение на комбата, а на другой день ему орден Красного Знамени вручили.

Обрадовался он мне и Черепанову, как родным: главное, говорит, за махорку спасибо. «Это был поступок!» — говорил он нам (он так иногда говорил, и мы все тоже приучилися так говорить, и это стало как высшая похвала в нашем батальоне).

Товарищ Нечаев взял меня к себе телефонистом, а Черепанова — связным. Жизнь пошла такая — ни сна, ни отдыха, дни и ночи перемешались. Продвинулись мы на шесть километров, освободили четыре деревеньки. А через три дня командира полка не то ранило, не то убило, и товарища Нечаева — даром что всего лишь старший лейтенант — назначают командиром полка. Я дежурил у телефона, и получил этот приказ, и передал комбату, и он хотел уточнить, как и что, но тут порвалась связь. И товарищ Нечаев сдал батальон одному лейтенанту, а меня и Черепанова взял с собой, и вот приходим мы в полк.

Приходим мы в полк и спускаемся в землянку. А в землянке лежит майор — командир полка, раненый, и бредит он на полный голос, отдает в бреду команду и разные приказания, и весь горит, а врачей и санитаров нет, никак их не дозовешься. Я охрип тогда, вызывая кого-нибудь из врачей по телефону. Товарищ Нечаев перевязал командира полка как мог и все сидит возле него, мокрый платок ему кладет на лоб, пробует узнать про полк, да про его силы, да про его задачу, а тот ничего не видит и не слышит, а штаб полка вместе со

своим начальником и со всеми картами и документами отрезан противником и сидит обороняется где-то в деревне, за три километра.

И вот налаживаем мы связь с двумя батальонами, и только третий батальон никак не отзывается, и велит мне товарищ Нечаев восстановить с ним связь. Вылезаю я из землянки на свет божий и вижу: кругом все разбито и раскромсано, и даже деревья и те разбитые. Беру я провод в руки и бегу, пригнувшись, по проводу к роще и вдруг вижу — в роще останавливаются машины, и оттуда выходят генералы и офицера́. И один из них подходит ко мне и спрашивает, где здесь НП полка, и велит мне проводить его туда. Откозырял я как сумел и веду его обратно, к нашей землянке. И думаю, что веду генерала, а потом смекаю, что звезда-то у него на петлицах больно велика. И весь шалею: никак Маршал Советского Союза! Первый и последний раз видел я тогда маршала за всю войну.

Вбегаю я в землянку, а маршал и с ним один генерал и командир дивизии — полковник идут за мной. А наш старший лейтенант, товарищ Нечаев, кричит в это время в телефон и смотрит в щель на наши боевые порядки. А обернувшись, он замечает маршала и командира дивизии, которого знал раньше, и рапортует, причем не очень громко, по-граждански больше, чем по-военному. Я даже подумал, что он не понял, кто перед ним. А маршалу это, должно быть, не понравилось, и посмотрел он на товарища Нечаева так пронзительно, что все испугались. Был он очень крут, и его боялись все командиры. И вот он спрашивает: «Почему не выполнили задачу дня? Сколько сил у противника на фронте вашего полка?» — «Не знаю»,— отвечает товарищ Нечаев и хочет объяснить, в чем дело, и показывает на раненого командира полка, который тяжко стонет в углу на соломе, но маршал не слушает, вдруг краснеет, начинает кричать и угрожать расстрелом и снова спрашивает: «Почему высотка, про которую докладывали, что она взята, у немцев? Очки втираешь, сукин сын?»

И тогда наш командир полка старший лейтенант Нечаев вдруг говорит: «Вы на меня не кричите».

И так он это спокойно сказал! У меня сердце зашлось. А маршал — тот задрожал от этих слов, и все думали, что сейчас он старшего лейтенанта застрелит, и

впрямь его руки стали по воздуху шарить, как будто ищут чего-то. Но старший лейтенант так спокойно смотрел ему в глаза и сам был такой ясный, спокойный, что маршал, видно, хоть и сердился, но все-таки зауважал человека за то, что тот его не испугался. А командир дивизии, полковник, человек большой храбрости в бою, но перед начальством известный трус, молчал, хотя обязан был разъяснить, в чем дело.

Тогда-то наш Черепанов, тот самый старик доброволец, уральский партизан, вдруг в тишине негромко говорит: «Да он же командиром полка всего полчаса...»

Маршал повернулся, но, увидев, что это солдат, да еще старик, ничего не сказал, только наклонил свою большую голову и опять к товарищу Нечаеву: «Слушай, командир полка. Видишь эту высотку шестьдесят один, пять? Завтра утром возьмешь ее. Возьмешь — получишь Героя Советского Союза. Не возьмешь — будешь расстрелян».

И наш командир на это ответил: «Хорошо». И улыбнулся. Ей-богу!

Маршал повернулся кругом и вышел, генерал и командир дивизии ушли за ним.

А мы остались. Я посмотрел тогда на нашего старшего лейтенанта и вижу: он все улыбается. Меня даже в пот бросило.

6

Гораздо позже, ночью, когда мы пробирались к третьему батальону — а мы всю эту ночь проходили от батальона к батальону, от батареи к батарее,— где-то в открытом поле мы прижались к земле, чтобы покурить, и я спросил у Виталия Николаевича: «Почему вы улыбнулись тогда?» Он подумал и ответил: «Мне его жалко стало».— «Кого жалко?» — «Маршала жалко».— «Маршала?» — «Да, ему плохо, ему хуже, чем нам. Он отвечает за все, за весь фронт. Видели, какие у него глаза красные? Какой у него рот горький?» Так он и сказал: «горький рот» — я хорошо это помню, вся эта ночь и весь день, все это как будто вчера было; я даже не слышал никогда, чтобы говорили так: «горький рот», эти слова мне понравились, такие они были необыкновенные... Ну, я признался Виталию Никола-

евичу, что на глаза и рот маршальский не смотрел и даже, по правде говоря, не подумал, что у маршала есть рот и глаза, а смотрел на его звезды на петлицах (погон тогда не носили), на его мундир. А Виталий Николаевич — он умел не на поверхность смотреть, а в душу... Что же я вам это говорю? Вы-то его знаете, не мне вам рассказывать...

Уехал, значит, Маршал Советского Союза, остались мы в землянке — товарищ Нечаев, Черепанов, да один лейтенант из первого батальона (пришел узнавать, что да как), да полковой инженер. А майор, командир полка, вижу я, притих. Умер. И товарищ Нечаев снял с него планшет с картой и глядит на карту, потом бежит куда-то с Черепановым, возвращается с танкистом в черном шлеме — невдалеке, оказалось, танкетка стоит — и велит лейтенанту привести взвод солдат. И тот приводит, и вместе с танкеткой они отправляются на выручку штаба. И мне он велит исправить связь, и я бегу и исправляю, и когда возвращаюсь — его еще нету, а невдалеке слышатся разрывы гранат и выстрелы. Потом он возвращается вместе со всем штабом. И штаб приходит ни жив ни мертв, с сундуками, бумагами и полковым знаменем в чехле. И распоряжается товарищ Нечаев без криков, но все его слушаются. Знают все, что завтра этот старший лейтенант в рваных сапогах будет Героем Советского Союза или же будет расстрелян. И ему все быстро подчиняются и смотрят на него с особым уважением. И вроде бы жалеют его и как бы виноватые перед ним стоят.

А потом он велит мне принести воды умыться. Достаю я воды, приношу. Умывается он холодной водой. Предлагаем мы ему поесть — не ест. Поужинали все, а он нет; он офицеров штаба рассылает в роты и батальоны, а сам тоже идет и берет меня с собой. И ночь мы не спим, лазаем по окопам; и он спешит, перебрасывает взвода, и орудия, и минометы с места на место; и солдат расспрашивает про немцев и про их огневые точки, а особо он беседует с артиллеристами, заботится насчет снарядов и насчет пристрелки. И я его спрашиваю: «Вы, наверно, крепко военное дело изучали?» А он засмеялся: «Нет, говорит, я инженер, а по званию старший техник-лейтенант, случайно ротой стал в бою командовать — в тот момент никого поумней меня рядом не нашлось... Видишь, говорит, какую карьеру сделал: неделю назад — техник-лейтенант, сегодня — командир полка... А завтра...» Тут он замолчал и молчал долго. Я тоже, конечно, молчал.

В третий батальон было невозможно пробраться. Речка, низина, немцы всю ночь стреляют по ней из пулеметов. Полежали мы, покурили, потом поползли. А уже начинает светать, время идет. Что делать? Товарищ Нечаев полез в речку, и мы по грудь в воде час пробирались середь камышей, медленно, чтобы немцы не услышали плеск. И обратно тоже так.

Возвратились мы, было уже светло. Думал я, поспим часа два, потом наступать. Я-то действительно поспал немного, а командир не спал, все распоряжался да с начальником штаба приказы писал. Как проснулся я, вижу: встает он с места, перекладывает из вещмешка в карман гимнастерки запасные очки и говорит начальнику штаба: «Сиди здесь, командуй, разговаривай с начальством по телефону, докладывай ему обстановку, а я пойду. Сам поведу полк высотку брать».

Взял он меня и Черепанова, и мы пошли. И когда мы поднялись на возвышенное место и увидели перед собой большак и железнодорожную насыпь с разрушенным полустанком, а за железной дорогой ту самую высотку, шестьдесят один запятая пять,— холмик с редкими березками,— и увидели наших людей, медленно шедших к большаку небольшими кучками, и артиллеристов, тащивших «сорокапятки» на прямую наводку,— в этот момент Виталий Николаевич приостановился и сказал:

— Хорошо бы — убили. Жена и сын не будут опозорены.

И понял я, что он опасается, что не сможет полк взять ту высотку.

Сил действительно было у нас мало. Главный удар наносил второй батальон. Товарищ Нечаев на эту ночь усиливал его за счет других двух батальонов. Этот батальон стал как бы штурмовой группой, а остальные два, малолюдные, только поддерживали его огнем.

Постоял товарищ Нечаев и пошел, а мы — за ним.

Может быть, немцы что-нибудь пронюхали — у нас-то всю ночь было неспокойно, роты передвигались для создания ударного кулака,— стрельба была сильная, но товарищ Нечаев шел вперед во весь рост. А я человек

необстрелянный — когда рядом рвалась мина, я, конечно, падал на землю и впивался в нее, как клещ. Был я неопытный, притом о жене и детях думал, да и маршал мне расстрелом не грозился. А старик Черепанов — тот тоже не ложился, не кланялся снарядам. И оба ждали, пока я встану, но не упрекали меня, молчали.

Когда же мы пришли во второй батальон и дело уже подходило к девяти часам, началу атаки, и мы с товарищем Нечаевым и командиром батальона — тоже старшим лейтенантом — вышли на большак, где в обоих кюветах накапливался батальон для атаки, товарищ Нечаев вдруг оборачивается, манит меня пальцем и говорит: «Тут вот оставайся, тут и будешь. Будешь следить за связью со штабом полка и с соседом справа».

И жмет он мне руку крепко. И понимаю я, что он меня жалеет и не хочет брать с собой в атаку и потому придумал мне такое поручение, хотя вначале толковал, что я потащу за ним связь. Но не в силах я был ему возразить и по слабости человеческой обрадовался, так как боялся смерти и думал про свою семью. А для успокоения души думал: «Командиру виднее». Черепанову он тоже велел остаться, а когда Черепанов стал ему перечить, он сделал вид, что рассердился, и сказал: «Выполняйте приказание». Однако Черепанов, как я потом узнал, все-таки ушел с ним.

Высотку мы взяли. Я-то этого не заметил, так как тащил свои телефоны в земле, как крот, а все кругом гудело, и убитых было много. Уже на той самой высотке узнал я, что мы ее взяли и что товарищ Нечаев был ранен в плечо и руку. Мне рассказывали, что все поздравляли его со званием Героя, а он смеялся, отмахивался. И верно, поздравления были прежде времени. Все наше наступление продолжалось еще три дня, а потом выдохлось — немец был в полной силе, а мы еще только учились, как его бить. И высотка эта, которая казалась маршалу самым главным делом, была уже никому не нужная, а впереди было еще столько высоток, что ежели за каждую расстреливать командиров полка или давать им Героя Советского Союза, то не хватит офицеров в армии и золота на звезды в целом государстве...

Черепанова, между прочим, тоже ранило вместе с вашим мужем. Но я их не видел, увезли их в тыл.

7

Во время рассказа солдата Ольга Петровна, слушая вначале рассеянно, а потом все с большим вниманием и напряжением, вспоминала покойного мужа, но вспоминала не так, как обычно в течение двух с лишним лет, прошедших со времени его гибели, а совершенно по-новому. Солдат казался ей как бы посланцем из другого мира — того мира, где Виталий Николаевич Нечаев жил отдельно от нее, где он умер и продолжает жить после смерти в воспоминаниях этого солдата. У нее ни на минуту не проходило ощущение, что однорукий солдат прибыл от живого Виталия Нечаева непосредственно — оттуда, где Виталий находится теперь,— настолько живы были его впечатления и настолько, в сущности, потрясающ его приход.

Ольга Петровна была далека от всякой мистики. Ощущение, что эти голубые глаза видели Виталия не два года назад, а только что, появилось оттого, решила она, что все, что рассказывал Слепцов, было для нее совершенно и абсолютно ново. Оно как бы относилось к Виталию Нечаеву и в то же время как бы не имело к нему никакого отношения, настолько он показался ей в рассказе и похожим и не похожим на себя.

С одной стороны, в словах солдата покойный муж ее вставал совсем как живой. Улыбка его, добрая и застенчивая до чрезвычайности, самозабвенность в любом труде, даже самом мелком, неумение заботиться о себе и условиях своей жизни, непрактичность, раздражавшая ее в нем нередко,— все это было на него похоже. Когда солдат произнес его слова: «Мне стало его жалко»,— Ольга Петровна даже вздрогнула, до того это ей напоминало его всего, до мельчайшей гримасы лица, его свойство, тоже иногда вызывавшее ее раздражение, «усложнять простые вещи», как она это называла когда-то, то есть всюду стараться находить побудительные причины и, поняв их, прощать.

Да, она узнавала его через слова солдата, словно солдат незримо рисовал его перед ней теплыми и ясными мазками, хотя солдат вовсе не пытался передать ситуации, о которых рассказывал, какими-либо средствами искусства или подражания.

Но, узнавая мужа в частностях, она не узнавала его в целом. Нечаев, встававший из слов солдата, был не

тем человеком, которого, казалось, так хорошо знала Ольга Петровна,— рассеянным, робким, несколько инертным, увлеченным только своими расчетами и чертежами, только умственным, и то до некоторой степени механическим трудом расчетчика, чернорабочего от инженерии. Слепцовский Нечаев вошел одетый в воду, а тот, ее Нечаев, простуживался от любого сквозняка и был мнителен, приписывая себе всевозможные болезни. Этот Нечаев был любимцем множества людей — тот был нелюдим, он был только уважаем, да и то слегка насмешливо. Этот Нечаев не боялся никого — даже маршала, который мог его расстрелять; тот опасался институтского начальства, которое могло его ущемить. В том Нечаеве, которого она знала раньше, не было как будто ни удали, ни хладнокровия, ни такого уж большого обаяния — всего того, что было в преизбытке у слепцовского Нечаева.

Этот, кроме прочего, оказывается, курил! Виталий не выносил табачного дыма. У этого был орден Красного Знамени, он командовал батальоном, полком! Несколько раз во время рассказа Ольга Петровна с полной искренностью думала: «Да полно, не случилась ли грубая и обидная ошибка? Может быть, солдат рассказывает совсем о другом человеке — однофамильце и тезке Виталия Нечаева. Он не туда попал, ему дали неверный адрес...»

Виталий Николаевич не писал ей о своих ранениях, о полученных наградах, званиях, должностях. Вероятно, он думал, что это не может интересовать ее. Но по мере того как она, деля свое возбужденное и утончившееся внимание между рассказом Слепцова и своими смятенными мыслями, вспоминала письма мужа и отдельные фразы из них, она не могла скрыть от себя, что, в общем, он сообщал ей о всех своих делах, передрягах, переводах из части в часть, с фронта на фронт. Перед ней всплыла фраза: «Вот у меня и вторая царапина — все идет отлично». Он сообщал ей об этом в игривом тоне — конечно, потому, что не хотел ее волновать.

Она стала упорно вспоминать,— не упуская при этом ни единого слова из рассказа Слепцова,— что́ она ответила Виталию на сообщение о «царапинах». И покрылась холодным потом: ответила она что-то удручающе незначительное, мелкое, даже не сказала, что

понимает, как ему трудно. Между тем он выносил тяжести невыносимые, муки смертные.

Когда солдат рассказывал о том, как Виталий Николаевич шел по грязи в плохой шинели, без еды и в порванных сапогах, она испытывала знакомое ей чувство покровительственной жалости и даже некоторого удовлетворения тем обстоятельством, что муж без нее беспомощен и не приспособлен к жизни,— тезис, который она не уставала повторять когда-то. Но по мере хода рассказа она поняла, какая все это чепуха. Он вряд ли замечал свой унылый и несчастный вид, он был нетребователен, он и от нее так мало требовал. Он был скромен и горд. Впрочем, был ли он скромен? Был ли он горд? Она не знала. Она плохо знала его. Или, может быть, этот солдат его плохо знал? Кто знал подлинного Виталия Нечаева? Она, которая провела с ним десять лет — три тысячи шестьсот пятьдесят дней, или он, знавший его три дня?

Конечно, она имела свои оправдания. Эти годы она жила в маленьком сибирском городке, казалось целиком сотканном из неуюта и холода, тем более что старожилы, местные чалдоны, жили в своих бревенчатых черных домах уютно, тепло и замкнуто.

С великим трудом приживалась она в тех краях; жизнь там текла трудно и однообразно, и ей казалось, что хуже не бывает. Мечта о возвращении в Москву превратилась у нее почти в манию. Каждый день войны казался ей проклятьем, потому что откладывал это возвращение. Правда, ее жизнеспособность не изменила ей и там. Она вскоре сравнительно сносно устроилась, пробилась сквозь строй препятствий, сквозь вязкую массу неподвижного быта тех мест. Энергия пополам с полусознательным кокетством, тоже являющимся проявлением энергии и жизнеспособности в красивой женщине, помогла ей встать на ноги, получить собственный угол, хорошую работу, полезные знакомства.

Потом она узнала, где находятся сослуживцы мужа, списалась с ними. Они вызвали ее в другой, большой сибирский город и устроили в институт, где работал Нечаев до войны (этот институт эвакуировался туда из Москвы в октябре сорок первого года). В ее переезде и устройстве особенную роль сыграл Ростислав Иванович Винокуров, приятель Нечаева, видный инженер и изоб-

ретатель. Она часто стала бывать у Винокуровых и замечала не без чувства самодовольства, что Винокурову приятно общение с ней, что ему, человеку широкообразованному, выдающемуся в кругу их знакомых и сослуживцев, с ней интересно, хотя когда-то, при первоначальном их знакомстве в Москве, он не обращал на нее никакого внимания: она была для него тогда женой Нечаева, и не более.

На новом месте ей было легче, но все-таки и тут шла суровая, полуголодная жизнь.

Значит ли это, что она там, в Сибири, не думала о муже? Нет, она все время думала о нем, сознавала, что он есть, его отсутствие было одной из сторон большого несчастья, именуемого войной. Однако она была убеждена, что никому не придет в голову послать его сражаться на поле боя, что он будет проектировать мосты или укрепленные районы. Это было настолько целесообразно, что Ольга Петровна, твердо верившая в силу целесообразности, иначе не могла предполагать. Следовательно, Виталий Николаевич был на войне, и это давало ей право на чистую совесть и на приятное презрение к женам тех мужчин, которые на войне не были, например, к жене Винокурова. В то же время Виталий Николаевич как бы на войне не был, так как годился только для инженерного дела, и это давало ей иллюзию спокойствия за его судьбу. К тому же и его письма, успокоительные и даже веселые, разгоняли ее страхи.

«Зачем он меня щадил? — думала она теперь, словно пробужденная ото сна рассказом солдата. — Он не смел вводить меня в заблуждение...» Но, думая это, она в то же время чувствовала, что чуточку лицемерит, что ее спокойствие было самообманом и что время от времени она и тогда сознавала это.

8

— Не думал я, не гадал, — продолжал свой рассказ Слепцов после непродолжительного молчания, — что еще раз придется встретить Виталия Николаевича. Сами знаете, — такой фронт, в две тысячи километров! Сколько частей, дивизий, армий, все вокзалы кишат военными, все деревни полны военных, и в городах,

поди ж ты, самых тыловых — и то, как говорится, военных больше, чем людей.

Почти три года прошло. Все было другое, и я был другой. Казалось мне, что война идет уже лет десять и еще будет идти, может лет сто. «Хорошего человека война делает лучше, плохого — хуже», — любил говорить Виталий Николаевич. Я про эти его слова часто думал. Наверно, они правильные. Однако всяко бывает. И хороший человек на войне привыкает к мысли, что все трын-трава, один конец и потому все можно, все разрешается. И привыкает он к мысли, что государство должно за него думать и что у государства можно все брать без стеснения, раз оно твою жизнь берет, не стесняясь. На войне взять чужое не считается воровством, отнять не считается грабежом, потому, ежели ты не возьмешь, какая-нибудь шальная бомба разрушит, всякое добро, которое делалось большими мастерами и наживалось годами, уничтожит за минуту. Вот человек и приучается ничего не ценить. Даже хороший человек. А плохой — тот и вовсе сатанеет.

Нет, война человека портит, потому после нее у нас стало больше воровства всякого, нечестности всякой.

Это к слову сказать. А вообще-то, конечно, дело темное. Значит, на чем это я... Был я уже обстрелянный солдат, в сержанты меня произвели и назначили командиром отделения в отдельной роте связи, при штабе дивизии. Потом был ранен, попал в госпиталь, оттуда — в запасный полк. Тут я обучал молодежь, стал вроде педагогом: имел, оказывается, способность объяснять новичкам премудрость воинской телефонной связи.

Но вскоре случилась неприятность. Потеряли мы стыд, решили, что мы незаменимые. И стали ребята выпивать лишнего. И однажды доигрались мои ребята, что их пьяных задержал на улице командир бригады, полковник. А про него было известно, что выпить он сам любил и потому особенно боролся с пьянством. Так говорили, а может, оно и неправда, сам я его пьяным не видел. Застукал он моих ребят и отдал приказ всех сержантов-связистов, которые засиделись в тылу, отправить на фронт. Выдали нам новенькое обмундирование, обули в американские ботинки без сносу и погрузили в эшелон под вой местных девчат, с которыми мои сержанты крутили любовь.

И вот в начале сорок четвертого года, зимой, попал я на фронт. Зима была снежная, красивая, кругом необозримые леса, все сосновый бор сплошной, мачтовый лес. А стрельбы никакой, только дымки от кухонь да блиндажей на немецкой и на нашей стороне. А блиндажи, благо леса вдоволь, понастроили у нас, как дворцы, и траншеи обшили мы досками, как какие-нибудь немцы, прости господи... Война, она тоже много личин имеет. Бывает, что и не так страшно, даже интересно. Когда мало стреляют... Стало быть, приехав в этакую благодать, поступил я снова в дивизию, в роту связи. Чаще всего дежурил при штабе, говорил по телефону то с одним полком, то с другим: как, да что, да не случилось ли чего?

И вот среди всех голосов — а их в телефоне было эвон сколько, целая пропасть разных частей, подразделений, позывных — один голос показался мне знакомым. Да мало ли что может тебе показаться! Прошли недели две, пока однажды вечером снова не услышал я тот самый голос, и голос тот сказал весело так и громко: «Это был поступок!» Тут я даже задрожал и вмешался в разговор: «Старший лейтенант Нечаев?» — «Капитан Нечаев. Кто меня позвал?» — «Сержант Слепцов, может, помните?» — «Не помню!» — «Ну, конечно, разве упомнишь. Мы-то всего три дня вместе были, и давно, в сорок первом году, под Ельней».— «Ну? Под Ельней?» — «Я при вас телефонистом был, вместе с Черепановым».— «Андрюша?» (Он меня тогда Андрюшей звал.) — «Я самый».

Через некоторое время добился я откомандирования в батальон товарища Нечаева. Из дивизии в батальон редко кто просится, батальон к фронту ближе, там опаснее. Но у нас уж так водится: раз просишься — не пустим на всякий случай. Пришлось долго упрашивать, пока отпустили. И вот я снова очутился рядом с товарищем Нечаевым. И за то время, что был с ним вторично, совсем к нему привык; не ошибся я в нем.

Мы, конечно, жалели, что Черепанова с нами нет, тем более что Черепанов, выписавшись из госпиталя, писал письма, рвался на фронт, хотя его демобилизовали по чистой. Я товарищу Нечаеву говорил: «Пишите ему, пусть приезжает». А он все отвечал: «Конечно, напишу, пусть приедет». Но не писал. Жалел старика.

Сам товарищ Нечаев был не такой, как в сорок первом. Уже и одет был хорошо, больше о себе и даже о внешности своей заботился. Сапоги и те не кирзовые, а кожаные. Правда, хромовые себе не завел. У всех офицеров были хромовые, только у него не было.

Как я вам уже говорил, жили мы в лесу, в блиндажах в четыре наката — ни один снаряд не пробьет, дров для топки сколько угодно. Ну просто рай, кабы не противник да не вши. Вы меня извините, Ольга Петровна, но эти насекомые нас сильно донимали. Вши — они любят чистоту. Пока солдат наступает, спит в ямах и не переодевается, не моется, они как бы есть и нет их: может, потому, что не до них. А как нас вымоют да оденут в чистое белье — тут они начинают свирепствовать до невозможности. Пришлось устроить агромаднейшую вошебойку, куда мы покидали все имущество — кисеты и те.

Помню, Виталий Николаевич рассказывал, как поначалу, в сорок первом году, он был самый вшивый изо всех офицеров и солдат. И никак не мог понять почему. Один солдат ему объяснил, в чем дело. «Думаете много,— сказал тот солдат,— а вши от мыслей разводятся». Виталий Николаевич нам про это рассказал и говорит: «Как мне тот бывалый солдатик это объяснил, подумал я и понял, в чем дело. Вши от мыслей разводятся, то-то и оно! То есть попросту они разводятся у тех людей, которые много думают головой и ни черта не умеют делать руками. После этого я стал следить за собой, старался мыться почаще... Надоело быть белоручкой... И вши от меня отстали...»

И верно, это я тоже заметил — Виталий Николаевич теперь мылся и брился и стал раздеваться на ночь и даже складывать вещи в порядке, как спать ложился. И говорил мне, что когда он вернется домой, то Леля (так он вас называл, Ольга Петровна) удивится, и обрадуется, и не узнает его, и полюбит еще сильнее; и он улыбался этак невесело — вы же знаете, Ольга Петровна,— и добавлял: «А может, снова, как попаду под ее крылышко, позабуду свою военную выучку...»

Простой он был, открытый для всех. Рассказывал нам много всякого интересного. Целые романы наизусть, про разные науки тоже... Все на свете знал. Я его тогда спрашивал, почему он все еще в пехоте да все еще комбатом, он смеется. «Понравилось»,— говорит.

Может, ему впрямь понравилось, а скорей всего — не умел он и не хотел устраиваться там, где поспокойнее да посытнее.

Так мы и жили. Однако вечно стоять на месте в роскошных блиндажах невозможно... Вшей не было, а противник еще был.

Не успели стаять снега, как навезли артиллерии видимо-невидимо, в лесах стало народу и машин невпроворот — ни пройти, ни проехать. Наконец ахнули и пошли, забывши про сон и отдых. Пока не дошли до водной преграды. Первая рота, правда, форсировала ее с ходу и закрепилась на западном берегу, а остальные роты и весь полк не смогли: лодок не было, немцы их раньше увели либо уничтожили.

На другом берегу немцы жмут на наших солдат, а солдаты наши все сигнализируют ракетами: шлите боеприпасы, шлите боеприпасы! И приказывает нам комбат перебраться через реку на подручных средствах, но никто в воду не идет — река пенится от снарядов, и к тому же еще помогает немцам их немецкий бог: поднялся большой ветер, и волны, как морские, ходят.

Тут нашел кто-то на одном дворе рыбацком лодочку-душегубку, принесли ее, спустили на воду, положили туда ящики с боеприпасами, а лодка такая утлая, что страх берет. Вижу я, комбат стоит на берегу мрачный, потом вдруг идет к лодке. Я к нему и говорю: «Товарищ капитан, я вас не пущу».— «Как так не пустишь?» — «Да так, не пущу. Не выдержит лодка, пойдет на дно».

Он ничего не отвечает и идет к лодке. Я ему говорю: «А вы хоть плавать-то умеете?» Он смеется: «Я? Я был первый пловец в институте. Призы брал за Московскую область». Тут мне полегчало. Он спрашивает: «А ты?» Я говорю: «Я пловец неплохой. На Енисее вырос». Он говорит: «Превосходно!» (Он любил говорить «превосходно», и мы все тоже стали так говорить. И я заметил, что и вы, Ольга Петровна, тоже сказали несколько раз «превосходно»... Как его словечки ко всем приставали! Я и то теперь дома у себя... Жена смеется: «Одно знаешь: превосходно да превосходно!» И еще он часто, когда удивлялся, то спрашивал: «Вот как?» У нас так не спрашивают, и сначала мне это казалось смешно, а потом и я стал так переспрашивать.)

«Превосходно! Вот мы и покажем пример»,— говорит мне, стало быть, Виталий Николаевич, и мы садимся в лодку и плывем, и за нами солдаты — стыдно им стало! — кто на чем.

Как переплыли — не спрашивайте, но переплыли и закрепились, а скоро переправились и другие батальоны... После этого и приехал к нам командир дивизии генерал-майор Захарченко, стал — в который раз — звать товарища Нечаева к себе в штаб дивизии. Пошел бы — остался бы живой. Генерал тогда вручил мне орден Славы Второй степени (Третьей степени у меня уже был за прежнее), а Виталия Николаевича представил к ордену «Отечественной войны».

9

В то время как солдат вел свой рассказ о Виталии Нечаеве, Ольга Петровна вспоминала, что после того, как вышла замуж, пятнадцать лет назад, она воспринимала своего мужа так же, как Слепцов своего командира. Он был тогда таким же ясным, открытым, искренним, остроумным, тихо-талантливым во всем, что делал. Позднее ее ощущения притупились, или сам Нечаев потерял свою ясность, веселость, победительность какую-то? Или она перестала в нем все это замечать — пригляделась, приобыкла? Или действительно все это ослабло под гнетом житейских дел, от всяких неурядиц в семье и в стране (он болезненно переживал то и другое)? И не виновата ли она в том, что он потускнел, если он действительно потускнел?

Он работал. Работал много — даже на курорт ухитрялся брать с собой чертежи. А какая у них была душевная, личная жизнь? Что он делал помимо работы? Думая об этом теперь, она вдруг с совершенной ясностью вспомнила те обстоятельства, которые знала и раньше, но которые не казались ей такими уж важными. Ведь это он и никто другой заставил ее закончить не законченное по ее лености образование, приучил ее читать книги, объяснил их ей. Это он исподволь, осторожно, так, чтобы ее не обидеть, прививал ее несколько косному уму широкие понятия и умение видеть скрытое, но главное, за внешними

проявлениями жизни. Это-то и сделало из нее того человека, которым она была теперь,— уважаемого сослуживцами, принимаемого всеми всерьез, ту женщину, которую полюбил строгий к людям Ростислав Иванович Винокуров; из-за Ольги Петровны он ушел от жены и детей.

Все эти воспоминания, сопровождавшиеся чувством раскаяния и щемящей неловкости, проходили перед ней, тесня друг друга, как будто в спешке и в смятении. Лишь когда Слепцов стал рассказывать о переправе, все эти воспоминания и мысли разом остановились и замерли.

Слепцов увидел, как ее лицо внезапно покраснело, будто зажглось изнутри. Она закусила губу и закрыла глаза. Слепцов не мог знать, какая именно подробность его рассказа так сильно подействовала на нее.

А это произошло потому, что, услышав — ей действительно показалось, что она явственно услышала его голос и интонацию,— услышав слова Нечаева о том, что он брал призы за плавание и т. д., Ольга Петровна вспомнила, что он совсем не умел плавать и всегда стыдился этого. Итак, все, что он говорил на берегу реки, было вздором, выдумкой, если можно назвать вздором и выдумкой чистое золото самопожертвования ради общего дела. Ольга Петровна в этот момент почувствовала, как у нее перехватывает дыхание. И оттого, что Слепцов и теперь не знал того, что узнала она спустя два с половиной года, Ольга Петровна почувствовала мучительное волнение за человека, плывущего в утлой лодочке по бурной реке, обстреливаемой со всех сторон, и гордость от того, что этот человек думал о ней и любил ее, и жгучую обиду на себя за то, что не поняла, кого потеряла.

Она чувствовала, что готова влюбиться в этого нового Виталия Нечаева, в его удаль, ум, презрение к смерти, обаяние, во все то, что так отвечало ее собственному идеалу человека и мужчины. Как могла она считать Нечаева пресноватым и скучноватым, в то время как в нем лучшие человеческие черты были в избытке и в чудесном сочетании? Все это она пропустила сквозь пальцы, как воду.

Она могла бы отмахнуться от всех этих мыслей, как отмахивалась уже не раз, считая, что отвлеченные мысли не имеют значения перед лицом грубых потребностей жизни. Да, она умела пожатием плеч оттолкнуть от себя «бесплодное нытье» ради благополучия семьи и упорядоченности ее существования.

Но теперь она не могла уйти от этих мыслей — на нее смотрели поразительно ясные глаза однорукого солдата, и их простодушный теплый блеск не давал ей уходить в сторону, ссылаться на жизненный опыт, на пример соседей и знакомых; эти глаза говорили ей: ты жила рядом с героем и не заметила этого.

Ольгу Петровну охватили горечь и боль, которые вскоре незаметно для нее самой превратились в досаду и даже злость. Она уже думала о Слепцове почти с неприязнью и мысленно как бы оправдывалась перед ним: «Я, что ли, его убила? Что ты смотришь на меня так пристально? В чем я виновата?»

Так она мысленно твердила, глядя на стену сухими глазами. При этом ее взгляд останавливался на паутине в углу и на трещине в штукатурке, и она думала о том, что надо произвести ремонт квартиры и уборку, и эти мысли, несмотря на всю их неуместность в этот момент, она удерживала при себе, упрямо и почти со злорадством думая, что да, да, уборка и ремонт! Жизнь есть жизнь, и сумерничать не приходится.

Она встала и резким движением зажгла настольную лампу. В это время в коридоре что-то задвигалось, дверь приоткрылась, донесся запах жареного лука, шум примуса, похожий на шум летнего дождя, и шорох веника, напоминающий порывы весеннего ветра, и другие квартирные запахи и шумы, мелкие, но важные, как сама жизнь. И Ольге Петровне показалось, что здесь, в комнате, разреженный холодный воздух, и, сказав, что сейчас вернется, она поспешила выйти к родным запахам и шумам своего дома.

10

Свет настольной лампы под зеленым абажуром сделал комнату зеленоватой и таинственной, как речное дно. Оттого что комната осветилась, за окном стало темно, словно сразу наступила поздняя ночь. Слепцов нащупал в кармане полный табака кисет, но не стал закуривать. Он сидел, ожидая возвращения Ольги Петровны и не двигаясь, как бы стараясь не рассеять

все то, что он должен был ей рассказать. Она все не шла, но он не испытывал никакого нетерпения, зеленый свет наполнял его покоем и тоже казался составной частью его повествования, естественным освещением той полусказочной действительности, в которой он теперь жил. Он думал о том, что недаром Нечаев стремился сюда, в здешний теплый, уютно освещенный мир, и сердце Слепцова переполнилось нежностью к подруге Нечаева, хозяйке этого дома.

Когда она вернулась, Слепцов продолжал:

— Про вас, Ольга Петровна, ваш муж рассказывал так много, что я как бы с вами давно знаком; и не только я, но и жена моя, Марья Александровна, и даже дети и те вас знают и готовы за вас на край света. Да, да, он мне про вас все рассказал. Про то, как вы его всегда поддерживали, как вы работали и институт кончали, имея на руках маленького Юру. Видел я сегодня Юру, вылитый отец, тоже серьезный и честный. Честный. Вот оно, главное-то.

В это время в комнату вошел мужчина в темном костюме. Это был высокий человек в очках, с молодым лицом, но седыми волосами. Проходя мимо Слепцова, он кивнул ему, и Слепцов прервал рассказ и привстал, чтобы поздороваться по деревенскому обычаю — уважительно и обстоятельно — с новым человеком, кто бы он ни был. Но так как Ольга Петровна ничего не сказала, а человек тоже не изъявил стремления к длительной церемонии знакомства, только пробурчал что-то — очевидно, свою фамилию,— затем прошел и уселся в то самое кресло, где утром дремал Слепцов,— солдат в нерешительности постоял еще мгновение, затем сел и продолжал рассказ, лишь отодвинув стул от стола, чтобы не оказаться спиной к человеку.

Продолжая рассказ, он по временам забывал о присутствии того человека и, только изредка вспоминая о нем, вежливости ради полуоборачивался к нему на мгновение.

— И последние его слова,— продолжал Слепцов,— и мысли последние были про вас. Про вас и про родину, которую он любил, но про которую говорил мало; просто отдал за нее жизнь и нам завещал отдать, если придется.

А ранило его при штурме немецкой обороны, и я не был тогда при нем, и когда мне сказали, я побежал и

встретил его, как он лежал на подводе и его отвозили в тыл. Но подводу эту трясло. И ему было больно. И тогда мы его сняли и положили на носилки. Как я вам уже рассказывал. Потом попросил, чтобы мы его положили, чтобы он отдохнул. И мы его положили. Тут он взял меня за левую руку и крепко сжал. У меня даже потом синяки были — так он меня крепко взял за руку. Вот здесь... Ну, то есть руки-то у меня этой уже нету... Вот какое дело. И тут он меня и попросил побывать у вас и передать вам... все про него да про его к вам уважение и любовь... А также передать вам, стало быть на память, разные предметы... Между прочим, логарифмическую линейку — это солдаты нашли в одном доме и, зная, что товарищ Нечаев инженер, отнесли ему. И он ее в подарок для вас прочил и мне про это сказал. А также часы ручные — тоже трофей, один солдатик ему поднес, Терехов по фамилии, молодой. Его позже убило... Ну вот, Ольга Петровна... Потом, конечно, выпустили боевой листок, что-де отомстим фрицам за нашего комбата... Видели вы когда-нибудь, когда много мужчин вместе плачут? Это — редкое явление...

Слепцов замолчал. Его сердце сильно билось, и только когда оно успокоилось, он услышал глубокую тишину в комнате. Тогда он пожалел женщину, которую так очевидно расстроил своим рассказом. При этом он вспомнил и про мужчину, сидевшего в кресле, и полуобернулся к нему вежливости ради. Но в это мгновение он почувствовал к нему неопределенную антипатию, неизвестно, чем вызванную,— может быть, тем, что мужчина сидел в кресле развалясь, как дома, и его лицо было непроницаемо спокойно. Может быть, тут сыграло роль и то, что Ольга Петровна после появления мужчины стала вести себя несколько иначе, чем до того: она почему-то часто поднималась, и снова садилась, и вертела в руках солонку, и несколько раз отводила глаза от Слепцова к тому человеку. Но эти ощущения были слишком поверхностны, чтобы обращать на них особое внимание, и Слепцов после недолгого молчания сказал, полуобернувшись к мужчине:

— А меня ранило в декабре того же сорок четвертого года, на венгерской территории. И после длительного лечения очутился я дома, в Сибири. Неприятель до нас, понятно, не добрался, все у нас на месте, ничто не

разрушено. Даже, ей-богу, удивительно было, когда я прибился домой после госпиталя: все дома целые... Верно, колхоз, раньше богатый, в войну сильно обеднял — мужиков мало, заготовки большие для фронта, почти всё сдавали... Я сначала не знал, за что приняться, ходил неприкаянный; жена, спасибо ей, поняла мою душу, не сердилась, что я целые дни на завалинке сижу, покуриваю, на всех покрикиваю и на все зубами скрежещу,— молчала, только иногда плакала, и то потихоньку. Я, конечно, это замечал, но ничего не мог поделать со своей озлобленной душой. Но понемногу оклемался, пошел работать сторожем, потом пастухом, а позже сделал мне один мой дружок в МТС вторую руку, железную, вроде ухвата, и вскоре сел я на трактор. Про меня даже в газетах писали, что я чуть ли не герой и так далее. Но я не герой и делал все это лично для себя — понял, что помру, если останусь один, без пользы для людей. Выполнял норму и две. А как уборку закончили, взял отпуск — и вот...

11

Последние слова Слепцов, превозмогая свою антипатию, сказал, обернувшись к мужчине в кресле, так как не желал быть грубым и невнимательным к человеку, сидящему в комнате Нечаева. Как бы воспользовавшись этим, Ольга Петровна, то и дело вставаъшая и садившаяся во время рассказа, снова встала.

— Пора обедать,— сказала она и быстро вышла из комнаты.

Слепцов, все еще взволнованный воспоминаниями, видел, что и она взволнована, и ласково проводил ее взглядом до двери, а потом снова обернулся к мужчине. Тот угрюмо или, может быть, напряженно молчал. И Слепцов, почувствовав себя неловко, сказал:

— Вот так, гражданин... мм...

— Ростислав Иванович,— буркнул мужчина.

— Вот так, Вячеслав Иванович,— продолжал Слепцов, плохо расслышав редкое имя.— Расстроилась Ольга Петровна... Может, я слишком это... все подробно... Но, как говорится, слова из песни... Такого человека потерять...

— Да,— сказал мужчина односложно.

Слепцов внимательно посмотрел на него и спросил:

— Друзья, полагать надо, помогают ей, вдове, по силе возможности?

Мужчина после довольно продолжительного молчания ответил так же односложно:

— Да.

И встал с места, чтобы выйти, но дверь открылась, и Ольга Петровна вернулась. Она пришла с тарелками и расставила их на столе.

В это время за дверью заплакала девочка, а Ольга Петровна под этот плач все так же медленно и старательно расставляла тарелки. Наконец в полуоткрытую дверь просунулось круглое лицо Паши, и она сказала:

— Все плачет, Ольга Петровна...— и при этом покосилась на солдата: не вызовется ли он и теперь пойти к девочке да успокоить ее своим «сéше, хéше»...

Слепцов ответил ей беглой улыбкой, а Ольга Петровна раздраженно сказала:

— Сейчас приду.

Слепцов, которому жаль было младенца, прислушивался к его плачу, но как только Ольга Петровна вышла, так плач прекратился.

Этот внезапно оборвавшийся плач ребенка вначале заставил Слепцова улыбнуться, но затем улыбка вдруг замерла на его лице и из ласковой стала удивленной, даже детски глуповатой, затем медленно отлетела от лица, оно стало растерянным, смущенным и, наконец,— смертельно-серьезным. Он посмотрел на мужчину, который напряженно стоял посреди комнаты, как бы не зная, выйти или остаться.

Слепцов медленно поднялся со стула, еще постоял с минуту, затем быстро и решительно направился к своему вещмешку, взял его, достал оттуда белый узелок, вернулся к столу, положил узелок на стол и стал развязывать его. Развязав, вынул оттуда разные предметы, положил их на стол, а платок, в который они были увязаны, сложил аккуратно на столе и сунул себе в карман. Потом он достал из кармана гимнастерки пакетик с фотографиями и тоже положил его на стол — лицевой стороной вниз. После этого он вернулся к вещмешку и завязал его.

В этот момент послышался короткий и резкий звонок, стукнула дверь, и в комнату вошел, застенчиво улыбаясь, Юра. Он был в пальтишке и с портфелем. Он

запыхался — спешил, боясь, что уже не застанет приехавшего из Сибири солдата, таежника и рыболова. Но солдат был здесь. Комната была полна волнующих запахов: солдатского сукна, медвежатины, копченой рыбы, фронтовых и таежных дорог.

Юра, застенчиво улыбаясь, подошел к Слепцову, ожидая, что солдат обнимет его, привлечет к себе, начнет что-то рассказывать, словоохотливо и добросердечно, как утром. Но Слепцов только рассеянно потрепал его по плечу и стал молча ждать. И от этого на Юру тоже напало какое-то оцепенение, и он тоже встал неподвижно. И так три человека стояли неподвижно, каждый со своими мыслями, и чего-то ждали.

Но вот вошла Ольга Петровна, и тогда Слепцов заговорил очень быстро и сухо, не глядя на нее:

— Тут вот на столе, как видите, это самое. Его часы, очки, авторучка, книжка записная, письма, фотографии. Там же подарки, логарифмическая линейка для вас, готовальня и часы ручные для вашего сына. Еще там кой-что. Все, что у него было. Вот. Мне пора. Я и так задержался.

Он взял было шинель, но потом вдруг поглядел на Юру, его глаза на секунду сделались стальными, он снова отложил шинель, подошел к столу, взял ручные часики и молча отдал их Юре в руки.

Ольга Петровна положила на стол вилки и ножи и сказала в непринужденном тоне:

— Вот как? Значит, вы не будете с нами обедать? Очень жаль... За любезность вашу большое спасибо. Очень вам благодарна. А может, вы останетесь? Кстати, ведь вы ехали в такую даль — из Сибири, кажется? Наверное, вам и поездка стоила недешево... Один билет в такую даль обходится, вероятно, в копеечку... Нет, серьезно, может, вам нужны деньги? Вы скажите, без околичностей, без всяких церемоний. Пожалуйста. Как добрый знакомый Виталия Николаевича, фронтовой товарищ. Так что скажите... А я думала, вы пообедаете с нами. Вы где остановились?

В то время, как она говорила, Слепцов молча надевал на себя шинель и никак не мог надеть. Но никто не подошел ему помочь, все как будто закоченели на своих местах — от всего, что происходило, и от возможной неловкости, которую может испытать калека, когда ему помогают.

В ответ на последний вопрос Ольги Петровны Слепцов сказал:

— Я ночую у родичей моих. У меня в Москве родичи. Где теперь нет сибиряков? Всюду они есть.

Он надел наконец на себя шинель и взял в руку кепку и вещмешок.

— Это верно,— подтвердила Ольга Петровна, вынимая из буфета и ставя на стол хлебницу.— У нас в институте тоже есть сибиряк, заместитель директора по материальному обеспечению. Он у нас недавно. Может быть, вы знакомы с ним? Леонтий Борисович Свербеев. Впрочем, верно,— Сибирь велика...

— Да,— сказал Слепцов,— Сибирь большая. До свидания, Юра... Ольга Петровна... До свидания, гражданин.

И, взвалив мешок на плечи, он вышел.

12

Юра вышел вслед за Слепцовым, чтобы выпустить его из квартиры, и обратно в столовую уже не вернулся, слышно было, как он прошел мимо двери.

Когда стукнула входная дверь и звук Юриных шагов послышался справа от двери столовой и затих слева, у кухни либо у спальни, Ростислав Иванович, порывисто повернувшись к Ольге Петровне, сказал:

— Что ты сделала? Ты понимаешь, что ты сделала? У нас в доме был благороднейший человек, праведник, понимаешь, святой, а ты ему предложила денег! — Он продолжал, все больше волнуясь: — Смотри, какую преданность памяти Виталия Николаевича он проявил... какую любовь! — И с мужской солидарностью, вечной и темной солидарностью мужчин против женщин, он проговорил, глядя остро и колюче ей в лицо: — Да и верно, муж твой покойный был человек необыкновенный. Замечательный человек. Такого человека... о таком человеке нельзя забыть. Забыть такого человека может только... только сука.

Он сам поразился оскорбительному окончанию своей фразы. Он не собирался произносить ничего подобного. Ольга Петровна была отвратительна в последнем разговоре со Слепцовым, и оттого, что она проявила себя такими неприятными чертами, он обо-

злился на нее. Но этого было бы мало для тех слов, которые он сказал, если бы он не знал, что не может без нее жить, что, несмотря на все, он любит и не перестает любить ее даже теперь, когда презирает, почти ненавидит ее.

В то же время он сознавал, что она своей черствостью в отношении к Слепцову отталкивала память о первом муже ради него, Винокурова, ради спокойного, безоблачного течения жизни в семье: она как бы боролась с чувством вины за свою любовь к Винокурову. Поэтому он вместе с презрением, почти ненавистью к ней испытывал приятное чувство гордости, что ради него забыт и находится в пренебрежении тот, другой, притом еще человек замечательный. И наконец, одновременно с этим он испытывал острое чувство горькой, хотя и неразумной ревности,— впрочем, может ли ревность быть разумной! — бессмысленной оттого, что она не была обращена на кого-либо, а сводилась к простому предположению, что, если он умрет или даже уедет надолго, она полюбит третьего и будет так же сильно, решительно, как бы категорично, этого третьего любить, окружать своей заботой и теплом и защищать свою любовь всеми средствами.

Эти чувства — любовь и страсть к ней, и боль за ее проявившуюся душевную грубость и бесчувственность, и обида за поруганную память прекрасного человека, и приятная гордость оттого, что она так любит его, своего нынешнего мужа, и предвидение, что и его она может разлюбить при определенных обстоятельствах,— все это смешалось в душе в одну кашу, горькую, как полынь, и сладкую, как мед. Полыни, впрочем, на этот раз было во много раз больше. Когда Слепцов простился и собрался уйти, Винокуров готов был ударить свою жену по лицу. Однако он не сказал ни слова, он вообще решил не вмешиваться — то было не его, а ее прошлое — и пожалел, что слушал часть рассказа Слепцова из спальни, а затем, войдя в столовую, был свидетелем разговора. Но когда Слепцов вышел, и входная дверь глухо стукнула за ним, и когда Юра, не понимавший, но явно чувствовавший, что произошло нечто отвратительное, прошел мимо двери, хотя знал, что его ждут обедать,— Винокуров не смог удержаться от выражения своих чувств.

— Что вы сделали? — повторил он, назвав ее на

«вы», чтобы еще больше задеть.— Это же невозможный поступок. Нигде он не остановился, неправду он сказал про родственников, неужели вы этого не поняли? И неужели вы не поняли, что если бы он приехал ради денег, то ему проще всего было бы продать золотые часы и остальное? А? Вы этого не поняли?

Он смотрел на нее ненавидящими глазами.

— Да, вы правы,— сказала она медленно, почти спокойно.— Действительно, как я могла изменить памяти Виталия Николаевича ради такого человека, как вы? — Она бессмысленно походила вдоль стола, потом вдоль буфета, затем сделала два шага к двери, но вернулась, села на стул, на котором сидела весь день, и заплакала.— Он бы никогда... никогда... никогда...— произнесла она сквозь слезы.

Вначале ее слезы не произвели на него никакого впечатления. Напротив. Он подумал, как хитро она защищается, как неожиданно она взяла себе в союзники Виталия Николаевича против него. Но вскоре ощутил ноющую боль в груди. Пожалуй, он впервые видел ее плачущей и, осознав это, понял, как она потрясена. Его пронзило чувство вины, и он подумал о том, что проявил торопливость и бесчувственность, сродни той торопливости и бесчувственности, которую проявила сама Ольга Петровна по отношению к Слепцову. Он сказал:

— Ладно, Оля, сейчас не время все это. Пока надо догнать этого человека и вернуть его.

— Да, да,— сказала она, быстро встала, вытерла глаза, взяла со стола сверток с едой, оставленный Слепцовым, завернула еду в плотный пакет и быстро, летящей своей походкой вышла в коридор, накинула шаль и вместе с мужем спустилась по лестнице в темный двор.

Во дворе никого не было. Накрапывал дождик.

— Товарищ Слепцов! — позвала Ольга Петровна.

Она метнулась по двору и вышла на улицу. Здесь остановилась и взглянула вправо и влево. В переулке не было ни души. Она бросилась влево и торопливо говоря вслух: «Товарищ Слепцов, товарищ Слепцов», дошла, почти добежала до угла. Слепцова не было. Она постояла на углу и медленно пошла обратно.

Сначала она ни о чем не думала, потом в ее голове неторопливо прошел весь последний разговор со Слеп-

цовым, в том числе ничего не значащие слова о сибиряках. Она подумала о том, что поскольку Слепцов сибиряк, то он мог бы жить в том городишке, где она жила первое время эвакуации. И если прав Винокуров насчет того, что однорукий солдат — благороднейший человек, то и там, в том городишке, тоже могли жить прекрасные люди; она же считала их людьми ничтожными и скучными, обвиняла их в заскорузлости и бессердечии и мечтала от них поскорее уехать. Но, по чести говоря, почему они должны были ей сочувствовать и ею интересоваться, если она не сочувствовала им и не интересовалась ими, не входила и не пыталась войти в их жизнь? Ведь даже самым близким человеком, своим покойным мужем, она не интересовалась, даже *его* не понимала и не стремилась понять. Только появление Слепцова сегодня осветило ее жизнь ярким дневным светом, и при этом беспощадном свете многое стало выглядеть совсем иным.

Об этом думала Ольга Петровна, возвращаясь к воротам своего дома.

Ростислав Иванович тем временем тоже пересек улицу, прошелся по бульвару, вглядываясь в немногих прохожих, и тоже вернулся ни с чем. Они постояли вдвоем у ворот. Потом он взял ее за руку.

— Прости меня,— сказал он.

— Ты был прав,— сказала она.— Но пойми...

— Да, да, конечно...

— Я ведь...

— Я понимаю. Пойдем.

Они медленно пошли обратно к дому, медленно взобрались по лестнице к себе в квартиру. Когда они открыли дверь, Юра стоял в коридоре. Он ни о чем не спросил, только устремил тоскливый взгляд на дверь, словно ждал, что следом за ними войдет солдат. Но никто не вошел.

— Обедать пора,— сказала Ольга Петровна.

Они все трое побрели в столовую. Ольга Петровна сунула сверток с сибирской снедью за оконную занавеску. Затем она снова стала готовить к столу, а потом села на тот самый стул, где заплакала в первый раз, и здесь снова заплакала, словно именно этот стул располагал ее к слезам. Ростислав Иванович подошел к ней и стал говорить вполголоса разные успокоительные слова.

О Юре забыли. А он стоял возле окна и сурово смотрел на них. Слезы матери угнетали его, но не вызывали жалости. Он стоял бледный и строгий и давал себе слово, вернее, много слов, обещаний, клятв быть честным, добрым, искренним, ученым, или, как сказал тот солдат,— «советским».

Исполнит ли он свои клятвы? Исполнит, если окружающие помогут ему — не нравоучениями, а собственным самоочищением от всякой скверны.

13

Что касается Андрея Слепцова, то Ольга Петровна и Ростислав Иванович не нашли его не потому, что он быстро покинул двор. Напротив, он, выйдя из дома, подошел к той скамеечке, где сидела утром старушка с вязаньем, и опустился на эту скамеечку. Тут он закрутил махорку и жадно закурил. Он ведь из уважения к семье Нечаевых ни разу не курил в их квартире и теперь глотал горький дым, как захлебнувшийся в воде глотает воздух.

Было темно. Накрапывал дождик. Значит, прошел весь день — с рассвета до вечера. Андрей Слепцов подумал о том, как быстро, молниеносно прошел этот день и какой он в то же время насыщенный и длинный, как он, этот единственный день, сумел изменить многое в его жизни, осветить ее по-новому. При свете этого странного дня все стронулось с места, перемешалось, осложнилось. Это был ясный, ровный, немигающий, беспощадный свет. И казалось, что любимые образы пропали в нем, как пропадают тени в резком свете.

Он услышал, как Ольга Петровна окликнула его, как она и ее муж вышли на улицу его искать. Он прижался к стене, боясь, что они его увидят. И спрятал цигарку в рукав, как солдаты делали на переднем крае, в виду противника. Он теперь не мог бы с ними разговаривать и даже на них смотреть.

Но вот они наконец вернулись и исчезли в доме, и Слепцов остался один на большом дворе. Он посидел некоторое время, потом встал с места и пошел к воротам. Здесь он остановился и обернулся. Перед ним от самой земли до неба посверкивало, мерцало, горело больше сотни светлых квадратиков. Его глаз воспринял

вначале это зрелище чисто механически, как нечто красивое, потом разум его усвоил, что это окна, а за ними люди. И он вспомнил, как капитан Нечаев однажды — дело было зимой, еще в обороне,— говорил про эти окна, именно про эти самые, а не какие-либо другие. Нечаев говорил примерно так: родина — это не обязательно изба с березой или тополем, перелесок или поляна, как это по старой памяти пишут в стихах и прозе; родина — это также городская квартира из двух комнат, точно такая же, как четыре квартиры над ней и две под нею и пятьдесят во всем доме — обыкновенное жилье с водопроводом, который урчит по утрам, и с телефоном, который звонит, когда кому-нибудь заблагорассудится вспомнить о тебе и набрать твой номер. Родина — это два окна среди точно таких же ста, ничем от остальных не отличающиеся, кроме того, что там твоя жена и твой ребенок. Это тоже «земля отчич и дедич», священная московская земля, хотя и приподнятая на два-три десятка метров. И, защищая свою большую родину, ты защищаешь и эту малую и готов отдать за нее жизнь.

Слепцов стал искать те два окна, о которых говорил Нечаев. И он вскоре нашел их, светившихся зеленым светом среди других, светившихся желтым, и зеленым также, и красноватым, и лиловым, и просто ярким без прикрас — огромное множество человеческих гнезд. И, вспомнив слова капитана Нечаева о его двух окнах, Слепцов замотал головой, как лошадь, которую мучают слепни, и больно закусил губу, чтобы не заплакать.

Но среди безысходности, овладевшей им в эти мгновения, его, как он вскоре заметил, не оставляло ощущение чего-то милого, теплого и нежного. Он не понимал, что́ именно оставило в нем такое ощущение. Он отметил, что оно было не только внутренним, душевным, но и чисто физическим. Это дало ему нити для дальнейших поисков и довольно скоро его внимание сосредоточилось на руке: он чувствовал на ней приятную тяжесть, рука его была еще напряжена, словно держала нечто милое, теплое и нежное.

То была маленькая девочка с не по-младенчески разумным взглядом. Ах, эта маленькая девочка, этот человеческий детеныш, совсем еще крохотный, весь в будущем, весь как сосуд, способный вместить в себя все

прекрасное. Вот, оказывается, что смягчало ожесточенное сердце, смиряло и облегчало его!

Вскоре Андрей Слепцов совладал с собой. Он крепко вытер лицо, подкинул повыше свой вещевой мешок и зашагал в обратный, уже знакомый путь к трем вокзалам. Предстояла, по-видимому, длинная бессонная ночь на вокзале, в очереди за билетом, и Слепцов ворчал себе под нос: «Хорошо, Андрей Слепцов, что ты успел подремать: утром на скамейке, потом — на мягком стуле». Он решил, что постарается взять билет на завтрашний вечерний поезд, чтобы в течение дня успеть посмотреть Москву.

1960

ПРИЕЗД ОТЦА В ГОСТИ К СЫНУ

Рассказ

Иван Ермолаев ждал в гости своего отца. В письме не было сказано, когда именно и с каким поездом отец приедет, и Иван волновался и досадовал на расхлябанную деревенскую манеру писать письма, где о выезде сообщалось двумя словами, а о самочувствии дальних родственников и соседей, почти забытых Иваном,—на четырех полных страницах из школьной тетради.

Двадцать восемь лет назад, пятнадцатилетним мальчиком, уехал Иван из деревни, вернее—был выгнан невзлюбившей пасынка молодой мачехой, совсем как в сказке. Дальнейшая жизнь его тоже оказалась некоторым образом похожей на сказку, непростую и трудную в каждодневье, но полную увлекательных событий и чудесных превращений, если оглянуться назад и охватить взглядом всю картину.

Маленьким мужичком с льняными волосами, в лаптях и посконной рубахе пришел он в областной город Пензу, а оттуда завербовался на новостройку в Магнитогорск, город, о котором говорилось так, словно он есть, хотя его еще не было. Чернорабочий, фабзаяц, плотник, бетонщик, Иван в числе десятков тысяч других строил завод своими руками, а завод, в свою очередь, тесал и плавил его самого, незаметно тесал и плавил его по своему образу и подобию. Так тихий и безответный крестьянский мальчик превратился в знаменитость, чье имя упоминалось при всяком перечислении виднейших доменщиков страны с такой же неизбежностью, с какой, например, Лермонтов упоминается при каждом перечислении наиболее выдающихся русских поэтов; всегда голодный вороненок, полный совершенно превратных представлений о мире и потливого страха перед старшими, перевоплотился в спокойного, уверенного в себе человека, отца большой семьи, книгочея и любителя писать статейки в газету; безропотный житель самых холодных углов строительских бараков стал владельцем четырехкомнатного дома с садом в новом городе на правом берегу Урала, депутатом горсовета, членом разных комиссий—словом, одним из тех, которые могли бы называться почетными гражданами Магнитогорска.

Естественно, что Иван любил Магнитогорск затаенной, но сильной любовью. Город был для него не просто местом проживания, как старые города для своих жителей,—один не мог бы существовать без другого: если бы не город, Иван не стал бы Иваном, если бы не Иван, город не стал бы городом. Отцовская и сыновняя любовь одновременно—редчайшее чувство; такое чувство питал Иван к Магнитогорску.

Домой он не писал—не так от обиды, как от тягостного и ясного понимания равнодушия к нему домашних. Он только время от времени посылал им то пятьдесят, то сто рублей, а когда встал твердой ногой у доменной печи в качестве третьего, затем второго и, наконец, старшего горнового, начал посылать по двести рублей ежемесячно. В ответ он иногда получал коротенькую писульку о том, что деньги получены, с присовокуплением обычных поклонов от разных дядьев и кумовьев. Жена Ивана, Любовь Игнатьевна, расставалась с этими деньгами без особой охоты: каждый раз к концу месяца ей казалось, что не хватает именно этих двухсот рублей. Но, попытавшись однажды задержать отсылку денег, она получила от обычно покладистого и спокойного Ивана такую яростную и оскорбительную острастку, что с тех пор исполняла эту обязанность с примерной аккуратностью.

Дело в том, что в Иване все эти годы жила тихая, не очень сильная, но сосущая боль при воспоминании о родной деревне. Боль эта по прошествии лет слабела, а в последнее время давала знать о себе все реже; при получении же известия о приезде отца она возобновилась с новой силой, лишь постепенно видоизменяясь в свою противоположность—в сдержанное ликование человека, вновь обретающего нечто утраченное и все еще дорогое.

Эту неделю Иван работал с восьми утра и поэтому

мог успевать к московскому поезду, приходившему на рассвете. В фиолетовом полумраке выводил он свою «победу» из сарая и ехал на станцию.

По мере того как одинокая «победа» неторопливо, там и сям разбрызгивая темные весенние лужи, приближалась к реке, утренняя заря все больше завладевала небом — заря не городская, а скорее вольная, широкая, степная заря, еще не разглядевшая, что внизу под ней не степь, а город. И домá и улицы здесь, несмотря на свою многочисленность и благоустроенность, еще не прижились на своих местах: каждому дому и каждой улице вроде бы казалось, что они на краю, что сразу за ними — конец городу, пустынное пространство; так оно и было совсем недавно.

Вокруг светлело, и фиолетовый полумрак пропадал куда-то, испарялся. И это походило на не слишком стремительное поднятие огромного легкого фиолетового занавеса, за которым обнаруживалась мягко освещенная теплым желтым светом огромная, пока еще пустынная сцена, где вскорости произойдут важные события.

И вот наконец самое важное событие происходит: когда машина подъезжает к реке, взору Ивана открывается завод на том берегу. Кажется, что это — огромное клокочущее вулканическое пространство, наспех прикрытое каменными стенами, железными крышами и толстым стеклом, затычками из огнеупора и огнестойкого металла, с отводами в виде многочисленных труб, сквозь которые вулкан имеет возможность хоть частично выдохнуть излишки своей ярости: из этих труб рвутся пламя и дым разнообразнейших цветов и оттенков; вот с откоса низвергается раскаленный шлак, и огненная струя его, стекающая вниз, принимает очертания человека с раскинутыми руками.

По сравнению с могучим, еле сдерживаемым полыханьем заводского вулкана мощные электрические лампы в окнах, у проходных, на столбах кажутся блеклыми и мертвыми, как светляки в сравнении с лесным пожаром.

Иван улыбался восхищенно. Он не переставал восторгаться своим заводом, на котором работал уже четверть века, как дети стрелочников не устают махать руками поездам, которые проходят мимо них каждый божий день.

Вдоль заводской стены, а потом по улицам старого города на левобережье Иван ехал к вокзалу. Перед вокзалом он выключал мотор, запирал машину, а сам шел к выходу на перрон и здесь долго, до конца разъезда всех пассажиров, стоял, вглядываясь в каждого из приезжавших, даже в молодых людей: ему трудно было представить себе отца после двадцативосьмилетнего перерыва, и он на всякий случай пытливо и не без замирания сердца заглядывал под все шляпы, фуражки и кепки.

Отца все не было. Ивану в который раз приходилось садиться в машину и ехать обратно ни с чем. Однако напряженное ожидание, предвкушение, что вот-вот он увидит отца, не проходило бесследно. На обратном пути он неотступно думал о своем детстве в родной деревеньке. Снова ныла у него в сердце давно зарубцевавшаяся душевная рана маленького мальчика в больших лаптях, медленно, но упорно выживаемого красивой и вздорной бабой из отцовского дома. Почти с прежним чувством отчаяния и тупого фатализма вспоминал он шумные вздохи отца в отсутствие жены и жалкое молчание в ее присутствии. Перед его туманящимися глазами возникали опять картины детства: большие мягкие губы отца, похожие на губы лошади, когда отец ел похлебку, молча слушая, как жена попрекает дочь, по-пустому вяжется к сыну, кричит ему: «Дурак! Иванушка-дурачок!» — гремит ухватами, пышет жаром; он вспоминал, как просыпался на рассвете от шума и вздохов на полатях, и видел в полутьме жирные, белые, как сметана, ноги мачехи и худые, одеревенело вздрагивающие ноги отца, и понимая, что вот из-за всего этого мачеха забрала власть в доме, тоскливо думал о том, как все это, в сущности, непонятно и страшно. Он видел, будто наяву, опостылевшую, но любимую до слез низкую избу на краю деревеньки у самой речки Вороны, и душа его, вся во власти воспоминаний, снова как бы испытывала старую любовь к этой избе и к этой деревеньке — собственно, даже не любовь, а чувство глубочайшей уверенности, что только в этом закуте может жить на свете Иван Ермолаев.

Но вот он переезжал по мосту в новый город, уже оживленный, полный солнца и людей. Он неторопливо ехал по широким улицам, окаймленным большими

домами, по площадям, где все производило впечатление чистоты, новизны и простора, где, в отличие от старого города на другом берегу, не чувствовалось близости заводских дымов, утренний воздух был чист и свеж, а молодая завязь на деревьях — ярко-зеленая. Наконец он подъезжал к своему дому и заводил машину в сарай. Здесь воспоминания оставляли его. Он бесшумно отпирал дверь, ставил чайник на плитку, переодевался в рабочую одежду. В доме все еще спали, только кошка лениво терлась о ножку стола. Но вскоре, заслышав шорох в столовой, из спальни выходила в халате и шлепанцах румяная, заспанная Любовь Игнатьевна. Ее шаги негулко и домовито раздавались то тут, то там. Шумы в доме становились все сложнее и разнообразнее: хлопанье дверей, мелкие шажки тещи Дарьи Алексеевны, бормотание вскипающего чайника, стук высоких каблучков старшей дочери Марины, студентки горнометаллургического института, громкие и веселые зевки сына Пети, ученика девятого класса, потом его же свист, наконец, шевеление в крайней комнате слева, пронзительный возглас: «Мама!» — шлепанье босых ног, бульканье струйки в горшочек — это просыпались трое младших.

Пока Иван пил чай, мимо него медленно проходил или быстро проносился то один, то другой член семьи, но Иван, как обычно в эти утренние часы, не обращал на них никакого внимания, полностью игнорируя их существование. А они, в свою очередь, тоже словно не замечали его; так было установлено издавна. Он уже был как бы не здесь, а на заводе, у доменной печи, уже начинал приобщаться к таинству металла и огня, и окружавшие понимали это и, не переставая, разумеется, делать свои обыденные дела, уважительно молчали и двигались как можно бесшумнее, едва только попадали в его поле зрения.

Неделю Иван ездил на станцию встречать своего старика, но так и не встретил его. А появился отец совершенно неожиданно и буднично, и не рано утром, а этак часов в десять. Просто постучал в дверь и открыл ее невысокий старик с небольшой серой бороденкой, с небольшим узелком в руке. Вошел, спросил, здесь ли живет Иван Ермолаев, а узнав, что здесь, сел на стул и начал оглядывать комнату, как мастер-обойщик или маляр осматривает стены, чтобы прикинуть объем

будущей работы. Дарье Алексеевне даже и в голову не пришло, что это и есть долгожданный гость, она сказала ему, что хозяйка скоро придет, и продолжала делать свои дела.

Радиоприемник разговаривал бодрым голоском — голоском «специально для детей». Дети, впрочем, были во дворе. Любовь Игнатьевна ушла в магазин, Петя — в школу. Марина собиралась в институт — ее у калитки поджидал сын сталевара Пименова, студент-однокурсник, а возможно, что и жених. Сам же Иван, недавно вернувшийся с ночной смены, отсыпался, и его ровный храп возникал из спальни в те мгновения, когда поддельно бодрый голосок из радиоприемника делал паузу.

Дарья Алексеевна, маленькая старушка в очках, справила наконец все утренние домашние дела и села на диван с книгой: она была отчаянной читательницей. Она читала громким шепотом, почти вслух. Подняв через некоторое время глаза, она увидела старичка на прежнем месте и подумала о том, что Любе следовало бы уже быть дома, раз она пригласила мастера по поводу ремонта крыши. Узелок старика Дарья Алексеевна приняла за сумку с инструментом.

Как это не раз случалось в истории, все дело распутал ребенок. Шестилетний Федя Ермолаев, вернувшись со двора за каким-то нужным ему предметом, увидел старичка, который дремал на стуле, и спросил с детской прямотой:

— Дедушка, ты чего тут сидишь?

Старик пожевал мягкими губами, почесал серую бородку, внимательно посмотрел на ребенка и, неприязненно покосившись на шепчущую старушку в очках, ответил:

— В гости к вам приехал, милок, в гости... Ты бы мне свово папаню разыскал...

Федя кивнул лобастой головой, но так как «папаня» спал, а будить его не полагалось, мальчик направился к выходной двери; однако сочетание слов «дедушка» и «в гости» показалось Феде весьма значительным, так как оно произносилось в доме за последние дни бесчисленное множество раз. Поэтому он на всякий случай подошел к бабушке, мотнул головой в сторону старика, сказал:

— Дедушка в гости приехал.

И тогда только убежал во двор.

Слова эти не сразу дошли до старушки, а когда дошли, она растерянно посмотрела на дверь, куда исчез мальчик, потом на старичка, вроде бы задремавшего, уронила книгу на диван и кинулась к старику:

— Господи! Вы не... не Тимофей ли Васильевич?

Поднялась суета. Со двора прибежали дети вместе с соседской детворой. Митя побежал за мамой в магазин. Федя кинулся к уходившей Марине и вернул ее, к немалому огорчению Вити Пименова. Растолкали Ивана.

Иван выбежал в столовую босиком, крепко прижал отца к груди, снял с него серую ватную кацавейку, стянул с него сапоги и дал свои мягкие домашние туфли, помог теще быстрее накрыть на стол и растроганно смотрел, как старик жует мягкими губами и улыбается чуть сконфуженно.

Тимофей Васильевич почти не изменился, только волосы и борода у него посерели, и весь он посерел, потеряв тот кирпичный цвет лица и шеи, который так хорошо запомнился Ивану с детства. Помимо того, он стал поблагообразнее, потерял суетливость, свойственную ему в стародавние времена.

Сына он, разумеется, не узнал: он с интересом посматривал на него, пытаясь уловить черты сходства с мальчиком Ваней и, не находя таких черт, бормотал неопределенно:

— Ну, вот и встретились, и слава богу...

Иван опасался, что отец будет вспоминать старое, извиняться, каяться, но старик не проронил о прошлом ни слова, степенно передал поклон от своей жены и детей от второго брака, а также от Ваниной сестры, которая охромела еще в отрочестве, так и не вышла замуж и по-прежнему жила при отце. На вопрос Ивана, что нового в деревне, Тимофей Васильевич ответил, что в деревне ничего не изменилось, все по-прежнему. Иван засмеялся:

— Ну, как не изменилось? Там же колхоз теперь?

Старик ответил равнодушно:

— А? Ну да, колхоз... А ты разве до колхоза уехал? Верно, до колхоза...

— А ты кем в колхозе работаешь? — спросил Иван.

Старик сказал хмуро:

— Я? Чего я там не видел...

— А как же? — удивился Иван.

— А так, живем потихоньку,— ответил Тимофей Васильевич уклончиво, однако тут же, искоса взглянув на Ивана, добавил торопливо: — Ну, и хвалиться особенно нечем...

В это время вернулась запыхавшаяся Любовь Игнатьевна. Знакомясь с ней, старик одобрительно кивал: жена Ивана оказалась большой, рослой женщиной, краснощекой и голубоглазой. Старик уважал крупных женщин. Одобрил он также и квартиру Ивана; правда, войдя в ванную комнату, не понял ее назначение: оказалось, к удивлению детей, что он ванны никогда в жизни не видел. Впрочем, оценил он ее довольно быстро. Вымывшись и переодевшись в Иваново белье, он уселся на стул возле окна в столовой, чистенький, молчаливенький; на этом стуле сидел все время, между тем как члены семьи, радостно-возбужденные, вертелись вокруг него, точно спутники вокруг планеты.

Вскоре из кухни донеслись сложные и приятные запахи приготавливаемых парадных кушаний к вечернему празднеству в честь приезда Тимофея Васильевича. Младшие дети — Вера, Митя и Федя — не отходили от дедушки и смотрели на него молча, ожидая, что он их позовет, поговорит с ними. Но он не обращал на них внимания. Только когда впервые появился старший, девятиклассник Петя, старик внезапно заинтересовался и даже удивленно заерзал на стуле: уж очень тот был похож на мальчика Ваню, только что без лаптей и вместо домотканой рубахи в клетчатом пиджачке с галстучком и узкими брючками.

Пока все это делалось дома, Иван уехал на завод приглашать в гости друзей, работавших в дневной смене. Потом он побывал на квартире у тех своих приятелей, которые сегодня работали ночью. И наконец вернулся домой, превеселый и предовольный, с целым ящиком водки и шампанского на заднем сиденье машины.

Гостей собрался полон дом. Тут были мастера доменных печей, в большинстве своем пожилые, среди них прославленный Ульянов с красивой вертихвосткой женой и еще более знаменитый Гончаренко, уже пенсионер, усатый, как запорожец,— один из последних сотрудников Свицына, помнивший еще самого Курако по Краматорскому заводу. С ним вместе пришли стару-

ха жена, седая, важная, как профессорша, и сын-полковник с молодой женой, приехавшие в отпуск. Были тут горновые с Ивановой печи с женами, люди молодые и скромные, восходящее светило доменного производства инженер Коломейцев и его жена — нарсудья Лидия Ивановна Коломейцева, инструктор горкома партии — бывший доменщик Леня Башмаков и сталевар Пименов с женой и сыном.

К Марине в это время пришли две ее подруги, чтобы совместно готовиться к зачету, но, ввиду такой оказии, их тоже усадили за стол, и они сидели втроем в уголке, разумом своим порываясь в другую комнату, к учебникам и тетрадям, а суетными пятью чувствами стремясь остаться здесь, за роскошным столом, под одобрительными взглядами мужчин и кислыми — тридцатилетних женщин, в хмельной атмосфере начинающегося веселья. К Марине подсел Витя Пименов; он не ел и не пил, только глядел на нее неотрывно, будто впервые ее видел.

Стол был красивый и богатый. Тут располагались разные колбасы, холодцы, всевозможные консервы в жестяных банках, однако стоявшие на фарфоровых тарелочках, холодные голубоватые магазинные куры, селедка, заливная рыба и уже мятые — шел май месяц, — но еще вкусные кислые огурцы и моченые яблоки.

Однако венцом всех яств были пельмени — знаменитые на всю Россию, не те, худосочные из магазина, в скучных картонных коробках, а самодельные уральские, из изысканной смеси говядины, баранины и свинины, четырех разных сортов — большие, как пироги, и маленькие, как детские ушки, такие, где все дело — в тесте, где оно воздушное, пахучее и тает во рту, а мясо служит как бы только приправой, и иные, где вся прелесть — в мясе, в правильности его пропорций, в его сочности неизъяснимой (держи рот, не то оттуда брызнет!) — а тесто только так, футлярчик, пленка для содержимого.

Дарья Алексеевна, Любовь Игнатьевна и Марина, разгоряченные, румяные, серьезные, очень похожие друг на друга, но очень разные (сами вроде как пельмени различных сортов), стали подавать пельмени с пылу с жару, миска за миской: и как только миски пустели — а это происходило быстро, — тут же несли

новые миски и не садились, пока самые ненасытные гости не отвалились на спинки стульев в блаженном изнеможении.

Подавая, Любовь Игнатьевна и Дарья Алексеевна уделяли особое внимание Тимофею Васильевичу; они шептали ему — то одна, то другая — в большое седое ухо о достоинствах тех или иных пельменей и наперебой придвигали к нему перец, сметану, кету, топленое масло и уксус в большом фужере.

За здоровье приезжего гостя пили бесконечно. Тосты за него произнесли старик Гончаренко, Коломейцев, Башмаков, Ульянов и младший Гончаренко, полковник. Этот приветствовал его чуть ли не от лица всех Вооруженных Сил, что, впрочем, рассмешило одного только Леню Башмакова: докладчик и лектор, он хорошо знал цену всяким преувеличениям.

Старик Гончаренко благодарил Тимофея Васильевича за сына, «который является — как старик сказал по-старомодному — украшением отечественной металлургии». Горновые решили покачать отца своего «старшо́го», и он в их сильных руках легонько подскакивал под самую люстру, глядя на многочисленные стеклянные подвески не без опасений.

После ужина стол задвинули в угол, а стулья расставили вдоль стен. У женщин разгорелись глаза. Заиграл патефон. Начались танцы. Только Дарья Алексеевна, проголодавшаяся, как волк, приткнулась к столу и села есть уже остывшие пельмени, одновременно ухитряясь, невзирая на шум, заглядывать в книжку.

Комната была не очень большая, танцевали впритирку друг к другу, как в американском баре, но это не только не мешало никому, но еще больше веселило всех. Не обходилось без вольных шуточек танцующих с чужими женами по адресу нетанцующих мужей, а также встречных острот, обмена на ходу парами, флирта «понарошку» и взаправду. Царило свободное, интимное, но не разгульное веселье, какое бывает в компаниях, все праздники проводящих вместе, где все друг к другу привыкли, каждый знает слабости другого лучше, чем свои собственные, все связаны многолетней дружбой и взаимной симпатией, не исключающей, правда, заочных маленьких сплетен и довольно злых подкалываний по поводу совершенных промахов. Постороннего, попавшего в эту среду, легко собьют с

толку намеки на неизвестные ему события, собственные, только данному кругу принадлежащие словечки и прозвица, и некий условный, связанный с общим производством и совместным времяпрепровождением жаргон, который понятен только здесь и больше нигде на свете.

Танцевали долго и самозабвенно. Как обычно, тут главенствовала Любовь Игнатьевна. На ее лице было при этом написано особого рода равнодушие, которое составляет высший шик среди магнитогорских замужних женщин; оно призвано свидетельствовать о чистоте их помышлений, о том, что для них главное в танце — вовсе не партнер, не мужчина, а танец сам по себе, что это вопрос чистого искусства, и только. Хотя Любовь Игнатьевна танцевала на первый взгляд неторопливо, сдержанно, даже незаинтересованно, но ее плавная иноходь была куда мощнее и опаснее, чем резвый галоп других танцорш, и действительно она перетанцевала всех. Когда остальные уже без сил сидели, развалясь на стульях и диванах, лишь она, да кокетливая Екатерина Степановна Ульянова, да приезжая — молодая жена полковника Гончаренко еще были на ногах. Потом приезжая повалилась в изнеможении на диван, прямо на руки своему мужу. Тут переменили пластинку, гармоника заиграла русского. Любовь Игнатьевна и Екатерина Степановна остановились как вкопанные, их глаза сразу стали хитрыми-хитрыми, и они пустились в пляс.

Но мужчины никак еще не могли «соответствовать». Лишь изредка, подстегнутые особенно удалым перебором гармошки или уж очень лихим коленцем и настойчивым вызовом одной из двух неутомимых плясуний, кто-нибудь из мужчин прохаживался по комнате с перестуком каблуков или как будто в отчаянии кидался на полминуты вприсядку с таким напряженным лицом, словно прислушивался, не донесется ли ответного стука снизу, из подпола, или даже с противоположной стороны Земли; не получив ответа, он разочарованно и сконфуженно опять усаживался на диван, а вместо него выскакивал кто-нибудь другой.

Потом снова сменили пластинку, но Екатерина Степановна больше не могла, и лишь одна Любовь Игнатьевна, гордая своей победой над соперницей, опять замерла, сделала томные глаза и пошла по кругу

плавной походкой девушки из аула. За ней ненадолго бросался кто-нибудь из мужчин; зажав между зубов лезвие столового ножа, он шел за ней как привязанный, и лезгинка неожиданно вызывала общий смех, когда ее выплясывал озорной русак со вздернутым носом и скуластым слабобородым лицом.

Понемногу люди и вся комната в целом приобрели тот же вид, что и стол после ужина, когда все кушанья потеряли первоначальную пышность и благообразие: все салаты разрушены, все пирожки надкусаны, все тарелки перемазаны, все блюда перемешаны. Иными словами, началась та чересполосица разумных речей и полнейшей белиберды, громкого пенья и беспричинного смеха, та полупьяная добродушная несуразица, которая является высшей точкой каждой больцовой вечеринки.

В этих обстоятельствах одна только Дарья Алексеевна неизменно оставалась на посту. Она уложила спать малышей. Она тихонько выпроводила Марину и ее подруг в другую комнату заниматься (Витя Пименов ускользнул вслед за ними). Она начала уносить остатки ужина, чтобы сервировать чай, при этом не забыв — добрая русская душа! — оставить на столе недопитые бутылки.

Еще один человек, кроме Дарьи Алексеевны, был совсем трезв и ясен — сам хозяин дома, Иван Ермолаев.

Иван сегодня почти не пил, не был, как обычно, вдохновителем общего веселья, не плясал в паре с Любовью Игнатьевной «русского» и не следил с орлиной зоркостью за пустыми рюмками и тарелками друзей. Он был сегодня тихий и трезвый, молчаливо и ласково поглядывал на всех и в особенности на своих домашних. И вид у него был строже, чем всегда, в новом, еще не надеванном черном костюме из отличной шерсти «с выработкой». Этот новый костюм, о котором толковалось давно, произвел впечатление на всех, особенно на модницу Екатерину Степановну; она обратила всеобщее внимание на то, как черное к лицу Ивану, светлому блондину, какой он в черном стройный и элегантный, и глядела на Ивана еще умильней, чем обычно. Понравился костюм и Тимофею Васильевичу, который, потрогав материю, причмокнул языком.

От отца Иван не отходил ни на шаг, иногда обнимал его одной рукой за плечи, обращал его внимание на

чью-либо шутку или смешной рассказ и, перед тем как смеяться шутке или смешному рассказу, глядел на отца вопросительно — понял ли тот, — и сам начинал смеяться не прежде, чем начинал улыбаться отец, ухватив соль остроты. Изредка Иван поднимался и, потрепав отца по плечу — ненадолго, мол, — уходил из столовой — просто так, от усталости трезвого среди выпивших. В соседней комнате Марина и ее подруги готовились к зачету. Витя Пименов, уже сдавший зачет раньше, сидел на подоконнике и смотрел на Марину, отрываясь от этого занятия только затем, чтобы объяснить непонятное место в учебнике: он был отличником и славился своими способностями; и казалось удивительно и трогательно, как он в одно мгновение, все с тем же очарованным видом переключается от любви к металловедению.

Рассеянно улыбаясь, покидал Иван эту комнату и входил в другую, где на широкой кровати спали все трое маленьких. Звуки вальсов и топанье ног почти не доносились сюда. Иван стоял и смотрел на детей, слабо освещенных светом маленького ночника, и давал себе слово, что никогда от них не уйдет, не бросит семью, не оставит их без отца; года четыре тому назад он увлекся одной докторшей из заводской поликлиники и некоторое время был близок к разрыву с семьей.

В очередной раз очутившись возле спящих детей, Иван почувствовал, что его охватила странная душевная слабость, приятная и причиняющая страдание.

Он постоял, пока это странное ощущение не улеглось, и вернулся в столовую. Здесь уже стало тише. Любители пения на время одолели любителей танцев. Судья, Лидия Ивановна Коломейцева, была главной певицей. Голос у нее был низкий, цыганский, и песни — ему под стать — озорные или надрывные. Озорные она пела серьезно, а надрывные — насмешливо, и, видимо, так было правильно. Все притихли, даже танцорши. Умная Лидия Ивановна, впрочем, недолго пела одна, вскоре завела общеизвестную хоровую, и все голоса радостно вступили, запела даже Дарья Алексеевна, только инженер Коломейцев чертил что-то старику Гончаренко на бумаге, шепотом советуясь со старым доменщиком по поводу некоего «рационализаторского предложения».

Потом гости сели пить чай с печеньем, лишь

Ульянов и Башмаков, не желающие, как они выразились, «делать ерша», то есть мешать водку с чаем, продолжали пить водку. Екатерина Степановна, любезничая с полковником, сердито косилась на мужа, когда он наливал себе очередную рюмку, и ее живые карие глазки то мерцали мягким масленым блеском, то злобно посверкивали.

Тимофей Васильевич сидел в уголке, ко всем приглядывался, больше слушал, чем говорил, степенно поглаживал свою серенькую бороденку. Мастер Ульянов совсем подружился с отцом своего любимого старшего горнового, и, будучи порядочно на взводе, иногда лез к нему целоваться, и звал в гости, и сентиментально вздыхал, вспоминая орловскую деревню, которую покинул ребенком, лет сорок назад.

Людей становилось меньше. Первыми — еще до полуночи — незаметно ушли горновые из Ивановой смены. Они и не пили почти, так как в двенадцать часов должны были заступать; Ивана же начальник цеха заменил другим старшим горновым в связи с семейным торжеством.

Остальные гости стали расходиться часов с двух ночи. В три все стало тихо. Пока Любовь Игнатьевна и Дарья Алексеевна, зевая во весь рот, убирали посуду, подметали пол, стелили постели, старик, которому совсем не хотелось спать, стал расспрашивать сына про гостей (кто они, какие должности занимают, сколько жалованья получают), осторожно прохаживаться насчет женского пристрастия к танцам «с кем попало», соображать, не лучше ли выдать Марину за второго сына Гончаренко (его на вечере не было, но старый доменщик похвалялся им перед Тимофеем Васильевичем), чем за этого ее женишка: отец у женишка больно молчаливый, видно, скупой, да и дома своего не имеют, занимают квартиру в большом казенном доме.

Иван, посмеиваясь, отвечал на его вопросы и мягко отводил его соображения, в то же время тихо радуясь тому, что у него есть родной отец, смешно и мило озабоченный его делами. А старик смотрел на длинный стол, уже пустой, но еще покрытый большой розовой скатертью, вспоминал прошедший вечер и говорил задумчиво:

— Хорошо живешь...

Позже, когда все улеглись и угомонились, Иван

вышел на крыльцо и постоял, глядя, как обычно, в сторону завода, на зарево, пылавшее над ним. Ивану стало не по себе оттого, что смена работает, а он находится здесь, на крыльце своего дома,— кажется, впервые за двадцать лет он не был вместе со своей бригадой. Он ревниво и пристально глядел в сторону домен, которые не были видны отсюда, но угадывались по алым, оранжевым и золотистым отсветам и дымам.

Он решил, что завтра обязательно покажет отцу завод и попробовал представить себе, какое впечатление произведет завод на старика, привыкшего к тому пейзажу, который ясно помнился Ивану с детства: деревенские избы спускаются к самой реке, за рекой змеятся холмы, покрытые темной зеленью дремучего соснового бора. Направо уходит вдаль бесконечная равнина, на ней там и сям виднеются деревеньки, а слева тянется гора, у подошвы которой стоит большое село и ярко белеет приходская церковь Василия Великого; туда в старину ходили на богомолье к источнику святой воды.

Это воспоминание показалось таким далеким, эта картина так была не похожа на ту, которую Иван видел теперь перед собой в темноте весенней ночи, что Иван на мгновение почувствовал себя не одним человеком, а двумя — так трудно было соединить в одной биографии эти два разных мира. И то, что завтра его отец, Тимофей Васильевич Ермолаев, ни с того ни с сего окажется на Магнитогорском заводе, казалось тоже неправдоподобным.

Часов в двенадцать дня Иван не без некоторой торжественности усадил Тимофея Васильевича в машину рядом с собой и отправился с ним на завод. Сзади уселась Дарья Алексеевна — ей нужно было в библиотеку, книги менять на всю семью. Книги, аккуратно увязанные веревочкой, она положила к себе на колени. Иван высадил ее у библиотеки и поехал к заводоуправлению.

Вдвоем с отцом они поднялись за пропуском. Служащие заводоуправления почти все знали Ивана и называли Иваном Тимофеевичем. Здороваясь с ним, они в то же время с улыбкой косились на совершенно выпадающую из общей картины мешковатую фигуру старичка с серой бородкой, такую явно не деловую, не

командировочную, не инженерную, не индустриальную; старичок щурил глаза и вертел головой во все стороны, рассматривая потолки и стены старательно, как будто по обязанности, но без интереса.

Кое-кто останавливался, спрашивая:

— Что, отец приехал?

А некоторые, знавшие Ивана ближе, подходили:

— Уже приехал?

И пожимали старику руку с несколько преувеличенным жаром.

Краснощекая девица в комнате, куда отец и сын зашли за пропуском, подняв глаза и увидев старика, сначала удивилась, но потом заметила стоявшего за ним Ивана, сразу вспомнила и радушно закивала головой:

— Да, да... Сейчас выпишу пропуск. Как вас величать? Тимофей?..

— Васильевич.

Старик сиял от удовольствия: может быть, он смутно думал о том, что вот они с сыном так давно живут врозь, а он, родитель, все равно как бы незримо пребывал вместе с Ваней — ведь звали же Ивана все эти незнакомые люди «Тимофеевичем», по батюшке.

Получив пропуск, они спустились по лестнице вниз, пошли к проходной и наконец очутились на земле завода. Впрочем, по земле отец и сын двигались недолго, вскоре дорога уткнулась в широкую железную лестницу, по которой они поднялись на расположенный высоко над землей виадук и пошли по нему. Внизу, довольно глубоко под ними, тянулись по всем направлениям рельсы, автомобильные пути, толстые и тонкие трубопроводы. Далеко в стороне высились стены огромных цехов, отовсюду свистел вырывавшийся из труб пар, то там, то сям из неприметных отверстий даже выбивалось пламя. Ровное пыхтение раздавалось кругом, беспрерывное ровное пыхтение, покрываемое иногда гудками и тяжким постуком платформ с ковшами, в которых остывало уже лиловеющее огненное варево.

Наконец вдалеке, а потом все ближе, придвигаясь подобно грозному видению, перед ними предстала шеренга доменных печей. Иван остановился и показал их отцу, чтобы он издали оценил эти чудища. Они выглядели как гигантский многобашенный линейный ко-

рабль, а каждая в отдельности напоминала марсианина, но так как старику не с чем их было сравнивать — ни о марсианах, ни о линкорах он не имел понятия,— то он просто испугался.

— Печи! Вот это так печи! — оробев, забормотал Тимофей Васильевич.

Он и раньше слышал о доменных печах, но это слово вызывало в нем самые определенные сопоставления: он думал, что речь, в общем, идет о русской печи, где вместо каши варят железо. Точнее говоря, когда Ваня написал, что работает у доменных печей, Тимофей Васильевич сразу представил себе поле, а на нем, наподобие стогов,— ряды больших белых русских печей, с подпечьями и припечками, загнетками и дымоходами.

Спускаясь вслед за сыном по железной лестнице к доменному цеху, Тимофей Васильевич как завороженный смотрел на сплетение гигантских цилиндров, конусов и призм, составляющих причудливый корпус доменной печи, и все бормотал:

— Печь! Вот это так печь...

Внизу, под домной, где человек кажется себе особенно маленьким и жалким, они наткнулись на инженера Коломейцева, который, узнав их, просиял. Стараясь перекричать доносящийся со всех сторон беспрерывный гул, он громко спросил:

— Еще не опохмелялись?

Эти более чем обыденные слова в такой необыкновенной обстановке несколько привели Тимофея Васильевича в чувство, и он заулыбался так же степенно и чуть покровительственно, как вчера при тостах в его честь.

Когда Коломейцев ушел, пригласив отца с сыном зайти к нему в контору, а вечером пожаловать в гости, Иван сказал о нем:

— Хороший инженер.

— А ты не инженер? — спросил Тимофей Васильевич.

Иван улыбнулся:

— Хотел, да силенок не хватило. Подготовки не было. Начал учиться заочно, но не вышло. Годы не те, голова не так ясно работает... Память неважная. В общем, бросил. Ну, ничего, ведь и рабочие нужны. Зато дочь моя скоро будет инженером.

Старик с сомнением покачал головой: «Рабочий?.. Смотри, как его везде встречают...»

На доменной печи, где работал Иван, отца старшего горнового тоже встретили очень дружелюбно. Черные от копоти горновые и газовщики подходили к нему, улыбались черномазыми лицами и упорно не подавали ему руки, так как не хотели измазать почтенного гостя.

В огромном помещении было темновато и прохладно. Желтый песочек мирно лежал на полу домны, как на берегу реки. Люди, однако, сновали туда и обратно, видимо, были чем-то очень заняты, но чем именно, старик не понимал. Появившийся откуда-то мастер Ульянов тоже был — не по-вчерашнему — серьезен и деловит. Он громко распоряжался, кого-то грозно распекал, и трудно было представить его себе пьяным, и слезливым, и боящимся своей залихватской женки, и прощающим ей все. Тимофея Васильевича он, впрочем, встретил по-приятельски, увел его к себе в комнатку, где вокруг висели щиты с подрагивающими стрелками, потом дал ему синие очки и повел его к печи — смотреть сквозь небольшие глазки на запертое пламя, бушевавшее внутри нее.

Потом Ульянов внезапно исчез, и Тимофей Васильевич почувствовал себя одиноким и потерянным здесь, в этом странном корпусе, ни на что на свете не похожем. Но вот из полумрака появился Иван. Он взял отца за руку и повел, как ребенка, куда-то, поставил его в сторонке и тихо сказал:

— Смотри.

И тут началось. Открылась лётка, и раскаленный жидкий металл двинулся из печи. Все в домне мгновенно преобразилось. Стало нестерпимо жарко и нестерпимо светло. Тени запрыгали по далеким стенам как бешеные. Огонь, осветив ярчайшим светом все закоулки доменной печи, а заодно и соседнюю домну, соединенную с этой, как бы раздвинул их, показал их действительные размеры, более грандиозные, чем это представлялось раньше.

Раскаленный жидкий металл пустился по наклонной плоскости прямо по полу незнамо куда и мог бы все сжечь на своем пути, если бы не незамеченные раньше ложбинки в желтом песочке. Раскаленные струи кинулись по этим ложбинкам вперед. Алое и

золотистое пламя, похожее на адское и еще пострашнее, вдруг напомнило Тимофею Васильевичу их приходскую церковь Василия Великого, где во всю стену были изображены адовы муки. Но тут огонь был настоящий, бесы, то бишь горновые, метались с баграми в руках, пробегали, кидались с этими баграми прямо на огонь, пускали жидкий огонь то в одну, то в другую ложбинку и уже не замечали ни Ивана, ни его отца, словно это были для них незнакомые люди.

Тимофей Васильевич глядел на окружающее с суеверным ужасом, и только присутствие сына успокаивало его, хотя и сын во время плавки изменился, стал каким-то нездешним, смотрел на огонь и металл как завороженный, забыв, кажется, обо всем на свете; золотистые отсветы прыгали по лицу Ивана, сверкали и играли в его глазах.

Словно угадав мысли отца, Иван обернулся к нему, посмотрел на него внимательно и сказал ласково:

— Не бойся, тятя.

Почему-то он именно здесь вспомнил слово «тятя», с детских лет совсем забытое, и оно умилило его. Он повторил:

— Не бойся, тятя. Огонь — наш раб, рассчитан и расчерчен по графику...

Это, конечно, было верно, но когда Тимофей Васильевич очутился на высокой платформе, ведущей из домны на вольный свет, он не без опаски поглядел на небо: есть ли оно еще на своем месте. Оно было на своем месте, в нем неподвижно и необыкновенно высоко стояли перистые облака. Тимофей Васильевич украдкой перекрестился и вздохнул. Иван заметил его движение и улыбнулся. Естественное в старину и непривычное, почти забытое Иваном теперь, это движение тем не менее чем-то растрогало его, как и слово «тятя». И в то же время он испытывал удивление оттого, что жизнь отца так мало изменилась — по крайней мере, по внешности; казалось, что там все так же, как было тридцать лет назад, разве что вместо телег и бричек по дорогам ходят автомобили. Он подумал: «То ли район там такой отсталый, то ли сам отец крепко держится старины, а может, потому он и держится старины, что район отсталый...»

Долго раздумывать над этим не было ни охоты, ни времени; остаток дня и все последующие дни были

заполнены до отказа хождением в гости, в кино, во Дворец металлургов. Мысли Ивана занимало одно: как бы получше принять старика, чем бы еще его потешить. В субботу и воскресенье — два подряд выходных дня Ивановой бригады — решили поехать за город на рыбалку.

К дому Ермолаевых в три часа пополудни съехались две «победы» и «москвичи». Иван вывел и свою «победу». Погрузили палатки, рыболовную снасть, кухонную утварь, рассовали по багажникам части разборной лодки и приготовленные заранее обрезки досок и реек. На эти доски и рейки Тимофей Васильевич смотрел с недоумением, пока ему не объяснили, что в степи топлива нет, поэтому приходится брать топливо для костра, на котором будет вариться уха. Тимофею Васильевичу, жителю лесных мест, это показалось необыкновенно смешным — ездить со своим топливом для костра,— и он впервые за все дни вслух рассмеялся, и все увидели, что сын на него очень похож.

Иван повел свою машину во главе всей маленькой автоколонны. С Иваном в машине были Тимофей Васильевич, Леня Башмаков и полковник Гончаренко — на этот раз не в франтовской военной форме, а в затрапезном, вероятно, отцовском костюме, старой шляпе и длинных, выше колен, охотничьих сапогах. На других машинах ехали их владельцы — инженер Коломейцев, инженер Лапин и горновой Синичкин, каждый со своими приятелями. Женщин не было, считалось, что рыбалка — дело сугубо мужское, даже более того — долгожданный отдых мужчин от женского общества. Почтенные отцы семейств чувствовали себя здесь, как школьники, убежавшие с занятий, и были склонны сильно преувеличивать свои домашние тяготы и недостатки женского характера — для полноты ощущений.

Вскоре машины очутились в степи, на не очень четкой степной дороге, созданной скорее соизволением самих шоферов, чем заботами дорожников. Довольно пустынная, однообразная, волнистая равнина семимильным шагом шла навстречу и, далеко обходя машины, лениво ползла будто не назад, а вперед. Единственная достопримечательность по пути, на которую обратил внимание Тимофея Васильевича Леня Башмаков, был заброшенный золотой прииск —

несколько покосившихся деревянных построек. Тимофей Васильевич, человек, всю жизнь проживший в Европейской России, где о натуральном золоте, добываемом прямо из земли или со дна реки, ходили только легенды, закидал Леню вопросами о том, почему прииск покинут и не осталось ли там золота, и все оглядывался на старые постройки, покачивая головой.

Леня Башмаков хорошо знал и любил здешние места и, несмотря на однообразие ландшафта, ухитрялся рассказывать о них разные истории. Въехали в деревню, и Леня сказал, что ее название Требия, а названа она по имени итальянской реки, где полтора века назад Суворов разбил генерала Макдональда. («Впоследствии наполеоновского маршала и герцога Тарентского»,— бросил Леня с важностью в сторону полковника Гончаренко.) Вообще местность здесь изобиловала иностранными наименованиями; тут были неподалеку деревня Париж, поселок Фер-Шампенуаз, села Наварин, Балканы — так сохранялась память о победах русских войск, среди которых отличились и уральские казаки.

Но вот машины выехали на гребень небольшой возвышенности. Справа внизу, среди зарослей, вдруг показалась извилистая светлая лента реки. Машины долго колесили вдоль ее берегов и наконец остановились у тихого заливчика. Рыболовы стали устраиваться; они были сдержанно взволнованны и то и дело вопросительно и жадно поглядывали на загадочно-безмолвное зеркало реки. Работали споро и ловко, видно было, что все давно продумано и рассчитано: одни разбивали палатки, другие выгружали сети и прочий инвентарь, третьи принялись налаживать разборную лодку, окрашенную в красный лак, как трамвай; это была сложная и кропотливая работа, но вскоре лодка заскользила по заливчику, как красная рыбка. В нее уселись Леня Башмаков и Синичкин. Они поставили сети в разных местах. Кто-то накопал червей, кто-то ладил удочки. Коломейцев взял в свою резиновую надувную лодку полковника Гончаренко и отправился с ним ставить сети подальше, в какое-то свое заповедное место. Вернувшись обратно, они вместе с Лапиным начали готовить закуску — разумеется, еще не уху — уха еще была среди коряг, в расселинах дна, терлась

еще о водоросли, кружилась в омутах, помахивала хвостами, подрагивала плавниками,— а из домашних продуктов, приготовленных и упакованных теми самыми женами, о которых здесь говорилось с таким высокомерием.

Ивану сегодня не давали участвовать в общих усилиях, забирали у него из рук всякую работу, и он сидел с отцом на берегу, объясняя ему, кто что делает, как гид при знатном иностранце. Пахло тинистой прохладой, и Ивану вспоминалась речка Ворона и большой паром.

Покончив с делами, все собрались вокруг постеленного на траве квадратного брезента; всеми цветами тусклой радуги поблескивали пластмассовые тарелочки и пластмассовые стопки, стояли — чтоб не перепиваться — всего три бутылки водки среди блюдец с селедкой, колбаской, жареными котлетами и вареным мясом и множества баночек горчицы. На чистом воздухе, при полном забвении служебных дел и всех забот, кроме как о том, что делается под водой, идет ли рыба в сети,— это был восхитительный обед.

Кое-кто после обеда тут же на траве заснул, и лишь самые завзятые удильщики разошлись с удочками кто куда и сидели вразброс, молчаливые и терпеливые, но в глубине души полные азарта и желания во что бы то ни стало превзойти своих соперников. Тимофею Васильевичу тоже была вручена удочка, и он, обозрев опытным глазом берега, выбрал себе тихую заводь подальше от других и уселся удить. Старик не опозорился: он больше всех наловил окуней, поймал даже одну щучку и язя.

Темнело. Понемногу удильщики вернулись к машинам. Спавшие проснулись. Развели большой костер. Стали чистить картошку. Приближалась «художественная часть», как ее называл Леня Башмаков. Он и Синичкин отправились в красной лодочке проверять ближние сети и вскоре привезли, при общем ликовании, полведра трепещущей рыбы. Тут же взялись за приготовление «большой ухи»: стали чистить рыбу живьем, резать ее, еще бьющуюся в руках, окровавленными ножами, кидать в ведро кипящей воды вместе с целыми луковицами и ломтиками картофеля, снимать ложками накипь с поверхности будущей ухи; и при этом все были очень озабочены и горды и говорили, что

дома такую уху разве сваришь, и что без женщин оно как-то вкуснее, и недаром, дескать, лучшие повара — мужчины, и что стряпня вовсе не такая уж маета, как это любят изображать жены. И хотя все в глубине души прекрасно знали, что все эти разговоры — одна мнимость, но уж таков на рыбалке хороший тон.

Когда рыба закипела в котле среди луковиц и картофеля, Коломейцев, Башмаков и Лапин направились к машинам и вернулись оттуда с черным перцем и лавровым листом в больших конвертах. Взглянув на их торжественные, благоговейные лица, историк мог бы наконец понять, почему человечество так жаждало пряностей, что в погоне за ними даже открыло Америку.

Поели уху, выпив на этот раз изрядно. И вот на небо вышла юная луна, и заливчик засеребрился, и в кустарнике на его берегах зашумел ветерок. А степь лежала широкая и бесконечная; машины и люди вокруг костра отбрасывали на нее причудливые мятущиеся тени. Лягушки квакали невдалеке.

Поздно ночью, когда не спали только самые неугомонные, далеко в степи показались два светящихся глаза, и вскоре к лагерю рыболовов приблизилась еще одна машина, грузовая. Она остановилась неподалеку, и ее фары тотчас же погасли. Послышались неторопливые мягкие шаги по траве. Вскоре в светлый круг вошли трое мужчин. Вглядевшись в них, рыболовы огласили берег веселыми криками: это тоже были заядлые любители рыбной ловли — директор совхоза Канунников, зоотехник и директорский шофер.

— Давненько вас не было видно,— проговорил Канунников, грея руки над костром.

— Да все некогда,— стал оправдываться Иван.— План выполнять надо. Месяц кончается. Сегодня выбрались на рыбалку — и то только в честь моего гостя. Отец приехал... Не виделись давно, четверть века с гаком... Он у меня записной рыболов. Теперь спит в палатке, умаялся.

Вновь прибывшие стали поздравлять Ивана. Он застенчиво их благодарил.

Тимофей Васильевич, впрочем, не спал. Он слушал весь разговор с удовольствием. То, что директор совхоза запросто, даже просительно разговаривает с Иваном, потешило родовую гордость старика и несколько

удивило его. Директор жаловался Ивану на неполадки и умолял помочь слесарями для ремонта инвентаря.

Иван по поручению парткома занимался шефской работой, и доменный цех как раз шефствовал над целинным совхозом, где директором был Канунников. Но старик не разбирался в этих взаимоотношениях; он пристально и уважительно смотрел через отверстие палатки на серьезное лицо своего сына, освещенное от костра золотистым светом, точно как там, на домне, и бормотал:

— Иванушка-то! Вот тебе и Иванушка-дурачок!..

Он не преминул вылезти из палатки — немного погреться в лучах славы и в тепле костра. При директоре он назвал сына Иваном Тимофеевичем, и в дальнейшем уже иначе его не называл, чем повергал Ивана в смущение и беспокойство.

Весь следующий день ловили рыбу, слонялись по берегу, закусывали, лениво рассказывали бывальщину и небывальщину. Нежаркие солнечные лучи, дрожащие светлые нити на воде, путаница длинных степных трав, беспрерывно длящийся пересвист птиц и перезвон насекомых — все это словно бы сплело вокруг людей легкую и тихую сеть блаженного ничегонеделания. Из нее не так просто было выпутаться, и требовалось некоторое усилие воли, для того чтобы на исходе дня приступить к сборам, укладке, одеванию, вернуться к стремительным мыслям обыденной жизни.

На дорожку закусили. Снова произносились тосты за Тимофея Васильевича. Хитрец Канунников, который был крайне заинтересован в том, чтобы задобрить Ивана и получить необходимую помощь от доменного цеха, заметив любовь к отцу, так и светившуюся в глазах у знатного доменщика, не жалел похвал и шумных излияний. Впрочем, он и сам расчувствовался; видя чистую и трогательную сыновнюю любовь, он вспомнил своих родителей, очень старых, живших на окраине Симферополя в маленьком домишке, и решил сегодня же им написать. Он редко им писал.

Живая рыба билась в ведрах и корзинах. Ее разделили между всеми поровну. Синичкин, с утра крепко выпивший, вдруг стал бить себя в грудь и кричать, что он и в детстве был беспризорный, и теперь нет у него дома, и не для кого ему возить рыбу, и пусть его долю

заберут к чертовой матери: от него недавно ушла жена, и при дележе рыбы беда эта показалась ему особенно нестерпимой. Он стал обнимать Тимофея Васильевича, называл его папашей и жаловался ему на окаянную жизнь, считая, вероятно, что видавший виды седой человек поймет его лучше, чем другие.

Синичкина успокоили, вместо него за руль его автомобиля сел полковник, и машины помчались в обратный путь по еле намеченным степным дорогам.

Решили выбрать другой маршрут, чтобы проводить Канунникова до совхоза. Степь сменилась бледно-зелеными березовыми рощами, стоявшими в пленительном беспорядке. После гладких однообразных пространств эти зеленые рощицы радовали душу, и голубое небо над ними было как будто светлее и яснее, чем над изжелта-коричневой степью.

Совхоз был совсем новый. Оштукатуренные белые домики, такие же белые, продолговатые и круглые хозяйственные постройки — все это было ослепительно. Новыми казались тут и коровы и овцы. Тут еще не было ни собак, ни кошек. И люди были все молодые. Может быть, по этой последней причине прохожие, юноши и девушки в новых ватничках, с таким интересом поглядывали на Тимофея Васильевича, когда он проходил по улице поселка в своем сером миткалевом костюме, все время держась рядом с директором...

В Магнитогорск приехали поздно вечером. Все, кроме водителей, сладко спали, так что даже не пришлось прощаться. Сонного Тимофея Васильевича Иван уложил одетого в постель, только сапоги с него снял. Леня Башмаков остался досыпать у Ивана — ему постелили в столовой. Ермолаевскую долю улова кинули в большой таз, долю Лени Башмакова — в ведро.

Иван улегся рядом с женой и шепотом, чтобы никого не разбудить, долго рассказывал ей о рыбалке, симпатичном Канунникове и новом совхозе и перечислял всех пойманных рыб по породам и приблизительному весу.

У супругов зашла речь о предстоящем отъезде Тимофея Васильевича и в связи с этим о подарках ему и его домашним. Понимая, что Ивану хочется «не

ударить лицом в грязь», Любовь Игнатьевна, как умная и хитрая жена, знающая, как сохранить мир и согласие в семье, сама взяла в руки инициативу и предложила купить и послать мачехе Ивана скатерть, отрез шерсти на пальто и шкурку на воротник, сестре — летнее платье и материал на зимнее, детям Тимофея Васильевича от второго брака — их было трое — ботинки, брюки и опять же платье, и еще какому-то дяде и двум теткам, чаще других упоминавшимся стариком,— сапоги и по платку.

Самому Тимофею Васильевичу следовало преподнести особенно ценный подарок, и Иван с Любовью Игнатьевной долго толковали на этот счет; Любовь Игнатьевна боялась назвать предмет слишком дешевый, чтобы не задеть сыновние чувства Ивана и не прослыть скупой и недоброй к мужниной родне; в то же время она не хотела уж чересчур раскошеливаться — и так придется призанять тысячи полторы у Ульяновых на подарки и другие расходы — своих сбережений могло не хватить. И она, покосившись на задумчивый профиль мужа, воскликнула с удальством в голосе, но и не без надежды, что сам муж воспротивится ее предложению:

— Давай-ка мы твой новый костюм ему отдадим?! Ничего!.. Живы будем — справим другой!

Ивану новый костюм очень нравился, и такой легкий отказ жены от этого костюма покоробил его; он не совсем безосновательно предположил, что она так легко отдает костюм потому, что на вечере Иван в нем явно пришелся по вкусу Екатерине Степановне Ульяновой: Любовь Игнатьевна немного ревновала его к своей любвеобильной приятельнице. Но ничего не скажешь, подарок был отличный, костюм и старику очень *показался*, и к тому же такой подарок вроде не стоил денег — за него было уплачено хотя и много, но давно.

— Ладно, Люба, молодец, Люба,— сказал Иван умиротворенно и погладил ее по пышному белому плечу, а она, обрадовавшись этой ласке и польщенная его похвалой, в душе окончательно склонилась перед необходимостью отказа от новых зимних пальто Марине и Мите.

Иван с женой уснули блаженным сном, довольные друг другом.

Утром Иван пошел на завод, а Тимофей Васильевич, проснувшись, с похмелья пил огуречный рассол, принесенный ему сердобольной Дарьей Алексеевной. Он спросил ее, где здесь церковь и не собирается ли она к заутрене — сегодня вознесение, сорок дней после пасхи. Дарья Алексеевна, сдержанно улыбнувшись, ответила, что ее покойный муж, работавший литейщиком в Златоустовском заводе, был старый безбожник, в бога не верил и ей наказал, так что она уже лет тридцать как не ходит в церковь.

Все же она проводила Тимофея Васильевича к трамваю, усадила его и растолковала, как ехать в церковь через весь город.

Пока он ездил, все было сделано: деньги одолжены, покупки произведены, билет на указанный им день куплен.

Прощальная вечеринка, объявленная в свой срок, прошла так же весело и шумно, как и встреча. Наутро после проводов старику были вручены подарки. Старик как будто не очень удивился, только притих, глаза у него стали маленькие-маленькие, он медленно, будто недоверчиво, брал каждую вещь и, выслушав, кому она предназначалась, задумывался на мгновение, оценивая достоинства человека и предназначаемой ему вещи. И только когда все подарки были сложены, старик вдруг поглядел исподлобья на сына и спросил:

— Ты, Ваня, того... сколько жалованья получаешь?..

Иван возразил, гордый и растроганный:

— Ничего, батя!.. Не беспокойся... Хватает, хватает, батя!

А Любовь Игнатьевна, давая старику денег на дорогу, тоже расчувствовалась и, вздохнув, сказала ему ласково, хотя и с некоторым надрывом:

— И по двести рублей будем вам высылать...

Старик при этом смотрел в сторону и быстро-быстро моргал глазами, и было непонятно: то ли он собирается заплакать, то ли думает о чем-то своем. И весь вид у него был какой-то странный: не то петушистый, не то жалкий.

И вот однажды утром дети, проснувшись, не застали дедушку. Он уехал ночью, когда они спали. Зато у них появилась еще одна забава: они надумали играть «в дедушку», и эта игра стала одной из самых любимых.

Дедушку изображала обычно Вера; она приклеивала к подбородку обрывок старой папиной шапки серого меха, сидела серьезная и отрешенная на стуле с рюмкой в руке, а остальные дети чокались с ней рюмками и стаканами и говорили тосты; Федя же, изображавший полковника,— он нашил себе на плечи бумажные красные погоны,— говорил речь и кричал «ура», и потом «дедушка» деловито получал подарки, быстро прятал их в чемодан, спрашивал, кто сколько жалованья получает, и обещал писать письма. Соседские дети тоже жаждали участвовать в этой игре, но по врожденному, что ли, чувству справедливости самостоятельно не смели в нее играть, а обязательно приходили к ермолаевским детям, законным внукам дедушки, истово чокались с Верой и кричали «ура».

Все знакомые при встрече с Иваном обязательно спрашивали, как старик доехал, и что он пишет, и как понравился ему Магнитогорск и завод. А Иван, конфузясь (так как от старика не пришло ни одного словечка), отвечал всем, что отец доехал благополучно.

Весточку от Тимофея Васильевича Иван получил только месяца через полтора и весьма неожиданным путем. В доменный цех как-то днем позвонили из нарсуда и велели передать ему, чтобы он зашел к судье Коломейцевой. Он удивился, но, разумеется, пошел и был неприятно поражен злым видом Лидии Ивановны, обращением к нему на «вы» и сухостью ее тона. Глядя на него бьющим прямо по переносью пристальным взглядом суровых глаз, которые он до сих пор знал лишь веселыми или насмешливыми, она спросила без предисловий:

— Деньги родителям посылаете?

Иван вздрогнул от неожиданности.

— Да,— сказал он, густо покраснев под ее взглядом и весь сжавшись от предчувствия какой-то неизвестной беды.— Да... А что?.. Конечно, посылаю... Не родителям — отцу, у меня матери нет. Из каждой второй получки посылаю. Только в последний раз не посылал: я ведь ему дал на дорогу.

Расспросив его и при этом свирепо придираясь к каждому слову, она наконец вздохнула с явным облегчением, и ее взгляд стал легким.

— Так я и думала,— сказала она и положила ему на

плечо тяжелую и ласковую руку.— Квитанции сохраняешь?

— Квитанции? Не знаю... Навряд ли...

— Так я и думала,— повторила она, покачав головой.— Вот прибыл иск от твоего отца. Жалуется он на тебя: мол, член партии, депутат, домовладелец, богач, а алиментов не платишь. Оставил, мол, родных на произвол судьбы — родителей, братьев и сестер, из коих два несовершеннолетних и одна хромая-калека.

Иван не пытался объясняться. В нем будто что-то оборвалось. Он втянул голову в плечи, на минуту почувствовав себя несчастным и беззащитным крестьянским мальчиком стародавних времен. Она же глядела в сторону и рассуждала вслух:

— Ну, факт твоих переводов мы, положим, с помощью почты сможем установить в любое время, не в этом суть... Одна я не решаю, у меня заседатели, все выяснится в судебном заседании, но думаю, что присудим мы ему с тебя, ввиду твоей многодетности, рублей пятьдесят в месяц. Вполне достаточно. Он имеет корову, овец, откармливает свинью, да еще валенки валяет... Сам же он мне и рассказывал. Пятьдесят рублей будешь ему платить.

В этот момент она посмотрела на Ивана и осеклась, потрясенная выражением его лица.

— Разве в этом дело? — проговорил он, махнув рукой.

— Да. Конечно. Понимаю,— сказала она мягко и как бы виновато.

— Может, они так это?.. Не подумавши? По темноте своей?.. А? — продолжал он, глядя на Лидию Ивановну вопросительно, почти умоляюще.— Может, им живется трудно? А?..

Выйдя из помещения суда, Иван с ужасом подумал о том, что надо идти домой; он не мог сейчас видеть жену и Дарью Алексеевну и даже детей, которые, может быть, за стеной играли в «дедушку». И он решил пойти в пивную, выпить там грамм триста русской горькой, чтобы не было так стыдно. Но когда он подошел к реке, перед его глазами возникла привычная, но всегда ошеломляющая своим величием картина вечно работающего завода. В сгустившихся сумерках разноцветные снопы пламени всевозможнейших оттенков красного и оранжевого и ослепительные вспышки белого огня то тут, то там прореза́ли мир неподвижных вещей стремительно и дерзко. В этом мире — огромном теле, включающем в себя темные горы, тускло освещенные дома, тяжелые воды реки и небо с длинными тучами, чуть освещенными невидимым закатом,— завод с его непрерывным тяжким постуком был вечно бьющимся сердцем, почти таким же сложным и таинственным, как человеческое сердце. Иван жестко усмехнулся и пробормотал с любовью, хотя и не без горечи:

— Вот она, Магнитка! Она — твоя деревня, твой родной дом, твой отец, твоя мать...

1959—1960

СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ

Очерк

Ба! Знакомые все лица!
«Горе от ума»

I

Утром, когда у нас за спиной всходило солнце, мы иногда обнаруживали немецкие наблюдательные пункты на западном берегу Одера. Косые солнечные лучи, озаряя зелень старых сосен, внезапно задерживались, трепеща, на чем-то блестящем, и что-то там на мгновение ослепительно вспыхивало.

— Энпе,— говорил, удовлетворенно покашливая, сержант Аленушкин.

Он нагибался над схемой немецкой обороны и ставил там маленький крестик. Потом он обращал ко мне свое обветренное красивое лицо и усмехался. Я никогда не видел, чтобы он смеялся,— он только усмехался всепонимающей, чуть покровительственной, дружелюбной усмешкой человека, не очень общительного, но очень доброжелательного и много испытавшего. Последнее не удивительно: много надо было испытать, чтобы дойти до Одера!

Не подозревая, что он явится когда-нибудь героем моего рассказа, я разговаривал с ним только о делах службы. И впоследствии я горько упрекал себя за то, что ни разу не беседовал с ним по душам. Когда же война кончилась, было поздно, потому что сержант Аленушкин погиб под Берлином в конце апреля.

Но в то время, о котором я пишу,— март 1945 года,— он был еще жив и удивлял меня своей поразительной зоркостью и почти непостижимой наблюдательностью. У него и глаза были орлиные — круглые, широко расставленные, серые, пронзительные, с очень маленькими острыми зрачками.

Прошлой зимой он, раненный на поле боя, обморозил себе обе ноги и теперь очень страдал от малейшего холода, но и об этом я узнал только впоследствии, после его смерти, со слов других разведчиков. Я вообще мало знал о нем, даже имя его мне было неизвестно, хотя мы проводили вместе добрых пятнадцать часов в сутки.

Это может показаться странным, но на войне такие вещи случаются часто. Люди целиком поглощены своим трудом, а все остальное кажется несущественным. О человеке ты знаешь мало, но зато самого человека ты знаешь хорошо. В мирных условиях порой бывает наоборот.

Для того чтобы понаблюдать ранним утром за противником, мы отправлялись к переднему краю в кромешной темени предутренних часов. Что может быть темнее фронтовой ночи в хорошо дисциплинированном кадровом войске? Да там любую светящуюся гнилушку затопчут ногами, чтобы не светила. Если курят, то в обшлаг бездонного рукава, если читают газету, то в потаенной глубине трехнакатного блиндажа.

Вокруг — тихо и как будто безлюдно. Только иногда раздается негромкий окрик часового да слышится посапывание автомашины, перебирающейся вперевалку по горбатому лесному просеку, да ветер гоняется за кем-то в кустах и, шурша, замирает вдалеке. Ничего не видно, хоть глаз выколи. Но стоит нагнуться немного — и ты различаешь на фоне густой черноты еще более темные очертания головы идущего впереди сержанта Аленушкина. Иди за ним смело — он и во тьме видит. Он тебя не предаст, и не оставит тебя раненого, и поделится с тобой табаком и хлебом — потому что он хороший солдат и к тому же знает, что и ты обойдешься с ним так же. И сердце наполняется нежностью к этому едва различимому в темноте светлому образу. В этой нежности, почти ранящей твою душу, есть и нечто тщеславное — ибо ты и себя считаешь не на много хуже его.

В одну из непроглядных мартовских ночей мы с Аленушкиным пришли в траншею переднего края. Расспросив, по обыкновению, пехотинцев о том, что случилось в течение ночи, мы закурили махорку в ожидании рассвета.

Было холодно, и Аленушкин, вероятно, страдал, но я об этом не знал тогда. Кто-то из пехотинцев предложил нам соломы, и чьи-то неизвестные добрые руки бросили нам из темноты несколько больших охапок. Мы зарыли ноги в сухую солому и продолжали ждать, молча прислушиваясь к негромким разговорам сидевших в траншее солдат.

Говорили тогда преимущественно об одном: о предстоящем наступлении на Берлин и окончании войны. То, что война кончается, понимали все, и это наполняло души безмолвным ликованием, которое ничем не выражалось вслух, но было заразительно, как болезнь. В глазах у людей в то время стояло выражение, какое бывает при влюбленности. В разговорах, однако, не проскальзывало ничего торжественного, наоборот, о близком окончании войны говорили как-то нарочито сухо, словно боялись, как бы не сглазить.

Кто-то из темноты сказал:

— Вчера газета писала,— Аргентина, мол, объявила войну немцам. Ну, а ежели уж она объявила,— значит, Гитлер чувствует себя дюже плохо.

Другой солдат меланхолически отозвался:

— Потом скажут: и мы, дескать, пахали.

— Бабы без нас в деревне совсем замучились,— невпопад сказал кто-то, сидящий поодаль у пулемета. То ли он не расслышал, о чем идет разговор, то ли слово «пахали» вызвало у него совсем другую ассоциацию. Но это никому не показалось смешно. Все замолчали на минуту и потом заговорили о том, что хорошо бы *уже теперь,* то есть в марте, к посевной, вернуться на родину.

Между тем стало рассветать, и вскоре к нам подошли откуда-то сбоку два человека — майор и лейтенант. Они постояли рядом с нами, потом медленно пошли дальше по траншее. Я не знал этих людей, и в этом не было ничего удивительного — невозможно знать в лицо всех офицеров. Но когда они отошли от нас на несколько шагов, мне вдруг сделалось тяжело на сердце. Я не отдавал себе отчета, почему. На людей

этих я только мельком взглянул и, кажется, не отметил в них ничего странного или тем более зловещего. И все-таки было, видимо, нечто такое в окружающей их атмосфере, нечто неуловимо нервное в их поведении, отчего заныло, как бы в тяжелом предчувствии, мое сердце.

В это же мгновение Аленушкин встал, посмотрел им вслед и негромко, но повелительно, крикнул:

— Стой!

Те остановились. Я помню, как сразу же замерли в соломе, устилавшей почти все дно траншеи, только что медленно шагавшие ноги в хромовых сапожках. А потом тот, что шел позади,— то был лейтенант,— оглянулся на нас. Он бросил на нас взгляд наглый и в то же время затравленный, настороженный взгляд человека, готового, в зависимости от того, что он увидит, небрежно улыбнуться или бросить гранату.

Неизвестно, что бы он сделал, но нервы шедшего впереди «майора» не выдержали, и он, как-то неловко пригнувшись, пустился бежать по ходу сообщения к лесу. Прогремела автоматная очередь Аленушкина, потом еще чья-то. «Майор» упал, а «лейтенант», пытаясь протестовать, запоздало возмутиться, даже прикрикнуть на «хулиганов», медленно поднял руки вверх.

В это время заработала немецкая артиллерия,— может быть, встревоженная стрельбой на наших позициях. Когда все стихло, мы повели задержанных в штаб дивизии.

Это были диверсанты, переодетые в советскую форму. Они ночью переправились через реку на лодке, затем берегом, прячась в камышах, проникли в наше расположение.

Они были одеты точно так, как полагается. Все — с иголочки. Шинели и погоны — новенькие. Воротнички — беленькие. Пуговицы — ярко начищенные.

В этом заключался их первый просчет.

Несмотря на то что дожди не шли в последнее время, они были мокрые по пояс. К сапогу одного из них прилипла длинная водяная травка. Правда, заметить сырость на темном шинельном сукне и травку на сапоге было бы не легко для менее зорких глаз, чем глаза Аленушкина. Но даже не в этом было дело. Главное, что, будучи совершенно мокрыми, они шли по траншее медленно, даже остановились возле нас на

минутку — вроде интересовались, как дела, а ни слова не произнесли. Нельзя, промокнув до нитки, медленно ходить по траншее как бы для прогулки или для проверки.

В этом был их второй просчет.

И, наконец, третье: нервы «майора» не выдержали.

Разумеется, нелегко немцу сохранить присутствие духа, отправляясь на диверсию в тыл противника на подступах к Берлину, когда «подвиг» бесполезен, как самоубийство.

Диверсанты на допросе не отпирались.

Они принадлежали к особой группе Отто Скорцени, штандартенфюрера СС. Группа эта находилась в районе города Шведт, куда была прислана для «проведения специальных мероприятий».

Что это были за мероприятия? Убийство из-за угла отставшего советского солдата, отравление колодца и поджог склада — подлая и мелкая работа, так же мало способная остановить натиск советских армий, как капля яда — отравить океан.

Тогда мы впервые услышали имя Отто Скорцени.

Отто Скорцени был начальником диверсионного отдела немецкой разведки, штатным убийцей германского генерального штаба, выдающимся специалистом по «мокрым» делам.

Это он похитил Муссолини из горной крепости, где дуче находился под охраной карабинеров маршала Бадольо.

Это он, Скорцени, организовал крупную диверсию во время Арденнского наступления немцев: переодев своих молодчиков в американские мундиры, он на американских «виллисах» мчался впереди наступавших немецких танков и безнаказанно убивал направо и налево захваченных врасплох американских солдат.

Его люди пытались организовать в Тегеране покушение на американского президента Рузвельта. Президент был спасен благодаря советским разведчикам, вовремя предупредившим о готовящемся покушении.

Все это самые выдающиеся факты из биографии штандартенфюрера. В обычное время Скорцени просто убивал. Он это делал в лагерях для военнопленных, в войсковых тылах армии противника и в самой Германии. Особенно много убивал он на территориях, оккупированных гитлеровскими войсками. Даже видавшие

виды немецкие эсэсовцы отзывались о Скорцени с почтением и с некоторой долей страха, ибо, если требовалось, он убивал и своих.

— Ну и тип! — с искренним недоумением сказал Аленушкин, узнав про все это. Он был взволнован и потом, вернувшись обратно на НП, как-то по-особенному пытливо наводил стереотрубу на леса противоположного берега, вглядываясь с бесконечным вниманием в очертания немецкого переднего края, в пустынные улицы полуразрушенного прибрежного селения.

Мы ни о чем не разговаривали, и только вечером, когда солнце закатывалось на западе, Аленушкин оторвал глаза от стереотрубы и досадливо сказал:

— Теперь ничего больше не увидишь.— Потом добавил: — Скорее бы уже наступление.

Наступление вскоре началось, и следы Скорцени затерялись. Группа Скорцени, среди других групп и дивизий 3-й немецкой армии генерала фон Мантейфеля, бежала на запад.

Эти молодчики Скорцени были в общем храбрые парни, ничего не скажешь, но как они бежали! Они бежали самозабвенно, забыв обо всем на свете, с большим знанием этого дела, почти с воодушевлением. Они бросили оружие и склад новенького советского обмундирования, которое наш дивизионный интендант, несмотря на всю его скупость, велел уничтожить, словно оно было зачумленное.

Резвее всех бежал сам Отто Скорцени. Это было уже не просто бегство, а какой-то пароксизм, припадочное состояние, выражающееся в очень быстром перебирании ногами. Если он и останавливался на секунду, то только ради того, чтобы припасть воспаленными губами к попадающимся на пути речкам и озерам. При этом он, как леди Макбет, наскоро мыл свои огромные руки, запятнанные кровью русских и французов, ибо, несмотря на свою столь поразительную резвость, он все-таки боялся, что русские преградят ему дорогу.

Чего греха таить, Отто Скорцени не желал попасть в русский плен. Дело в том, что он был глубоко убежден, что его у нас повесят. Можно даже сказать, что среди всех убеждений Отто Скорцени (а он был, как известно, человек с убеждениями), это убеждение было самым сильным.

Но куда бежать? Вот в чем весь вопрос.

Этот вопрос занимал не только Отто Скорцени, но и нас, грешных. Сержант Аленушкин, например, иногда говорил с оттенком мечтательности в голосе:

— Хорошо бы изловить этого Отту... Хотя ему и бежать-то некуда. Попадет к союзникам, те его тоже живо повесят.

Тем не менее Отто Скорцени бежал к англо-американцам. Может быть, он думал, что его не узнают, не заметят?

Вряд ли он это думал.

Отто Скорцени — убийца № 1, рост 1 метр 93 сантиметра. Лицо — широкое, красное, все в рубцах.

Не заметить его нельзя.

И его заметили американцы. И они приголубили его.

II

— Как так американцы? — удивленно спросил бы сержант Аленушкин, будь он жив.

Он был бы глубоко озадачен и опечален, ибо он, как и все мы, шел навстречу своим союзникам с открытой душой. Я помню, как он радовался, когда союзники совершили высадку в Нормандии. Помню, как, узнавая всякий раз о том, что на нашем фронте появлялась то одна, то другая немецкая дивизия, переброшенная Гитлером с запада, он говорил:

— Ничего не поделаешь... Зато союзникам легче будет.

Когда мы начали за Одером брать первых пленных, показавших, что многие генералы бегут, желая сдаться не нам, а англо-американцам, Аленушкин пожимал плечами, поглядывал на меня с тревогой, но потом уверенно говорил:

— Какая разница! Суд будет один.

Под Ораниенбургом к нам ранним утром 23 апреля привели группу пленных. Мы их наскоро допросили на опушке рощи. Я спросил, где теперь находится штаб армии и ее командующий генерал Мантейфель. Пленный офицер Георг Нейман махнул рукой и устало сказал:

— Убежал... Наверно, уже у англичан...

Мы отправили пленных в тыл. Длинной вереницей, усталые и молчаливые, двинулись они по шоссе на

восток. А мы пошли дальше на запад, туда, где завязывался новый бой на новом рубеже немецкой обороны.

В этом бою погиб сержант Аленушкин.

Его похоронили у перекрестка дорог, недалеко от большого озера. Над его могилой, увенчанной красной звездочкой, мы молча поклялись, что не забудем его и будем бороться, как и он, за справедливость на земле. Именно за это боролся сержант Аленушкин — Петр Иванович Аленушкин — так, оказывается, звали его; он был сыном крестьянина Владимирской области.

Мы положили Аленушкина в могилу, и его обмороженные, натруженные ноги нашли себе наконец покой.

Не думал ли кто-нибудь из нас впоследствии: «Ах, как умно и вовремя умер Петр Аленушкин! Ему не пришлось испытать жестоких разочарований, он ушел из жизни в разгар великого праздника, полный уверенности в светлом будущем мира. Какая, в сущности, прекрасная смерть на поле боя, в стане победителей!» Но мы сурово отметали от себя эти мысли слабых — мы знали, что еще много радостного и трудного предстоит нам, и надо жить, чтобы довершить то, что начато.

Тем более что вокруг холмика с телом Аленушкина происходило непрерывное движение огромных масс людей, освобожденных от рабства, сотен тысяч и миллионов бездомных, угнетенных и оскорбленных.

В немецком городке высились кучи щебня вместо домов, зияли разбитые окна, беспризорные дети искали что-то на свалках.

Люди были голодны и печальны. И мы испытывали великую любовь ко всем этим людям, любовь, от которой глаза становятся горячими от подступающих слез, любовь, способную гнать плоты против течения, менять русла рек,—великую любовь к людям, ради которой только и стоит жить на земле и называться человеком. Если ради нее придется быть суровыми,— мы будем суровыми, хотя бы наши сердца обливались кровью при этом.

А мы еще должны были проявлять суровость: впереди отступали, сражаясь, остатки немецких войск. Они сражались еще в силу ложного понимания дисциплины, в силу ненависти, которую долго и настойчиво вбивали им в головы. Но большей частью это уже были не войска, а одиночки — несчастные, покинутые своими

командирами, потерявшие веру в будущее. Уже не «фрицы», не солдаты, а люди. И это превращение солдат в людей, это тотальное поражение немецкой армии, как бы ни было оно для них мучительно и трудно,— оно было плодотворно. Оно таило [redacted] себе новый, победный путь — путь былой славы для великой нации, давшей миру Маркса и Энгельса, Томаса Мюнцера и Ульриха фон Гуттена, Кеплера и Лейбница, Баха и Бетховена, Гете и Шиллера, Гельмгольца и Рентгена, Планка и Эйнштейна.

Покинув могилу Аленушкина, мы пошли дальше, чтобы добить гитлеровскую армию.

Старшина Горюнов нес в носовом платке ордена и медали покойного и негромко рассказывал мне о нем нечто вроде надгробного слова:

— Что ж,— не спеша говорил старшина Горюнов,— Аленушкин был хороший парень. Мы с ним два месяца вместе воевали... Как вернулся из госпиталя,— он у нас в роте все время. А раньше он воевал на Третьем Украинском фронте. Прошлой зимой он там орден Красного Знамени получил. Он захватил штаб шестнадцатой мотодивизии немцев. Документы важные и генеральские штаны. Он мне рассказывал. Да... А потом участвовал в деле под Корсунь-Шевченковским. Там целую немецкую армию окружили. В этих боях Аленушкин подбил из противотанкового ружья пять штук танков. Это точно. Другому бы не поверил, а ему верю — очень хорошее зрение имел. Глаза — соколиные прямо, честное слово. Он стрелял — так на лету попадал в монету. Я сам видел. И откуда у него такое? Сам он сын колхозника, кончил семилетку и работал то ли секретарем сельсовета, то ли в сельпо. В общем — не бог весть что. Правда, рисовал хорошо. Когда мы на формировке стояли, он с нас всех портреты рисовал. Очень похоже. И книжки любил читать. Его хлебом не корми, а дай книжку в руки. Я ему даже говорил: брось читать, успеешь почитать после войны, еще зрение свое испортишь, а оно нужное теперь для родины... Семья у него в деревне, мать-старуха, брат младший и какая-то Ольга, не знаю точно — жена или невеста. Сам он никаких особых личных счетов к немцам не имел — не то что я, у меня и дом сожгли в Белоруссии, и старики [redacted] сынишка умерли с голоду в немецкой оккупации. У него этого не было. Но как человек партийный и

понимающий обстановку, он исключительно фашистов ненавидел и прямо-таки здорово их громил. А так он был парень спокойный, нет чтобы поспорить с кем-нибудь или вообще. Нет, этого за ним не было совсем. Он был, можно сказать, человек стоящий, дисциплинка у него была хорошая. Не то что некоторые — раз ты храбрый разведчик и отличился в боях за родину,— значит, море по колено и сам черт не брат. Нет, этот был другой... Или чтобы там что-нибудь не выполнить... Нет, у него даже не могло такого и быть.

На этом старшина Горюнов закончил и отправился по своим делам в роту.

Позже, на рассвете, мне выдалась возможность поспать, но заснуть я не мог и почему-то думал главным образом о том, что если я после войны смогу написать что-нибудь стоящее, то Аленушкин уже не прочитает это. И опять горько сожалел о несостоявшихся ночных разговорах с этим человеком, который так много мог бы рассказать мне и никогда больше не расскажет. Кроме того, я испытывал угрызения совести, вспоминая, как часто холодными ночами заставлял его отправляться на передовую и страдать от боли в ногах, хотя мог бы вместо него посылать кого-нибудь другого.

Потом я в страшной тоске постарался не думать об этом. А темная комната пустынного немецкого дома, где я лежал без сна, понемногу наполнялась мутной серостью рассвета.

Какие документы захватил Аленушкин в прошлом году? Мне ли, разведчику, не помнить эту историю!

Шестнадцатая немецкая мотодивизия была в течение 1943 года трижды отмечена в сводках главной квартиры Гитлера. До того она участвовала в прорыве немцев на Сталинград — с целью выручить из окружения армию Паулюса. Группой войск, в которую входила 16-я мотодивизия, командовал генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн. Именно его послал Гитлер в тяжелый момент для прорыва к осажденному Паулюсу. Фон Манштейн постарался оправдать доверие Гитлера, но это ему не удалось, задуманный мощный удар был сорван, и дивизии «освободителей 6-й армии» побежали вспять под умелым руководством фельдмаршала фон Манштейна. Фельдмаршал проявил недюжинный талант по организации панического

бегства с массовым оставлением противнику танков, орудий и даже аэродромов с самолетами. При этом он сделался известен также и истреблением десятков тысяч мирных граждан, как вследствие своего плохого настроения, так и с похвальной целью неукоснительно выполнить соответствующие приказы фюрера.

Одной из дивизий Манштейна была и 16-я мотодивизия.

Среди документов, захваченных сержантом Аленушкиным и его товарищами, была толстая папка с перепиской под заглавием: «О самовольном оставлении командиром 16-й немецкой мотодивизии графом фон Шверин занимаемых позиций». Герхард фон Шверин действительно бросил свои позиции, и командир 30-го армейского корпуса генерал артиллерии Фреттер-Пико возбудил даже перед командующим 6-й армией (обновленной 6-й армии!) генерал-полковником Холлидтом ходатайство о привлечении графа к военному суду.

Граф фон Шверин с большим трудом сумел оправдаться, свалив вину на солдат, на бездорожье, на потери и на самого Фреттер-Пико. 15 февраля 1944 года граф написал генералу Холлидту слезное и весьма красноречивое письмо. Надо сказать, что у генерал-лейтенанта графа фон Шверин оказался довольно хороший слог, имеющий нечто общее со слогом библейских пророков в изложении немецкого профессора богословия начала прошлого века.

Генерал фон Шверин писал, между прочим:

«В 23.00 противник крупными силами, с криком «ура», перешел в атаку на высоту 81,5 южнее Михайловки, опрокинул стоявшую там на позициях зенитную батарею 9-й танковой дивизии и продолжал свой натиск в западном направлении. 306-й полевой запасной батальон, которому был поручен этот участок, никакого сопротивления не оказал...

Утром 3 февраля ко мне на командный пункт в Михайловке явился командир 156-го мотополка полковник Фишер с остатками своего штаба. Полковник доложил, что его полк, как уже было известно, за последние дни в ходе боев был оттеснен на восток и находится, вероятно, в окружении... Одновременно меня известили со станции Апостолово, что туда прибывают крупные разрозненные отряды всех частей дивизии,— правда, без оружия и техники и в совершенно

истощенном состоянии... Много машин было потеряно во время отхода из Михайловки на запад. Отступающая пехота потеряла свое последнее тяжелое оружие и боеприпасы...

Многие падали от истощения и оставались на дороге. В этих условиях солдаты оказались полностью дезорганизованными. Лишь на рассвете удалось у железнодорожного моста вблизи Трудовая собрать небольшое количество боеспособных солдат, которые добрались на нескольких уцелевших штурмовых орудиях. Это были человек сорок солдат 60-го мотополка...

Я намеревался удержаться на железнодорожной линии в надежде, что русские из-за глубокой грязи не смогут преследовать меня крупными силами... Выполнение этого плана потерпело неудачу».

Граф фон Шверин во главе остатков 16-й мотодивизии и 123-й пехотной дивизии, сведенных воедино в группу «Шверин» — по фамилии злосчастного графа,— с поразительной быстротой бежал на запад. 17 февраля 1944 года граф докладывал тому же Холлидту в еще более душераздирающих выражениях:

«...Сотнями брели эти люди по грязи, доходившей до колен. Они были лишены всякого руководства и двигались в том направлении, куда их вел инстинкт. Над ними витал дух катастрофы. Там, куда они приходили, распространялись паника и ужас. Всякое правильное управление войсками застопорилось и запуталось, так как с потерей штабных машин, а также машин с телефонным и радиоимуществом весь аппарат управления был выведен из строя... Эта жалкая беспомощность перед катастрофой приводит каждого, над кем бы такая катастрофа ни разразилась, все равно офицер он или солдат, в состояние шока».

Графа фон Шверин к военному суду не привлекли. Его спасло состояние шока, иначе говоря — невменяемое состояние, которое в юриспруденции вполне законно считается смягчающим обстоятельством.

Наши солдаты захватили также парадный мундир графа фон Шверин — не буду уподобляться грубому старшине Горюнову, назвавшему парадный мундир «штанами»,— и походную его библиотечку, которая состояла из военно-исторических трудов, опуса Альфреда Розенберга «Миф XX столетия», сочинения А. Гитлера «Моя борьба» и нескольких детективных

романов, а также набора парфюмерии парижского производства. Граф был культурный господин, но, придя в состояние шока, бросил часть своих культурных ценностей. Не будем его осуждать за это.

Такие документы и трофеи захватил сержант Аленушкин в районе Запорожья. Документы эти были опубликованы в сообщении Советского информбюро, а трофеи, за исключением парадного мундира, давно уже сгнили в украинской земле. Парадный же мундир вынуждена была перешить себе на пальто старуха Горпина, ограбленная вверенными Герхарду фон Шверин и Эриху фон Манштейну войсками. Сукно оказалось хорошим и после перелицовки носится до сих пор.

Операцию под Корсунь-Шевченковским я тоже хорошо знал. Здесь попала в окружение почти вся 8-я армия немцев под командованием генерал-полковника Веллера. Начальником штаба состоял генерал-лейтенант Ганс Шпейдель. Этот видный гитлеровский штабист довольно умело сунул свою армию в «котел». Раньше он был больше известен расстрелами французских заложников. Он свирепствовал в Париже после разгрома Франции. Когда Адольф Гитлер прибыл в Париж, чтобы насладиться позором Франции, не кто иной, как г-н Шпейдель водил ефрейтора по французской столице и, между прочим, сопровождал его к гробнице Наполеона в Доме инвалидов. Пронырливый и ловкий шваб понравился опьяненному победой и лестью безумному австрийцу и получил повышение — он был назначен начальником штаба германских оккупационных войск во Франции. За каждое покушение на немца штаб германских войск расстреливал от пятидесяти до ста заложников — французов и француженок. Нант, Бордо и Париж хорошо помнили генерала доктора Ганса Шпейделя. Помнят его и украинские крестьяне района Корсунь-Шевченковского по расстрелам и повальным реквизициям.

Впрочем, в Корсунь-Шевченковском мешке г-ну Шпейделю пришлось очень худо. 8-я армия была разгромлена. Посланные к ней на выручку три танковых дивизии не смогли прорваться. Неразбериха и паника царили в «котле». Шпейдель, заблаговременно улетевший из окружения, прилетел было обратно, чтобы выяснить обстановку, но ничего не выяснил, чуть не попал в плен и еле вскочил на самолет.

Аленушкин вдоволь насмотрелся на бегущих немцев. Жаль, что он не смог все досмотреть до конца.

Дивизии генерала Гассо фон Мантейфеля продолжали отступать примерно в таком же порядке, как год тому назад отступали части Берхарда фон Шверин и Веллера — Шпейделя. Без руководства, оставленные на произвол судьбы своим командующим, они сражались, истекали кровью, сдавались в плен. Над ними витал дух катастрофы.

Генерал Гассо фон Мантейфель — внучатый племянник прусского фельдмаршала Эрвина Карла барона фон Мантейфеля, губернатора Эльзас-Лотарингии после франко-прусской войны 1870 года — был одним из любимых генералов Гитлера и со временем мог претендовать на пост своего почтенного предка. Он командовал отборной танковой дивизией «Великая Германия», отличившейся недавно, во время Арденнского наступления, убийством канадских и американских военнопленных, за что и получил повышение: был назначен Гитлером на пост командующего 3-й армией.

Командовать армией бедняге почти не пришлось. Вначале было некое подобие управления войсками: генерал отдавал приказы, ругал подчиненных, требовал держаться во что бы то ни стало, перемещал дивизии, полки, подбрасывал подкрепления. Но это продолжалось всего несколько дней. Потом все бросились в паническое бегство, и генералу фон Мантейфелю не осталось ничего другого, как возглавить этот порыв, этот бурный, непреодолимый «Дранг нах Вестен».

Да, «Дранг нах Остен» сменился «дрангом» в обратном направлении. Разумеется, этот дранг не имел завоевательных целей. Однако не надо думать, что он был вовсе бесцелен. Рядовые солдаты и офицеры бежали потому, что их гнали, но многие генералы бежали даже тогда, когда можно было еще держаться. Они бежали к новому хозяину. Конечно, они в то время не были еще уверены в том, что хозяин возьмет их к себе в услужение. Но чутьем опытных ландскнехтов они угадывали в будущем такую возможность.

И вот, в связи с этим, генерал фон Мантейфель, в то время как его солдаты еще дрались и умирали, отбыл в западном направлении. С решительностью, являющейся отличительной чертой знаменитого рода Мантейфель, он летел в штабной машине навстречу британ-

ским войскам гораздо резвее, чем они шли навстречу ему. Приходится с грустью констатировать, что он мчался не для того, чтобы приостановить вторжение островитян на территорию своей отчизны. Нет, он стремился к ним с целью срочно запросить британское командование: «Где здесь плен?» Он мог бы сделать этот запрос телеграфно, по телефону или по радио, используя новейшие достижения техники, но он не осуществил этого: у него не было уже ни телеграфа, ни телефона, ни радио — все имущество связи его штаба попало в руки наших войск.

Он бежал к англичанам, как к своим избавителям, он, в течение шести лет твердивший, что англичане худшие враги немецкого народа, он, считавший, что главная ошибка Гитлера заключалась в том, что фюрер предпринял русский поход до того, как расправился с Англией.

Даже сейчас, стремясь в спасительное лоно британской армии, фон Мантейфель жалел о том, что все так глупо получилось. А ведь в Англии было бы вольготно! Можно было бы разрушать танками старинные готические здания, солдаты Мантейфеля насиловали бы англичанок, жгли бы крытые черепицей английские деревеньки. В Англии и водных преград поменьше, и джентльменов побольше, чем в России. При отсутствии крупных лесных массивов облегчалась бы борьба с партизанами. А уже затем можно было бы ударить на Россию, имея обеспеченный тыл с хорошим английским правительством во главе с сэром Освальдом Мосли и лордом Хау-Хау, в составе лояльно настроенных мур-брабазонов.

Но теперь пришлось Мантейфелю попасть к англичанам не в качестве победителя и оккупанта, а всего лишь в качестве пленного. Правда, англичане приняли его с глубоким уважением. Родовитый господин очень импонировал британским любителям аристократической старины, тем более что он не побывал у них в качестве оккупанта.

III

Отто Скорцени попал к американцам. Не будучи титулованным бароном и не надеясь на аристократические сантименты американских демократов, он дрожал

как осиновый лист. Он впервые убедился в том, что и у него есть нервы. Он ежедневно ожидал суда и виселицы.

Но все шло тихо и мирно. Понемногу бывший штандартенфюрер опомнился от страха и даже стал панибратски подмигивать чинам американской охраны.

Скорцени жил в Дармштадтском лагере спокойно и сытно среди других эсэсовских деятелей топора и плахи. То, что людей, посылавших на Лондон самолеты-снаряды и торпедировавших американские торговые пароходы, кормили хорошо и культурно обслуживали, свидетельствовало о том, что евангельские заповеди не чужды и американским полицейским, и наполняло душу Скорцени (его теперь величали мистером Скорцени) глубоким удовлетворением. А он совсем было изверился в человеческом благородстве!

Однако Скорцени здесь вскоре показалось скучно. После столь бурно и интересно прожитой жизни Дармштадт казался ему дырой. Правда, тебя не убивают,— это хорошо. Но тебе и убивать не дают,— а это плохо. Кругом — деревья, прекрасный старый парк, вороны кричат на тополях,— а работы нету. Столько месяцев прожить не убивая — тяжелое испытание для немецкого эсэсовца, пустая, бессмысленная, можно сказать — безыдейная жизнь.

Скорцени начал впадать в философическое настроение. Он даже дошел до таких вершин абстрактного мышления, что с полной объективностью ученого удивлялся глупости американцев, не понимавших, какое удовольствие имели бы они, убивая его, Скорцени. В своих размышлениях касался он также и вопросов естествознания. Например: как жаль, что человек не так живуч, как рыба. У рыбы и живот распорешь, и жабры вырвешь, а она еще бьется. Человек — он устроен не столь совершенно, и его единственное преимущество перед рыбой — это то, что он кричит.

Бывшему штандартенфюреру тем невыносимее было находиться в лагере, что до него стали доходить интересные сведения. Радио — а лагерь в Дармштадте был хорошо радиофицирован — сообщало о событиях новейшего времени, о противоречиях в стане союзников. Чем острее становились эти противоречия, тем мягче и человечнее становился режим в лагере, тем

более походил лагерь на хороший пансион для добропорядочных холостяков, тем слабее становилась охрана. К тому времени, когда англо-американские власти обнародовали известие о том, что денацификация в западных зонах окончена, лагерь в Дармштадте превратился в эсэсовский рай на земле.

Впрочем, мистер Скорцени не избегнул суда. Но то был суд почти ангельский, американский суд. Покашливая и воровато оглядываясь, судьи оправдали бывшего эсэсовца и решили передать его немцам на предмет «денацификации». Но тут Скорцени, как вылупившийся из яйца птенец, решил отказаться от материнских забот американской лагерной наседки. Он почувствовал крылышки за спиной и улетел из Дармштадта. Это было весьма несложно в нынешних условиях, тем более что ему дали понять, что его услуги могут скоро понадобиться «при данной ситуации».

Вообще говоря, это темная история — бегство Скорцени из лагеря. Он ушел средь бела дня, словно его друзья из штаба оккупационных войск союзников надели на него шапку-невидимку.

Говорят, что в момент его бегства произошло феноменальное явление: послышался тихий плач деревьев от Волги до Луары — деревьев с толстыми крепкими суками, на которых должны были болтаться Скорцени, его коллеги и его покровители.

Отто Скорцени бежал в Аргентину.

Не правда ли, это звучит весьма романтично? Бегство из Дармштадта в дикие пампасы Аргентины. Скорцени действительно попал в пампасы, но он там не жил в ранчо и не мчался на мустангах. Он очутился в Кордобе, большом благоустроенном городе, хотя и расположенном, правда, в аргентинских пампасах. В городе стоял большой военный гарнизон с таким количеством немецких фашистов, офицеров вермахта всех рангов и родов оружия, что казалось, ты находишься в Лагер-Дебериц близ Берлина.

Да, это была та самая Аргентина, которая геройски объявила Гитлеру войну в марте 1945 года, когда Скорцени уже вострил свои лыжи на Одере. Впрочем, Скорцени не обижался на Аргентину за это. Иначе нельзя было поступить в то время, и аргентинские офицеры только вздыхали, покачивали головами и любовно жали жесткие ладони немецких беглецов.

Отто Скорцени поместили в удобном доме, гостеприимные хозяева всячески ласкали бедного мученика за Германию, несчастного заключенного, пострадавшего от рук неблагодарных европейцев.

Парламентский лидер аргентинской радикальной партии Сильвано Сантандер заявил, что Отто Скорцени (теперь его величали синьором Скорцени) находится под защитой аргентинской армии и флота.

Не знаю, трудно ли было вооруженным силам Аргентины защищать Отто Скорцени,— во всяком случае, ни один волос не упал с его головы. Неизвестно, что было бы, если бы, например, Соединенные Штаты Америки решили начать войну с Аргентиной из-за синьора Скорцени. Но США отнюдь не собирались делать нечто подобное. Наоборот, американские офицеры запросто встречались с ним и уговаривали его ехать в Европу, где его услуги могут вот-вот понадобиться. Да, именно теперь! Когда Западная Германия уже, слава богу, «денацифицирована и демилитаризирована»!

Скорцени долго не решался на этот шаг, и видит бог, если бы его защищала только аргентинская армия, он так и не решился бы на него. Но убийцу осенили звезды и полосы американского флага. Он получил заверения. Были забыты тысячи убитых им американцев. Было забыто и покушение на Рузвельта, который и сам был теперь, «при данной ситуации», забыт.

И Скорцени появился в Европе — без стеснения, не пригибаясь, во всю длину своего выдающегося роста. В Париже он напечатал мемуары в «Фигаро», он завел дружбу с интеллигентными французами — даже с одним социалистом, чего мсье Скорцени никогда не ожидал в связи с тем, что самолично убил немало социалистов.

Потом он выехал наконец в Западную Германию.

Прекрасное зрелище открылось перед его глазами.

Если бы не города, разрушенные почти дотла английской и американской авиацией, если бы не обилие американских мундиров и американских товаров, можно было бы подумать, что ничего за эти годы не произошло.

Скорцени застал здесь сотни и тысячи друзей и однокашников, встречавших друг друга одним лишь словом «хайль», тактично опуская второе слово.

Скорцени повидался с гитлеровским рейхсминистром Вальтером Дарре, выпил пива с доктором Фриче.

В это же время на американском военном самолете прибыл в Германию из далекого Китая Вальтер Стеннес, когда-то фюрер берлинских штурмовиков, тоже очень знаменитый погромщик и убийца. В последнее время он работал начальником личной гвардии Чан Кайши. Бежал он из Шанхая за несколько часов до прихода туда китайской Народной армии. Американцы вывезли его на самолете, а британский верховный комиссар в Германии сэр Брайан Робертсон дал ему пропуск на въезд в английскую зону.

По всему чувствовалось, что наклевывается наконец работа.

Генералы Гитлера потихоньку совещались в разных высокопоставленных домах, засиживаясь там до поздней ночи. Стучали машинки, читались рефераты. На эти совещания приезжали из концентрационных лагерей на восьмицилиндровых «паккардах» и те генералы, которые отбывали заключение за бесчеловечные преступления во время войны. Генералов финансировал господин с лошадиной фамилией Пфердменгес, самый богатый человек в Германии, один из тех, кто привел Гитлера к власти. Сам Яльмар Шахт (Скорцени даже прослезился от умиления, увидев лицо маститого гитлеровского дядьки) был душой этих совещаний.

Шла тихая, но не очень скрытная возня, которая, как Скорцени сразу же с восторгом определил, являлась не чем иным, как подготовкой к восстановлению германского вермахта. Зарождался «коричневый рейхсвер», как когда-то после первой мировой войны зарождался рейхсвер «черный». Создавалась подпольная организация немецких офицеров «Брудершафт», как после первой мировой войны — такая же организация «Консул». И герр Скорцени радостно примкнул к этому движению. Нет, союзники не повесили его.

IV

Итак, в Западной Германии создавалась германская армия. Писались меморандумы, составлялись мобилизационные планы, восстанавливались списки офицеров армии и СС. Разрабатывались заявки на оружие и боеприпасы. Обучались войска. Бывшие офицеры

военно-воздушных сил и аэродромного обслуживания проходили курс обращения с американскими реактивными истребителями Ф-84. Военные заводы работали в три смены.

С течением времени работа по созданию «вермахта» расширялась. Началась идейная подготовка перевооружения. Кинофильмы и книги, посвященные реабилитации и возвеличению военных преступников, заполонили рынок. Страна кишела солдатскими обществами и эсэсовскими землячествами. Воспоминания гитлеровских генералов, мемуары горничных Гитлера, денщиков Роммеля, лакеев Геринга и троюродных братьев Геббельса запестрели на прилавках.

А потом настало время для открытого оформления германских вооруженных сил — «в рамках» Северо-Атлантического пакта. Кто же возглавит эту армию, кто же будет олицетворять вооруженные силы «свободного мира»?

Ганс Шпейдель и Гассо фон Мантейфель, фон Шверин и фон Манштейн, эсэсовец Гилле и эсэсовец Скорцени и многие другие, чьи имена нам хорошо известны.

Они, наши старые знакомые, которых мы нещадно били, гнали, окружали и рассеивали. Те самые, которые бросили в беде свои войска и чинно сдали пистолеты и кортики американцам и англичанам. Те самые, которые разрушали наши города и жгли наши села. Те, которые, пользуясь своим военным авторитетом, внедряли в головы немецких солдат высокопарными фразами о долге преданность Адольфу Гитлеру, ненависть к человечеству.

Тише. Будем сохранять спокойствие. Не станем вспоминать теперь о сержанте Аленушкине и о других погибших друзьях. Ни слова более о пути от Сталинграда до Берлина — пути, политом нашей кровью.

Лучше посмеемся. Разве вас не разбирает смех при виде наших старых знакомых, этих современных героев, превзошедших по части быстроногости Ахиллеса, самого быстроногого из героев древности?

Господин Шпейдель, недавно с лакейским видом сопровождавший по Парижу г-на Гитлера, теперь развязно разгуливает по Фонтенбло с г-ном Монтгомери и г-ном Барбье и похлопывает их по плечу.

Вероятно, портные срочно шьют фон Шверину но-

вый мундир взамен того, в котором бабка Горпина ходит к колодцу по воду.

Иногда после большого трудового дня, после инспектирования новых подразделений и встреч со своим начальством — американскими капитанами, немецкие генералы собираются у камина за кружкой пива и долго сидят молча, время от времени задумчиво вздыхая. Они вспоминают прекрасные времена Гитлера, громкие победы, отличия, приемы в имперской канцелярии в присутствии послов Муссолини, Хирохито и Франко... Фюрер жал руки своим генералам, отмечал их в своих сводках, жаловал им поместья и кресты.

Да, Адольф Гитлер любил этих парней. Он любил их, высоко ценил, хорошо содержал, а если иногда и сердился, и покрикивал, и бил их по морде, так это только как отец своих деток. Кто любит, тот наказует.

И будем говорить открыто — они тоже любили его.

С какой страстью пытаются они доказать обратное! Как упорно стараются обелить себя в книгах, письмах, декларациях, мемуарах! Оказывается, они были несогласны с политикой покойного Адольфа. Правда, это несогласие они выражали только перед своими супругами, и то в постели, шепотом. Преданность же ему они провозглашали гораздо громче, и отнюдь не в постели, а всюду и везде. Но это можно понять и, поняв, простить: какой супруг — даже если он престарелый генерал — не желает казаться в постели своей жене справедливым, решительным и сильным?

И все-таки смешно, что они отреклись от Гитлера! Ведь не будь его — не была бы восстановлена военная промышленность, не возродилась бы армия, не началась бы война, и господа Мантейфель, Гальдер, Рунштедт, Манштейн и другие прозябали бы в неизвестности в качестве управляющих имениями, хозяев пивных лавок, надсмотрщиков на фабриках и шахтах!

Доктор Шпейдель был бы преподавателем истории в гимназии Эбергард-Людвига в Штутгарте. Фон Шверин состоял бы, максимум, как его покойный папа, полицей-президентом Ганновера или другого города и гонялся бы за Отто Скорцени, который был бы всего-навсего обыкновенным уголовным убийцей. Покойнику Гудериану, человеку без роду и племени, пришлось бы, возможно, продавать на ручной тележке овощи и

вместо «Achtung, Panzern»[1] кричать «Achtung, Rüben!»[2].

Нет, трудно из Александра стать Диогеном и сменить дворец на бочку. Зря они теперь так нехорошо отзываются о своем отце и благодетеле.

Впрочем, не надо их подозревать в низкой корысти. Не только себя стремятся они обелить,— они хотят оправдать всю немецкую военную касту, всю ее выгородить, подсластить, окружить святым ореолом ненависти к Гитлеру. Генерал-полковник Гальдер в одной своей книжонке, наспех сочиненной для этой цели, пытается окружить этим ореолом также и гитлеровского выкормыша Эрвина Роммеля. Более того, предпринимаются попытки превратить чуть ли не в антифашистов палачей города Парижа генерала Штюльпнагеля и генерала Шпейделя, убивших больше французов, чем все их коллеги — палачи города Парижа — от времен Гуго Капета до времен Адольфа Тьера. Убивая французов и француженок, они, оказывается, ненавидели Гитлера. Расстреливая заложников, они, оказывается, были ярыми противниками Гитлера!

Так ученики фюрера пытаются создать легенду о своей былой ненависти к учителю. Им оказывают в этом деле посильную помощь разные английские, американские и немецкие литераторы, военные и просто мошенники. Даже некоторые одураченные этой романтической версией писатели прогрессивного направления тоже, млея и сюсюкая, что-то такое бубнят об оппозиционности немецкого генералитета.

— Помилуйте,— бормочут они,— ведь военные организовали покушение на Гитлера в июне тысяча девятьсот сорок четвертого года!..

Это, положим, верно. Но в том-то и беда, что покушение было организовано только в июне 1944 года, когда во всей своей очевидности обозначилось поражение Германии. И еще: покушение на Гитлера было организовано для того, чтобы спасти дело Гитлера, в надежде договориться с Западом с целью уничтожить и залить кровью Восток; эмиссар фюрера, господин Гесс, допер до этой идеи на три года раньше господ генералов.

---

[1] «Внимание, танки!» — сочинение генерала Гудериана.
[2] «Внимание, репа!» *(нем.)*

Нет, простите. Адольф Гитлер любил этих парней, и они обожали его.

Конечно, жаль, что многих уже нет, а иные далече. Потягивая пиво, сидят у камина наши старые знакомые и вспоминают своих коллег, которые не имеют возможности по разным обстоятельствам сидеть рядом и участвовать в общем, *европейском,* дельце...

Повешены Кейтель и Йодль — «зря, зря, они бы пригодились теперь»... Погибли на русских равнинах такие столпы, как генерал артиллерии Вильгельм Штеммерман, генерал пехоты Митт, генерал-лейтенант де Салленгре Драббе, генерал пехоты Мюллер и многие другие. Ах, где теперь генерал Маттершток, командир 137-й охранной дивизии, сорвавший с себя погоны и ордена и убежавший от русских однажды зимой? Где командир 106-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Форст, который самолично поджигал русские дома с запертыми в них жителями?

Да, многих нет, многих нет... Как говаривал Шиллер:

Сколько бодрых жизнь поблекла,
Скольких низких рок щадит...

Генералы курят трубки и глядят в камин, покашливают и опять вспоминают.

Какая невозвратимая потеря — смерть Генриха Гиммлера! Он был хотя и крупный негодяй, но весьма полезный при данной ситуации человек. В последний период войны он командовал армейской группой «Висла». Теперь можно было бы поручить ему командование армейской группой «Сена»...

Да, многих нет, многих нет...

Но вот генералы вскакивают — раздается отрывистый окрик американского лейтенанта:

— Хэлло!

Опять начинается суета, писанина, смотры войскам, списки, меморандумы, оперативные планы под затейливыми названиями вроде «Барбаросса» или «Морской лев»...

А американцы неистовствуют: вот вам деньги, вот вам оружие, только соберите побольше пушечного мяса, мы хотим мяса.

Да, да, американцы, дорогой друг Аленушкин, именно они.

Они воскрешают мертвых. Они гигантскими кранами, пыхтя и ругаясь, поднимают огромный, разбитый, паралачный, бледный как смерть в своей железной каске и зеленом мундире, призрак генерального штаба германской армии. Его рыжие усики начинают топорщиться над прусскими тонкими губами; белесые вылинявшие ресницы начинают удивленно моргать, а бесцветные злодейские глаза наливаются блеском и кровью. Руки размахивают, а длинные ноги, облаченные в американскую обувь, уже готовы выступить вперед гусиным шагом: «Achtung! Stillgestanden!» [1]

При звуке этих хорошо знакомых слов мне на память приходят другие слова, которые очень часто произносились русскими солдатами: «хальт» и «хенде хох».

Знакомые, дорогие слова! Неужто они ни о чем не напомнят Ахиллесу фон Шверин? Неужто пятка, куда ушла геройская душа графа в былые дни, уже зажила, а сама бессмертная душа его опять водворилась на старое место?

Неужели эти слова так-таки ничегошеньки не говорят генерал-лейтенанту Гансу Шпейделю, хлебнувшему позора на украинской земле?

Неужели Мантейфель, этот баран в чине генерала, оставивший свои войска на произвол судьбы и удравший в плен, так уж воинственно настроен, что рвется в бой, оглушая мир грозным блеянием?

Неужели все наши старые знакомые позабыли своих старых советских знакомых?

Какой огромный путь прошло человечество от человекообразной обезьяны до гитлеровского генерал-лейтенанта! Почему же так мало души, так мало интеллекта, такая звериная узость мысли под этими лысыми черепами? Ведь они не могут не понимать, что война обрекает на смерть и истребление прежде всего немецкий народ. Не пехотная же рота из Коста-Рики и не взвод драгун из Доминиканской республики обагрит своей кровью прекрасную землю Германии. Она снова будет полита немецкой кровью.

Нашим старым знакомым все это нипочем. Эгоистический расчет и подлое честолюбие, звериная злоба и звериная обида движет ими. Вот они, наши старые

---

[1] Внимание! Смирно! (*нем.*)

знакомые, глядите на них — генерал-полковник Павиан и генерал-лейтенант фон Шимпанзе! Мы знаем их повадки, их гримасы, их лицемерие и спесь, их трусость и наглость. Мы видели их лица и, что еще важнее — их тощие зады, когда они удирали от нас, потеряв... мундиры.

Барабанный бой раздается в Западной Европе. В Западной Германии опять начинается великое одурачивание Михеля. Неужели его проведут и на этот раз? Неужели Михель снова захочет стать «фрицем»? И неужели у других народов такая короткая память? Французский солдат будет служить под начальством Ганса Шпейделя? Томми будет подчиняться немецкой команде? Непостижимо!

Генералы Гитлера — народ многократно битый и потому — весьма терпеливый. Теперь они называют себя европейцами. Они называют Германию неотъемлемой частью Европы. Скоро они снова будут называть Европу неотъемлемой частью Германии.

Так-то, друг Аленушкин.

V

Приехав во Владимирскую область, я вдруг, неожиданно для себя самого, решил разыскать деревню, где родился и вырос сержант Петр Аленушкин, побывать в этой деревне и посмотреть на людей, которые окружали его, и на землю, по которой он ступал до того, как стать солдатом.

С каждым днем мое желание становилось сильнее, и вскоре мне это стало казаться необычайно важным и полным особого значения.

Выяснилось, что деревня находится в Вязниковском районе, который ничем особенным не отличается от множества других районов. Он славится вишневыми садами. Через него протекает река Клязьма. Правый берег ее высок и живописен, левый — низмен, порос лесом и сочными лугами. Река здесь судоходна, и пароходики, оглашая протяжным воем окружающие леса, идут вниз до Оки и вверх до Мстеры.

В старину здесь работали богомазы, талантливые иконописцы, сбывавшие свой товар через бродячих разносчиков — офеней — по всей России.

Кроме того, район славится еще одним обстоятельством. Маленький городок Вязники, мало кому известный, и окружающий его небольшой район, дали за войну двадцать пять героев Советского Союза, преимущественно летчиков. Как-то странно и трогательно было мне смотреть на снующих по деревням и по улицам городка стар采ньких женщин в шерстяных платках — обычных русских женщин, как две капли воды схожих с теми, которые ходили по этим древним местам сто и двести лет назад, и думать о том, что эти старушки родили героев-летчиков, мастеров современнейшей техники и что эти матери, у которых еще и иконы стоят в красном углу, обращают взоры в небо не с молитвой, а просто в ожидании своих сыновей.

Я пришел в деревню, где родился мой погибший товарищ, в погожий сентябрьский день.

Все колхозники работали в поле. Казалось, что деревня населена только курами, которые по-хозяйски ходили по улице, клевали, собирались вместе, опять расходились, исчезали в дворах и вновь появлялись. На меня они глядели довольно равнодушно, и я уселся на завалину, уже просто не понимая, зачем я пришел сюда и что я скажу людям. Мне теперь казалось, что зря я пришел. Мать Аленушкина, может быть, уже умерла, а если и жива, то стоит ли растравлять старые раны, напоминать о событиях многолетней давности, о том, что было и быльем поросло.

Мимо прошел мальчик, и я спросил его, где здесь живут Аленушкины, на что он мне ответил, что полдеревни — Аленушкины. Тогда я пояснил, что я имею в виду тех Аленушкиных, у которых погиб сын на войне. Мальчик, подумав, ответил, что у нескольких Аленушкиных погибли сыновья на войне, и тогда я, смущенный и притихший, замолчал, а мальчик, постояв немного, ушел.

Вокруг стояла прекрасная осень. Деревья, как будто увешанные медными колокольчиками, колыхались под теплым ветром, и казалось, что листья сейчас зазвенят тонкими голосками — совсем тонкими у берез, пониже — у кленов и вовсе низкими — у лип. Прежде всех деревьев бурно и радостно желтеют клены. Их желтизна ярка до боли в глазах. Березы — те желтеют медленнее. Теперь они были еще желто-зеленые: зеленое ближе к стволу, а чем дальше от него, тем желтее.

Ничего похожего на увядание не было в осеннем уборе деревьев. И в том, что тихая улица устлана желтыми листьями, тоже не было ничего печального. Просто происходил какой-то крайне необходимый жизненный процесс, не менее важный, чем все другие, и красота его была красотой непреходящей жизни.

Начало темнеть. По деревне прошло стадо. Гурьбой пронеслись барашки. Коровы, принадлежащие колхозникам, поодиночке заворачивали каждая в свои ворота, между тем как колхозные коровы горделиво продолжали свой путь дальше, к ферме. Зажглось электричество в домах и длинных конюшнях. Наконец появились и люди. Они появились сразу, и улица заполнилась ими — мужчинами, женщинами и детьми.

Все не спеша разошлись по домам, и только одна молодая пара, словно и не уставшая за трудовой день, пошла по направлению к реке — он задумчиво теребил в руках желтую веточку, она тихо смеялась.

Теперь уже совсем стемнело, и я отправился разыскивать избу Аленушкина. Мне указали ее, и я вошел.

Мать сержанта была маленькая женщина, вся седая, но с моложавым коричневым лицом. Она не огорчилась из-за того, что я напомнил ей о сыне, напрасно я опасался этого. Напротив, она засветилась тихой радостью, узнав, что ее Петю любили и о нем помнят до сих пор. Я рассказал ей разные подробности фронтовой жизни ее сына, в том числе и то, как Петя громил части Шпейделя, захватил письма фон Шверин и опознал диверсантов Скорцени. А она, то и дело удивленно ахая, говорила как бы про себя:

— А он и не писал нам про это...

Мы посидели молча. Потом она спохватилась:

— Я самовар поставлю.

Она поставила самовар и снова села напротив меня, глядя мне в глаза пристальным и дружелюбным взглядом. Потом ее лицо вдруг сразу взмокло от слез, но она тут же вытерлась, стала готовить к столу и внезапно спросила:

— А будет война?

Я ей ответил как мог.

Она сказала, словно объясняя свой вопрос:

— Наш колхоз хорошо стал работать, на трудодни прилично получаем... Веселее стало жить...

Я спросил про Ольгу.

— Оленька вышла замуж... Не хотела сначала, все Петю не могла забыть. Уж я и то ее уговаривала.

— А второй ваш сын где?

— Вася? — Она показала рукой на окно и замолкла, словно к чему-то прислушиваясь. Я тоже прислушался. Недалеко в темной ночи гудел трактор. Он рокотал не спеша, то приближаясь, то отдаляясь. Его рокот наполнял сердце необычайным спокойствием, словно делал уютными и домовитыми эти лесные пространства.

— Пашет, — сказала она. — Всю ночь будет пахать.

Позднее я вышел на крыльцо и долго прислушивался, как к музыке, как к любимому голосу, к ровному гуду одинокого трактора. Деревня уже уснула, электричество гасло то в одном, то в другом доме — и наконец вся деревня погрузилась в полную темноту — почти такую же, какая бывала на фронте,— а трактор все рокотал, рокотал, то отдаляясь, то приближаясь.

Утром Вася Аленушкин пришел домой. Он был очень похож на брата — те же поразительной зоркости глаза — круглые, широко расставленные, серые, пронзительные, с очень маленькими острыми зрачками. Зашли и другие колхозники — у многих из них на пиджаках висели ордена и медали, знаки нашей незабываемой молодости, свидетельства зрелого опыта и непобедимого боевого духа.

Это были простые и спокойные люди — солдаты и сержанты запаса.

1950—1955

ЛЕНИН В ПАРИЖЕ

Очерк

Да, действительно, у Парижа есть какое-то фиолетовое свечение, особенно по вечерам. Об этом уже писали не раз. Вообще здесь ничего нет такого, о чем бы не писали, поэтому писать о Париже невозможно.

Я и не собираюсь писать о Париже. Все впечатления свои я скрою в глубине души. Париж у меня будет присутствовать в романе «Новая земля», который я теперь пишу, и то лишь в той мере, в какой советская история тридцатых — сороковых годов соприкасалась с ним. А она с ним соприкасалась, и порой самым неожиданным образом.

Единственное, о чем мне хочется написать немедленно, теперь же, это о ленинских местах в Париже. Последнее время, в связи с работой над повестью «Синяя тетрадь», я постоянно думал о Ленине, словно бы неотступно следовал за ним — за ходом его мыслей и путями его жизни — одним словом, постоянно жил в ленинской атмосфере.

Это — накаленная атмосфера, полная живых, не умерших страстей. Раскрытие ленинского образа — задача в высшей степени современная не только потому, что мы все живем под ленинской звездой, но и потому, что сам Ленин был человеком будущего. Узнавать его, стараться быть таким, как он, значит побеждать в себе «ветхого Адама», значит вырывать из себя все мерзости древних инстинктов и старых предрассудков.

В Париже, где все эти инстинкты и предрассудки пока еще здравствуют, хотя и находятся уже далеко не в цветущем состоянии, я стал искать следы живого

Ленина, повинуясь новому для меня и несколько лукавому желанию увидеть, как мало места занимал в «современном Вавилоне» этот небольшого роста человек, который, как вскоре выяснилось, был больше Парижа, был так огромен, что заставил полмира следовать за собой и другую половину — дрожать от страха.

В те времена Париж этого не знал. Престарелый французский поэт Поль Фор недавно рассказывал о том, как в 1910 году летом в кафе «Клозери де Лила», на углу бульвара Монпарнас и авеню Обсерватории, вошел поэт Гийом Аполлинер. Он стал спрашивать, здесь ли Анри Руссо. Руссо не оказалось. Он спросил о Пикассо, о Сальмоне и еще о ком-то из поэтов и художников. Но и их не оказалось. Тогда он развел руками и сказал, вздохнув: «Здесь нет ни одного выдающегося человека». В это время за дальним столиком с газетой в руках обедал Ленин.

Отдаленный столик у окна, выходящего на Монпарнас. Именно в таком месте должен был сидеть русский эмигрант, преследуемый агентами царя: видеть, что делается за окном, и в то же время иметь возможность обозревать все кафе. Не в центре, где сидели местные знаменитости, говоруны и большие художники, шумные и дерзкие в своей ненависти к буржуазному миру,— впрочем, слишком шумные и слишком дерзкие, чтобы быть опасными для буржуазного мира; нет, в отдалении, весь переполненный мыслями о вещах и явлениях, не имеющих как будто никакого касательства ни к бульвару Монпарнас, ни к кафе «Клозери де Лила», ни к Парижу вообще, сидел этот человек с газетой в руках. Небольшой человек в большом городе.

Выйдем вслед за Лениным из кафе и пойдем на юг, к предместью Сен-Жак. Здесь он ходил. Здесь повсюду ленинские места. По авеню парка Монсури, миновав улицу Алезиа, вы выйдете на улицу Саррет; первая улочка, соединяющая ее с улицей Пер-Корантен, называется Мари-Роз. Всю северную ее сторону занимает один дом. В этом доме жил Ленин. Это пятиэтажный темный дом, весь в железных черных балкончиках; на самом верхнем этаже балконы шире; над ними — маленькие окошки мансард.

Не так давно в квартире на улице Мари-Роз побывал Никита Сергеевич Хрущев. Я видел его роспись в книге посетителей среди многочисленных сердечных

записей французских рабочих и советских туристов, приходивших в этот священный для нас уголок Парижа.

Поднимаетесь по лестнице на третий этаж (по французскому счету — второй). Квартира состоит из трех комнат, собственно говоря, из двух: средняя — маленькая комнатка без окон. Комната справа — рабочий кабинет Владимира Ильича. Железный балкончик, дверь, ведущая на балкончик,— она же заменяет окно,— небольшой камин. Слева от балкона — старый фонарь, когда-то освещавший улицу. Ленин видел отсюда, с этого балкона, маленькую улицу, небольшие буржуазные дома. Теперь этих домов нет — вместо них построили церковь. Ее построили недавно, после того как ЦК Французской коммунистической партии купил квартиру Ленина и сделал из нее музей. Может быть, строители церкви задумали свой храм как некое противоядие.

Скромность Ленина вошла в поговорку, однако беспрестанные назойливые разговоры о ней кажутся мне иногда чем-то неприличным или, во всяком случае, неумным. Умиляться тому, что вождь рабочих и крестьян не живет и, более того, не испытывает потребности жить в роскоши,— умиляться этому могут только мещане, которые, будь у них возможность, показали бы, как может «устроиться» мещанин, при этом не переставая клясться именем рабочего класса.

То, что Ленин жил скромно в Париже, тем более естественно, что он иначе и не мог бы там жить. Ленин тогда крайне нуждался. Эти комнатки на улице Мари-Роз были свидетелями очень скудной материально, но необыкновенно насыщенной душевно и умственно жизни. За углом на улице Саррет в те времена находилась маленькая дешевая закусочная, где Ленин и Крупская обедали — бывало, что и в кредит.

В местах, где жили великие и любимые тобой люди, ты испытываешь странное чувство частичного перевоплощения в этих людях. То есть ставишь себя на их место и смотришь на все окружающее их глазами. Находясь в квартире на улице Мари-Роз, прохаживаясь по этой улице и по прилегающим к ней другим улицам, я как бы видел все окружающее глазами Владимира Ильича, словно не я, а он впервые приходит сюда, чтобы здесь поселиться. Мне было приятно, что

за окном спальни внизу стоит дерево и растут кусты — может быть, боярышник, я не разглядел; я думал о том, как хорошо, что улица тихая и что неподалеку находится парк Монсури, где можно гулять, отдыхать и работать среди зелени.

Ленин довольно часто ходил в этот парк, и я по его следам тоже туда пошел. Я там бродил среди старых деревьев, сидел возле большого пруда, по которому плавали лебеди, приглядывался к старикам и детям, отдыхавшим на скамейках или игравшим рядом со скамейками, и мне казалось, что Ленин видел именно этих детей и стариков, пристально вглядывался в их лица, стараясь увидеть за ними души живые, почувствовать биение пульса Франции, Парижа, сравнивал эти лица с русскими лицами на далекой родине и думал о том, как все люди, в сущности, похожи друг на друга; а это внешнее сходство — признак внутреннего, признак общности всего человечества, его мышления, интересов, судьбы.

В парке Монсури я услышал громкий детский смех, доносившийся из огороженного со всех сторон пространства у открытой сцены. Оказалось, что это кукольный театр дает представление для детей. Не знаю, был ли здесь кукольный театр во времена Ленина. Но он вполне мог быть и тогда. И я поэтому зашел туда. Куклы представляли развеселую историю, где вся соль, в общем, заключалась в большом количестве колотушек, отпускаемых куклами друг другу. Эти колотушки, сопровождавшиеся тоненьким кукольным плачем, причитаниями и остротами, приводили детскую аудиторию в исступление; смех, доходящий до стонов, оглашал окрестности.

Внутренние связи вещей и явлений очень непросты, и я отнюдь не собираюсь проводить такие уж прямые аналогии. Но в той атмосфере, в какой я находился в парке Монсури, в атмосфере ленинской судьбы и ленинской жизни, я подумал о том, что вот эти дети, которые резвятся так весело и смеются так прелестно, неразрывно связаны своей судьбой с небольшого роста русым человеком с тетрадкой и карандашом в руках, сидевшим пятьдесят лет назад здесь неподалеку на скамейке. Ведь в конце концов если бы этот человек не создал далеко отсюда на востоке могучее и способное на самопожертвование государство, если

бы он не превратил великую, но косную и отсталую страну в страну — водительницу народов, в страну — страдалицу за человечество, немецкие фашисты, может быть до сих пор находились бы здесь, в Париже.

Да, вся эта путаница улиц и площадей на юге Парижа, южнее обсерватории,— все это ленинские места. Неподалеку, на авеню Орлеан, находилась маленькая типография, где печатались большевистские газеты «Пролетарий» и «Социал-демократ». Это большой дом. Я вошел в ворота и очутился на внутреннем дворе, обсаженном деревьями,— тихом, уютном. Справа во дворе находится небольшое двухэтажное помещение, где была в то время типография, а теперь размещена фотографическая мастерская. Здесь нет никакой памятной доски. Но именно здесь Владимир Ильич читал корректуру своих и чужих статей, отсюда уходили номера газеты в города Европы, где жили русские эмигранты, и в чемоданах с двойным дном — в Россию. В Россию, которая, казалось, спала непробудным сном и видела страшные столыпинские сны. Но не пройдет и семи лет, как она проснется. Она и раньше не спала, раз бодрствовал ночью под стук печатной машины этот человек в типографии на авеню Орлеан, раз бодрствовали его единомышленники здесь, на бескрайних просторах России.

Рядом находится дом, где проходила Пятая всероссийская конференция РСДРП(б). Шестая состоится ближе к России — в Праге, седьмая — в России, в Петрограде, в апреле семнадцатого года.

Вероятно, с вокзала Аустерлиц Владимир Ильич уехал весной 1911 года в пригородную деревню Лонжюмо, где открылась партийная школа. Теперь Лонжюмо большой шумный поселок, почти город. Тогда это была глухая деревня. В ней, к сожалению, мало что осталось от тех времен, когда здесь жил четыре месяца подряд Ленин, когда здесь в остекленном сарае слушатели партийной школы собирались на лекции Ленина, Инессы Арманд, Семашко, Крупской, а также Каменева и Зиновьева, будущих оппортунистов и капитулянтов. Среди слушателей были люди, которых мы никогда не забудем. Одним из них был Серго Орджоникидзе, большевик, перед которым мы преклоняемся, который много лет спустя проделал титаническую

работу по созданию советской тяжелой промышленности, который жил и умер как великий и честный человек.

Сохранилась небольшая акварель, написанная художником Фальком. Мы должны быть вечно благодарны этому талантливому художнику, недавно умершему, за то, что он оставил нам изображение домика, в котором жил Ленин в Лонжюмо. Самого домика уже нет.

Есть еще одно-два места, которые с большей или меньшей степенью вероятности можно считать ленинскими местами, но напоследок я хочу рассказать об одном «ленинском месте», в котором Ленин никогда не был.

Я был на празднике «Юманите» в городке Курнеф, близ Сен-Дени. Это подлинно народный праздник. Он празднуется раз в году, обычно в первое воскресенье сентября. На огромном поле как бы по щучьему веленью вырастают тысячи павильонов, киосков, балаганов, танцевальных площадок, открытых сцен. Свыше полумиллиона человек в этом импровизированном, возникшем на пустыре веселом городе пляшут, смеются, кричат, танцуют, слушают выступления артистов, сами выступают, участвуют в лотереях, стреляют в тирах, щеголяют в маскарадных костюмах. Разгульное веселье и величайшая организованность — такое сочетание я видел впервые в жизни. Все здесь сделано и устроено добровольцами, бесплатно. Весь сбор от всяких продаж, аукционов, лотерей идет в пользу коммунистической печати. Сюда съезжаются люди со всех департаментов Франции. На всем пути из Курнефа в Париж стоят в три-четыре ряда автобусы из разных городов, дожидаясь участников праздника. Я видел, как на празднике появился Торез. Он ехал в машине. Узнав его, за ним ринулась толпа, скандируя: «Мо-рис! Мо-рис!»

В павильоне Общества Франция — СССР меня попросили надписывать автографы на советских книгах, переведенных на французский язык. Присутствие живого советского писателя оказалось — неожиданно для меня — большой притягательной силой. Я надписывал не свои книги — моих там не было,— а книги других советских писателей. Надеюсь, что они простят мне этот полуплагиат. В свое оправдание я могу только

сказать, что товарищи, покупавшие книги, знали, что не я их автор.

Все это колоссальное нагромождение павильонов и разных площадок было разделено на «улицы» — «авеню» и «рю»,— носившие имена французских и иностранных коммунистов, героев Сопротивления, людей, отдавших свою жизнь за будущее. Эти улицы сходились к центральной площади, подобно тому, как парижские авеню сходятся к площади Звезды. Центральная площадь называлась «Площадью Ленина». Это огромное пространство, на котором сооружена сцена и гигантский амфитеатр для зрителей. Вся площадь, таким образом, является как бы зрительным залом, в котором одновременно может находиться около двухсот тысяч человек.

Я подумал о том, что эта летучая площадь, возникающая каждый год на новом месте и затем исчезающая, как дым, на самом деле реальнее и долговечнее всех других площадей Парижа и Мира. Она — в душах людей, в их бессмертной жажде справедливости, в их стремлении к совершенству.

Я никогда не забуду этих глаз французов и француженок — глаз, полных веселья, ума и обаяния, на «Площади Ленина» под Парижем.

У меня защемило сердце. Мне показалось, что я вижу Ленина так близко, так ощутимо, словно не прошло полувека, словно не протекло морей крови. И мне захотелось не кричать, не митинговать, не приветствовать, а тихо сказать:

— Здравствуйте, Владимир Ильич.

1961

Из дневников и записных книжек

20.I.1948 г.

Сегодня получил письмо от Л. Брик: сестре ее, Эльзе Триоле, и Арагону понравилась «Звезда», они переведут ее для журнала «Europe». Просят мою биографию, «кажется, необычную». Странное и неприятное впечатление произвела почтовая марка на письме — с портретом Маяковского, словно визитная карточка. Вероятно, у нее огромный запас этих марок.

Сегодня утром закончил пятую главу «Огаркова». Быстрота, с которой пишется эта вещь,— поразительна.

7.VI.1948 г., Рига.

Читаю первые части «В[есны] в Е[вропе]». Может быть, и неплохо, но не для меня. Типичнейшая беллетристика за редким исключением. Таня, несмотря на все, противна. Кажется, я взял на себя задачу не по силам. Не чувствую в себе изобилия творческих сил.

Здесь миленький приморский курорт — под немецкие балтийские курорты, но сортом пониже. Я снял номер в гостинице Майори. И хотя тут тихо, солнечно и одиноко — но не пишется, и мыслей в голове нет, и чувство собственного убожества угнетает душу.

В романе — сумбурное, произвольное смешение красок, лиц, наречий. Нет строгих линий «Двое в степи», нету и поэтичности «Звезды». Неэкономность, расплывчатость, детали заслоняют целое. Замысел — какой-то нищий, композиция не ясна мне самому еще, хотя что-то и предполагалось вначале.

Море здесь (Ostsee) — серенькое, совсем не похожее на южные моря. Пляж, однако, хорош — песок. В море не видно пароходов и парусников. Отсутствие скал и гор лишает море величия и грандиозности, свойственных Черному морю. И самое странное, почти чудовищное для человека средних широт — сосны у самого моря! Как русский на Таити.

9.VI.1948 г., Рагоциемс.

А вот теперь я в латвийской рыбачьей деревне. Это очень разбросанная, хуторского типа, деревенька на самом берегу Ostsee. Я называю это море Ostsee, а не Балтика, потому что второе для нашего уха звучит Петроградом и Кронштадтом, наконец — Вс. Вишневским. Здесь же колорит <...> свинемюндевский и рыбацко-контрабандный <...>

Я сегодня катался на лодке с молодым рыбаком Илмаром. Море становится глубоким на очень далеком расстоянии от берега, и еще с километр можно ходить по морю, не замочив колен. Это очень удобно для детей и для Иисуса Христа, которому здесь было бы особенно легко ходить по волнам в открытом море. (Шлиссельбуржец Н. Морозов мог бы на этом основании совершить переворот в истории, открыв, что местом действия Евангелия было юго-вост[очное] побережье Балтийского моря.) <...>

Тут не мечтают о будущем, о счастье многих, наконец,— о своем личном возвышении, выдвижении, карьере. Нет,— мечта об одном: чтобы все осталось по-прежнему. Чтобы налоги были не слишком высоки. Чтобы никого не выселяли. Чтобы рыбы было столько же или даже больше, ежели возможно. Чтобы и не богатеть даже особенно, поскольку это не так просто, а чтобы не беднеть. Чтобы спокойно прожить жизнь. Свою жизнь.

Во всем этом, пожалуй, есть своя прелесть. Конечно, тут и страсти какие-то кипели, но страсти глубоко личные, никак не общественные, породившие в литературе XX века Гамсуна, Банга и др. Это литература зрелого капитализма, стремящегося не скользить далее, ибо далее — пропасть, революция, катастрофа.

Ленинград, 13 июня.

<...> То, что я в Ленинграде, несказанно меня волнует. С.-Петербург, Питер 1917 года, Ленинград

1941—1943 годов, все это вместе и каждое в отдельности живет в этих камнях.

Я сегодня много бродил по городу, видел Казанский собор с Кутузовым и Барклаем, Зимний дворец, Исаакий, Адмиралтейство, Сенат, Главный штаб, Александровскую колонну, Николая I, Екатерину и, наконец, Петра, Медного всадника. Конечно, все это прекрасно и странней всего то, что это точно такое, как описано в книгах. Предстоит белая ночь.

Здесь жили Пушкин, Достоевский и Гоголь. И все непохоже на правду.

Приятно оставлять такие впечатления на зрелые годы. Нельзя в юности все перечитать и пересмотреть — первые впечатления нужно и на после оставлять. Мне предстоят еще удовольствия: Кавказ, мусульманская Азия, «Идиот» Достоевского. Теперь же я упиваюсь удовольствием, имя которому С.-Петербург — Ленинград <...>

14.VI.1948 г.

От Луги до Ленинграда все перерыто и перекопано старыми траншеями, заросшими травой, завалено ржавой проволокой и спиралями Бруно, уставлено танками — нашими и немецкими,— разбитыми, раздетыми. Развалины маленькими кучами лежат на равнине, как капища языческих идолов. Как раз в момент прохода поезда, на лугу, в километре от железной дороги разорвалась мина и черный (знакомый!) столб дыма поднялся к небу, затем до поезда донесся глухой, короткий звук взрыва. Мы так и не успели разобрать, кто виновник этого происшествия — меланхолическая корова, глупая собака или мальчик, игравший на лугу. Война еще вокруг, хотя все забыли о ней <...>

———

«Весна в Европе» — роман о советском человеке, гвардии майоре Сергее Петровиче Лубенцове. Он прошел огонь, воду и медные трубы. Разведчик, воин, поэт и мыслитель — вот кто такой майор Лубенцов, если хотите знать. Он трижды умирал и трижды воскресал из мертвых. Чувство собственности чуждо ему уже. Долг для него — прежде всего. Он имеет трех братьев, из которых один — генерал-артиллерист, другой — капитан-танкист, третий — мастер завода на Урале.

Хотя он кадровый офицер, но не кастово ограниченный, как его помощник Антонюк, а человек мыслящий, сильный, добродушный и прямой, полный интереса к людям и событиям.

Второй герой романа — капитан Сердюк. Это человек ограниченный, живущий настоящим днем, политически необразованный, служака. Он имеет много благородных, прекрасных черт, свойственных русскому человеку. Он храбр, бесшабашен, полон играющих сил. Вторжение в Германию, освобождение Европы заставляет его понять роль советского человека, воина армии-освободительницы. Он начинает понимать свою историческую миссию <...>

———

Итак, началась литературная моя деятельность. Две маленьких лодочки пустил я в море, и они, удаляясь, теряются в туманном море, становятся уже не моим достоянием, а достоянием волн играющих и ветров бушующих. Два крошечных паруса еле виднеются в безграничной пучине, но пучина требует меня всего. И вот я как неопытный пловец стою на скалистом берегу, готовый к прыжку в пучину. Страшно и сладостно стоять так на открытом ветру.

<К РОМАНУ «ВЕСНА НА ОДЕРЕ»>

Унизительная дрожь перед начальством (чувство Кекушева) и поэтому — в качестве компенсации — желание вызвать эту же дрожь у подчиненных.

———

Для того, чтобы быть чем-то для кого-нибудь, надо быть чем-то и для себя самого. Надо верить в себя и надеяться на себя, только тогда можно понадеяться на других.

———

Этот человек — вроде английской транскрипции: читается совсем не то, что пишется.

<2-я половина июня 1948 г.>

Не убили ли популярность, всеобщее признание и далеко идущие надежды людей на меня мою поэзию —

робкий цветок, только изредка высовывающий благоуханную голову из-под сумятицы временных и скоропреходящих слов? Я словно опустошен. «Оправдать надежду» — не значит ли это уже превращение во многом стихийного творческого процесса в сознательное ремесло? Тут нужны огромные творческие силы и мужество, чтобы стать выше всего и идти своей дорогой в одиночестве. А ведь путника тянет на огонек, на теплый очаг и ласковое слово. А цель так далека, так неверна, и неизвестно — существует ли она вообще и станет ли сил, чтобы дойти. А не дойти хоть на сантиметр — это все равно, что не начинать вовсе свой путь.

За окном дождь, а в Москве 36° жары.

«Крик о помощи» — повесть о гетто, но о гетто с точки зрения русского человека, советского офицера.

Это умница, мудрый разведчик, тайный поэт.

13.9.48 г., Одесса.

Конечно, это превосходный город. И не внешностью своей, хотя и она хороша. И даже не морем, которое здесь очень сужено мысом и разными портовыми сооружениями. Хороша Одесса своими людьми. Они жизнерадостны, на улицах многие смеются, старые и молодые. Одеты просто, но хорошо, прилично. <...> Южный огонек, темперамент, услужливость, разговорчивость, отменная вежливость — здесь достояние всего народа. Хмурая замкнутость севера тут не в почете. В этом — облик этого города, созданного французом и обжитого южанами <...>

<Октябрь 1948 г., с. Казацкое.>

Нужно твердо усвоить, что «Звезда» и «Двое в степи» хороши только на фоне нынешней литературы, а так это вещи средние, даже — строго говоря — слабые. Я ничего еще не сделал, и моя некоторая популярность среди читающей публики основана только на том, что другие вещи — еще хуже. Необходимо это понять твердо и искренне, иначе мне угрожает столь распространенный теперь в литературе маразм. Во мне есть многое из того материала, который может составить

крупного писателя: любовь к людям, страстность, такт. Но еще многого нет. Надо трудиться, трудиться без устали, самозабвенно, с энергией Наполеона или Гракхов — на почве литературы. Тогда может что-нибудь выйти. И надо жить с народом, среди народа. Не дай бог отяжелеть.

29.12.1948 г.

Кончается 1948 год, через два дня наступит новый. Мой годовой план далеко недовыполнен: даже роман не закончен, а пьеса только начата, и две маленьких повести существуют только в голове. Однако год был не малого для меня значения. «Двое», вопреки надеждам, поставили меня в положение неприятное — не для самолюбия, оно тешилось немало,— для материального благополучия, которое нужно, чтобы завершить роман. И эта история научила меня ожидать всего, а без этого нельзя писать. Она измотала нервы, но укрепила характер. Роман я начал перерабатывать *до* критики «Двоих», и сделал это не для того, чтобы приспособить Лубенцова к критике, а для того, чтобы сделать его лучше. Он имел хороший, сильный, музыкальный ритм, но не имел ритма жизни. Толстой чем силен? Кроме прочего, тем, что овладел в своих писаниях ритмом жизни. В жизни есть более и менее важное: писатель, описывающий только менее важное,— бульварный беллетрист. Писатель, описывающий только более важное,— обманщик: он искажает жизнь. Он берет ее в главных чертах, а жизнь нельзя брать только в главных чертах. Во-первых, рискуешь ошибиться, приняв за главное не очень главное. Во-вторых — авторский произвол в выборе главных черт, как и всякий произвол, не соответствует течению жизни. Создает ритм, но это не жизненный ритм, а ритм литературный, олитературенный, ритм Гюго, а не ритм Толстого. Первый тоже законен или — вернее — узаконен в литературе. Но это — устарело, это не завтра, а вчера. Опоэтизировать обыкновенное, а не выискивать среди обыкновенного поэтичное — вот, кажется мне, верный путь, который я назову путем Толстого (Стендаля и некоторых других).

В первом варианте я опускал второстепенное. Этого делать нельзя, это нарушает ритм жизни, в которой нет второстепенного.

Моя работа над новым вариантом — поиски второстепенного, подробностей, искание ритма жизни.

Первый вариант был как воздушный шар, наполненный недостаточным количеством газа. Да, он не влачился по земле, но и не мог улететь далеко от земли. Он находился от земли метрах в трех, в четырех. Это не полет. Я наполняю этот шар газом — жизненными подробностями. Понемногу он получает округлую, сферическую форму, форму жизни и, надо надеяться, полетит. Не совсем только ясно, что это за шар — детский шарик или настоящая махина. Но это уже от меня не зависит — это талант.

При этом может не раз оказаться, что это второстепенное и является главным, а бывшее главное отходит на второй план. Тем лучше — значит, станет сильнее и то, и другое.

Если говорить о влиянии критики «Двоих» на работу над романом, то оно выразилось только в том, что я больше сомневаюсь, а значит, и больше мучаюсь, тружусь, борюсь с материалом. Ergo — влияние положительное в конечном счете. И любовь ко мне читателей, и настороженность руководителей имеют одно следствие: страстное мое желание, оставаясь самим собой, остаться своим и для тех и для других. Посмотрим в дальнейшем, возможно ли это? Уверен, что возможно, нужно и так оно будет.

<К РОМАНУ «ВЕСНА НА ОДЕРЕ»>

Лубенцов — активная ненависть к человеческому злу и к недостаткам, нетерпимость к ним, олицетворяющая молодость строя. Он не дошел (и, может быть, слава богу, не дойдет) до расслабляющего философствования насчет невозможности бороться с этим: основа — позитивная философия, вера во всесильность науки и человеческой воли, немножко наивная вера.

Садясь за стол, Сердюк сказал, улыбнувшись:

— У меня в роте столько же народу, сколько христовых апостолов, только, слава богу, нам сегодня обещают дать пополнение.

Ему вдруг стало жгуче-радостно от того, что его артиллеристы узнали его, и от того, что им наплевать на то, еврей он, или таджик, или русский — он был просто их товарищ, ставший их командиром потому, что знал больше, чем они. И от этого неожиданного, ни разу так ясно не пережитого чувства равенства он радостно задрожал, как может радостно задрожать (затрепетать) рыба, брошенная с песчаного берега в прохладную реку.

Сливенко с удивлением подумал: и Пичугин был когда-то ребенком — светловолосым, улыбчивым, с маленькими ручками. А вырос — вот каким прохвостом стал...

16 июля с 15 до 20 часов Гитлер, Геринг, Кейтель, Розенберг и Борман обсуждали, что делать дальше с Советским Союзом. «Только немцы будут носить оружие!» Выпив кофе, стали назначать гаулейтеров. (В Москву — г-на Каше.)

«После пятинедельных операций можно сказать, что цель, вероятно, будет достигнута нами ранее намеченного срока» (письмо Гитлера Антонеску 27 июля 1941 г.).

Какой огромный путь прошло человечество от человекообразной обезьяны до прусского генерал-лейтенанта.

Плотников — доктор исторических наук. Может быть, он единственный из всех, стоящих теперь у Эльбы («В равнинах, где Эльба шумит» — вспомнил он Лермонтова), знал, что победа еще полпобеды, что перед Родиной и перед миром стоят немалые испытания, что людям придется многое еще понять и победить. Но он знал также, что надо всем будет сиять эта победа. И что справедливость имеет скверную и светлую привычку: скрыться, чтобы потом воссиять.

Жизнь немцев в то время, как тысячелетняя империя капитулирует. Быт, немки, немцы. Жизнь идет своим чередом. Народ понимает, что многое ему придется пересмотреть, многое обдумать. Дай бог ему ума и понимания!

<Без даты.>

Дети думают о своих родителях, что они управляют жизнью и что они всесильны, умны, все знают, понимают и т. д. Потом оказывается, что они (родители) подлецы, сволочи, жулики, нечестные, если они даже честные, благородные, то беспомощны противостоять невежеству и злу и только больше страдают от сознания своей беспомощности и от того, что зло и невежество существуют и что его много.

21.4.1949 г.

Может быть, мой роман будут хвалить, и я сам, обманутый похвалами, решу, что он на самом деле хорош. На этот случай я записываю эти строки.

1) Роман мой имеет много хороших частностей, и в нем передана *атмосфера* тех дней. Но он не имеет главного: г е р о я. Я разбил одного героя на две части: Лубенцов слишком голубоглаз; Чохов — испорчен мной сознательно (для напечатания). Героя настоящего нет. Лубенцов — герой ■ зародыше, он слишком интеллигентен и не совершает ничего геройского. А военный герой обязан быть героем как таковым.

Чохов — герой как солдат, но не герой как человек. Поэтому роман лишен настоящего стержня. В погоне за пестротой и красочностью упущена возможность создать сложный и великий образ на сложном и великом фоне. Это великий недостаток, и теперь уже непоправимый, так как срочно нужны деньги.

2) Линия полковника Кекушева уязвима вдвойне: с идейной и художественной стороны. С идейной — потому что человек на большом посту отвратителен здесь, с художественной — потому что и идейная сторона заставляла меня быть беспрестанно начеку, осторожным, боязливым. И фигура отвратительная превратилась в фигуру жалкую. Потеряна поэтому сама причина ее написания.

3) Кое-что висит в воздухе <...> Люди введены неизвестно зачем, только потому, что такие были и могли быть. Это Антонюк, Мещерский, Никольский, Вика, частично Плотников. Они все необязательны.

4) Стрелки — хороши, разведчики — плохи. Причина, вероятно, та, что «Звезда» уже написана, и не хотелось повторяться. Но разведчики слабо написаны здесь. Следовало Лубенцова и Чохова сделать *одним* человеком — командиром строевой роты (без изъянов, но с твердым веселым характером), разведчиков не давать вовсе. История Маргарет происходит с Лубенцовым (без влюбления с его стороны).

23.VI.1949 г.

Вчера, 22 июня 1949 г., кончил, наконец, роман. Миг вожделенный настал. Кончил и еще раз пришел в ужас от его недостатков. Их чудовищно много. Многие люди начаты и не кончены, повисли ■ воздухе; разведчики бледны даже по сравнению со «Звездой» и не вызывают ничего, кроме глухой досады. Главное половинчато. Негативное — трусливо.

Я очень устал. Если бы не деньги, я бы не печатал роман теперь, а поработал бы систематически над ним — часа два в день, над углублением людей и завершением лепки сюжета.

Завтра сдаю, иначе нельзя.

Что-то оно будет?

Обет: если роман напечатают и он будет иметь успех (всяческий) — уехать ■ глухие места, вести скромную, трудовую (литературно и физически) жизнь, изучать природу и простых людей и углубить свой талант, который недостаточно еще глубок. Писать просто, проще, чем теперь.

27.I.1950 г., Кисловодск.

План 1950 года:

1. Написать рассказ «Человек, пришедший издалека».
2. » повесть «Крик о помощи».
3. Закончить «Колумба».
4. » «Моцарта».
5. » пьесу о Германии (?)
6. Думать об эпопее.
7. Делать заметки о колхозной деревне (имея ■ виду «Письма из колхоза» и др. рассказы).
8. 4-я часть «В. на Одере» (?)

Писать только хорошо.

9.V.1950 г., Ленинград.

Я в гост[инице] «Астория», и за окном Исаакиевский собор, а за ним — Медный всадник, к[ото]рого я еще в этот приезд не видел. И странно подумать, что стоит мне выйти из гостиницы, и я увижу Медного всадника, Сенатскую площадь, Неву.

9 мая — День Победы. В этот день тысячи ленинградцев шли на братское кладбище — место погребения умерших в блокаду.

Я зашел в пивную. Два инвалида и слесарь-водопроводчик — старые ленинградцы — пили пиво и вспоминали войну. Один плакал, потом сказал: — Если будет война, я опять пойду <...>

Осматривал Алекс[андро]-Невское кладбище. Здесь: Чайковский, Ломоносов, Стасов, Глинка, Бородин, Балакирев, Римский-Корсаков, Рубинштейн, Мусоргский, Карл Росси, Даргомыжский.

Суворов лежит в соборе.

Петропавловская крепость. Саркофаги русских императоров: Петр и все остальные — белый мрамор, Александр II с супругой — малахит. Николай II отсутствует.

Грандиозный иконостас.

В соборе холодно и светло. И очень буднично поэтому. Таинственности ни на грош.

Один из героев должен испытывать боязнь высоты. Нужно описать это паническое чувство — глупое, нелогичное, и зависть к другим людям — женщинам, детям, спокойно идущим по кромке обрыва.

Если подумать, то я вовсе не беллетрист. В сущности говоря, я насилую себя, пиша беллетристику. Лучше было бы — суховатую прозу, полную мысли, углубленную, бессюжетную. Только лишь ощущение читателя заставляет писать то, что пишу я.

Женщина имела стройное тело, сильные полные ноги, выше которых угадывались очень теплые бедра, а лицо уже было усталое, глаза — потухшие. Ей было вовсе не до баловства, и она удивилась бы, узнав, чего от нее хотят.

Нужно научиться изображать женскую внешность, это очень важно.

Тая Григорьевна. Странно видеть пожилую одесситку в Ленинграде. Все время кажется, что она долго дрейфовала, продвигаясь от Черного моря на север и, наконец, остановилась у Балтийского.

Он пел всегда: «Мы кузнецы, и дух наш молот». Ему не приходило в голову, что дух может быть молод.

<После 9.5.1950 г.>
Ленинград, гостиница «Астория».

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мысль о создании этой книги (или, вернее сказать, серии книг) пришла мне в голову неожиданно и, придя, ошеломила меня. Ошеломила своей дерзостью, грандиозностью замысла. Потом испугала невероятным обилием трудностей различного порядка, среди которых немалое место занимает цензура строгая[1]. Но, отдавая себе полный отчет во всех этих трудностях, я уже, сам того не зная, был в плену категорического императива. Случайная задача стала казаться неслучайной, нужной, ценной, необходимой, наконец — неизбежной, неотвратимой, как сама смерть. Я говорил себе:

1) Не надо! Это — 12 лет жизни. Это — беспрерывное, на всю жизнь копание в старых газетах, бумагах, книгах. 2) Не следует: это — ковыряние в исторических фактах, о которых я не могу иметь суждения ввиду недоступности почти всех подлинных материалов. 3) Нельзя — объективность тут так же опасна, как и яростная субъективность — первая фальшива, вторая — неубедительна. 4) Брось — куда тебе справиться с задачей, которая по плечу людям типа Толстого, Бальзака, Золя. 5) Гляди — ты можешь ошибиться самым роковым для писателя образом — ты мастер в новелле, делай то, что ты умеешь делать наиболее хорошо, не увлекайся заманчивым, но обманчивым желанием охватить все, что ты знаешь.

Но жгучее стремление быть творцом в большом смысле слова — т. е. создать целый гармонический *мир*,

[1] Хотя и справедливая *(примеч. автора)*.

а не детали мира — это стремление победило все. Количество переходит в качество. Количество — тоже качество. До изнеможения боролся я с этим, но не смог побороть.

Поборотый, я хочу немногого. Пусть эта книга станет настольной книгой моего поколения, пусть она будет художественным учебником революции, пусть по ней будущие люди увидят и оценят всю нашу боль, всю нашу радость — такую боль и такую радость, какие немногие поколения знали.

31.7.1950 г., Глубоково.

Я все тщусь писать о других, а иногда так хочется писать о себе. Но это — потом, в старости, которая уже не за горами. Трудно — о себе, потому что мне, не так как другим, приходится отсечь очень многое в детстве и юности <...> В одной жизни — много перевоплощений, не очень обычные перемены. Но все это — потом.

А теперь — главное: собрать силы для написания самого главного — эпопеи, энциклопедии советской жизни за 25 лет, с 1924 по 1949/50. Это — огромный, может быть, не по силам труд, но я должен совершить его и, надеюсь, совершу.

Это — большой, гигантский роман, в котором вся наша жизнь, главные и второстепенные ее стороны должны найти отражение — верное, объективное.

Итак, время — 1924—1949.

Объем — 240—250 авторских листов, 5000 страниц <...>

Место — Москва, деревня Владимирской области, завод старый (Сормово?) и новый (Магнитогорск? Автозавод им. Сталина?), фабрика (Вязники?), Ленинград, Киев, Одесса, Крым, ДВК, Германия, Польша, Китай, Венгрия.

Круг героев: крестьяне, рабочие, интеллигенты, писатели, дипломаты, офицеры, генералы, солдаты Сов[етской] Армии, нэпманы, студенты, партработники, хозяйственники.

Главный герой — советский народ, страдающий, побеждающий.

24.IX.50, Глубоково.

Ничего *изящного* не будет в моей книге. Это будет жизнь — с ее радостями и тяжестями. Оборони меня боже от изящного.

Вечерняя и утренняя заря — в шалаше с подсадными утками и чучелами.

Четыре утки. Моя самая крикливая. Почему она кричит все время? Ей больше, что ли, хочется селезня, чем другим? Не поэт ли она среди уток? Да, по-видимому. Чуть чернея на белом фоне сумеречной осени, она кричит то в глубоком отчаянии, то полная надсадной радости или тоски. Вот она замолкнет на минуту, потом скрывает голову в воде и плещется там, полная дум о самоубийстве, но дружественная ей стихия не признает жертвы. Тогда она в ужасе начинает хлопать крыльями.

Наконец появляется селезень. И тут выясняется, что эта фрейдистка столько шумела только по причине похоти. Но не грубо ли это? В похоти ль только дело? Не лучше ли сказать, что это — тоска о счастье?

И тут раздается выстрел.

15.11.1950 г.

<К РОМАНУ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»>

Старик все время хвастает: «Тут было поместье графа Сергея Дмитриевича Шереметева. Всюду были расставлены дощечки: «Охота воспрещается». Мне раз мальчишкой влетело от людей его сиятельства! Сколько тут было дичи — лосей, барсуков и т. д. А стрелять не позволяли. Сергей Дмитриевич был на этот счет строг...» Он говорит о графе с благоговением и о притеснениях — также. Сын молчал, молчал, наконец не выдержал: «Нравится рабская жизнь, а, папа? Приятно вспомнить?..»

<Конец 1950 г., дер[евня] Глубоково.>

На колхозном собрании выступает старушка, которая говорит, что «не даете нам на обе ноги стать. На одной стоим, на другую никак не станем».

Главная обида колхозниц, когда им говорят: «Плохо работаете». Этим они возмущаются больше всего. «И мы были не из последних,— говорит пожилая женщина с видом оскорбленного достоинства,— да вот нет руководства. 20 председателей сменились за эти годы» (вспоминает фамилии председателей, ей активно помогают вспоминать из публики).

<Конец 1950 г.>

Все шло внешне нормально. Были дети, служба, интерес к людям. Но в то же время — страх, что распадется связь, что все неверно и связано гнилыми нитками, и вот-вот все распадется, и пойдет по швам разлезаться.

<1950 г.>

Вы любите положительных героев. Я тоже. Но вы сплошь и рядом принимаете процветающих героев за положительных героев. Между тем (даже у нас) чаще всего бывает наоборот

<К РОМАНУ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»>

Начало — зима 1924 года. Крестьянский парень по командировке комбеда приходит в Москву учиться. Мальчик выдающихся способностей. Отец — кузнец, бедняк, но консервативных взглядов.

Учеба в Москве. Рабфак. Полуголодное существование.

Действуют:

1. Иван Рысаков — рабфаковец, рабочий, 35-тысячник, партработник
2. Алексей Татьяничев — « рабочий, мастер, инженер, директор завода (Урал)
3. Павел Татьяничев — бес *<призорник>
4. Сеня Зубиков — беспризорник, трудколония, армия, арест, армия (война, полковник)
5. Петр Зубиков —
6. Ленин
7. Сталин
8. Маяковский
9. А. Толстой (граф)
10. Станиславский
11. Мейерхольд — Пастернак (под именем ...)
12. Есенин
13. Ворошилов
14. Молотов
15. Каганович
16. Микоян
17. Валя Груздева

* Зачеркнуто автором (*примеч. составителя*).

18. Зоя Снегина
19. Сима Гуревич
20. Борис Гуревич
21. Горшков — коммунист, пред[седатель] колхоза
22. ... — судья
23. Фадеев
24. Витя Бирюков (из Вязников, летчик, Герой Сов[етского] Союза)
25. Чкалов (под др[угим] именем)
26. Дегтярев (или Лавочкин) *
27. Клюева и Роскин
28. Жуков
29. Твардовский
30. Давидович
31. Лейвик
32. Андре Жид
33. Горький
34. Роллан
35. Е. } вредительство
36. Я. }
37. Сычев
38. Моисей (величие и падение) ...
39. Дядя Леня и его сын
40. Рапповцы
41. Рамзин или Туполев
42. Микулин(?) *
43. Ген. Королев — Женя — Советова — майор
44. Нем[ецкий] антифашист — Zих, парт[ийная] работа в армии
45. Димитров
46. Рискинд
47. Носов (директор комбината)
48. Хавкин (вождизм)

$$\times \begin{array}{r} 30 \\ 8 \\ \hline 240 \end{array}$$ п. л.

Том первый. Юность (1924—1929). Учеба; трудколония. Коммуна. Борьба с оппозицией.

Том второй. (1929—1936). Колхоз. Индустрия.

Том третий. (1936—1937). *Заговор.* Борьба. Перегибы.

* Зачеркнуто автором.

Том четвертый. (1938—1941).
Том пятый. (1941—1942). Москва, ополчение.
Том шестой. (1943—1944).
Том седьмой. (1944—1945).
Том восьмой. (1946—1950).

Должны быть отражены:
1. Колхоз
2. Предприятие на Урале
3. Рыбаки на Днепре
4. Крымские татары
5. Армия: штаб академия
пехота
авиация
артиллерия
6. В.-М. флот
7. Речной флот
8. Москва: строители
автозавод им. Сталина
планирование
9. Сов[етский] театр
10. Сов[етская] литература
11. Колония беспризорных
12. Суд
13. Лагерь
14. Тюрьма
15. Райком ВКП (б)
16. Министерство
17. Обком ВКП (б)
18. Ленинград
19. Съезд партии
20. НКВД
21. Милиция
22. Крым
23. Кавказ
24. Жилищный вопрос
25. Одесса
26. Киев
27. ДВК
28. НКИД
29. Америка 1941—1950
30. Германия 1933—1948
31. Польша 1924—1948
32. Англия 1940

33. Франция 1940—1950
34. Школа
35. Кремль
36. Нац[иональный] вопрос
Беседы с: Штейном (дипл[оматом])
Манфредом
Гуревичем (жил[ищный] вопрос)
Горшковым
Алферовым (карьера, партработа)
Становским (труд. колония, безраб.) *
Назаровым (» » »)
Соловьевым (погранохрана)
милиция
Адвокатом, судьей
Работники ГБ
Идой
Ушаковым
Мельманом (о НЭПе)
Назаровым, Глушковым, Карусковичем и др.
(о комендант[ской] службе в Германии)
Госплан

<К РОМАНУ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»>

В минуту, когда Рысцову становится невмоготу и он хочет бросить учиться, он думает о том, что борцы уходили по Владимирке на восток для того, чтобы он, Рысцов, мог по ней же прийти в Москву учиться. И он остается. (Конец 1-й книги.)

Книга третья — *Заговор.*

<Январь 1951 г., Глубоково.>

История с матерым умным белогвардейцем Шульгиным, в 1925-м приехавшим нелегально в СССР. Работники ОГПУ, узнав об этом, не тронули его, а вместе с ним «посетили» все организации, «скрывали» его и благополучно проводили обратно за границу. Прекрасный пример умной разведки. *Подробно* описать его поездку. Через нее показать все остатки черной сотни в СССР — меньшевиков, эсеров, кадетов, монархистов.

* Зачеркнуто автором.

31.1.51 г.

«Четыре сердца», которые я сейчас пишу,— кроме прочего — интересный для меня эксперимент. Во-первых, это — впервые за мою прозаическую деятельность — интерьер. Действие происходит не на больших просторах, как в «Звезде», «Весне» и «Двое в степи», а в обычной московской квартире. Во-вторых, автор не вмешивается. Должно создаться впечатление предельной объективности. Тут мастерство играет величайшую, решающую роль. Действие разворачивается как бы без всякого вмешательства творца. Это — почти протокол совершившихся в течение одного дня событий. Внутренние переживания выражаются так, как они выражаются в жизни: через разговоры, жесты. Людей читатель будет судить и оценивать не под нажимом, а в соответствии с их собственными поступками и речами. Это — продолжение метода «Двое в степи», однако там важна и острота сюжета, здесь сюжет дело второстепенное.

Не будет ли утомительно читать? Не рассчитано ли это только на знатоков, смакователей? Нет, кажется. Посмотрим.

План 1951 года

1. Написать «4 сердца».
2. » «Крик о помощи».
3. Заготовки к роману.
4. Заготовки к 2-й книге «В. на Одере».
5. Моцарт, Колумб.

<Февраль — март 1951 г.>

<К РОМАНУ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»>

1924

В нем жила святая, до трогательности наивная уверенность в том, что никакой человек не пошевельнет пальцем без выгоды.

1932

Художник Дудник — бандит, вор. Попал на Беломорканал. Выпущен досрочно за хорошую работу. Попал к

Горькому (на приеме выпущенных). Нарисовал эскиз (Горький). А. М. позвонил в Моск[овский] худ[ожественный] ин[ститу]т: «Примите товарища». И Дудника — очень способного, неграмотного человека приняли. Приехал впоследствии (1936) в Феодосию (где бандитствовал) вместе с художниками для работы. Пришли на базар. Перепуг торговок: Дудника узнали.

1941—1943

Фотокорреспондент «Комс[омольской] правды» Ананьев попал в окружение, стал партизаном, к[оманди]ром роты в партиз[анской] бригаде под Минском. 2 раза ранен, получил 2 ордена. Перелетел на самолете в госпиталь в Москву. Там поправился и пошел в редакцию просить фотоаппарат — потренироваться, давно не фотографировал. Зашел к секретарю редакции А. Сурову. Тот — плюгавый пьяница — спросил:

— А куда вы дели два аппарата, которые числятся за вами?

Ананьев сначала не понял, потом пришел в дикую ярость. Разбил все на столе у Сурова, и почти потерял сознание, не помнит, как он очутился в кабинете редактора, к[ото]рый успокоил его. Ему дали аппарат. Он сохранил свой партбилет, а фотоаппараты не сохранил, Суров — сволочь.

1919

Он думал, что мир, как создан испокон веку, таков он и будет и есть. Это мир благополучный, веселый и главное — необычайно целесообразный. Все в нем устроено верно, так, чтоб людям, в частности ему — было хорошо (вернее целесообразно). Но позднее оказалось, что это не так. Он узнал тайну рождения. Умер отец, умерла мать. Из людей, казавшихся авторитетами, ничего не получилось. Нецелесообразность жизни стала ясной. И только гораздо позднее он понял, что она целесообразна, но целесообразностью высшей, не на человека рассчитанной, а на всю природу.

Тайна рождения, узнанная им в детстве, и тайна смерти (при смерти отца) — эти 2 тайны нанесли непоправимый удар его блаженному представлению о целесообразности жизни и справедливом устройстве мира.

Ревность — чувство стихийное и, может быть, уподоблено весеннему паводку или лавине. Для того, чтобы ревновать, вовсе не нужен Яго, клеветник и интриган. В этом отношении «Зимняя сказка» вернее передает возникновение ревности, чем «Отелло». Причины здесь не нужны, ибо отсутствует логика <...>

10.III.51, дер[евня] Глубоково.

Обе бригады — глубоковская и сингирьская — собрались праздновать 8 марта. Позвали меня. Пили, пели, плясали до упаду. Женщины большей частью пожилые, порядком измотанные <...> (почти все вдовы). Но энергии много и много неизрасходованной нежности. Плачут потихоньку от жалобных песен.

Молодых женщин и девушек — очень мало, почти нет: они учатся в городе или работают там же, в Вязниках, в Мстере — ткачихами, фельдшерами, счетоводами, учительницами и т. д.

Зато в субботу молодежь появляется в деревне. Это приходят дети колхозников — рабочие, служащие и студенты — на воскресный день. Все оживляется. Топятся бани. Молодые русые девушки в валенках на босу ногу (полные колени поблескивают в промежутках) идут к колодцу, помогают родителям в хозяйстве.

<Начало апреля 1951 г., Глубоково.>

Бюро РК ВКП(б) утверждает тракторные бригады к посевной кампании. Ребята — крепкие, с открытыми и хитроватыми лицами, в замазанных мазутом ватных костюмах. Так много молодых мужчин вместе я, находящийся в деревне, давно не видел: там все бабы да бабы. На вопрос Бориса Васильевича о настроении каждый бригадир чуть-чуть улыбается и, медленно вставая, отвечает с неким детским самодовольством и самоуверенно:

— Хорошее.

Или:

— Боевое.

Некоторые, из тех, что были в армии, встают быстро и по-военному (их сразу отличаешь). Приятно смотреть на них. У них — почти без исключения — умные, выразительные лица. Много красивых парней.

<...> Беседа с бабами, сушащими зерно на асфальте шоссе. Это четыре женщины — одна старушка лет 55, остальные — от 38 до 45. Вокруг дети. Дети — 10—12-летние, матери выглядят значительно старше своих лет. Все молодые — вдовы, мужья погибли на войне. Все — умные, даже мудрые, простонародной, хорошей житейской мудростью. И хотя очень бойки, и в карман за словом не лезут, но в то же время покорны. Да, покорны. Вот примеры: Б. В. спрашивает их, как они смотрят на то, что у них собираются отрезать приусадебные участки с 0,40 до 0,25, да еще 0,15 из них отвести в полях, не при доме. Они мнутся и говорят, что, дескать, да, решили так; конечно, трудно с малыми детьми обрабатывать свои участки далеко от дома; но что, мол, сделаешь? Б. В., который уже знает о письме ЦК, отменяющем левацкие на этот счет установки, говорит, что все останется по-старому. Они рады.

Потом он спрашивает, как они оценивают сселение (тоже отмененное уже тем же письмом ЦК). Они покорно говорят, что-де решили и это. «А вот как будет с моим домиком-то,— говорит та, что постарше,— совсем же развалится. Думала его крыть железом и подремонтировать, да вот приходится его переселить». «Можете ремонтировать, никуда вы не переедете»,— говорит Б. В. (Кстати, он необычайно и даже наивно рад тому, что может им сообщить «благие вести».)

Они очень рады такому обороту дела, и тут только одна из них (сильная, большая, самая молодая, в матерчатых валенках, с крупными, могучими икрами, еле влезающими в эти валенки, говорит чуть застенчиво: «Конечно, наша Лихая Пожня (так называется деревня) такая красивая, разве есть лучше деревня по всей шоссе!» «Тут военные в войну проезжали,— говорит старуха,— они все говорили, что наша деревенька лучше всех». «Место высокое»,— говорит третья. «Всюду деревья растут»,— говорит четвертая.

То ли от возраста, то ли от того, что это в самом деле трогательно,— я растроган немного и уезжаю молча.

<7 апреля 1951 г., Вязники — Владимир.>

Важно, чтобы каждая часть романа, а частей будет много — была все же чем-то целым сама по себе. Нужно

это по двум причинам: 1. Ради читателя. 2. Ради автора, который может умереть посредине работы.

1-я часть: несколько атмосфер:

а) Вязники, Мстера в старину. Быт этих мест. До самой седой старины должен чувствовать себя герой книги глубоко связанным со своими местами.

Не думая об этом, он все равно чувствует себя связанным с этим прошлым, с историей и географией родных мест. Вот эту связь нужно передать очень ярко.

2. Послереволюционная история (1917—1923) — вся атмосфера этих лет в данном месте.

3. НЭП (в Москве).

4. Студенчество (в Москве).

5. Первая любовь (в деревне) и забвение этой любви через короткое время после приезда в Москву. (Увлечения.)

Итак — 5 атмосфер. Пока в 1-й книге все (или почти все) должно быть локальным, почти без намека на будущие широты сюжета истории. Тем сильнее они покажутся потом. Пожалуй, это должна быть физиология и психология талантливого подростка, но не в отрыве от среды, в которой он живет. Напротив, в живом окружении проблем, стоявших на очереди в то время, и людей, так или иначе решавших эти проблемы.

Моя задача, т[аким] о[бразом]: проникновение во внутренний мир молодого русского человека после Октябрьской революции.

Надо учиться графомании. Не будучи в некоторой степени графоманом, нельзя много написать, а хочется много написать. Какое блаженство писателя (и читателя затем) — создать серию романов, в которую можно окунуться с головой, как в другую, очень похожую и необычайно непохожую жизнь. Вроде Диккенса, Бальзака, Золя, Шекспира, Толстого.

Основной конфликт 1-й книги, или, м. б., первой ее части,— конфликт между буйной молодостью и осторожной старостью; между молодежью, рвущейся к новой жизни, и кондовым старинным бытом. К счастью для молодежи, ее поддерживает государство, созданное в 1917 году.

<Весна 1951 г.>

Моим объектом до этой книги было пространство, в этом романе — время. Не назвать ли его «Новое время», или «Новые времена», или «Время и пространство».

Пространство бесконечно как время. И наоборот. Более того, это одна и та же сторона одного предмета. Вроде широты и долготы. Пространство можно делить на километры, градусы, планеты и солнечные системы, так же, как делят время на часы, минуты и столетия. Но это условно, ограниченно, как все человеческое.

<Без даты.>

«Хочу быть как все» — пламенное желание героя, но потом он понимает: «Надо, чтобы все были как я». Тешил ли он этим свое самолюбие? Не зазнавался ли? Нет, он знал свои несовершенства, но главное — отношение к собственности, любовь и ненависть, вера в будущее — были ему свойственны в большой степени.

Были ли несовершенства? Да, были. Близко ли к человеку коммунизма? Иногда ему казалось, что близко, а иногда, что очень далеко...

<2-я половина апреля 1951 г.>

<К РОМАНУ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»>

1941 г.

Начало войны. В Москве появились офицеры, грязные, с полевыми петлицами и знаками, небритые, и это казалось странным людям, привыкшим к подтянутости и шикарному виду Красной Армии. И глаза у них были такие, немного подчеркнуто значительные (гордость перед тыловой Москвой), но в то же время — оглушенные — словно они побывали в другом мире и принесли оттуда страшную тайну, которую они не имеют права рассказать. (Вначале еще считалось, что поражение можно скрыть.)

22.IX.51 г.

Опять я в старом, баженовском здании Румянцевской библиотеки, той самой, где когда-то работал В. И. Ленин. Эти старые камни большой красоты, и царящая здесь атмосфера книги, навевают грусть и тихое желание быть незаметным среди всех. Здесь я

когда-то — до войны еще — мечтал о Колумбе и Моцарте. Теперь в период скучной зрелости, буду воссоздавать картины современной моему поколению жизни. Наступает Время Большой Работы. Тихой, неспешной — работы крота — по углублению своих знаний, представлений о жизни. Не по расширению, а по углублению. Впрочем, это связано.

Писатель ничего не доказывает — он рассказывает. Его рассказ — доказывает.

Л. был прав — я работал до сих пор в белых перчатках, вместо того, чтобы живьем сдирать с себя шкуру. Настало время сдирания шкуры. Хватит ли у меня для этого страсти к мученичеству?

Девушка была похожа на крупного грызуна — нечто вроде хомяка или ласки. Ее клетчатая юбка, туго облегающая широкие бедра, внизу расходилась клешем, причем сзади была несколько длиннее, что походило на хвост, прибавить мелкие жемчужные зубки, гладко причесанные волосы на остром черепе, тонкая мордочка, большие красивые, но бессовестные глаза, бледная кожа на лице, в обтяжку, красивая длинная шея, на которой плавно покачивается маленькая головка (почти змеиная).

Толя же не замечал ее недостатков. Нет, не то. Пожалуй, он замечал их, он в любой другой замечал такие недостатки с большей легкостью, а в ней — нет. Они, недостатки, не относились к ней, казалось ему.

Надо выяснить для себя один важнейший вопрос. Дело вот в чем. *Не*обязательно подмечать и описывать грязь жизни только из чувства противоречия к течению, не разрешающему ее подмечать и описывать. Нужно описывать грязь жизни только тогда, когда художник считает невозможным обойтись без этого для характеристики данных обстоятельств и данных людей в них. Только на пользу целому, а не ради интереса *детали*.

В конце концов — моя литературная точка зрения ясна с юных лет: долой кроватный быт, затхлую бытовщину вонючих портянок. Я — за романтическую героику в конце концов. Это следовало бы помнить и не

беспокоиться на счет мнения разных «критически мыслящих» личностей, считающих, что чем больше говнеца, тем талантливей. Эти люди, в конечном счете, ищут не правды, о которой бормочут все время, а фрондерской фразы. Конечно, такая реакция понятна, но она не должна заслонять ясный взгляд на вещи и на задачу литературы.

<2-я половина марта 1952 г.>

<К ПОВЕСТИ «СЕРДЦЕ ДРУГА»>

Баренцево море — до 12 баллов зимние штормы. Студеное море — называли его на старинных московских картах, а иностранцы называли Московским морем.

Тебе под сорок и ты не сантиментален, самоуверен, силен, как подобает человеку нашего времени, и все-таки ты хочешь, чтобы возле тебя иногда сидела старая женщина, рожденная в XIX веке. И пусть это будет твоя собственная мать.

Угольные кучи горят, никто не гасит («не мое»).

Лес для построек и дрова возили с нашей территории (Печенга) — здесь, в Норвегии, лес нельзя было рубить — частный. Мост для них же строить — нет леса.

Люди жили в пещерах: немцы все сожгли (армия «Норд», Дитль?). Оставшиеся дома были вначале заняты нашими, потом последовал приказ: выселиться, отдать норвегам (наши солдаты называли их так), а сами — в землянки.

Взяли лодку для «Эпрона». Где лодка? Обвинение против командира части. Оказывается — лодка стояла несколько ниже по фьорду. «Нет, непорядок,— говорит норвежец,— это не моя земля, а чужая и берег чужой, и могут лодку взять». Узкие полоски берега — каждый принадлежит другому хозяину. Попробуй разберись, где лодку ставить!

Хороший, свободолюбивый, но слишком перекормленный народ.

В Осло не здоровались на улице с королем Гоконом: «Я с ним не знаком». Каждый — король на своем участке.

Пассивная ненависть норвежцев к немцам.

Наша оккупационная политика. Снабжали местное население всем необходимым.

Иск по поводу зажигалки, сброшенной на соседний сад с крыши!!!

Это европейское захолустье — Норвегия.

<Конец июня 1952 г.>

Не успел я закончить повесть об Акимове, как мне уже мерещится другая вещь, бессюжетная, суровая и горячая. Книга «Признания». Монолог — суровый и страстный — о жизни и душе современного человека, о моей собственной душе и мыслях, связанных с личными переживаниями, с будущим нашего мира, с войной прошлой и предстоящей, исповедь о людях, местах, размышлениях, страхах и сомнениях,— и бесстрашных свершениях, битве с собой и победе над собой.

И еще думаю о сатирической повести о районном городке и его обитателях.

И о колхозе маленькую повесть. О плохом колхозе.

Озеро Рица, 13 июля 1952 г.

Это — прекрасный уголок. Горное озеро, окруженное двумя ярусами гор. Второй ярус — снежные горы <...>

Отдыхающие приезжают на экскурсии. Мужчины, небрежно одетые, похожие в своих соломенных шляпах на гоголевских бурсаков. Женщины, загоревшие до безобразия, с выгоревшими волосами, похожие на ободранных кошек. С 5-ти часов — тишина и спокойствие. Молчание гор, густо поросших хвойными лесами. Странно сознавать, что Сталин, отдыхая здесь, видел этот самый пейзаж. О чем он думал?

Заканчиваю «Акимова».

Ощущение, похожее на то, которое было у меня при окончании «Звезды». Тогда, правда, была полная неуверенность, теперь уверенности больше, но сомнений не меньше. Персонажей я теперь чувствую лучше, вижу их яснее, все вещественнее. Я их теперь люблю больше. Насколько помню, я при писании «Звезды» заставлял себя работать, и только вработавшись, начинал любить своих героев. Я не любил их. Если они получились такими теплыми, то это лишь потому, что в них — бессознательно для меня — отразилась моя собственная любовь к людям. Теперь я уже люблю своих героев как отдельных от меня людей. Как существующих людей. Акимов (в отличие от Травкина) кажется мне реально существующим, от меня отдельно, человеком.

Кажется, «Акимов» — лучшее из всего, что я до сих пор написал. Наиболее близок он к «Звезде», но надеюсь — на высшем этапе мастерства.

18 июля 1952 г., Рица.

Вчера писал сцену смерти Акимова и все время плакал во время писания. Все лицо мое стало мокрым от слез и пришлось снять очки, совершенно залитые слезами. Этого со мной никогда не было.

Сегодня я снова полон сомнений. Не мельчит ли конец повести всю повесть? Не слишком узка ли та чисто политическая задача, которая разрешается концом повести и т[аким] о[бразом] всей повестью в целом? Стоило ли из-за нее огород городить, терзаться самому и вести за собой читателей, полных надежд на прекрасный конец вещи? (Прекрасный не в смысле «счастливый», а в смысле — величественный, полный гармонии и красоты.) Не из пушек ли по воробьям стрелял в течение четырех месяцев и в течение восьми-девяти печ[атных] листов автор? Вот такие мысли не дают мне покоя. Чтобы отвязаться от них, надо сделать заключительные 2 главы очень хорошо, лучше прежних. Но смогу ли я это сделать при малом знании материала — флота, севера, Норвегии? По сути дела я и так совершил подвиг, описав это все!

И еще кажется бесцельным: вести человека, героя по книге, чтобы умертвить его в конце. Правда, так и в жизни: живет человек, потом умирает. Но, по-видимому, мои сомнения в этом смысле все-таки не лишены основания. Возможно, смерть Акимова еще плохо написана, неоправдана внутренне; еще чувствуется авторский произвол: автору нужно, чтобы герой умер. Вот в чем слабость пока. Надо это улучшить, иначе я ее не выпущу из рук. Как бы это ни было трудно, необходимо это сделать.

Вчера, плача во время писания, я себя ловил на том, что это не мешает мне следить за стилем того, что я пишу. Это — уже в крови.

<19 июля 1952 г.>

Закончил сегодня, 19 июля, повесть об Акимове. Весь конец — 2 главы, даже 3,— все еще вчерне. Я скорее набросал ряд картин, чем писал по-настоящему. Мне нужно было прежде всего воссоздать, хотя бы в общих чертах, незнакомую мне ситуацию на чужом, незнакомом мне фоне. Но даже с этим я справился более чем посредственно. Не знаю быта морской пехоты начисто. О Норвегии знаю, оказывается, очень мало. В этих условиях герой чувствует себя тоже неуютно и все время не знает что делать. Все это должно прийти в результате последующей работы, иначе дело плохо.

Завтра приедет Галя. Одиночество гнетет меня, сомнения — терзают.

Перечитываю первые главы и смеюсь от радости — так хорошо. Но ведь это тоже я написал. Надо остальное сделать не хуже — вот и все. Это — адская работа, потому что я не знаю материала.

<Без даты.>

Мои любимые в слове: Данте, Шекспир, Толстой, Пушкин, Гейне, Достоевский, Стендаль, Франс.

Из современных художников слова я больше всех ценю — Пастернака, Бабеля, Цветаеву, Фадеева, Твардовского, Олешу, Хемингуэя, Ремарка, А. Камю.

В музыке: Моцарт, Шуберт, Мусоргский.

В живописи: Тициан, Рембрандт, Веласкес, Ренуар, Сислей, Пиессарро, Джорджоне.

<1953 г.>

МЕТАЮЩИЙ КОПЬЕ

ОПЫТ ЛИТЕРАТУРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ В. ШЕКСПИРА

Всем известно, что о Шекспире до сих пор идут разнообразнейшие споры, связанные с малым, ничтожным количеством биографических данных о нем, основоположнике современной литературы. Некоторые критики, среди них Георг Брандес, с самым серьезным видом собрав крупицы биографии актера Вильяма Шекспира и дополнив их собственными, более или менее остроумными предположениями, разработали вымышленную жизнь писателя, подкрепляя свои домыслы материалом из произведений Ш[експира]. Другие, без видимых оснований, не считая возможным признать автора великих пьес в ничтожном актере, считают его только лишь автором своего завещания. (Что автор завещания не может быть автором Гамлета, для меня совершенно ясно.) В связи с этой точкой зрения возникают разнообразнейшие теории. Некоторые шекспироведы называли автором пьес Шекспира Френсиса Бэкона, другие лорда Рутлэнда, третьи — Марло и т. д.

Я думаю, что все эти предположения, как и самое распространенное предположение, что автором пьес является актер В. Шекспир, не выдерживают никакой критики. Шекспир — имя собирательное, как Гомер. Произведения его — очень своеобразный народный английский эпос XVI века, последний великий,— м. б., самый великий эпос в мировой словесности.

Стоит подробнее ознакомиться с произведениями Шекспира и с шекспироведением, а так же с произведениями других авторов английского Возрождения, чтобы прийти к этому единственно правильному выводу.

Слово «народный» тут не означает «простонародный». Цикл пьес Шекспира создан не в недрах народных масс, но группой людей, связанных с массами (в том числе и с аристократией),— актеров, литераторов, любителей искусства среди молодых аристократов. Известные бродячие сюжеты из исторических хроник и сборников новелл, изложенные в более или менее совершенной форме, затем все больше изощрялись, утончались, совершенствовались в недрах современного театра, в обработке тогдашних заядлых театралов, в стоустой молве посетителей театров.

Театр в елисаветинской Англии был тем источником и двигателем литературы, равного которому не знает другая эпоха, кроме, быть может, Древней Эллады. Это была та трибуна, пожалуй, единственная, на которой можно было высказать свои политические и общественные воззрения.

Редко какая из пьес Шекспира не имеет предшественницы — то это «первая редакция», то пьесы на тот же сюжет, но в другой, более грубой обработке, то бродячие актеры ставят какого-то «Амлета датского принца», более грубую форму, ту глину, из которой впоследствии вырабатывается хрусталь позднейшего Гамлета; но это вовсе не другая пьеса, это та же пьеса, но еще не обработанная в горниле массового творчества.

То обстоятельство, что в данном случае эпос отливается в драматическую форму, не должно никого смущать. В Англии того времени театр, искусство были наиболее массовыми, наиболее демократическими, книга не могла идти ни в какое сравнение с ними при наличии ничтожного кол[ичест]ва грамотных людей; в ту эпоху расцвета национ[ального] самосознания английского народа лишь театр мог стать и действительно стал наиболее серьезным и влиятельным рассадником культуры. В нем, в театре, находил удовлетворение спрос на культуру, на образование. В свою очередь театр впитывал самое мощное, крупное, рвущееся из глубин народного гения и ищущее выхода, ищущее воплощения в образах.

«Вороной, рядящейся в чужие павлиньи перья», назвал Шекспира один из крупнейших драматургов англ[ийского] Возрождения Грин. Это справедливо в том смысле, что Шекспир-актер, вероятно, был тем театральным «помрежем», который хранил, переписывал, сводил тексты сложившихся в театре пьес, основанных на полубалаганных представлениях, перешедших по наследству Возрождению от Средневековья.

Именуемый произведениями Шекспира эпос настолько же выше Марло и др., насколько Гомер выше Пиндара, Алкея и прочих реально существовавших поэтов. С др[угой] стороны, преимущество Марло и др[угих] реально существовавших поэтов перед Шекспиром, как и Пиндара и др[угих] перед Гомером, заключается в том, что они реально существовали и их труд и подвиг является их личным трудом и подвигом. Оценивая их творчество, не следует их сравнивать с Шекспиром — это несравнимые величины.

<Январь 1953 г., лесхоз, Кост[ромской] обл[асти]>

Что я — создание природы — смог у нее отвоевать <...>

Труд — это беспрерывная, жестокая борьба с природой.

Лес не хочет стать ни топливом, ни строительным материалом. Он делает все от него зависящее, чтобы сопротивляться этому. Остальная природа поддерживает его: засыпает высоким снегом, заливает дождями. Валить лес голыми руками невозможно. Человек изобрел топор, потом пилу. Для его первоначальных надобностей этого было достаточно. Но потребности увеличились, развилась индустрия, строительство, бумага и прочее. И началась борьба. Строят дороги — ледовые, санные, железные. Для этого строят вагоны, паровозы, тракторы, мастерские для ремонта их <...>, изобретаются газогенераторные автомашины и тракторы с местным топливом. Мороз мешает, все мешает. Трелевка. Лебедки. Электропилы. А снег все засыпает — сызнова, а ветер все забивает, и мороз тщится не дать завестись машинам, не дать рукам работать.

И вдруг мне почудилось: нет у меня дома и крова, и я один на земле.

Что ж!

<Апрель 1953 г.>

Я живу теперь в маленькой деревеньке Аннино на 32 км. по Киевскому шоссе. Здесь не слышно людей, только петухи, гуси, куры, блеянье овец и мелькание козлят. Коз здесь много. Время от времени раздается гуденье садящегося на ближний аэродром самолета. Но не этот шум мешает работать, а шум внутри тебя, беспрестанный шум, как будто мельничный, от всей литературной сумятицы, неразберихи, фальши, лицемерия, подлости, бессмыслицы, но это пройдет, успокоится и мысли потекут, и строчки начнут множиться.

<2-я пол[овина] апреля 1953 г., дер[евня] Аннино.>

Какие бы ни были на небе тучи, какой бы ни был мрак, все-таки не мешает помнить, что высоко над этой мглой имеется и так же ярко светит солнце. Утешение, правда, небольшое.

25.4.53, дер[евня] Аннино.

Начинаю форсировать «Дом на площади». Разумеется, нелегкое дело в нынешние изменчивые времена писать политический роман. Ситуация неустойчива. Но думаю, что писать это можно, если придерживаться строго основ марксизма-ленинизма, не учитывая вовсе разных конъюнктурных соображений.

Работа пока идет туго. Кажется иногда, что я совсем отвык, разучился писать. Критика помогла!

Впрочем, чувство, что ты разучился писать, возникает каждый раз, как принимаешься за новую работу. Надо «вписаться» и все будет хорошо.

Сколько событий произошло за последние два месяца! Следовало бы все записать, чтобы не забыть. Прежде всего, умер И. В. Сталин. До сих пор трудно представить себе, что его нет. Все мое поколение жило в беспрерывном сознании того, что он есть, независимо от того, чувствовал ли человек его влияние непосредственно или нет.

Придет время, и о нем можно будет писать.

27.4.53. Аннино.

Работа современного — в особенности советского — писателя необычайно усложнена по сравнению с трудом писателей XIX века. Прежде всего она обращена к неизмеримо большему кругу читающей публики. Притом — к публике различного уровня культуры, грамотности, различного восприятия действительности. Тут отпадают и не могут не отпасть всякие интимности, столь обаятельные у писателей прошлого, намеки, обращенные к избранному кругу друзей, весь расчет на близких людей, которых писатель чуть ли не всех знал лично.

———

Она все хворала, не выходила и ничего не знала, что совершается вокруг. Но, непрестанно ревнуя своего мужа, она ухитрялась по неуловимым признакам, по самым тонким интонациям, по мимолетному смущению, слишком длинной (лишняя 1/100 секунды) паузе, слишком быстрому (быстрее на 1/100) разговору, догадываться обо всем, что творилось вокруг нее; почти

безошибочно, непонятным и часто удивлявшим его, граничащим с чудом, инстинктом, продиктованным любовью и ревностью, она знала все, что касается его. Но так как она была больна и боялась от переживаний заболеть еще больше и умереть, она не доводила дело до скандалов, а если и доводила, то только изредка, и больше язвила его, упрекая разными бабами, которых никогда не видела и имена которых как-то невероятно проницательно угадывала. Она иногда ошибалась, приписывая ему женщин, с которыми он ничего общего не имел, и тогда он сердился, вернее — напускал на себя сердитый, оскорбленный вид.

Для писателя не может и не должно быть работ более важных и менее важных. Любой очерк, рассказ, статью, даже письмо он должен писать так, словно пишет великое произведение. (А главное — кончить.)

30.VI.<1953 г., Аннино.>

Назвать роман «Новый мир» с эпиграфом из Интернационала:

«Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем».

<Июль 1953 г.>

Новая Каховка — город со стрекозами. Всюду полно стрекоз — красных, синих, зеленых, золотых, с прозрачными крыльями. В чем дело? Я с ними лично не беседовал, но думаю, что это потому, что они еще не поняли, что здесь город. Слишком быстро возник этот город на пустынном берегу Днепра. Стрекозы еще не очухались.

Самое трудное в писательском деле — не начать, а кончить.

Первый гидромеханизатор — Геракл. Он прочистил Авгиевы конюшни, пустив туда русло реки.

20.7.1953 г., Каховка.

Еще в прошлом году думал приступить к роману «Новое время», но больше думал о нем, чем писал. Влез в договорные обязательства по «Дому на площади»,

потом отвлекся на «Сердце друга». Эту вещь закончил, а «Дом на площади» теперь писать нельзя — слишком много нового и еще не определившегося на мировой арене вообще, в германском вопросе в частности. Тем не менее «Дом на площади» следует написать, что и будет сделано в будущем году. В конце концов сама по себе жизнь советских офицеров в оккуп[ированной] Германии интересна и никем не описана еще.

Но вместе с тем надо приступать уже и непосредственно к «Новому времени». Пора. Дни и годы летят. Написать это, да еще «Р. в Г.» и можно сказать, что что-то сделано. Впрочем, я уже убедился в том, как трудно планировать творчество в наше время и вообще. Неблагожелательная критика дополнительно тормозит работу, как ни стараешься оставаться спокойным.

Будем надеяться, что эта зима на даче будет спокойной и продуктивной. Весной уеду на большой завод — Уралмаш или Магнитогорск.

21.7.53., Каховка.

Только что закончил X том Истории франц[узской] революции Луи Блана. Написано с блеском. Но, боже мой, что такое мелкобуржуазность! Какая половинчатость под маской объективности! Какая неуверенность под видом справедливости. Любя революцию, он осуждает ее крайности, как будто без крайностей может быть совершена революция. Он всех жалеет — и Людовика, и Жиронду, и Дантона, и Робеспьера. Ненавидит он только гебертистов и это тоже мелкобуржуазность. Сам понимая шаткость своей позиции, он оправдывает «злодейства» революционеров злодействами контрреволюции, но тут же, под влиянием своей мелкобуржуазной сущности, опять взывает к «общечеловеческой» гуманности и осуждает опять-таки революционеров. Полный филистерского прекраснодушия, он хотел бы, чтобы все было красиво и гуманно. А разве я этого не хотел бы? Разве меня (и любого коммуниста) не ужасает зрелище кровавого разгула? Но что же делать, когда другого выхода нет, а человек не поднялся так высоко над животным, чтобы он мог все делать по совести?

Но один вопрос волнует меня больше всего: где же граница революции? Неужели она может кончиться

только девятым термидора, только реакцией? Реакция кроется в недрах каждой революции, как революция кроется в недрах старого порядка? Можно ли миновать термидор? И как? Постоянным, продолжающимся до бесконечности террором или мирным, основанным на законности, закреплением завоеваний революции? Вот в чем весь вопрос. Затем. Современникам бывает очень трудно отличить красный террор от белого, рядящегося в красный. Ведь 9 термидора начался террор тоже «против тирании», лозунги революции по-прежнему оставались на поверхности общественных отношений, во имя этих лозунгов, как бы по инерции, дрались революц[ионные] армии и побеждали старый порядок за рубежами Французской республики. Учреждения революции оставались под прежними названиями.

Видимо, истина заключается в том, что революция (буржуазная) выполнила свою задачу, сделав буржуазию командующим классом. Робеспьер оказывался ненужным более. А теперь?

Надо прочитать Олара.

27.7.53.

<К РОМАНУ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»>

Семья Андреевых, хотя и была простой крестьянской семьей, тем не менее очень гордилась собою. Не было конца разговорам — особенно по вечерам,— о достоинствах семьи, о разных дядьях, сватьях, крестных отцах и матерях, о дедах и бабках, которые все — по мнению Андреевых — отличались то физической силой, то ловкостью в делах, то хитрецой в нужных размерах, то многодетностью, то способностью к ремеслам, то умением здорово выпить, то мужской силой, то женской добродетелью.

«Мы, Андреевы»,— говорили они. «Это поандреевски»,— похвалялись они чьим-либо хорошим поступком. Бывало, когда появлялся на свет очередной Андреев, родичи обступали его, не спеша оглядывали, покачивали одобрительно головами: «Андреев»,— говорили они, и одно это звучало как похвала. Нередко, огорченные поступком кого-нибудь из своей семьи, они сваливали этот поступок за счет матери (или отца) из породнившейся с ними семьи: «Этот в Семеновых».

Особенно много было разговоров тогда, когда кто-нибудь из девушек выходил замуж или из юношей женился. Тут вечное прославление рода Андреевых доходило до чего-то гомерического. Болтовня о достоинствах невесты, а главное, не так о ее личных достоинствах, как о тех, что связаны с ее принадлежностью к роду Андреевых, превосходила всякое вероятие.

МОЦАРТ И САЛЬЕРИ

Киносценарий музыкального фильма.
Навеян маленькой трагедией А. С. Пушкина

ПРОЛОГ

Начало: современная Москва. Осень, сильный ветер, он сдувает с деревьев улицы Горького листья, и они летят, быстро крутясь и кувыркаясь, по асфальту, касаются стен и домов, падают под колеса автомобилей. Экран то и дело заполняется весело летящими листьями, а когда аппарат отъезжает — мы снова видим московские улицы и кутающихся в пальто прохожих, которым, впрочем, не грустно, а весело, потому что осенний ветер бодрит и дразнит, раздувает платье, сдувает шляпы. Но вот мы добираемся до площади Пушкина, перед нами памятник поэту. Листья летают вокруг него.

Кр[ылатый] пл[ащ]. Пушкин среди летящих листьев.

И тут после некоторой паузы случается чудо, возможное только в кинематографе: Пушкин поднимает руку и надевает шляпу. Он ожил. Плащ начинает шевелиться на ветру. Самые проницательные в мире глаза усмехаются. Он поворачивает голову то вправо, то влево, с той неповторимой свободой и грацией, которые, как мне кажется, были ему присущи. Впрочем, это не тот Пушкин, что был в начале двадцатых годов, до декабристов. Здесь уже не только живость и свобода в движениях, но много размышлений и тайной грусти.

Аппарат отъезжает, и мы видим, что Пушкин стоит у особняка в стиле русского ампира. Видно, он чего-то ждет. Осенний ветер рвет его плащ, треплет бакенбарды. Осенние листья, как в начале пролога, летят мимо, то и дело задевая Пушкина.

Появляется карета. Пушкин садится в нее. Она едет по Москве двадцатых годов прошлого века. Копыта цокают по булыжной мостовой. Карета мчится по Тверской, обгоняя другие кареты, возки, коляски, крестьянские телеги. Иверские ворота, карета поворачивает налево и едет по Охотному ряду — Охотному ряду начала прошлого века.

Карета подъезжает к Большому театру — не нынешнему, а тому, который существовал до пожара: чуть поуже, чуть повыше, колонны чуть потеснее.

Возле театра много карет и колясок, под колоннадой — мужчины и женщины. Но особой суеты нет, есть некоторая старинная степенность во всем.

Пушкин входит в театр, вовсе не вызывая шепота «он, он», как это представляют себе наивные историки и восторженные читатели. Время от времени он раскланивается со знакомыми. Он проходит в ложу.

Большой театр снаружи. Зажигаются свечи. Темнеет. Кареты продолжают прибывать.

Афишка на театре:

БУДЕТЪ ПРЕДСТАВЛЕНА ОПЕРА МОЦАРТА
«ДОНЪ ЖУАНЪ»

Пушкин в ложе. Темнота. Увертюра к «Дон Жуану». Лицо Пушкина. Оно ни в коем случае не должно сопровождать музыку, «изображать переживания» и т. д. Оно должно быть неподвижно и все.

Начало оперы.

Пушкин сидит, опершись на перила ложи.

И в заключение — улица Горького, автомобили, листья летят. Пушкин. Он всходит на пьедестал, снимает шляпу, медленно опускает руку и — перед нами памятник.

Пушкин. Листья.

<Август 1953 г.>

Человек с отвислой губой. Неспособный восхищаться, смотрящий на все будничными, белыми глазами. Борьба с таким человеком, вокруг которого тускнеют цветы, и Днепр теряет свой блеск, и все оказывается только скопищем домов и бетонной кладкой. Даже само электричество тускнеет. Отвислая губа. Я узнал эту

губу: она принадлежала критику X (хотя он известный критик, назовем его X-м). Неумение и нежелание радоваться, гордиться, восхищаться. Зато как рассыпается он, когда нужно хвалить Гоголя или Чехова! Какие слова восторга находит он в арсенале, хотя он же, будь он современником Гоголя и Чехова, мучил бы их, уничтожал, измывался бы над ними не хуже, чем над нами, грешными.

Эта сутулая спина, короткие ножки. Острый, ко всему принюхивающийся носик. Из двух с половиной метров, нужных на костюм, два метра уходит на пиджак и только полметра на штаны. Я однажды застал его пьяным в задней комнате одного кафе. Он сидел в обнимку с весьма легкомысленной дамой и пел... акафисты. В своих писаниях он особенно нападает на пьянство, легкомыслие и религию.

28.10.53, Переделкино. («В собственной даче»)

«Кулак Никифор Ошкуркин» (для «Н. В.»?) Раскулачен, попал в ссылку; жизнь там; бегство через Гималаи; проклятие; эпилог — наша делегация в Батавии. Встреча на набережной. Желание ехать на родину, слезы, снятие проклятия (в связи с войной) и главное: понимание, что справедливо изгнан из общества,— в случае войны был бы, вероятно, тем, кто мешает. Сын? Да, сын! Оба — главные.

11.XI.53.

План конца 1953—всего 1954 г.

1. Закончить роман «Дом на площади».
2. Написать повесть «Никифор Ошкуркин».
3. Поездка в Ср. Азию (на месяц апрель?).
4. Поездка на Урал (май — июль).
5. Думать (и записывать) о «Н. В.».
6. «Куриное перо» (на досуге, ежели таковой будет).
7. Закончить «При свете дня».
8. Закончить «Исповедь г-на Скорцени».
9. Издать «Сердце друга».
10. Закончить очерк «Летние впечатления».
11. Стихи «Признания».

21.XI.53.

Уединившись на своей дачке, я, как буриданов осел, сижу среди начатых рукописей и не знаю, какую делать раньше. За какую ни возьмешься — интересно, а потом вспоминаешь другую и тоже интересно. Надо ждать, какая зажжет настоящим огнем сердце? Роман надо кончать из-за денег, это ясно. Хорошо бы закончить очерк «Летние впечатления». Острая и умная статья о Скорцени — тоже пора кончать. В мозгу, кроме того, вертится и «Никифор Ошкуркин». Временами тянет на продолжение стихов и на комедию «Куриное перо». 5 дней мне нужно, чтобы привести в порядок Моцарта. Вот и попробуй выбирай.

26.XI.53

Роман и обязательно роман. А. Т. отговаривает: не пишите, не нужны никому «облегченные» романы. Нет, это будет не облегченный роман. Это будет книга лирическая, грациозная и назидательная. Верно, кое в чем она будет далека от того критического реализма, по которому тоскуют души после слащавых книг прошлых лет. Ну и что же? Зато это будет книга интересная, народная, очень поучительная. Ведь даже у Пушкина был не только «Медный всадник и «Моцарт и Сальери» — был также и «Домик в Коломне» и «Граф Нулин». Нужно только, чтобы было при этом настоящее мастерство. А в «Доме на площади» оно будет, надеюсь. Верно, в отличие от этих вещей-безделушек, моя вещь будет иметь ярко выраженную политическую нагрузку. Она будет учить тому, каковы должны быть советские люди за рубежом своей родины. Разве это н благородная задача? Разве не нужно настоятельно и страстно учить этому многих и многих людей. Разве это не даст свои плоды и не понадобится в будущем? А если это будет сделано с душой и мастерством — чего же боле? К тому же в контексте, столь богатом возможностями, будет много настоящей правды по этому поводу.

Нет, определенно, нужно писать «Дом на площади», и я напишу. Нет ли в этом компромисса? Т. е. не означает ли это, что я ради реального успеха топчусь на месте, не иду вперед в своем творчестве? Да, означает. Вероятно, те творческие силы, которые я

употребляю на роман, можно было бы использовать на нечто более высокое в смысле искусства. И что же? Ведь я и борец, не только художник. А проблема, которую я выставляю здесь, очень важна, необычайно важна для всех нас. Я сам дал себе гос[ударственный] заказ, и ничего худого не вижу в этом. Моцарт и Рубенс выполняли заказы и делали это прекрасно.

Я спрятал в ящик стола «Летние впечатления», «Скорцени» и «Моцарта». Роман, в первую голову, и ни о чем больше не надо думать. Через 5—6 месяцев надо иметь готовый роман. Потом пойдет великий «Ошкуркин» — самое интересное, что я написал до сих пор по замыслу. А там «Крик о помощи» и прочее <...>

<Конец декабря 1953 г.>

Конец декабря. Не помню числа, залез в эту дачку и пишу, думаю, страдаю потихоньку за людей. Роман идет хорошо, но больше в голове, чем на бумаге. Придумал (и записал, что важно) много безусловно интересного для романа. Это будет настоящая книга «Наставление по комендантской службе». Никто лучше не служил общему делу, чем я этой книгой. И это будет художественно, почти уверен. Там будет много милого, прелестного и даже подлинно драматического и правдивого. И он принесет мне деньги и, ergo, возможность писать «Н. В.» и «Р. ■ Г.». В конце концов оказалось, что роман пошел быстро, как только я отложил все остальное.

Кончается наполненный событиями 1953 год. Год спасения. Год надежды.

Для меня он начался с № 1 «Нового мира», где было напечатано «Сердце друга», которое было изничтожено лицемерами, и окончился № 12 «Нового мира», в котором меня походя лягнули за «Весну на Одере» <...>

Весь мир кишит сюжетами. Чехов потому так много написал, что не мудрствуя брал эти сюжеты и писал. Перед ним не стоял вопрос о том, напечатают ли тот или иной рассказ.

Здесь в нашей дачной слободке, каждая дача, жизнь ее обитателей, дает тьму сюжетов <...> Сюжеты валяются на белом снегу, и никто их не поднимает.

<К «ДОМУ НА ПЛОЩАДИ»>

Через 3 года после того, как фюрер Германии, Адольф Гитлер, со свойственной ему правдивостью и проницательностью сообщил миру о том, что русская армия уничтожена и более не существует, русская армия заняла Германию.

Так же трудно поверить в злой умысел человеку нормальному, как ненормальному, болезненному трудно поверить в отсутствие злого умысла. (Подозрительность — антипод бдительности.) Касаткин был уверен во вредительстве; Лубенцов — нет; он колебался. Прав в данном случае был Касаткин, но зато в другие разы оказался прав Лубенцов. Касаткин потребовал ареста Воробейцева — и он был прав; но он же потребовал ареста Чохова — и был неправ. «Нельзя впадать в панику»,— сказал Лубенцов. Нельзя так сильно переживать из-за того, что один человек оказался подлецом, и уже подозревать всех в подлости. Зачем вы так пугаетесь? Ну, подлец Воробейцев убежал. Да хрен с ним! Это ведь небольшая потеря, это, м. б., хорошо, что он разоблачил себя и ушел, что он не с нами. Такие случаи еще будут и были. Они не так уж противоестественны при нынешних обстоятельствах в конце концов, когда два лагеря — лагерь тунеядцев и лагерь трудящихся — борются между собой с такой решительностью. Зачем же приходить в уныние и, тем более, впадать в панику?

30.12.53.

Я все один и один на даче. Роман понемногу движется, мелкой сеткой, как дождь. Еще ничего почти не написано набело, все — сплошной черновик; идет захват территории, закреплять ее буду после. Пока у меня работа более административная, чем художественная. Я воображаю, с какими проблемами сталкивается комендант и что бы я на его месте сделал во всех случаях; я создаю образ идеального, вернее — отличного коменданта; я, иначе говоря, воображаю себя комендантом. Идет создание воображаемой жизни, которая является материалом для будущего романа. Когда роман не идет, пишу стихи — «Признания» и другие.

<10.I.1954 г.>

Новый год, вроде встреча его прошла хорошо. Много хороших светлых надежд. Много планов. Впечатление — все более укрепляющееся — мудрости, спокойствия и трезвости правительства.

29.I.54.

Мучает бессонница. Сегодня всю ночь не спал. И в этом тяжелом состоянии самое страшное то, что вполне терпимые и приемлемые вещи кажутся невыносимыми, такими, что при их наличии жить нельзя. Любая дневная досада, обида, недоразумение кажутся невозможными, страшными — умри и только! Кажется, что ты задыхаешься, что нет тебе воздуха, нет жизни, что нельзя мириться с этим всем, что есть плохого на свете. В то же время разум работает, хотя и туманно, но четко. Он говорит и твердит: это тебе все представляется таким невыносимым; на самом деле все не так страшно; это — только от бессонницы и, м. б., от болезни — ты, вероятно, болен.

<Без даты.>

«Разве построишь коммунизм с такими людьми, готовыми уничтожить товарища?»

<Февраль — март 1954 г., Венгрия.>

Моя жизнь превратилась в калейдоскоп событий и встреч. Как все писатели, я жаден до новых впечатлений и, как губка — извините за банальное сравнение,— впитываю в себя эти впечатления <...>

Народность, близость к народу. Общество писателей и общество вообще. Мой опыт: колхоз. Можно жить в колхозе и быть за 1000 верст от народной жизни; можно жить в столице и быть связанным с народом. Можно жить в Москве и не знать Москвы (о писателе, который умер, так и не повидав Третьяковскую галерею, хотя жил рядом с ней). Раз трудящиеся — в центре жизни, трудящиеся в центре литературы. С этим ничего не поделаешь. Это логика истории.

Но некоторые понимают это однобоко. Производство становится самоцелью. Как будто мы пишем о производстве как таковом, а не о производстве как средстве улучшения жизни людей, как о средстве воспитания людей. Поэзия Верхарна, ужас перед промышленностью...

Традиция — промышленность — новое, село — старое, бывшее всегда. На заводе человек не так виден, вокруг него «меньше воздуха», писатели в грохоте машин не слышат человеческого голоса, под копотью не видят человеческого лица. Пути преодоления этого — изучение жизни индустриальных рабочих. Фадеев, его жизнь в Магнитогорске. Моя предстоящая поездка на Урал.

Отношение к критике. Здоровое отношение писателей к ней. Заботливое отношение критики к ним — такое же, как вообще отношение к людям в социалистическом обществе, где критика — средство воспитания, а не путь к инфаркту миокарда. Поиски верного в любой критике.

И в то же время критика должна учиться... Критик должен сам знать жизнь не хуже, если не лучше писателя — тогда он может учить писателя.

С. Рихтер — прелестный человек, простодушный и, вопреки своей позе простодушия, он на самом деле простодушен. Поза у значительных людей не расходится с их характером, а только сознательно подчеркивает его.

Конференция читателей. Человек 250 — из заводов и учреждений Будапешта. Любят «Звезду». И особенно «Весну на Одере». Одна милая смуглая красивая девушка рассказала, что ее освободила в Германии из лагеря Сов[етская] Армия. Она многого не понимала, и «Весна на Одере» помогла ей многое понять. Она часто перечитывает эту книгу в минуты уныния, и эта книга всегда вселяет в нее бодрость и уверенность<...>

Значение сатиры общеизвестно.

В буржуазном обществе сатира играла прогрессивную роль, ибо она обнажала язвы общества, воспитывала людей в духе критики существующего строя,

вооружала революционеров острым оружием. Всем известна нежная любовь В. И. Ленина к суровому, могучему и прекрасному таланту Салтыкова-Щедрина, всем известно, что поколения революционеров воспитывались на сатирических произведениях Гоголя, Некрасова, Салтыкова.

После революции, в период строительства соц[иалистического] общества и в эпоху построения социализма, некоторые теоретики л[итерату]ры считали, что сатира изжила себя, что, поскольку создан новый строй, основанный на справедливости, поскольку у власти стоит народ,— сатира отжила свой век. Дескать, как можно подвергать сатирич[ескому] бичеванию своих людей, вышедших из народа и т. д. Эти теоретики, весьма далекие от идеологии марксизма, не понимали той элементарной истины, что не может революция сразу уничтожить собственническую психику, не может сразу одним махом перевоспитать всех людей в духе коммунизма, что перевоспитание всего народа в духе коммунизма — процесс довольно длительный, требующий немалых усилий и широко поставленной идеологической работы.

Изъять из литер[атуры] сатиру — значит лишить ее оружия критики и самокритики, лишить писателя этого права, к[ото]рое у нас имеется у любого гражданина, права — открыто и смело бичевать недостатки и язвы. Сатира развивалась, вопреки этим горе-теоретикам. Произв[едения] Маяковского.

Ни для кого не секрет, что и в соц[иалистическом] об[щест]ве еще имеются всякие проходимцы, сволочи, что некоторые люди, да и просто головотяпы, своим недомыслием часто наносят немалый вред народу. Да и нередко бывает, что хорошие люди страдают серьезными недостатками, от которых не могут так просто освободиться.

Бороться с этими явлениями методами искусства — задача важная, серьезная; надо ее выполнять и компартия поставила этот вопрос. Нельзя замазывать недостатки — это опасная вещь. Нельзя<...>

Писатели все острее пишут о недостатках в работе, круг их тем становится все шире, но основная тема — бесстрашная, пламенная борьба средствами искусства против бюрократизма, отрыва от масс некот[орых] работников, против зазнайства, против забвения того,

что деятели в соц[иалистическом] обществе работают для народа и являются слугами народа; против тех, кто не выполняет указаний партии на этот счет, кто ставит личные интересы выше общественных, у кого еще не изжит подлый инстинкт собственности, хамское отношение к людям, к женщине, к обществу, против двурушников, говорящих одно, делающих другое,— одним словом, против прыщей, вскочивших на могучем здоровом теле социалистического общества.

Здоровое тело!

Не боимся критики, говорим на весь мир открыто о своих недостатках и ошибках.

Что теперь важнее — идейность или художественность — так ставить вопрос нельзя. Идейность и художественность неразрывны.

Генеральная линия!<...> Нельзя говорить: с одной стороны, с другой стороны<...> А где линия, от которой отклоняются?<...> Этакая пропаганда «золотой середины» — детки, все будьте довольны, кушайте хорошо<...>

Генеральная линия: воспитание любви к новому и ненависть к старому, буржуазному порядку. Образ положительного героя, новый человек, строитель народной демократии.

1.4.54.

Здесь прохладно, солнца почти нет. Очень тихо. Думаю, что работа пойдет быстро и ладно. Такое у меня предчувствие...

Море серое, довольно угрюмое, но и такое оно радует сердце...

Я всему рад — признак наступающей продуктивной работы...

Приехавший из Москвы писатель сообщил о том, что Президиум ЦК разрешил печатать поэму Твардовского, оставил Твардовского редактором и т. д... Это хорошо для литературы, и я рад.

21.IV.54.

Почти три месяца ничего не вписывал в эту книжку. Это было время довольно интересное. С 17 февраля по 18 марта был членом сов[етской] делегации в Венгрии.

Объехал эту небольшую, интересную страну. Уразумел, что такое народная демократия. Много чего видел, понял, обдумал. Приятно было убедиться в том, что народная демократия в принципе правильное и жизненное дело. Кроме того, мне пришлось много выступать, говорить и даже вмешиваться в литер[атурную] политику. И что же! Я блестяще справился с этой работой, проявив и такт, и политическую прозорливость, и настойчивость. Ох как легко заниматься лит[ературной] политикой и руководить л[итерату]рой и как невероятно трудно писать! Дело в том, повидимому, что, руководя, и тем более, если ты понимаешь толк в делах, тебе помогают разные люди. Чем лучше руководитель, тем больший круг людей помогает ему. Писатель же — один как перст. Он и руководитель и руководимый. Он создает мир, он населяет его людьми, он руководит их поступками, речами, ужимками, улыбками. Он и администратор, и политик, и отриц[ательный], и полож[ительный] герой. Он — один, и несть человека, который может помочь ему. Хорошо, если созданный им образ сразу схвачен верно, и сам начинает как-то жить. Конечно, хорошо, но как бы он ни жил, как бы ни подсказывал поэту свои дальнейшие поступки, но ведь все это надо еще и написать! Просто написать на бумаге!

В этом секрет малописания у наших писателей. Они имеют возможность руководить. А это легче — вот в чем дело.

Роман за эти три месяца не сдвинулся с места. По приезде счел необходимым написать очерк о Венгрии. Закончу его завтра. «Глазами друга» будет он называться. Постараюсь написать хорошо, хотя очень трудно писать о стране, по которой проехал галопом.

7.7.54.

Говорить всерьез? Хорошо, если такой, как Чехов. А если такой, как Куприн? Дана ли мне сила прозвучать трубой на дорогах моего времени? Или только бабочкой махнуть крылышками по дорожке? Ведь я прирожденный драматург — и не написал ни одной пьесы. Ведь я чувствую настоящее кино и знаю, как его делать,— и не написал ни одного сценария. Я почти ничего не сделал — я, созданный для большого дела. Зная, что и

кого винить в этом, я не могу не винить и самого себя.

Надо отказаться от суетности. Надо забыть, что у тебя семья и надо ее кормить, что есть начальство и надо ему потрафлять. Надо помнить только об искусстве и о подлинных, а не о мнимых интересах народа.

М. б., тогда можно еще что-нибудь успеть, хотя все равно не все, что было бы возможно.

<Без даты.>

Какая радость описывать мирные картины, труд рыбовода, бакенщика, крестьянина, тихий смех девушек и чуть хрипловатые голоса парней, парочек, идущих к реке с таким видом, словно они идут в межпланетное пространство, плеск уток в озере, лай собак... Неужели мне не суждено все это? Неужели опять писать о боях, сражениях?

<31.VIII.1954 г., Махачкала.>

Очерк и его роль. Полезность очерка для работы над точностью слова, выражения, пейзажа. Жизнь — очерк. Очерк можно планировать. Очерк нужно делать. Очерк приведет к рассказу, новелле и т. д. Очерки Пушкина, Короленко, Чехова, Горького, Фадеева и др.

Отрыв писателей от читателей, от их нужд, приводит к отрыву читателей от писателей, к потере интереса читателя к писателю.

От незнания жизни — бесконфликтность, упрощение человеческих характеров, то, чем болеют мн[огие] писатели. Если знаешь жизнь — тебя не собьет редактор («Хлопок», Овечкин). Незнание жизни мстит за себя надуманностью ситуаций и характеров.

Идейность ее будет только мнимой, поверхностной. Воспитательное значение ее будет неглубоким и скоропреходящим.

Отсутствие анализа произведений литературы — общее несчастье многих докладов и учебников (и статей).

Овладение методом соц[иалистического] реализма невозможно без овладения марксизмом-ленинизмом, этой важнейшей из всех наук. Не казенно, как бухгал-

тер. Без этого писатель, как дикарь, попавший в огромный город. Он видит: люди спешат, заходят и выходят из каких-то дверей, ездят странные козявки на колесах. Он замечает: такие-то люди, так-то одеты, так-то бегут (если он талант), но он не знает, куда, зачем и для чего.

Образ положительного героя. Он есть — смогите увидеть его. Это человек сложный, умный, мыслящий, деятельный, страдающий, как и полагается человеку, при встрече с недостатками, неполадками, при столкновениях со старым, которое кое-где еще сильно; но не опускающий руки, готовый драться за коммунизм; человек, полный оптимизма: человек — светлый, прекрасный, хотя и обыкновенный.

Образ! Это слово я произношу тихо. Образ человека! На ум приходят сотни людей. Выбрать то, что нужно — слово, улыбку, жест; *многое отметать.*

Статичное изображение действительности: так было в старину, так стало теперь: все сделано — и дороги, и колхозы, и души, и тем более горы. Между тем жизнь идет в противоречиях, в борьбе нового со старым.

Положительный герой в сатире. Чацкий, Гулливер, Мертвые души, ч. II, Дон-Кихот и т. д. Тем более у нас. Нужно только, чтобы положительный герой был так же сильно написан, как и отрицательный. А ведь многие делают ту ошибку, что в сатире вовсе не считают необходимым работать над образом п[оложительного] г[ероя].

О литературной критике. Слабость ее. Строгая, но товарищеская и заботливая критика, без крикливого тона, без любви к пустым сенсациям. Критик должен знать жизнь, иначе — писатель плохо знает жизнь и пишет, а критик еще хуже знает жизнь и пишет о произведениях писателя, плохо знающего жизнь.

23.IX.54.

Она прожила жизнь в молчании. Властность его характера и его эгоцентризм не позволяли ей сознаваться в своих слабостях, чувствах, интересах. Он, при его силе и связанной с силой самоуверенностью, брал

все на себя и был удовлетворен ее подчинением и робостью. Позднее он возненавидел ее за ее молчание, потому что уловил за ним многое, не всегда благоприятное; он хотел, чтобы она была с ним свободна и откровенна, но было уже поздно. Так закрылся перед ним добавочный источник вдохновения. Сомнения в ее подлинных чувствах язвили его.

Так бывает с мужьями и правительствами.

24.IX.54.

Полное и безусловное неуважение к человеческому достоинству — пафос всех русских правительств за много сотен лет (читая Костомарова).

9.10.54.

Обожествление насилия.

Надо при необходимости уметь пользоваться насилием; надо знать, что в некоторых случаях нельзя без насилия. Но нельзя обожествлять насилие. Это мстит за себя впоследствии.

Оправдывать целью средства опасно. Средства действуют на цель и видоизменяют ее. В конечном счете, не верно ли будет сказать, что нельзя применять подлые средства для достижения благородной цели в той же степени, как не может быть благородных средств для достижения низкой цели.

27.10.54.

— Уважаемый читатель! — произнес он, насупясь,— эта книга, которую я писал в продолжение нескольких лет, описывает то, что она описывает. Но дело не в том, *что* она описывает, а в том, *как* она описывает. Ибо то, о чем здесь написано, писали уже и до меня, но у меня оно описано лучше, потому что я понимаю явления глубже и к тому же обладаю некоторым талантом. Здесь, уважаемый читатель, описывается молодой человек 40-х годов, деятельный, умный, сложный, с достоинствами, свойственными людям с ясным и оптимистическим мировоззрением; мечтатель, способный претворять мечты в жизнь; деятель, умеющий поэтизировать свою деятельность; молодой человек, силой обстоятельств поставленный на место, дающее

ему возможность развернуть полностью свои способности политика и администратора, самостоятельно мыслить и принимать решения — то, чего недостает многим молодым людям, из-за чего некоторые из них оскудевают сердцем и остывают умом. Фигура живая, но до некоторой степени условная — без чего нет литературы, а то, что я предлагаю вам — литература. Слишком сильная регламентация — враг молодых людей. Чем сильнее становится государство, тем больше простора должно оно давать духовному развитию личности — особенно такое государство, как наше, основанное на стремлении к благу трудовых людей. Развитие личности, публичность, борьба с опостылевшим доктринерством вовсе не предполагает отсутствия дисциплины, напротив, создает дисциплину сознательную, как раз ту самую, что творит чудеса, уважаемый читатель. Принуждение — большая сила, но и большая опасность. Оно загоняет язвы вовнутрь. Оно создает оболочку, но не рождает ядра. Оно — родовспомогательница, но не мать. Принуждение порождает лицемерие; лицемерие порождает неверие; неверие приводит к загниванию общества.

27.12.54.

<К РОМАНУ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»>

Он шел [redacted] Кремль в необычайно взволнованном и торжественном настроении. Предстоящая беседа с «хозяином», как его называли с легкой руки одного французского писателя, с первым человеком огромной и могучей страны, с вождем армии и «хозяином» идеологии половины человечества, возбуждала в нем бурные и разнообразные чувства. Однако главным среди этих чувств было чувство преклонения перед мощью и властью одного человека, вера [redacted] почти сверхъестественное его могущество. Этому чувству содействовал и пейзаж зимнего Кремля — царивший здесь образцовый, четкий порядок, такой, что уже безразлично, где запорошенный снегом часовой, где заснеженная елка; громада соборов чудовищно старинных, но как будто вчера только построенных, настолько были они отлично содержимы; чугун решеток, своды полукруглых проездов, через которые никто не

проезжал; гулкое эхо, отдающееся среди зданий, среди ниш, колонн и древних звонниц. Все здесь стояло могуче и твердокаменно, все ходило размеренно и торжественно и все тебя подозревало во вражде к тому, кто был единственным хозяином и жильцом всего этого единственного в мире ансамбля, к тому, кто царил здесь с большею властью, чем те, чьими заботами воздвигались здешние каменные палаты.

Повернув за угол какой-то церкви, он увидел нечто, что заставило его отвлечься от своих торжественных и робких мыслей. Старушка с белым фартуком, надетым на ватный полушубок, старушка с широким добрым лицом, с черным платком на голове, подметала снег большой дворницкой метлой. На ее обыкновенном лице с маленькими лукавыми глазками не было написано никакого благоговения. Она подметала снег так, как сотни других старух делали это на других, ничем не примечательных местах. Рядом на деревянном помосте у стены церкви сидел старичок, который латал стену раствором цемента. Он делал свое дело старательно и умело. Внизу стоял другой мастеровой, молодой, белесый. Все трое разговаривали негромко, буднично.

— Да, Настя вышла замуж,— сказала старуха.— Муж ее работает на складе кладовщиком.

Старик закурил и ответил что-то тоже очень обыденное. В их облике было очень обыденно все. И это глубоко поразило его. Ни страха, ни благоговения. Между тем весь здешний порядок, вся здешняя красота была сделана и поддерживалась этими людьми. И то, что снега нет на асфальтовых дорожках, а дорожки чисты и строги — это дело рук этой и других старушек; и сам асфальт был здесь выложен рабочими-дорожниками; и стены, такие строгие, были такими потому, что сюда приходили эти мастера с ведерком, полным раствора цемента. И эти люди жили в коммун[альных] квартирах. И дело свое все они делали спокойно, размеренно. И ему стало совестно своих рабьих чувств, etc.

13.2.55.

Нужно обратить теперь главное внимание на диалог. Он должен быть естественным, но содержательным, богатым, глубоким. Раньше, когда я был моложе и,

следовательно, самолюбивее, и к тому же начинал — т. е. во время «Звезды»,— я самые лучшие мысли приписывал не героям, а себе, автору, чтоб казаться читателю глубже и умнее. Это надо изменить. Авторский монолог — «Звезда». Конфликт личного с общественным — «Двое в степи»; внутренняя жизнь человека и его внешность — «Сердце друга». «Дом на площади» — диалог. В этом, по крайней мере, центр моих стараний.

9.3.55.

Написать бы сценарий «Шаляпин». Но не липу, как наши пошлые биограф[ические] фильмы, а истину. Показать этого человека во всей его противоречивости, в хорошем и плохом — рвача и широкую натуру, скромного и тщеславного, русского народного человека и русского барина, европейского артиста и дикаря; друга М. Горького и сентиментального квасного патриота. Показать его сначала на Волге среди босяков, бурлаков и т. д., потом первые шаги. Известность. Подкуп человека из народа привилегированными классами; коленопреклонение перед Николаем. Раскаяние. У Горького на Капри: самоуничижение. Революция. «Дубинушка». Выступления на кораблях, на заводах — но за огромную мзду: сахаром, мукой и т. д. Единственный человек в Петрограде — сытый, гладкий, процветающий. Ленин голодает, Павлов замерзает — Шаляпин процветает. Уэллс у Шаляпина. Глазунов. Колебания Горького<...> Ленин и Горький. Шаляпин эмигрирует. Шаляпин в Европе. Великий артист. Выступления в Париже, Н[ью]-Йорке, Милане. Встреча в Париже с к[аким]-н[ибудь] молодым советск[им] инженером; гуляют по Парижу. Рассказ о России. Чтение «Правды» и т. д. И в то же время — дар епископу Евлогию. Маяковский в Париже. Последнее — старик Шаляпин (после сцены смерти «Дон-Кихота» Ибера) думает о России, вспоминает. Русский волжский пейзаж.

11.3.55.

Вспоминаю, как при писании «Звезды» я ужасался обыкновенности всех слов, которыми приходится оперировать. Не только слов, но и фраз. «Воцарилось молчание». «Наступило утро». «Пошел дождь» и т. д.

Они мне казались столь избитыми, что я морщился от стыда, пиша их. К счастью, оказывается, что дело не в словах и даже не во фразах (и не в сюжете, разумеется) — дело в индивидуальности пишущего. Те же семь нот — в распоряжении Моцарта и Дунаевского. Ничтожества делают банальными слова и предложения. Таланты освобождают слова и предложения от дерьма банальности.

...Способна ли наша литература выполнить свою сложнейшую задачу? Да, способна... <*далее неразборчиво*>

Законы роста экономики и искусства не менее различны, чем законы роста кедра и белки.

Червячок живет на дубе, кормится его соками; однако он в отличие от дуба превращается в куколку, затем куколка расправляет крылья и превращается в чудо-создание.

Однако не будем забывать о белке. В кедровнике белка рождается и питается его плодами. Нельзя требовать от белки, чтобы она вымахала ростом с кедр. Надо ее мерять ее мерками, а не мерками кедра. И вот, когда меряешь литературу ее мерками, видишь, что она располагает несколькими десятками крупных талантов и несколькими сотнями менее крупных.

В условиях поразительного оживления идейной жизни в стране, восстановления ленинских норм <...> эти таланты способны <*запись не окончена*>

16.3.55.

С тех пор (после войны, когда я стал зажиточным литератором), как я начал интересоваться музыкой по-настоящему, я обрел новый мир — прекрасный и неожиданный, здешний и соседний, источник наслаждения, о котором даже не могут догадаться люди не хуже меня, живущие рядом со мной, но не интересующиеся ею. Музыку надо слушать с таким же вниманием, с каким приходится читать Гегеля, чтобы не пропустить главное и полностью насладиться. Речь идет о великой музыке. Настоящая музыка, кроме прочего, отличается от деланной тем, что она выражается только музыкой же. Грусть, растерянность, печаль, страсть она изображает самой собою, а не

паузами, придыханиями, многозначительными исполнительскими вывертами. Пауза в музыке должна тоже выражаться средствами музыки. Так всегда делают Бах и Моцарт. Так не всегда делает Чайковский <...>

Слушал сегодня концерт для виолончели с оркестром Дворжака <...> Очень хорошо.

Роман-черновик пока идет быстро и лихо.

29.3.55.

Я превратился в машину для писания романа «Дом на площади». Утром я встаю и думаю только о Нем. Когда я завтракаю, я думаю о Нем и о том, что я должен мало есть, т. к. обильная еда мешает работе над Ним. Я ем мало и думаю о Нем. Для Него я гуляю, вовсе не испытывая удовольствия от гулянья. Я на все смотрю — на снег, на лес, на собак, на людей с той точки зрения, не может ли это дать еще что-нибудь Ему. Вечером, когда я встречаюсь со «слобожанами», я и то это делаю не для себя, а для того, чтобы не думать так много о Нем, чтобы завтра Он лучше двигался вперед.

2.4.55.

Пафос советского писателя — вера в народ, в простых людей, о которых и для которых он пишет.

Пафос наших редакторов — пафос неверия в народ, в простых людей, для которых они выпускают книги. Неверия в их разум, вкус, в их советские убеждения. По сути дела оторванные от живой жизни эти редакторы представляют себе читателя большим, молодым и глупым недорослем, не способным разобраться в том, кто прав, кто виноват, что хорошо и что плохо. Как жалкий маньяк такой редактор, погребенный под ворохами рукописей, думает, что от него зависит, будет ли читатель за или против.

Если он, хитрый и умный редактор, вычеркнет место, в котором показано, что на войне убивают людей,— большой, глупый читатель убедится в том, что на войне не убивают, и охотно пойдет на войну; если он, хитрый и умный редактор, вычеркнет место, где показано, что некие люди живут еще трудно, большой и глупый читатель решит, что у нас все живут хорошо;

если он, хитрый и умный редактор, не выпустит книгу или пьесу, где рассказано, что у нас есть бюрократизм, большой и глупый читатель будет уверен в том, что у нас бюрократизма нет. Если он, хитрый и умный редактор, вырежет абзац, в котором мужчина и женщина сближаются как муж и жена, большой, глупый читатель придет к выводу, что дети рождаются постановлением президиума райисполкома. Этот страус с автоматическим пером как он вредит нашему общему делу, как он деморализует и приучает к лжи советских людей!

О, как надоело хитрить, убеждая себя, что простым людям правда вредна!

7.4.55.

Разница между его и моей точкой зрения заключается в том, что когда ставится великий, чуть ли не гамлетовский вопрос: «Пущать или не пущать», он всегда говорит: «Не пущать», а я почти всегда — «Пущать».

15.4.55.

Какая это радость, вовсе лишенная даже оттенка тщеславия, прочитывать свое только что написанное и находить в нем красоты, мысли, характеры. Это чистая и высокая радость — удивляться не себе вовсе, а тому, что ты умеешь, не тому, что ты умен, талантлив, а тому, что в тебе — непонятно как, почему, откуда — есть что-то умное и талантливое, кое даже от тебя и твоего сознательного труда не очень зависит; при этом сознавать и сознавать все яснее, что твоя творческая сила — не твоя, она часть большой, всеобщей; ты только сосуд, и тебе глупо гордиться собой так же, как глупо глиняному сосуду гордиться вином, которое в нем содержится.

Почему так трудно побороть религию, суеверие, хамство, расовую ненависть даже в условиях, когда общество — против них? Почему все это так цепляется за человека, так цепко держит его душу? Разгадка во впечатлениях детства. Дурной опыт передается поколениями друг другу с огромной силой, озаренной всеми сантиментами и всеми красками детской поры.

9 мая 55.

10 лет со дня победы над Германией. Это гордое чувство — быть одним пусть из миллионов победителей, участников этой самой тяжелой и самой великой из войн.

А роман идет к концу. Дней через 7—8 поставлю слово «конец». Теперь важнее всего — не спешить. Никому не давать до той поры, как я решу, что книга готова к печати. Кажется, это будет крупная книга, серьезная. Серьезная! Ведь важней всего, чтобы она была именно серьезной, т. е. чтобы события, описываемые, были взяты до глубины, и люди — тоже. Ведь главное, хотя и не сформулированное, требование читателей к литераторам: пишите серьезно. У нас пишут почти все про серьезное, но пишут не серьезно.

Время идет с ужасающей быстротой. Надо успеть кое-что сделать. Только бы не помешали внешние события. Думаю, что мы лет 10 продержимся без войны как минимум.

30.5.55.

Закончил роман «Дом на площади».

Теперь нужно бороться с желанием напечатать поскорее.

9 июня 55.

На днях рожала Эльба. Она принесла пять штук щенят. Рожала она всю ночь, каждые 1/2 часа — час выкидывая одного щенка. Я думал, что к утру она уже превратится в человека — так велики были ее страдания, ее чудовищная тревога, так взволнован и просветлен ее взгляд. Она звала меня посмотреть на ее детей, хватая зубами за штанину. Она спрашивала у Гали, как более опытной матери, как быть со щенятами. Потом она дня три-четыре не отходила от собачек. Поняв, в чем дело, она кормила, грела и чистила их. Но уже спустя четыре дня оказалось, что она, к моему удивлению, осталась собакой. Она стала лаять на прохожих и делать другие собачьи глупости.

6.VII.55.

Путешествие на Гарц.

Начинаю дневник.

Больше увидеть — вот главное настроение. Успеть увидеть как можно больше. До того это желание владеет душой, что уже в первые часы поездки жалеешь, что не можешь видеть обе стороны пути одновременно. Боишься, что когда смотришь в окно,— в другом окне пропускаешь нечто интересное.

Мои жизненные планы на ближайшее будущее понемногу выкристаллизовались. После поездки — закончить роман (ну, и фильм), потом — поездка в Южную Россию — на Дон и Волгу, оттуда на Урал. А там подыскать интересный завод, поступить туда на работу и год жить там. Без семьи. На свою зарплату. Написать «Ошкуркина». Начать «Новое время».

15.XI.55.

1955 год <...> подходит к концу. Принято, что в эти дни народы и отдельные люди подводят итоги прошедшего года.

Попробую и я подвести такие итоги. Как всегда, я недоволен собою. Мне кажется — и, к сожалению, я не ошибаюсь,— что за прошедший год сделал мало и не так хорошо, как мне хотелось бы. Это вечное недовольство горько как желчь, но, пожалуй, плодотворно; оно язвит сердце, но заставляет требовать от себя большего, стремиться к большим задачам, к большему совершенству.

<1955 г.>

Он требовал от всех скромности, сам же был одержим бешеным честолюбием. Он требовал от всех бескорыстия, а сам жил, как миллиардер. Он требовал от всех моральной чистоты, а сам был глубоко аморальным человеком в семье и политике. Он учил всех быть марксистами и пролетарскими революционерами, а сам был обыкновенным царем. Ни Иуда, предавший своего бога, ни Азеф, предавший свою партию, ни Филипп Орлеанский, предавший свое сословие, не наделали столько вреда своему богу, своей партии и своему сословию, сколько он — своему делу.

<К РОМАНУ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»>

В начале 23 года ■ Москву прибыли два молодых человека, совершенно разных по всем статьям и схожих только своей глубокой преданностью советскому строю, возникшему неполных шесть лет назад. Впрочем, обоим было по 15 лет, и поэтому им казалось, что революция произошла очень давно и новый строй жизни установлен чуть ли не от веку. Для молодых почти 6 лет это полжизни, время длиннейшее, для стариков шесть лет — мгновенье.

Один из них русский человек был сыном крестьянина Владимирской губернии, звали его Петр Корнеевич Еремеев. Второй — еврей, сын зубного врача, мещанина города Новозыбкова, его звали Григорий Борисович, или по метрике Гиршем Ботлиховичем Богуславским.

Монолог парижской проститутки (при виде русского в кафе):

— Какого черта вы молчите? Угостите черным кофе. Мне холодно. Я не встречала американцев, а негры из дансинга денег не дают. Женщины им платят. Глядите — эти, в темно-серых пальто, полицейские шпики. Кьяпп им всем роздал темно-серые пальто. Мне до того холодно, что я согрелась бы в Сене. Если вы скучаете, я могу вам предложить соседнюю гостиницу или Сену — раз и навсегда. Мы ищем американцев, но какие это негодяи. Они платят за шампанское 100 франков, а женщине дают 10... Если вы не хотите любви, дайте белье — я стираю, как паровая прачечная. Вы норвежцы? Вы чехословаки? У вас деньги, вы купцы?

Но он не был чехословаком, у него не было белья, у него не было денег, он не был купцом.

На площади маленького городка гудит трактор «фордзон»; это практические занятия школы трактористов. Кто-то из обывателей замечает: «А как же с навозцем-то быть? Ведь трактор не лошадь — навозцу не дает?!»

— Отстали от века, почтеннейший. Химизация земли... Суперфосфат, почтеннейший.

Маяковский: Как жизнь? Довольны ли вы сегодня своей жизнью? <...> Придумали ли за ночь смену огню или написали марсельезу? Как вы думаете, будет этой весной война? Неужели сунутся? Ужасно не хочу войны. Если случится — приду с чекой ■ Париж. Знаю состав этого города. Буду полезен. Как у нас с газоубежищами? Строят ли? Сомневаюсь. Ужасно мне жалко, что не мы украли Кутепова — чисто сработано. Пусть боятся нас. Вдруг сопрем Кьяппа. Как полагаете, нужен нам Кьяпп?..

— Вчера вечером — заводская аудитория, только что с работы. Один читает: «Работать, работать, работать. Отдых будет потом». Хамский тон. Так разговаривают буржуи, хозяева с рабочими. Треплет свысока по плечу усталых людей.

— Рабочий поэт — это работать днем и ночью. Напрягаться над строчкой до слез. Просыпаться ночью и искать нужное слово, плакать от удовольствия, когда строка наконец сомкнута. Пролетарский поэт! Глупость и дрянное качество компрометируют термин <...>

<...> — Вы читали Чернышевского «Что делать?»? Я сейчас читаю. Меня книга занимает с одной определенной стороны. Тогда проблема была ■ том, чтобы разрушить семью, теперь — в том, чтобы строить семью. Очень трудно это. Легче строить социалистические города, заводы... Ох, как плохо у нас пишут в газетах, как серо о красном, глухо — о звонком, пресно — об остром.<...>

— Читали в «Правде» Ермилова против вас и Сельвинского?

— Против Сельвинского согласен. Против меня — чушь.

— То же самое говорит Сельвинский, только наоборот.

— Несомненно. Он всегда говорит наоборот... Пошли завтра на мою выставку? Вы были, м[олодой] че[лове]к, на выставке Маяковского XX лет работы? Нет? Приходите завтра. Приму вас по-царски. А сейчас спешу в Краснопресненский клуб, там заводские комсомольцы меня ждут. Очень уважаю эту публику. А Ермилов что? Пьявка. Толстенькая. Синеватая. Жизнь замечательна. Жизнь очень хороша. Правда?

Неопытность на совершенно новых путях в вопросах морали. Доносы и т. д. для блага родины — дело сложное и обоюдоострое в высшей степени. Ради любого высшего блага делать подлости должно воспрещаться <...>

12.4.56 г., Кисловодск.

Месяцев пять ничего не записывал в эту книжицу. Позор, конечно. За это время испытал свои силы, как гл. редактор сборника «Лит[ературная] Москва». Окончил и напечатал роман «Дом на площади» — напечатал раньше, чем следовало бы, уж очень хотелось вовремя выпустить сборник к съезду. Съезд партии, как и ожидалось, стал большой вехой. И это самое главное, самое главное, что сказаны слова правды. Это даст, не может не дать, великих результатов. Теперь правда — не просто достоинство порядочных людей; правда теперь — единственный врачеватель общественных язв. Правда и только правда — горькая, унизительная, любая <...>

13.4.56.

А роман? Что роман? Хорош ли он?
Он — конец периода.

28.7.56.

Пространства так велики и так еще необжиты. Можно проплыть много километров, прежде чем увидишь огонек избы, деревню, пристанешку, даже сенокос. И это не Сибирь, не Уссурийская тайга, а Россия — Волга и Кама. Как странно! Все время кажется, что люди делают не то... Похоже, что и начальство стоит, уставившись, и глядит как заколдованное в одну точку — Москву. А когда Москва говорит: делай, то делают, но спустя рукава и только то, что нужно сейчас, сегодня, завтра, не больше <...>

29.7.56.

Проехали Чистополь. Город не виден, он на обратном скате высокого берега. Здесь жили в эвакуации писатели и их семьи. Пастернак, Алигер, Асеев. Здесь

бедствовала одинокая Марина Цветаева. Скоро будем в Елабуге, где она повесилась, бедная. О ней я еще напишу. Здесь еще будет памятник ей поставлен, если есть хоть какая-нибудь справедливость.

Впрочем, не в памятнике дело. Надо оживить, поднять эти места. Чтобы всюду были веселые люди. Да, есть плотины, есть электростанции, элеваторы попадаются,— но все это редкие изюминки в огромном бедняцком пироге.

Каждый вечер, перед тем, как я ухожу спать, я с непритворной нежностью прощаюсь с рекой: «Ну, будь здорова, завтра увидимся». С ней трудно расставаться, как с любимой.

1 августа 1956 г.

Пароход не очень быстро, но неотступно движется вперед, и это равномерное движение наполняет сердце покоем. Мы въехали в Пермскую область. Берега Камы очень красивы. Левый — низменный, порос осокорями, ивами, иногда видны остроконечные верхушки елей. Правый — высокий, зеленый. Там пасутся козы, эти коровы бедняков. Коров не видно. Навстречу попадаются плоты, плоты, плоты... Иногда — пароходы. Как приятно встретить знакомые имена: Вс. Вишневский, Вл. Маяковский.

Всюду хочется быть. Хочется плыть в избушке, установленной на длиннейшей барже. Хочется жить в домишке на склоне высокого берега, среди сосен. Хочется закидывать сети с баркаса, хочется плыть на плоту с рыжей дворнягой и рыжей простоволосой бабой. Хочется всюду остаться надолго, навсегда, на всю жизнь, с тем, конечно, чтобы жизнь была не одна <...>

Сегодняшнее утро я провел в 4-м классе. Беседовал с плотниками, выпил со сплавщиками. Поговорил с интереснейшим православным священником, отцом Иокинфом, о котором можно и нужно написать рассказ. Это — рассказ о русском долготерпении и о могучей силе ленинских идей. Ему 72 года. Он окончил Тамбовскую духовную семинарию. Он разуверился в боге и православной церкви и был готов громогласно уйти из нее, но тут его арестовали и выслали в Соловецкий монастырь. Это было в 1929 году. С тех

пор до 1944 года он был в тюрьмах и ссылках. Затем его выпустили. Он пытался было сказать, что не будет служить и что церковь им забыта, но с удивлением заметил, что это воспринимается почти как контрреволюция. Он смирился и ради освобождения согласился быть попом.

Мальчик в шитой-перешитой вельветовой курточке, вправленной в штанишки, в школьной форменной фуражке, конопатый, любопытный, всегда голодный, вечно жаждущий чего-нибудь вкусного или на худой конец нового.

Цену вещам знают только дети. Любая вещь для них — большое переживание. Она для них — новости, вот в чем дело. «Цену вещам» не в смысле их ценности покупной, потребительской, а в смысле их абстрактного, абсолютного значения.

Уже 1 августа! Кончается седьмой день поездки на пароходе. Сегодня стало очень тепло, даже жарко. Река вся в солнечном свете <...>

Хочу быть редактором. Мне скоро пятьдесят лет. Не из честолюбия, а зная, что я могу это делать <...> Невозможность дать свой максимум приводит к неудовлетворенности. (Это личный момент.)

КРАСНАЯ НОВЬ

Журнал революционный, ленинский, <...> ставящий острые вопросы жизни и воспитания, партийно влияющий на молодежь, на фрондирующую часть интеллигенции, ведущий пропаганду не для уже давно пропагандированных, а для сомневающихся, ищущих, думающих, заблуждающихся, трусящих, брюзжащих, дрейфящих — т. е. пропаганду среди тех, которые в ней нуждаются. Диалог с буржуазной интеллигенцией, перетягивание ее на нашу сторону, переубеждение ее, а не отталкивание. Борьба за нее с буржуазией, а не отталкивание ее в лагерь буржуазии. История показывает, что многие интеллигенты буржуазные переходили на нашу сторону, видя нашу правоту.

Нет ничего вреднее головокружительных вознесений и головоломных падений. И то и другое увечит писателя. Не надо спешить с оценками, не надо слишком часто подбивать итоги. Это создает иерархию, которая не всегда является иерархией таланта. Нужны дискуссии, где исход не предрешен заранее, участие в которых не опасно для чести писателя; дискуссии, отчет о которых в печати не будет перевран, а в случае чего, можно добиться печатного же опровержения. Этот жанр вывелся. Честь мундира дороже чести литератора. Нужно искоренить грубый тон, привычку чернить друг друга под предлогом «партийной страстности».

Литература растет не от заседания к заседанию, а от произведения к произведению.

<Без даты.>

<...> «В нескольких словах»! Господи, сколько же самонадеянности скрывается даже в таких скромных людях, каковым считаю я себя. Чтобы дать представление о событиях последних десятилетий, нужно написать сто томов такой же реалистической многогранности и точности, как «Война и мир» или «Божественная комедия», и одновременно такой же правдивости, как «Западня» или «В погоне за утерянным временем». Нужно собрать в этом сочинении весь душевный пыл миллионов, весь фанатизм десятков, одиночек, всю кровь и все слезы, весь пот <...>

Люди будущего! Я не знаю, как сложится ваша жизнь. Я пытаюсь представить себе это, как могу, но это мне трудно. То я полон оптимизма, и я думаю, что вам хорошо, что ваша жизнь полна до краев переживаний, сердечных смут и преодоления их, то мне начинает вдруг сдаваться, что жизнь у вас грязная и темная, мутная. Не знаю. Мне хотелось, чтобы всем было хорошо, дети моих правнуков. Мы мечтали об этом, мы волей и неволей, по душе и за рупь старались добиться этого, как умели. Если это не получилось — не наша вина: мы просто, значит, не знали как.

Но как бы то ни было, я обращаюсь к вам с просьбой помнить и никогда не забывать:

1) Цель не оправдывает средства. Средства хитрые,

они любят потихоньку отодвигать цель, затем подкраситься под нее и притвориться ею.

2) Каждый человек в отдельности — большой, сложный и драгоценный мир; если же у него талант — то тем более он сложен, драгоценен и единственен.

3) Как нельзя достигнуть красивыми средствами низкой цели, так нельзя и достигнуть прекрасной цели низкими средствами. Это не политический сантиментализм, [redacted] исторический опыт. Надо только помнить, что не насилие само по себе дурно. Без него нельзя обойтись. *Дурно насилие ненужное.*

НИКИФОР ОШКУРКИН[1]

Повесть

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В селе Куриловке Н...ского уезда Ярославской губернии в 20-х годах нашего бурного века жил зажиточный хозяин Никифор Фокич Ошкуркин. Он был родом из дворовых людей графа Шереметева. Отцу его, Фоке Демьяновичу, была дана вольная еще до освобождения крестьян за то, что Фока Демьянович во время разлива Волги спас не то от смерти, не то просто от простуды одного из барских сынков.

Кроме вольной, Фока Демьянович получил и какую-то награду деньгами, и эти деньги оказались счастливыми — Фока Ошкуркин, занимавшийся дублением шкур, бросил свой малодоходный промысел и стал возить в Москву живую рыбу. Рыбу эту возил он в садках, обложенную льдом, на санях и в дровнях. Особенно славилась волжская стерлядь, и эту чудесную красивую рыбу Фока Ошкуркин возил к «Яру» и в другие московские трактиры по 12 рублей пуд. Старший сын его, Никифор, после смерти отца, продолжал это доходное дело. У него к началу первой мировой войны работало две артели рыбаков; он имел 10 лошадей; когда стали делать холодильные вагоны, Никифор Фокич сразу понял преимущества этого диковинного устройства: заарендовав один вагон, он стал возить стерлядь по железной дороге и поставил дело на широкую ногу.

[1] Одно из начал задуманной повести. (*Примеч. составителя.*)

Политикой Никифор Фокич не интересовался, царя и его чиновников тем не менее не уважал, считая их тунеядцами и обдиралами. По его, Никифора, мнению, вопреки Св. писанию, всякая власть была не от бога, [redacted] от диавола; и искусство жизни состояло в том, чтобы жить обособленно, вольно, независимо, откупаясь от власти взятками, [redacted] от босяков и любителей чужого добра защищаясь своими, наемными людьми.

Падение царя он поэтому воспринял хотя и с удивлением, но безо всякого уныния. Наоборот, он шел одним из первых на манифестации, устроенной городской управой в честь Февральской революции. Будучи человеком среднего достатка (у него в банке было денег 12 тысяч рублей), он тем не менее считал себя причастным к великой братии предпринимателей и надеялся в скором времени при помощи долгосрочного кредита выбраться в крупные воротилы. Дело в том, что он задумал сам открыть трактир в Москве и продавать там свою рыбу, загребая большие деньги. Трактир этот, или как их нынче называли «ресторан», должен был называться «Ярославль». В его памяти глубоко засели удивление и зависть к владельцам больших трактиров, которых он видел, когда езживал ребенком вместе со своим отцом и очередным грузом стерлядей в Москву.

Никифор Ошкуркин был человеком невысокого роста, но крепкий, кряжистый, с незначительным, медно-красным лицом и светлыми волосами, которые уже с тридцати лет стали выпадать, что увеличило лоб, сделало лицо более благообразным, чем оно было в юности. Бородка его, реденькая и желтоватая, росла туго и так и не смогла стать большой и окладистой, как у покойного отца. Притом он имел глаза черные, как угольки, цыганские, и они так не шли к русым и редким волосам, что иногда казалось, что они с другого лица взяты или оттяганы по суду. Одевался он, несмотря на приличный достаток, весьма просто, по-мужичьи, и только зимой выглядел довольно нарядно в бекеше с каракулевой опушкой и черном картузе с высоким околышем и лакированным козырьком. Летом он ничем не отличался от остальных мужиков. Водки не пил и только изредка — раза три в год — запивал дня на два, на три, и тогда становился безобразен, плаксив и терял всякое человеческое обличье. Было замечено, что такого рода запой случается с ним после какой-нибудь

несправедливости, совершенной им. Так, например, случилось после того, как он выселил свою мать из большого отцовского дома в курную черную баньку на окраину деревни, т. к. старуха была строптива и начала впадать в детство. Баньку эту он, правда, привел в неплохой вид. То же было и после нашумевшей истории в 1916 году, когда его кассир-артельщик Степан Иванович Белобородов, возвращавшийся из Москвы с выручкой, был ограблен в дороге. Старику Белобородову грабители нанесли две ножевых раны. Но Ошкуркин подал в суд и, давши много взяток судейским, добился того, что Белобородова присудили к каторге — как соучастника грабежа, и к возвращению убытков. Ошкуркин забрал все имущество кассира, человека тихого и безответного, считавшего себя к тому же виновным в убытке, так как грабеж удался по его неосторожности.

После таких случаев Никифор Ошкуркин пил два-три дня, а после запоя ходил в церковь, хотя в бога не верил и ни во что не верил, кроме как в рупь.

Дом Ошкуркина был лучший в селе. Он находился напротив церкви, рядом с поповским домом. Первый этаж его был кирпичный, второй — деревянный. В доме внутри было полутемно, тихо и прохладно в любую жару, потому что кругом стояли старые липы, ставни оставались всегда закрытыми, [redacted] внутри крашеные полы были всегда чисто вымыты, свежи и сыроваты.

Впрочем, дом этот был очень ветх. Балки в нем прогнулись, потолок второго этажа вогнулся и внутри стен иногда слышался шум — потрескивание и вроде как бы тихие, почти человеческие голоса. Голоса эти наводили страх на Акулину Тимофеевну, жену Никифора, и она вообразила, что в доме поселилась нечистая сила. Однако Никифор Фокич, привязанный к своему дому, к его сыроватой тишине и темным закоулкам, отвергал новшества. Службы свои он перестраивал несколько раз, а дом не трогал, только поправлял то венец, то завалинку, то ставя новый столб для поддержки потолка. Столбов этих набралось много, они уродовали дом, но Никифор Фокич оставался к этому вполне равнодушен.

Старший и младший сын — разница в шесть лет. Старший нянчил младшего. Они очень похожи, но эти

[redacted] лет оказались решающими для направления ума. Два разных поколения. Одному в 1917 году было 16 лет, другому — 10 — и разные поколения. Первый — тяга к собственности, к уединению, к семье, центростремительный, второй — к обществу, общественный темперамент, центробежному движению души.

Клятва: пока будет кровь в жилах и сердце будет биться — пусть в пыли, во прахе — буду бороться против собственничества — источника всех человеческих бед, жадности, подлости.

Федя почти не думал о матери, она, сгинув с его глаз, исчезла и из его души. Слишком незаметно прожила она жизнь, растворилась, как соль в воде, в доме, семье, белье. Но в это мгновенье он вспомнил всю ее, от маленького лба до носков черных катанок, и ему вдруг захотелось броситься перед ней на колени и целовать ее морщинистые жесткие руки, обливая их слезами. Ему казалось, что ее руки с порезами от (секачей) ножей, острого хвороста он видит, и он их нюхает, и запах лука, навоза и молока, запах кухни и стирки поражал его в самое сердце.

Федя в 1945 году (для получения справки о хозяйстве отца — в связи с кознями «доброжелателей») едет в родную деревню. Красивая станция, электричество, улучшена дорога; в деревне — одни женщины; пред-сельсовета — (знакомый) — пьет; многие дома пустуют, все знакомые — в городах; в церкви зато — колокол звонит; старый попик (знакомый?), народу много.

12.1.57.

Монолог бюрократа: «Нет, так дело не пойдет! С нами так нельзя! С нашим братом церемониться — всему конец. Нас надо держать в узде, страхе, в ужасе, в состоянии подавленности и унижения. Да попробуй и дай нам волю — и мы все государство растащим, и народ против государства возбудим, и сами себе таким путем могилу выроем. Нам надо говорить: делай вот так, [redacted] не сделаешь — голову долой! Тогда мы сделаем и

сделаем приблизительно так. А не скажут нам, не спросят — мы и не сделаем, мы на службу приходить будем, но ничего делать не станем, а если станем — то все не так, все наоборот, все ногами кверху, шиворот-навыворот. Пройдет годик-два, народ оглянется и увидит: они-то ничегошеньки не делают. И нас попрут и все у нас отнимут. Нет! Нас надо держать в узде, в ужасе, желательно даже, чтоб нам давали в морду — разумеется, не публично, а келейно, тут же в кабинете, может быть,— в определенные часы».

Бездарные люди пишут много из стремления прославиться. Таланты пишут много, потому что им доставляет удовольствие сам по себе процесс писания.

Поездка в Ярославскую область.
31.3.—14.4.57 г.

В Ярославле я пробыл полтора дня. Побывал на областном совещании по сельскому хозяйству. Оно протекало казенно, скучно, без задора, без души. Доклад предоблисполкома и выступления — почти без исключенья — читались с бумаги и состояли из надоевших до колик в животе выражений. Большой театр им. Волкова лежал под прессом невыносимой скуки. Публика, состоявшая из колхозников, председателей, животноводов, либо переговаривалась меж собой, либо уныло глядела выше сцены. Нужно иметь терпение русского крестьянина, чтобы все это выслушивать в который раз.

Исключением среди выступавших был один пред[седатель] колхоза — Дормаков Василий Яковлевич. Сидевший рядом со мной человек, в ответ на мой вопрос, сказал, что это — бывш[ий] пред[седатель] райисполкома, пошедший три года тому назад в предколхоза и поднявший за это время колхоз из «самых отсталых в самые передовые». Дормаков говорил без бумажки, просто, ясно. Мне понравилось его лицо. Пользуясь своей писательской экстерриториальностью, я попросил одного сотрудника облисполкома, знающего кто я, познакомить меня с Дормаковым. Мы познакомились, и я сказал ему, что завтра буду у него в колхозе.

2 апреля я приехал в колхоз «Луч коммунизма» <...>

Я с председателем в санках поехали на «скотный двор». Неблагоустроенность фермы потрясающая. Доярки и скотницы работают в очень тяжелых условиях. Грязно и скученно. Но работают отлично. Молодые девушки, больше всего 23—25 лет, незамужние: работа забирает все время, с рассвета допоздна. Девчата прекрасные — скромные, умницы. Одна из них — Нина Крылова — прелесть, само обаяние: некрасивая, рыжая, длиннолицая, застенчивая и работящая до исступления. Дормаков сумел установить четкую прогрессивно-премиальную оплату и превосходный учет. Каждая доярка точно знает, сколько выдоила и что за это получит. Соревнование тут не простой звук, точная арифметика. Существуют переходящие «вымпел лучшей бригады» и «вымпел лучшей доярки колхоза». Эти вымпелы вместе с премиями выдаются ежемесячно.

3 апреля в 10 ч. утра началось заседание правления вместе с животноводческими бригадами для вручения вымпелов и выдачи премий. Все это заседание я слушал с захватывающим интересом и чувствовал себя как в театре. Конечно, все решает Дормаков, его работа, его мудрый, усталый взгляд, его интеллигентность, его простота. его умение управлять людьми, уважать людей, влиять на них.

Это заседание я попытаюсь точно описать, хотя самое лучшее было бы его застенографировать.

Вступительная речь Дормакова отличалась той же ясностью и хорошим стилем, как и его речь в Ярославле; здесь он был больше в своей тарелке, и говорил интереснее. Разумеется, он рассказал и о том, что видел вчера на ферме (в бригаде № 2) <...>

Конечно, Дормакову пришлось тут поработать, сломать рутину, выдержать серьезную борьбу. Особая оппозиция — бывшие председатели колхоза, а имя им легион. Один из них теперь зам. председателя, <...> большой, черный, красивый, представительный, вероятно, честный, но глупый мужик. Члены правления и бригадиры — старательные в меру, есть среди них живые люди, особенно приятна бригадирша 2-й фермы, Ольга Строителева — разумный человек, но легкая на слезы женщина с милым лицом и большими глазами. Но замены Дормакову нет. Можно с ужасом представить себе, что будет, если он выйдет на пенсию или просто уйдет: он человек немолодой, с потрепанным

здоровьем, больными ногами и явно подпухшими руками: сердечник. Все [illegible] деревень не могут дать работника такого размаха и ума. Когда он уехал в Кисловодск, все бригадиры стали пить водку, и дело пошло вкривь и вкось.

...> Молодежи в колхозе много, но все на нее жалуются: работают не важно, ведут себя плоховато. Секретарь комсомола — кокетливая девица Маруся — конечно, не в состоянии что-либо сделать, да и не знает толком, что делать.

На правлении обсуждали проступок одного комсомольца — Наумычева. Он самовольно взял лошадь и привез себе дров. Маруся в ответ на вопрос Дормакова, пролепетала, что «он ведет себя на собраниях тихо, но хоровой кружок посещает редко». Кто-то сказал, что он много читает. Дормаков использовал это, сказав, что Наумычев читал про молодую гвардию и «Как закалялась сталь», а сам не следует этим примерам. Эти прямолинейные параллели звучат слабо. С воспитанием дела обстоят из рук вон. Молодежи не хватает настоящей идейной заинтересованности в жизни. Одна работа и связанная с ней бо́льшая зарплата не в состоянии удовлетворить. А кроме работы, рабочей дисциплины и разговоров о той и другой, нет ничего.

На правлении разбирались заявления колхозников — главным образом о предоставлении им леса для ремонта домов и других матер[иальных] делах. Дормаков умен и щедр, хотя и с разбором. Одной семье выдали 7 тыс. рублей — ссуду на покупку дома — выдали, не поморщившись. С лесом дело сложнее — у колхоза леса почти нет, а лес, получаемый из других источников, нужен для строительства общественных построек.

Работать нужно до завтрака. Попробую установить такой порядок: вставать в 7.30, работать с [illegible] до 12 — завтрак, потом час спать, потом работать еще три часа (но не писать, а читать и заниматься делами — письмами и т. д.) и остальное — как сложится <...>

* * *

Возвращался в Ярославль на машине секретаря райкома. Шофер Михаил — бывший матрос Северного флота, умный и дельный человек; хорошо бы ему

обменяться ролями с секретарем райкома <...> на годик-другой. Много читал, ясный ум, знает положение в колхозах до тонкостей.

Он раньше работал у директора МТС Бубнова. Теперь Бубнов — пред. колхоза им. Чапаева. Больной человек. Полный энергии, напора, прекрасно знает сельское хозяйство. Бывало, едут они, вдруг Бубнову станет плохо; он останавливает машину, сидит несколько минут молча, потом едут в деревню, он в первой попавшейся избе лезет на печь, лежит минут 15, потом слезает и снова бегает, кричит, орет — действует. Колхоз стал хорошо работать. Жена Бубнова, простая пожилая женщина (она ехала со мной до Ростова) рассказывала, как она отговаривала его идти в колхоз, но он пошел все-таки. «Ну, умрет, разве государству от этого польза?» — говорит она, но в ее тоне гордость за мужа.

5.XI.57.

В последние месяцы произошла научно-техническая революция. Земля имеет двух спутников, одного — с летающей собакой. Да, вокруг Земли вертится с гигантской скоростью вагон, в котором лает собака. Несмотря на все ухищрения и софизмы религии, это — окончательное доказательство отсутствия бога и ангелов его. Это, кроме того, решающее достижение на пути к другим мирам. И то, что это сделали мы, — очень важно и знаменательно. Это — плоды тридцатипятилетних трудов великой науки и целеустремленности в главном — чаще всего за счет остального. Только народ, отказывающий себе во многом, может добиться этого.

План 1958—1959 гг.

1. Ленин в Разливе (повесть).
2. Столица и деревня (повесть).
3. Крик о помощи (повесть).
4. Рассказ «Отец».
5. Окончат[ельный] план 5-й части романа.

Далее:

1. Роман.
2. Ст[алин] на Рице.
3. Конч[ить] «При свете дня».

12.12.57.

Поезд стоит на станции Сызрань. Глубь татарской Руси. Темно и неприютно. Лежит предвечерний голубоватый снег — основательный, уемистый, молодой, сильный, и кажется, что тут и лета никогда не бывает.

Настроение — состояние вечного, застарелого ипохондрика. Я еле узнаю себя — полное отсутствие жизнерадостности, несмотря на то, что я всегда раньше был путешественником живым, непоседливым и любознательным. Не хочется сходить на станции, разговаривать с людьми. Вдоль железнодорожного полотна ходят люди. Они здесь живут. И если бы мне суждено было здесь жить — жил бы. Глушь — что такое глушь? Вся наша планета — глушь планетной системы.

14.12.57.

Оцепенение и отвращение к жизни понемногу уходят. Чудо — за одну ночь все изменилось. Вчера поздно вечером впервые вышел погулять на станцию — стоял мороз, все в валенках. Сегодня мы едем вдоль Сырдарьи. Степь вся освещена солнцем. Снега нет вовсе. Верблюд время от времени проходит мимо. Глубина Азии и все интересно. Старуха и девушка на черном ослике медленно трусят по серой дороге вдоль рельсов. Впервые в жизни видел глинобитное магометанское кладбище. Небо чистое, голубое. Воды Сырдарьи не замерзли. Степь необъятна. Здесь и есть родина моего Джурабаева. И я очень точно описал ее, еще не видев. И его характер — под стать ей.

Кругом — серые мазанки под плоской крышей, продолговатые, одно, двух и даже трехтрубные, похожие на глиняные пароходы. Вся степь облита нежарким солнцем. Лица людей — плоские, узкоглазые. Кочевники некоторые — с рысьими шапками. Вместе с тем — городская одежда, автомашины и мотоциклеты. Огромные псы — надо думать, пастушьи. Длинноухие ослики радуют душу.

МИФЫ КЛАССИЧЕСКОЙ ДРЕВНОСТИ

Повесть

Старик и мальчик. Соленое море. Юрты кочевников. Первые посевы. У царя. Одежда и утварь. Зависть Старика. Он поет. Свара с другим рапсодом —

Бородатым. Их зависть. Его досада: они поют его песни. Они избивают его. Он стал много плакать — особенно во время пения. Начинает плохо видеть.

Первая песня. Битва богов. Бог Света — Илен, бог Тьмы — Тилес. На острове большом, где живут боги, Тилес отравляет Илена, переодевается в него. Царствует вместо него. Затем убивает всех его детей, которые начинают догадываться обо всем. Война хлебопашцев. Хлебопашцы захватывают город втайне от Тилеса и объявляют себя его детьми.

Смерть Тилеса. Борьба с его трупом. Вонь. Курение фимиама. Мальчик: «Надо его вынести». Мальчика выбрали царем <...>

Миф о Слове и деле.
Миф о Цели и средстве.
Миф о зле и добре.
Миф о теле и о части тела.
Миф о сыне Солнца.

БОРЬБА МИРОВ

Тьма освещается. Свет помрачается. Мировой пожар. Мужчина и женщина. Ой и Ая. Новое поколение, потомство: первые уроды; вторые — уроды; третьи — хорошие люди, сильные и глупые.

Запретные пространства — *табу* (больше на юг и на запад нельзя идти под страхом мучительной смерти).

Рознь двух миров. Мир света темнеет и поэтому гибнет.

Миф о пяти тысячах поэтов в одной деревне.
Миф о тысячах флейтистов в одной деревне.
Миф об ученом, изобретшем крылья.
Миф об инородце.
Миф о простоте, к[ото]рая хуже воровства.

Редко когда Старик смеялся. Жизнь казалась ему глупой и горькой. А если смеялся, то желчно и зло, и Мальчик в таких случаях боялся за него — Старик после своего желчного смеха дня три ничего не ел и ни с кем не разговаривал. Это был, по сути дела, отвратительный, злобный старикашка, и никто не мог бы подумать, что ему присущ дар высоких песен. Не было

юмора и в его песнях. Он появлялся изредка и тоже в злобной форме.

Конец мифа о Тилесе. Он однажды заметил, что его обделили мясом (это было в доме у царя Катари), закончил неожиданно быстро и резко. Но этот конец, никем не ожидаемый, всем очень понравился. Много раз затем его просили закончить именно так, но он неизменно отказывался, так как считал это святотатством. Однако Бородатый, прослышав о новом, смешном конце, долго приставал к Мальчику, чтобы тот ему рассказал, в чем дело, и Мальчик ему рассказал, и Бородатый стал петь песнь с этим концом, правда — гораздо более грубый и менее изящный.

Старик находит новые метафоры: «Ясная улыбка обожгла его лицо», «лицо ее вспыхнуло» и т. д. — и счастлив своим находкам. Эти метафоры начинают называть «омирическими».

20.12.57.

Приехал в Самарканд. Теперь вечер. Я еще ничего не видел, но чувствую, что это очень своеобразно, судя по слабо освещенным улицам и домам.

23.XII.57.

Эти восточные республики представляют собой зрелище чрезвычайно интересное. Тут странная смесь — национальная, главным образом — разных племен, производств, даже эпох...

Самарканд требует отдельной записи. Самое интересное: мечеть Биби-Ханэм, Мавзолей Шах-и-зиыда, Гур-Эмира. Мечеть (действующая). (Надо о ней специально записать.)

Бухара, 23.XII.57.

Один день был в Бухаре. Осмотрел старину. «Башня смерти». Муэдзины — 4 на все стороны света.

Запишу отдельно.

<Конец декабря 1957 г. Средняя Азия.>

Одно дело — показать, что ты понимаешь жизненные процессы, другое — показать жизненные процессы. Во втором случае авторские отступления, самые гениальные, помочь не могут. В первом случае можно создать блестящие произведения, но нельзя создать великие.

У одного — орден Ленина, у другого — два ордена Красной Звезды. Последний сердится: не гордись своим, мне тоже не задаром дали.

<К РОМАНУ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»>

Узнав, что Шаляпин уехал за границу и не вернулся, Ваня очень жалел об этом, а главное — недоумевал, как это мог великий русский артист уехать, когда здесь — все так хорошо и правильно? Он не мог поверить, что кому-то — кроме буржуев — может не нравиться справедливый правопорядок. Он думал: человек, который так пел «Дубинушку», из простых людей и так поступил.

1926—28

Приходя в этот дом, Ваня испытывал великое наслаждение и трепет. Всюду — книги, среди них — много иностранных (к ним Ваня питал особое уважение), статуэтки — копии греческих, пианино и огромная кипа нот: романсы с лиловыми портретами цыганок и прилизанных теноров с бачками; романсы Глинки, целые партитуры и клавиры опер — с двумя текстами — русским и немецким или итальянским.

Хозяин приходил вечером. Он скидывал кожаную куртку и смятую кепку и сразу же преображался. Он читал, смакуя, декадентские стишки и играл на рояле с дочкой. Особенно любил Чайковского. Ваня с удивлением прочитал его статью, в которой он честит Чайковского «художником упадка русского дворянства, помещичьих усадеб, поэтому антинародным и вредным».

Он спросил об этом Ник[олая] Петровича. Тот смутился и сказал: «Для неподготовленных неискушенных людей он вреден... А я... Я другое дело». «А я?» — думал немного обиженно Ваня и не находил ничего вредного в П[етре] И[льиче].

В этой большой арбатской квартире Ваня иногда встречал известных людей: Пастернака (?) и т. д.

Кстати, это в 37 г. сыграло свою роль в его судьбе.

«Были ли Вы у Н. П.?» — «Да, но мне ведь было 18 лет». — «И что же? Не 12 же?» Действительно, — думал он, — 18 лет довольно солидный возраст. Но я то ведь был ребенком.

10.I.58.

В поезде Алма-Ата — Петропавловск. Со мной в купе — 19-летняя девушка Фая из Алма-Аты, работающая крановщицей в Кустанае. Зарабатывает 1500 рублей в месяц. Еще девочка, но умна, умеет себя вести — скромно, но не робко. Много читает. Хочет быть учительницей. Не прошла по конкурсу в Алма-Ате — принимают казахов преимущественно. О нац[иональном] вопросе надо специально подумать. Он принимает у нас иногда уродливые формы. Какое-то беспрерывное впадание, то в грех великодержавности, то в не менее отвратительную ересь местного национализма — нет линии.

В купе — башкиры из Уфы, шоферы-механики. Милые, культурные люди. Мухаммед (Миша) — красавец, усатый, веселый, раскатисто смеется, здоровяк, открывал зубами пивные бутылки <...>

Фая не хочет жить дома. В Кустанай уехала против воли родителей. «Дома скучно. Отец года 3 не жил с семьей».

11.I.58.

О, русские девушки! В Сибири и на Урале, среди косооких жителей Киргизии и Казахстана, на Дальнем Востоке и на Дальнем Севере едете вы в поездах, на нартах, в кузовах грузовых машин, в розвальнях и на подножках. Гладко причесанные, русые, с большими серыми глазами, с нежными лицами и грубыми руками, вы проходите по всем городам, весям, неся в себе преданность и любовь к людям, презрение к грубости, хамству, жалость к бедности и ничтожеству, равнодушие к неудобствам жизни, привычку к любым лишениям, кротость и душевную силу, зоркость и простоту. В вашей кажущейся простоте столько понимания и всепрощения. Вы способны на любую работу, самую тяжкую. Нежность ваша — неумела — в ней нет изощренности. Русские девушки, я видел вас в самоотверженном труде и любовном утомлении. Морозы севера и

южный зной неспособны вас сломить. Вы серьезно трудитесь и серьезно отдаете свое тело и душу полюбившемуся вам человеку.

29.I.58.

Тридцатые годы

Итак, Магнитогорск. Это великое проявление мощи советского рабочего класса, народа и партийного руководства. Следует только выяснить, так ли необходимы были задуманные в то время темпы. М. б., действительно, без этого чудовищного нажима нельзя было создать индустрию? Дело тут было не в полугодии или годе, а в необходимости чудовищного усилия. Это надо обдумать. С другой стороны, темпы диктовались политическими соображениями — международными и внутренними. Для того, чтобы уничтожить действительных и мнимых врагов и возможных соперников и противников, надо было создать — и быстро — нечто крупное, серьезное, существенное, доказать этим свое «бож. помазание» на престол, и на этой основе ликвидировать маловеров и опасных людей. Все это, может быть, верно — для размышлений в кабинете. Все это верно и так. Но вот предо мной живой факт: огромный завод, дающий больше продукции, чем вся Россия до революции, и прекрасный, удивительный город с 300-тысячным населением, пестрым, но интересным и влюбленным в свой город и завод.

Немецкие специалисты — гл[авным] обр[азом] обермонтеры на ЦЭС. Были приглашены от разных фирм. Им платили в наших деньгах и иностранной валюте. Для них была создана специальная столовая и «немецкий» магазин. Этот магазин зовется так и до сих пор. Для них возили из Верхнеуральска пиво. Пиво часто оказывалось несвежим, и тогда они не выходили на работу, шумели и обижались. Сала требовали. Им возили сало. Отказывались есть, если официантка была несмазливая. Горком комсомола посылал в немецкую столовую смазливых молодых комсомолок. Немцы приставали. Они отказывались работать, но горком их уговаривал: ничего, терпите, они нам нужны.

Немцы ссорились между собой — они были из конкурирующих фирм — скрывали секреты друг от друга. Нашим они тоже не показывали чертежи. Говорили, что русские — народ способный, переимчивый, все узна-

ют. Все равно, наши, приглядываясь, узнавали дело. Притворялись дурачками.

На работу в ЦЭС немцев возили в санках, запряженных тройкой или парой. Санки специально заказывались в Троицке (там в старину их мастерили) — красивые, с рисунками и украшениями старых времен. Расстояние от квартиры до работы было метров 300—400, но немцы требовали, чтобы их отвозили и привозили.

В 1933 году, после прихода Гитлера к власти, многие немцы уехали на родину. Одна 14-летняя девочка, учившаяся у нас в школе, отказалась уехать. Рабочие многие остались. Один из них возглавил озеленение города и немало сделал. «Соцгород» обязан ему своей богатой зеленью.

Суровые нравы. За прогул выкидывали койку и вещи из общежития — выселяли. В Магнитке был сухой закон. Пили, конечно,— приходит партия одеколона, все пьют, бараки воняли одеколоном. Но водку не ввозили. Семейных коммунистов решением горкома обязали оставить семьи в квартирах и жить в бараках с рабочими — для их воспитания, влияния на них.

Перв[ичными] органами Магнитостроя руководили партработники высокого класса и великого энтузиазма. 30 человек прибыли сюда (в 32 г.) после окончания Свердловки. У одного из них умерла жена от родов. Он решил похорон не устраивать, *чтобы не отвлекать людей от работы.* (Работали по 12—16 часов.) Он сам, вместе с двумя-тремя близкими товарищами, выкопал могилу, сказал: «Прощай, мой верный друг», заплакал, и они ушли. Вечером он проводил партбюро. Фамилия его — Гарматин, он шахтер из Донбасса, теперь — директор школы где-то на севере.

Уровень партработников того времени.

Работали много. Но бывало, возвращались после 16-часового дня, ложились отдыхать, вдруг появляется человек из управления: «Прибыл состав с лесом, надо сгружать!» Все безропотно вставали, шли, сгружали и — снова на работу. Коммунисты были первыми.

В первые 2—3 года здесь умирали — неизвестно от чего — дети. (Узнать у старого врача, в чем было дело?)

<...> Доменщиков уважали особенно — была пущена первая домна, гордость завода и страны (1931—1932).

На домне № 1 вначале работали два американских

ст. горновых <...> Бывало, сидят, дымят трубками, ноги на стол. <...> Горновых учили кое-как, работали как-то с холодком, не то, что наши. Наши осваивали дело быстро, за месяц — и парень уже умеет управлять домной. (Американцы-руководители — «упрямые, злые». Как не по-ихнему — свернул чертеж и ушел.) <...>

Гора! (Montagne!) Ее надо описать отдельно. Обогатительные фабрики и агломерационные — это гениально придумано. Вообще весь металлургич[еский] цикл — необычайно остроумная выдумка человечества.

В 30—31 годах это было довольно унылое многохолмье. Главная вершина Атач — 540 м. (или 450?) над уровнем моря. Белели палатки геологов и их буровые вышки. Потом появились землянки. Начались земляные работы и добыча руды. Работали люди в лаптях, лопатами и кайлами, грузили на телеги и позднее в вагонетки. Первые американские экскаваторы появились в конце 31 года. <...> Все рабочие шли пешком. Гора заросла березками, потом от взрывов, осыпей и т. д. они все пропали <...> Выше «Березок» стояли два домика-сруба <...> Потом там построили нынешние двухквартирные восьмикомнатные дома <...> В каждом двухквартирном доме жило по 2 американца. Столовая ихняя — роскошно обставленная. Они ездили на работу на лошадях, в санках. Летом к некоторым приезжали жены. Другие «женились» тут, а уехавши, оставляли своих жен.

Мистер Смит, геолог, удивлялся дикости. Транспорт — верблюды. Он держал себя надменно. Не верил в то, что мы писали о кризисе в США, говорил, что это коммунистические выдумки <...> На Магнитке получались газеты и вывешивались на 6 языках (англ[ийском], франц[узском], нем[ецком], татарск[ом], украинск[ом], гл[авным] обр[азом],— левые). Затем стал получать письма от близких из США о кризисе, безработице. (Раньше он хвастал, что, дескать, у нас безработные такие: лежит, спит в порту, а на подошве написана цифра 5 или 10, т. е. меньше, чем за 5 или 10 долларов не будить.)

Вскоре он уехал и прислал письмо с просьбой принять его снова на работу в Магнитку. Ему не

ответили. Затем писал он с Ньюфаундленда, а спустя месяца три — снова из США, два раза писал, просил, чтобы приняли его на работу у нас, даже соглашался перейти в сов[етское] подданство. Ему не ответили.

(Узнать, какая растительность покрывала Магнитную гору!)

Узнал. Ковыль. <...>

10.II.1958.

Я думал о том, верен ли метод бесед с людьми и вопросов бесконечных: как было в старину то, и как — это? Можно ли таким путем восстановить картину? Конечно, лучше всего было бы *быть* тогда на Магнитке. Тут картина была бы подлинная. Но и этот метод не только единственно возможен, но и в принципе верен. Не надо только рассчитывать получить от каждого собеседника полную или даже просто широкую картину прошедших дней; надо терпеливо собирать по крупицам — у каждого то, что я бы увидел обязательно, если бы был тогда здесь. Терпеливо, спокойно. И не охаивать этот метод. Ведь сколько бы дал исторический романист за то, чтобы иметь, в связи с работой над романом о Древнем Риме, возможность побеседовать с Брутом, Катоном Утическим или Долабеллой, либо, на худой конец, с любым завалящим всадником или замухрышкой-плебеем!

<...> (Герасимов Г. И.) В 33 году делегация Магнитки в составе 4 человек — Фомин от горсовета, Герасимов и еще двое (кто?) <...> были приняты Серго. Он их расспросил. Герасимов предъявил претензии к шихте. Она была неравномерна, и это нарушало режим домны. Кроме того, не хватало ковшей. Просили автобусы, автомашины, троллейбусы... От троллейбуса отговорил, сказал: «Лучше трамвай, он — резиновый, в него много народа входит». Просили радиоприемники, патефоны, пластинки. Вызвал тут же людей и распорядился. Велел директору дать членам делегации подарки: по приемнику, патефону и пластинки. Спросил: «Сколько дашь пластинок?» — «По три». — «Ну и скупой! По 10 штук давай». Звонил всюду. «В Большом театре были?» — «Нет». — «В Малом, Художественном?» — «Нет». — «Обязательно побывайте». На след[ующее] утро секретарь дал им билеты в театры. Серго направил их к Микояну и Бубнову. При этом наказывал: «Будете у Бубнова, обязательно у Крупской побывайте. Обязательно». Они были у Бубнова, получили тетради и карандаши и распоряжение об отпуске книг. Потом пошли к Крупской. Маленький, длинный кабинет Портрет Ильича в детстве. Она их все время упрекала: почему в делегации нет женщин. «Вы по такому делу приехали, по вопросам быта, культуры. Тут женщина понимает в сто раз больше, чем вы, мужчины. Она только взглянет и поймет. А вы что? Нехорошо...» Сама отбирает книги для Магнитки. Классику. Затем у Микояна. Он угостил их пивом — наилучшим — с разной отеч[ественной] закуской. Все их требования об отгрузке товаров выполнил — тут же вызывал директоров и обо всем договаривался, как и Серго. Они просили открыть гастроном и построить базы для товаров (склады). Он распорядился и дал телеграмму в Свердловск. Их он называл «питомцы Орджоникидзе» Напоследок они были у Калинина — Серго их туда послал, договаривался с ним при них. М. И. побеседовал с ними, расспросил, звонил в разные места, проверяя, выполняются ли распоряжения о помощи Магнитке.

Спустя год Серго приехал на Магнитку. В цеху (Г. И. работал тогда мастером домны) его знакомят с ним. «Да мы знакомы! Герасимов! Конечно, знакомы! Здорово, Герасимов!»

(Герасимов Г. И.) Вначале не умели работать на домне. Скрап достигал кранов. Хламу тьма. Домну обслуживало 50 человек. Работа была архитрудная. Питьевой воды не было, люди напивались из шланга, работавшего для охлаждения домны, окатывали себя водой — от жары. Было несколько старых мастеров, крупных специалистов. Ус, например, Фищенко. Они закрывали и открывали летку вручную. Когда появилась пушка Брозиуса, они не хотели ее применять. За применение пушки трех горновых, в том числе Г. И., премировали полными кожаными костюмами: сапоги, штаны, куртку, фуражку. В 34 г. Серго подарил им по автомашине — «газику». Американцы возражали против темпа пуска и освоения. Они твердили, что без опыта нельзя ее освоить так быстро, нужно время, время.

(Точно узнать все перипетии работы домен.)

Отец (рассказ). Старик вдовец женился, и его сын от первого брака был фактически выгнан из дому. Сыну было 15 лет. Он приехал на Магнитку, кончил ФЗО, стал работать. Работал хорошо, всем нравился светлым нравом и умом, стал выдающимся рабочим, ударником на стройке, затем сталеваром, мастером. Ему подарили машину, построили дом со всеми удобствами. Он женился, завел хорошую семью, семеро детей. О нем писали газеты. Все эти годы он посылал отцу 250 руб. в месяц. Пригласил отца в гости. Отец приехал, с месяц пожил. Его возили на рыбалку, угощали, сын, счастливый от встречи после долгой разлуки, водил его по гостям. Когда отец уехал, сыну прибыла судебная повестка на алименты. Суд присудил отцу 50 руб. в месяц (из-за многодетности сына).

Надо в pandan к «Ленину в Разливе» написать повестушку «Сталин на Рице», в которой изобразить приезд И. В. на озеро Рицу, на свою дачу, его мысли, его окружение, атмосферу вокруг, историю создания так называемого «Комбината оз. Рица». Рядом с «Лениным в Разливе» это будет равно шекспировской драме по контрастам, величию и дыханию века. Там могут быть воспоминания о Ленине в Разливе. Написать?

Приехал негр-инженер, поселился в Соцгороде, но американцы запротестовали, и его перевели в дом на 11 уч[асток]. Ее <врача> однажды позвали к нему (он заболел). Он удивился, увидев белую женщину, и спросил, знала ли она, куда идет? Она сказала, что, конечно, знала. Он повторил, знала ли она, что он негр? «Да, знала». Он удивился, потом сказал с грустью: «Мне придется отсюда уехать». Она возразила: «Что вы! Мы к вам относимся с уважением, у нас нет расизма». <...>

<4.4.1958 г.>

3 апреля, вчера, провел весь день с управляющим треста «Магнитострой» Л. Г. Анкудиновым. Это было интересно. Мы посмотрели строительство аглофабрики, туннеля для отвода русла речки Башик (она мешает строительству коксохима) и слябинга. Потом я побывал на приеме его. <...> Как разнообразны люди! Анкудинов очень умен и спокоен, приветлив, нетороплив. Решения принимает безошибочно-правильные, разбирается в людях. <...>

<2-я половина 1958 г.>

«Забвение великих, коренных соображений из-за минутных интересов дня, погоня за минутным успехом и борьба из-за них без учета дальнейших последствий, принесение будущего движения в жертву настоящему» (особенности оппортунизма, указанные Энгельсом).

<2-я половина 1958 г.>

РАССКАЗ «ДВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ»

Дормаков, бывший председатель Петровского райисполкома Ярославской области, встречается с Бубновым, бывшим директором МТС. Оба теперь — председатели колхозов соседних. Оба — замечательные, но больные и пожилые люди, чистые до самопожертвования. Подводят итоги соревнования и жалуются, что в колхозах обоих нет должной замены. Сессия райсовета. Совместная прогулка обоих председателей. Доброе и ревнивое отношение друг к другу.

<1959 г.>

МОЯ ЖИЗНЬ

Все, что я расскажу в этих автобиографических заметках,— прежде всего правда, хотя и не вся правда, но и ничего, кроме правды. Еще точнее будет сказать, что здесь — правда в том виде, как воспринимал ее я — т. е. определенный человек, имеющий данные ему границы опыта, разума и интуиции. Это относится к любой автобиографии, но я хочу это тем более оговорить, что почти вся жизнь моя казалась мне грезой, вся она проходила в некоем тумане, похожем на очень, правда, прозрачную, родильную плевру, которой я, казалось мне, был окутан. (Или, м. б., напротив — весь мир казался мне окутанным таким образом, а я находился как бы за прозрачной его гранью.) Затрудняюсь сказать, свойственно ли такое ощущение мне одному, или оно общий удел всех людей, или по

меньшей мере людей, занимающихся художественным творчеством, или, наконец, людей, живших в тех условиях, в которых жил я. Не знаю. Но так или иначе, я ощущал все окружающее, как жгуче-любопытную, вязкую, не совсем реальную среду, в которой я временно действую и мыслю, а затем... что затем? В юности мне казалось самым ясным образом, что вскоре я прорву эту родильную плевру, и все станет подлинным, что вся прожитая жизнь — черновик, набросок к чему-то более высокому, совершенному и уже взаправдашнему. Теперь же, когда выяснилось, что черновик это или не черновик — но это и есть *все*, ты начинаешь с пристальным интересом изучать это все — не потому, что ты оцениваешь, смиряясь, свою жизнь выше, чем раньше, а потому, что она — единственная.

В этом и цель этих записок — изучение, осмысление собственной, плохо изученной ранее жизни. Могут ли такие записки вообще иметь цель? Могут ли они принести пользу? Я сомневаюсь в этом. Какую имели цель и принесли пользу «Поэзия и правда» Гете, «Исповедь» Руссо, «Признания» Гейне, «Былое и думы» Герцена, «История моего современника» Короленко? К тому же все эти произведения, написанные искусно и довольно искренне,— еще не искусство, а полуфабрикат искусства. (Эту мысль надо развить.)

Они были интересны потому, что интересны были нам их авторы, выражавшие свое время наиболее ярко, почему они и были для нас интересны. Самое реальное время, прошедшее и не оставившее по себе письменных памятников, становится нереальным, перестает существовать. В этом — высшая реальность литературы. Литература — это та иголочка, которая пишет на пленке волнистую линию, отражающую идущую рядом мелодию. Если эту иголочку на минуту снять, то музыка не прекратится, она останется той же реальностью, она будет существовать, звуковые волны разной длины будут по-прежнему вырастать и сокращаться, но на пленке окажется тихий пробел, и музыка канет в вечность,— в великую яму, подобную той, в которую канули бесчисленные времена, не имевшие письменности.

Более того — не только времена, но и пространства. Ибо страны или области, реально существующие на карте и по сие время, но записанные только в конституциях и законоположениях, а не в произведениях литературы, являются как бы не существовавшими для человечества. С этой точки зрения Древняя Греция — гораздо большая реальность, чем Греция современная; Донская область, описанная Шолоховым в его романе, в сто раз реальнее, чем не менее реальный и в сто раз больший по размерам Красноярский край, а Смоленская область, благодаря поэзии Твардовского,— в сто раз реальнее соседней с ней Калужской, хотя вообще-то эта последняя ничуть не хуже первой.

Так как нынешнее время необычайно осложнено потрясающим изобилием вещей и понятий — изобилием, не сравнимым ни с какой эпохой, то отражение этого времени становится для одного человека задачей непосильной. Золя еще недавно сумел — хуже или лучше — отразить в труде своей жизни Францию трех десятилетий, во всем многообразии стоявших перед ней проблем. Я тоже пытаюсь и буду пытаться это делать, но это необычайно трудно. Ведь мы, столь же сыновья, сколь и невольники своей исторической поры, лишены возможности оценить ее во всем ее многообразии, т. е. в связи с прошлым, так как оно быстро и безвозвратно ушло, и с будущим — так как оно никогда еще не было столь неясно. По сути дела самыми большими реалистами оказались авторы фантастических романов. Мне представляется, что мир наш живет в атмосфере романов Уэллса — писателя великого и не вполне оцененного. Но фантастическая пора, какую мы переживаем, перегружена таким обилием подробностей человеческого быта, переход в новую эру столь неравномерен в разных местностях и даже в соседних домах, что художник поневоле останавливается в отчаянии перед задачей отражения действительности. Помимо того действительность переходных эпох вовсе не желает быть объективно познанной и отраженной. Она сопротивляется объективному познанию, она не хочет и страшится его. Она диктует художнику свою волю быть прикрашенной и подлакированной. Она как бы пугается быть изображенной правдиво, не без оснований полагая, что увидит Вия с железными веками и встретится с его взглядом. Она боится частного и стремится к общему. Иначе говоря, она оказывается ярым противником искусства. Каждый художник, т. о., не может не быть в разладе с ней.

Этот разлад не может не углубляться с каждым часом. Конфликт может кончиться только нравственной смертью художника, т. е. полным или частичным его отказом от своего максимума — либо его физической смертью.

Отказ от максимума равен отказу от искусства.

При этих условиях художник приходит к мысли об «исповеди», или, говоря на современный лад, к мысли об автобиографических заметках. Если разобраться в окружающем его бурно изменяющемся мире и отразить его так трудно, то не попробовать ли разобраться в своем маленьком мирке, чтобы, отразив его по мере сил, охватить и окружающее. Это — способ несовершенный, верно. Капля морская состоит из той же материи и мыслит так же, как и океан. Но требуется немало воображения, чтобы по этой капле воссоздать огромную толщу океана. Но поэт, может быть, не простая капля? Он надеется на это. И он идет на создание полуфабриката, не являющегося еще искусством, ради правды. Шекспир, Толстой, Данте, Пушкин — это искусство. Он отказывается от жадного стремления стать ими — ради правды. Он готов сойти на нет, стать удобрением для будущих Шекспиров и Толстых — ради правды.

I

Каждому молодому человеку жизнь его кажется вполне заурядной как потому, что он все время находится в предвкушении и ожидании чудес, так и потому, что даже если с ним и случаются чудеса, то он этого не сознает, ибо все, что с ним случается, поскольку это случается именно с ним, человеком, которого сам он так хорошо знает (вернее, думает, что знает) и к внутреннему миру которого привык, не имея еще возможности и способности поглядеть на себя со стороны, кажется ему обыкновенным и рядовым. Такими же заурядными, рядовыми кажутся ему окружающие люди, главным образом родные и родственники, так как они привычны, представляются ему существовавшими от века, предопределенными заранее, тем более, что он еще не способен их сравнивать с другими людьми.

Отец мой был человеком незаурядным и замечательным.

<1959 г.>

МИФЫ КЛАССИЧЕСКОЙ ДРЕВНОСТИ

Повесть

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Дорога шла в гору. Старик еле тащился. Он устал и был голоден, вполголоса бранился самыми уродливыми ругательствами полуострова, какие только слышал за свою долгую жизнь. Поистине он испытывал облегчение и удовольствие, произнося их на жаргоне невольников и мелочных торговцев. Его уста, привыкшие петь перед царями и на многолюдных ристалищах или шумных торжищах торжественные песни, приводившие в трепет и исторгавшие слезы, как будто отдыхали на площадных выражениях боли и ненависти, облеченных в необыкновенно бесстыдные, но не лишенные изощренной наблюдательности образы.

Хотя брань была на его устах, но в голове всё время проносились возвышенные и торжественные картины и теснились красивые и громкие слова богослужебных песен, старинных од и легенд. Эти образы и слова всё время, нередко и во сне, клубились у него внутри, иногда потрясая его и вызывая слезы на его глаза. В одиночестве своего жилья он повторял их вслух, варьируя и находя новые, более сильные выражения. Иногда ему так нравилось то, что он пел своим надтреснутым, но еще сильным голосом, что он плакал от гордости за свой дар, данный ему бессмертными богами, потом долго кашлял, сморкался и проклинал свою старость.

В последние годы он жил очень одиноко. Он стал ненавидеть общество людей, шум, ими производимый, причинял ему боль в ушах. Но нужда в зерне, мясе и вине выгоняла его из хижины на побережье и заставляла идти на пиры к царям, на храмовые праздники и сборища царских дружин. Он пел им свои песни, бряцая на лире. Его глаза, устремленные вдаль, слезились, но в наиболее выигрышных местах своих песнопений голос его крепчал, лира громко звенела, седая редкая борода топорщилась. Нет, более молодые рапсоды не могли с ним сравниться и понимали это. Они думали, что ему помогают темные силы, Ор, покрови-

тель человеконенавистников, и Луна, покровительница ночи. Старик мешал им, его пение и вариации старых песнопений вызывали их зависть. Они заискивали перед ним. Приносили иногда в его хижину лепешки и вино и просили учить их. Он никак не мог им объяснить, что ему нечему их учить, что всё его умение от него не зависит, что его вдохновение — божий дар. Они не верили ему и сердились. Он отбивал у них слушателей. Народ, забывший его подлинное имя, звал его Стариком, и, видя его, кланялся ему, и кричал на праздниках:

— Старика сюда! Пусть поет Старик!

Если бы ноги его были покрепче, он бы жил хорошо. На голос он не жаловался, и голова служила ему отлично. Память у него была удивительная, пугавшая его самого. Он вспоминал изречения, произнесенные кем-то лет 70 назад, вдруг ему со всей точностью представлялась девчонка, виденная пятьдесят лет назад у подножья городской стены, поворот ее стройного тела и жест ее руки. В его лысой небольшой голове гнездились старые песни, множество слов и картин, и он, глядя в воды заливчика, возле которого жил, ощупывал свою голову и удивлялся ее малым размерам.

Жена его умерла очень давно, и рабыня, оставшаяся в их доме, спала с ним, а утром плела сети для рыбаков побережья. Но и она умерла давно. Иногда его посещала нищенка Ая, не умевшая говорить, хотя ей было уже лет двадцать, и вообще ничего не умевшая. Люди считали ее святой, она иногда ревела, как осел, ее глаза закатывались, и она падала оземь. Все говорили, что она разговаривает с богами и отмечена ими. Приходя к Старику, она снимала с себя грязный мешок и делала то единственное, что умела. Он играл ей потом на лире и пел, и она обнимала его колени и падала перед ним ниц, как перед богом. Они ели лепешки из зерна, которое он разбивал каменным пестом в бронзовой посудине, и пили кислое вино. Потом она исчезала. Когда же он начинал тосковать о ней, о ее сильно пахнущем маленьком нечистом теле, она появлялась. Он удивлялся ее далекому чутью и сложил песню о ней, которая начиналась так: «Где бы ты ни была, на земле или на небе, на траве луга или на берегу реки, ты всегда знаешь, когда я жду тебя. Ты приходишь тогда, когда я жду тебя. Когда я не жду тебя, тебя нет. Ты как мысль моя. Человек ли ты?»

В последнее время Старик купил мальчика. Это был маленький смуглый раб, захваченный среди других царем Ниодаты у соседнего царя. Он говорил на языке, близком языку Старика, но с другим произношением гласных. Он слышал о Старике раньше — Старик ходил по всему полуострову, цари покровительствовали ему. Он вначале не поверил, что попал в рабы к Старому Певцу, тем более, что старик был вздорный и слабый и ругался вполголоса, а однажды к нему пришла немая девушка, и мальчик считал, что не может быть, чтобы старый певец, гордость полуострова, был как все другие старики. Мальчик сам пел и сочинял гимны. Но однажды, выйдя со Стариком в дорогу, он пришел с ним в колонию на побережье, и это было в праздник <*неразб.*> виноградной лозы, Газелы. И все ходили пьяные, и жрицы Газелы, голые, бегали по городу, в венках из виноградных листьев, облитые вином и блюющие на перекрестках. Этот культ был полузапрещен недобрым царем Ниодаты и жрецами верховного бога Атума. Женщины бунтовали против запрета, лишавшего их старинного права: в этот день пить без меры и отдаваться любому мужчине, кроме чужеземцев: за любовь с чужеземцами женщину закапывали в родную землю живой, чтобы она поняла, что делает родная земля с изменившими ей.

<К РОМАНУ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»>

1 мая 1941 (или 1938?)

Егор Кузьмич вдруг решил пойти на парад. «Хоть раз одним глазком поглядеть». Наденька нажала на мужа, и он достал ему билет, что было непростым делом: он сказал в МК, что старик — отец жены. Старик немного устал, демонстрацию смотреть не стал, вышел вместе с Надей по набережной к дому правительства и здесь, в Надиной квартире, уселся в кресло. Но он не спал. Он сидел и думал, его светлые глазки были устремлены вдаль, а тонкогубый рот кривился в улыбке под редкими усами.

Приготовив стол — Карпухин кого-то пригласил обедать,— Надя села возле Егора Кузьмича и, взглянув на

его странно улыбающееся и какое-то просветленное и довольное лицо, спросила: «Что, понравилось?» Его улыбка стала еще светлее и блаженней, и он поманил к себе Наденьку пальцем, и сказал ей на ухо одно короткое слово, которое она вначале не разобрала.

— Что? — спросила она, недоумевая. Он сказал так же шепотом, но яснее:

— Царь.

Теперь она расслышала, но ничего не поняла.

— Как? — спросила она.

— Царь,— повторил он твердо и торжествующе и тихо-тихо, как-то удовлетворенно рассмеялся.

(Во время парада он находился близко к Мавзолею. Сталин появился внизу. Он шел позади трибун, один, с утиной хозяйской переваλочкой,— в белом костюме и черных хромовых сапожках. Позади, на почтительном расстоянии, шли Молотов, Калинин, Каганович, Ворошилов, Берия, Микоян, Хрущев и еще люди, незнакомые. Сталин исчез за Мавзолеем, затем появился наверху, раздались аплодисменты. Он подошел к краю и помахал рукой, странно перебирая пальцами, затем перешел к другому краю и помахал рукой.

Егор Кузьмич, вначале настроенный чуть насмешливо, стал серьезен и торжествен. Раздался бой часов на Спасской башне, и в то же мгновение оттуда выехал на коне маршал Тимошенко. Крики «ура!» раздались по площади. Сталин стоял и со спокойной свирепостью посматривал то вправо, то влево,— единственный человек, чувствовавший себя независимо и спокойно. Вскоре заморосил дождик, и Егор Кузьмич увидел, как два генерала — два! — поднесли Сталину серый плащ и надели на него. Мимо трибун проходили грозные четырехугольники военных академий, затем войска — зеленый квадрат пограничников, матросский отряд в белых перчатках с штыками, красные пехотинцы, черные — техники.

Надя между тем, привыкшая к этому зрелищу, негромко болтала с соседкой — женой наркома лесной промышленности и народной артисткой Талановой о школьных делах детей и о предстоящих поездках на курорт. Но Егор Кузьмич не слышал ничего. Он смотрел на Сталина неотрывно. Домой он шел задумчивый и тихий.)

Надя воскликнула:

— Правильно, Егор Кузьмич! Сразу видать умного человека! И я так моему дураку говорю. Царь — и все тут! Царь и есть! У, чтоб ему.

Егор Кузьмич приложил тонкие старческие пальцы к губам:

— Не шуми, Наденка... Царь России нужен. Без царя на Руси плохо. Конечно, жалко, что не русский. А ежели подумать, то и наши исконные цари больше все немцы да немкини.

Вскоре собрались гости. Нарком легкой промышленности РСФСР умильно сказал:

— Хорошо выглядит И. В., настроение, видно, хорошее...

Надюша и Егор Кузьмич переглянулись и улыбнулись друг другу.

Понемногу Федя начинает вспоминать о своей семье и доме по-иному, все-таки дом был тылом, фундаментом — тылом для «отступления», «резервным полком», он придавал Феде уверенность; фундаментом его успехов, его роста. Оттуда, из этого дома, веяло спокойным запахом печеного хлеба, кваса; треск древоточца — как мелодия спокойствия и основательности.

То обстоятельство, что воображение, как и сознание, отстало от знания, что квантовую теорию, скажем, можно только знать, но нельзя себе вообразить, таит в себе великую опасность для человечества.

Ум, разум, ratio, интеллект становится чересчур высоко над чувством (или душой, как это называли в старину), и это чревато бесчувствием, бездушием. Разум, вышедший из-под контроля чувств,— великий тиран.

Чувства, вышедшие из-под контроля разума, способны многое разрушить. Разум, вышедший из-под контроля чувств, способен уничтожить вселенную.

В 1-й части на вечере шефства даются ощущения Феди по поводу всего, что он видит и слышит. Во 2-й части даются ощущения Володи Ловейко на том же вечере по поводу того же самого; в подходе каждого из

них — сущность их социального положения, характера и психологии. (Этот метод — показывать одно и то же через разных людей — кажется мне очень новым и полным больших возможностей.)

Не только разные люди. Одни и те же люди видят одно и то же, но в разное время, например, в молодости и позже — по-разному и по-разному оценивают. Это в большом романе необходимо показать — в этом диалектика применительно к художественному изображению человека. Это — не фокус, не манера, а жизнь.

<Без даты.>

Развитие капитализма в экономике было прервано пролетарской революцией. В быту капитализм победил. Все попытки покончить с буржуазным бытом не удались: коммуны, общие кухни и т. д. Социализм строился людьми, погрязшими целиком в буржуазных нравах и мещанском быте (или нищете). Люди старого мира [в большинстве своем не желая этого (каждый в отдельности)] строили новый мир. Конечно, это было бы невозможно, без ощущения правоты дела большевиков и без убежденности в справедливости ленинизма даже у остальных людей.

Политика — высшая страсть человечества в XX веке (в России во всяком случае).

Дощатые подмостки трибун с высокими крутыми лестницами, целиком затянутые красной материей; а внизу, под ними, в темных, пахнущих свежей сосной переплетениях досок и брусков — дети революционеров.

(Ловейко.)

Трибуны, на которых чувствуешь себя властителем душ миллионов, с которых хочется говорить, кричать, призывать людей идти вперед, все время находясь здесь, вокруг. Хочется, чтобы миллионы проходили мимо, бесконечно уходя к счастью и борьбе, путями указанными тобой.

Трибуны, — на которых чувствуешь себя великим, — ликующим и погибающим за человечество.

Она смотрит на ораторшу и думает, замирая и ликуя: что нужно совершить, какие огни и воды надо пройти, чтобы завоевать право вот так стоять на трибуне и обращаться к народу с такой силой и уверенностью.

Гениальность — это повышенное чувство правды, страсть к правде при умении выразить эту страсть в чем-либо: в вещах или поступках.

«Да, мы расплодим большую интеллигенцию, знающую свое дело, но не дюже интеллигентскую, и от нее будет пахнуть деревней и полустанком, и она будет знать технику и математику, но не будет разбираться в скульптуре и поэзии, ибо все будет делаться быстро — иначе нельзя».

<Ялта, декабрь 1958 г. — январь 1959 г.>

Удивительный собеседник К. Г. Паустовский. Необыкновенно внимательно слушает и прелестно рассказывает. В его устах самые обыкновенные истории умеют звучать необыкновенно. Он чуть-чуть преувеличивает, описания его скупы и выразительны. Все, касающееся себя, он обходит, очень скромен. (Болезнь свою, тяжелую астму, он переносит с большим мужеством.)

10.I.59 г., Ялта.

Немыслимо, как боязнь высоты у птицы и как боязнь темноты у крота. (О Феде? «Он чувствовал себя так, как может чувствовать себя птица, заболевшая боязнью высоты, или крот, заболевший боязнью темноты».)

Для естественности повествования нужно, в сущности, одно: чтобы действующие лица ничего не знали об авторском замысле.

13.I.59 г., Ялта.

В XX веке происходит реформа прозы, которая заключается в приближении прозы к драме. Все происходит на сцене и узнается от действующих лиц. Описа-

ния природы и ощущений. Несколько расширенные (и то не всегда) ремарки. Это — вовсе не «объективизм», а просто приближение к драме. (Бывают драмы-монологи. Таков Пруст.)

Причины реформы: расширение культуры вширь и углубление ее, расцвет критического мышления, не сотен, а миллионов людей, стремление людей учиться быть самостоятельными и иметь самим суждение о событиях и характерах; ненависть к насилию, совершенному автором, к авторскому произволу, недоверие к автору. Ты нам расскажи и покажи, а выводы мы сделаем сами. Писатель должен учитывать это. И это вовсе не значит, что он перестает быть тенденциозным. Быть нетенденциозным нельзя, но тенденция выражается через отбор того или иного матерьяла, (утончается) через сюжет, замысел, характеристику лиц, она не навязчива, хотя добивается своих целей не хуже, чем «насилие» над читателем по способу Диккенса или Бальзака. Новый роман, новая проза — заслуги Стендаля и русских писателей XIX в.— Толстого, Чехова, Достоевского; писатель не доказывает, а показывает или в крайнем случае рассказывает. Своим рассказом он доказывает.

14.I.59 г., Ялта.

Как многообразна жизнь! Поистине нету неинтересных биографий — даже если самому человеку его биография кажется неинтересной.

28.IV.59.

КНИГА ПЕРВАЯ

1. Собрание.
1а. Появление Нади. Рассказ Нади. Еремеев (ОДВА).
2. Туголуковы; старший — буфетчик; сыновья, дочери; «сиротка». Масленица.
3. Чистка партии.
4. Совещание-шефство над совхозом и р-ном сплошной коллективизации.
5. Поиски Ланского (?)
6. Вечер у Караваевых: Маяковский, Б. Л., секретарь Нижне-Волжского крайкома, Смольянинов, промакадемия, профессор ИКП (хозяин?), Олег, Либерман,

Маша Караваева, редактор, вторая жена, первая жена хозяина.
7. Заседание бюро ячейки ВЛКСМ.
8. Федя и Олег идут на чистку Каратаева. Чистка.
9. Заседание бюро ячейки.
10. Федя и Маша.
11. Надя у Еремеева в гост[инице]. ЦДКА.
12. Еремеев в Кремле. Получение ордена. Отъезд.
13. Надя и Туголуков. Сухаревка. Продажа вещей (золотые десятки под банькой).
14. Ник., Макар, Екат. Тимоф. и др.— поездка в Сибирь.
15. Федя. 14 апреля. Решение. Встреча с Ловейко.

КНИГА ВТОРАЯ

1. Ловейко.

28.IV.59.

В большой вещи — главное: полюбить все части ее, все ее «атмосферы», всех ее людей равно. Пока не полюбишь — не пиши (данный раздел, или часть, или человека).

Снова обычное перепутье перед началом большой работы: заготовок и замыслов много, одновременно делать их, к сожалению, невозможно, надо выбрать:

1) Роман!!! Сделано. 2) Кончить «Отец» (при хорошей работе — три дня, при средней — две недели). Сделано. 3) Кончить «При свете дня» (две недели — при средней работе).
4) Статья о Менерте (три хороших дня работы).
5) Кончить «Крик о помощи» (месяц работы, если работать).
6) Написать «Иностранную коллегию» (2—3 месяца работы, из них неделя в Одессе).
7) «Рица» (два месяца работы, из них неделя в Рице).
8) Окончить «Мифы классической древности» (три недели хорошей работы).
9) Окончить «Михаила Калганова» — чудесная вещь

«в стол», но чудесная, сильнее «Двое в степи» (месяц работы).

(Еще не говорено об окончании «Моцарта» — месяц нормальной работы — и многом другом, что задумано или начато.)

Все интересно. Все — легко. Все — трудно. Все — нужно. (И все без курева, а живот побаливает.)

Не разработаны вопросы этики. Тотальное подчинение личного общему привело к некоторому забвению личного, в т. ч. амнистированы (до некоторой степени) личные недостатки людей. («Какое дело до личных недостатков, если они не вредят делу?» Как будто э т о м у делу личные недостатки могут не вредить?!) Этим обстоятельством пользовались некоторые людишки (можно делать все, что угодно, если не попадаться). Это обстоятельство, с другой стороны, развивало ханжеское лицемерие особого рода. <...>

<6—12.5.1959 г., Москва, больница № 60.>

<К РОМАНУ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»>

Все звали Зину «Корабельникова». Она звала и себя часто в третьем лице: «Корабельникова», или «товарищ Корабельникова», а мужа — «Ловейко». Он ее тоже звал — «Корабельникова». Только у его постели, когда он умирал от раны, она крикнула, как простая баба: «Гришенька, родненький, на кого ты нас...» И у него показались в глазах слезы.

Господи, как трудно мне писать, видя, что 99% читателей не ощущают сильной потребности в том, что я хочу писать. (Для того, чтобы они ощутили эту потребность нужно, может быть, только, чтобы они прочитали то, что я напишу?)

Да минет меня чаша сия.

Федя ловит себя на нехороших мыслях и думает о себе со злорадством: «Ну, что еще от сына кулака можно требовать!», «Сразу видно — кулацкий сын!» и т. д.

Значительно позднее он понял (или подумал), что если бы он жил в разладе с окружающей жизнью, если бы у него была другая программа, другие общественные взгляды и устремления, чем те, что были ведущими в окружающем обществе, он нашел бы в себе и смелость, и силу, и волю, смог бы себя противопоставить силе и воле других. Все дело было в том, что он полностью разделял с окружающим обществом все его воззрения на цели и даже методы. И если продолжить этот разговор и довести его до логического конца, то с ним можно было все это проделать — т. е. обездолить, лишить собственной участи, призвания, оторвать от друзей, посадить и т. д. потому только, что он был сам сторонником этих методов в отношении других людей; по сути он расходился с теми, кто обездолил его, только в том смысле, что считал, что он не тот объект, — вот и все, что он, если необходимо, мог бы сам все это делать и делал бы не хуже чем те, кто делал. Наковальня не считала, что молот неправ, она просто сама хотела быть молотом (не в этом ли причина той легкости, с какой удалось провести все те «мероприятия»?).

13.V.59.

Сегодня три года, как застрелился А. А. Фадеев. Время прошло быстро, хотя в этом промежутке многое произошло. Ровно два года назад мы были (перед третьим пленумом правления) в ЦК, и после этого многозначительного собрания отправились с Твардовским, Маршаком и Овечкиным на кладбище к могиле Фадеева.

Год назад в это время я был в Магнитогорске.

Работается очень слабо — не потому, что я в больнице (опять вспоминается Фадеев, который любил работать в больнице и писать оттуда письма), а потому, что я ступаю по нехоженым тропам. На них не только западни, все это тонко сплетенная западня и напоминает тот лес, в который Данте вступил в первой песне «Божественной комедии». Там его подстерегали пестрая пантера, лев и волчица. Под пантерой он, кажется, подразумевал родную мать — мачеху Флоренцию, под львом — французского короля, под волчицей — римского папу. Его выручил от этих суровых зверей Вергилий, великий предшественник, олицетворение по-

эзии, искусства. Как интересно, что в начале XIV века Данте, теолог и схоласт, избрал своим путеводителем языческого поэта, хотя бы и предсказавшего якобы пришествие Христа в своей Энеиде. Кого избрать мне своим путеводителем? Кто спасет меня от пантер, львов и волчиц современности?

(Может быть, я пишу слишком в лоб, слишком правдиво, реалистически в самом ясном и единственно для меня приемлемом смысле этого слова, запутанном усилиями обманщиков и глупцов.) Бедный изгнанник мог довольствоваться иллюзорным покровительством древнего поэта, потому что находился под реальным покровительством какого-нибудь более или менее крупного феодала — в Равенне или еще где-нибудь.

<13 — 22.5.1959 г., Москва, больница № 60.>

Меня утешает богатство моих ассоциаций. Стоит о чем-то начать думать или писать, как начинается густое истечение мыслей и воспоминаний.

Даже в том урезанном виде, в каком я пишу свой роман, замысел его крупнее «В[ойны] и м[ира]». Время действия 20 лет, описываемые общественные слои не ограничиваются одним сословием, а распространяются на все классы; быт, не установившийся столетиями, а ломающийся, рвущийся по всем швам, переходный, неустойчивый, катастрофический; на кону стоит гораздо больше и т. д.

Конечно, роман должен был бы, вероятно, охватить время от 1916 до 1956 года (по крайней мере 40 лет! — но каких 40 лет! (Это не Самгин, а в «Войны и мира»), — но это вряд ли под силу одному человеку, если вести с обстоятельностью подлинной прозы, и если писать один роман, а не серию, наподобие Б[альзака] или Золя. Второе, думается, в 15 раз легче. Вернее, это под силу, но это задача всей жизни. Гражданская же война — вот для меня камень преткновения. Я очень любил ее — это время — раньше, а в последнее время как-то разлюбил. Видимо, это просто нежелание писать историческое, я писатель современный. Конец двадцатых годов и тридцатые — это уже современность, моя биография. А о гражданской войне тоже еще нет

ничего многообъемлющего; затронуты, в сущности, только ее периферия — ДВК, Дон; вот что значит такая мелочь как географическое местонахождение того или иного писателя.

<13.V.—23.V.1959 г.>

<К РОМАНУ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»>

Г[од] р[ождения] 1923 (7 лет в 1930 году). Александр (Саня) Ошкуркин (сын Макара и Поли) — в 1942 году стоит на аэродроме в почетном карауле (уезжает Черчилль). Черчилль идет вдоль строя и пристально, подчеркнуто пристально глядит каждому солдату в глаза. Что хочет он узнать? Что стремился он выведать в глазах советских солдат, этот толстый, старый человек? Этот великий капитан уходящего старого мира? Потом многие толковали об этом и приписывали ему все, что угодно. На самом деле, Черчилль был писателем, и ему было просто интересно, чем живут эти молодые люди? Действительно ли они способны выстоять, действительно ли ненавидят немцев? Смогут ли они действительно отсосать на себя немецкую гидру и ослабить ее? И что будут делать дальше, как будут жить? Станут ли — и в какой степени — смертельными врагами Великобритании? Глубоко ли в них сидит занесенный с запада марксизм? Пойдут ли они за своими вождями и доколе пойдут? Крепко ли в них исконно русское послушание и скоро ли оно завершится исконно русским же вселенским бунтом? Мудрый, тучный, старый человек пытливо заглянул в глаза, как в душу, Сани Ошкуркина и встретил серую сталь зрачков. Но эта серая сталь была только зрелищем — так должны выглядеть глаза бойца почетного караула. Но за этой сталью было еще много таинственного и тоже мудрого — мудростью молодости, — и старик это понял, и Саша — тоже; более того, Саша понял, что Черчилль это понял, и совершенно неприметная, даже для помкомвзвода, улыбка тронула сурово сжатые губы Саши. Заметил ли эту улыбку Черчилль или нет, но он вдруг как бы обрадовался, его сощуренные глаза оживились, он словно хотел что-то сказать, но тут же перевел глаза на следующего солдата — Пашу Ложкина.

Старик безмерно любопытный, пробивной, проныр-

ливый, но лишенный возможности разговаривать с простыми русскими людьми, вынужденный общаться только с начальством, непроницаемым, <...> он тем не менее как политик и писатель жаждал знать, что же думает обыкновенный простой русский, тот самый, который предназначен не торговаться на дипломатической конференции, а умирать на поле сражения. Он тревожно ловил во взгляде русских юношей судьбу своей возлюбленной империи в ближайшее время и в веках <...>

К 1941 году Федор как будто совсем «обдряб» общественно; семья; любовь к детям и жене; заботы о жизни, ревность, увлечение (возобновившееся) Машей и т. д. Ничего не получилось, но и в этом «ничего» есть свои радости, своя гордость и проч. Но как только началась война, Федор почувствовал себя прежним. Добровольный уход в армию. Москва 41 года. Бои за Москву. Отступление. Наступление. Прием в партию. Рассказ о своей трусости некогда.

Он вообще часто, когда внезапно события, происход[ящие] вдали, потрясали его и наполняли революц[ионным] духом, радовался и удивлялся: «Значит, жизнь еще не угасла во мне? Значит, я еще жив? Я еще человек? Я сильнее обстоятельств?»

Вернусь к «Войне и миру». У него (Л. Т.) между миром и войной — черта резкая. Внешне это так выглядит и у нас. Но если присмотреться — то никакой черты нет. У нас война длится все время...

Трудно требовать от птицы, чтобы она летела навстречу стрелку, и от зайца, чтобы он прогуливался на виду у охотника. А он поступал теперь именно так, именно против одного из сильнейших инстинктов — инстинкта самосохранения,— и хотел, чтобы у него нервы и желудок и сердце были в порядке!

Все, что делается наверху втайне — делается против народа.

Самое трудное в романе — спайки.

От Подлости и Пошлости способно спасти только Презрение. Презрение, спаси нас.

23.5.59, Москва, больница № 60.

Нет, он не дурак. Он просто мыслит на уровне хорошо устроенного сов[етского] обывателя. В его-то положении! Вот в чем весь ужас. Полная путаница в голове. Вперемежку — здравый смысл и детские представления, верное чутье и непонимание элементарных вещей; природная задиристость и демагогия деятеля областного масштаба — и вдруг мысль о своей нынешней роли и в связи с этим — попытки объективности. Отсюда — половинчатость во всем, и в плохом, и в хорошем, нерешительность, принимающая вид решительности, мягкотелая твердость, рефлектирующая прямолинейность, добрые намерения при незнании того, каким образом провести их в жизнь, словом — странная смесь хорошей старой закваски с многолетним развращением в последующий период. Грядка, где густо перемешаны овощи и сорняки. Неуверенность в себе: любовь и преклонение перед Л., и вдруг — тревожная мысль: а что, если С. прав, и людьми можно управлять только дубьем? «Совгамлет».

2.7.59, Железноводск.

У меня чувство, что только теперь начинается моя настоящая литературная жизнь, что все ранее написанное — подготовительный, во многом еще робкий этап. У меня теперь медвежья хватка. Я все могу. Я снова, как во время писания «Сердца друга», начинаю бояться за свою жизнь — не от страха смерти, а от страха не исполнить то, что предначертано.

Взял в библиотеке Салтыкова-Щедрина — еще утром вспомнил его и захотелось почитать <...> Почитал. (Салтыков-Щедрин меня никогда не восхищает, чувство, вызываемое им, сложное, скорее поражает его дар предвидения и понимания России.) <...>

Сделать в Железноводске:

1) «При свете дня».

2) «Отец».

3) В «Рицу» вписывать и думать о ней.

4) Проработать получше Галины записи к «Иностранной коллегии».

Если это удастся, то будет просто чудо как хорошо. «При свете дня»-то я кончу и программу по «Рице»

выполню. Неизвестно только, дойдут ли руки до «Отца». Да и не очень к нему тянет, хотя кончить-то надо.

<16—19.VII.1959 г., Железноводск.>

Насколько покаяться легче, чем отстаивать свое мнение перед большинством. Принуждение к покаянию отвечает естественным, но низким потребностям человека. Оно приводит к цинизму.

Сентябрь 1959.
<Больница № 1 им. Пирогова.>

Рано утром все лежат тихо, истомленные ночными страхами и болями, криками и бредом. Людей не видно, только спинки кроватей неподвижно переплетаются в огромном высоком пространстве комнаты, низкие и многозначительные, в своей непонятности похожие на картину абстракциониста.

Потом начинаются разговоры.

Человек с усиками, кричавший всю ночь от боли, рассказывает о голубях:

— У вас в Москве держат там разных чебрашей, почтовых!.. У нас в Семипалатинске такого г.... не держат...

Начинается разговор о голубях. Потом об армии, затем о врачах.

18.X.1959.

Повесть. Русская повесть. Эмиграция С. Эфрона и его жены. Он — еврей, хотя и крещеный, идет отстаивать в общем чуждый ему строй из «рыцарских» соображений, оказывается белогвардейцем, но «левым», эмигрирует в Париж. Следом за ним уезжает из Москвы (легально) М. Ц. Кто она? Ее считают необыкновенно развратной, не понимая, что просто она — поэтесса, и то, что другие думают, о чем мечтают, что делают, она вынуждена в силу своего ремесла высказывать вслух, да еще в рифму. Природа этого огромного таланта. Волошины. Вражда Брюсова. Ее двойственность, тройственность. Любовь к Маяковскому и Блоку. Понимание блоковских «12-ти» и его позиции вообще. Но — долг, но бред о полячке Марине, потомке шляхтичей, красиво, но бессмысленно умиравших. Но лепет о

боярынях в тереме, но темнота московских переулков и нищета и кровь молодой Республики, но невозможность для нас в то время нянчиться с непонимающими и юродивыми (да и вообще, и позже отсутствие гибкости) — она уезжает. (Рейснер пытается удержать, но недостаточно настойчиво.) Раскольников. В Париже она вскоре понимает, что ни Ник[олай] Ник[олаевич], ни Кирилл, никто не может возглавить Россию — только Ленин. Новые вехи. Встречи с приезжавшими из России. 20-е, тридцатые. Шаляпин. Горький. Ходасевич. Бунин. Ее неприспособленность и надмирность. Мощь ее стихов. Встречи с Маяковским. Рождение дочки, затем сына. Создание поэм <...> Они бедствуют <...> Новые приезжие из России. Невозвращенцы. Левение эмиграции. Правение новой эмиграции. Буржуи восхищаются, коммунисты проклинают (Раскольников). Испания. Поле сражения и учебный полигон. Антифашизм. Он и дочь в Испании. Борьба. Анархисты, троцкисты, коммунисты, Хемингуэй, Кольцов, Эренбург. Пасионария. Диас. Л. Кабальеро. Присто дель Вайо. Русские летчики. Интербригады. V полк. V колонна. Конец. Горечь поражения и предчувствие победы. Возвращение в Россию («Горе и предчувствие радости»). Прага. Захват Чехословакии. (Она с сыном.) Едут в Россию, чтобы бежать от фашизма. Арест его и дочери. В то же время другие, белые монархисты, приняты хорошо. Приезд. ССП. Фадеев и другие. Пастернак, Асеев. Головенченко. Переводы. Сын — художник. Голицино, зима 1940/41 года. Война. «Лучше бы мне быть на месте Маяковского, а ему на моем месте». У нее были стихи о Чехии, но она не давала никому. Она ждала, что ее позовут. Неумение руководить хозяйством. Близость войны. Растерянность <...> Эвакуация. Жизнь в Чистополе. Сын. Его ненависть, его ужас, его детская жестокость. Пастернак, Асеев. «На почве болотной и зыбкой». Недоверие, небрежность, наплевательское отношение к одному человеку, непонимание важности одного человека, каждого человека, к тому же таланта. (Это скажется позднее в истории с «Живаго» и в ее последствиях.) После ее самоубийства в Елабуге, сына забирают в армию и убивают в первом же бою, наповал, — мальчика, счастливого принадлежностью к коллективу (и все-таки не любимого коллективом? или любимого солдатами?).

Сам Эфрон умер в тюрьме. Одна дочь, прошедши огонь и воду, вернулась, измученная и мудрая, и добрая, и несчастная. Такова судьба одной семьи, одна из биографий XX века, изобилующая невероятными биографиями <...> «До крови кроил наш век-закройщик».

Каждый человек в отдельности — большой, сложный и драгоценный мир, если же у него талант — то тем более он сложен, драгоценен и единствен.

20.X.59.

Если бы я верил в бога, я бы обратил к нему следующую молитву: «Дай мне сил быть жестоким и непримиримым ко всем мерзостям, созданным тобой. Дай мне сил отдать последнюю рубашку страдальцам, созданным тобой. Дай мне простодушие в сношениях с угнетенными, дай мне коварство в сношениях с угнетателями. Дай мне сил делать свое дело без страха и без дерзости».

9.XII.59.

Кажется, типическое не только не всегда сказывается в обыкновенном, но, напротив, сказывается со всей силой только в необыкновенном, в редкостном, в исключительном: Николае Ставрогине и полковнике Шабере, в Таис и деле Джорндайс-Джорндайс, в палате № 6 и истории Хаджи-Мурата, в Тамани и Булычеве, в Гамлете, Фальстафе и Отелло, наконец. (Если верить нашим теоретикам, дочери венецианских сенаторов должны были каждый день влюбляться в негров.)

Жена все время дает советы житейские, основанные на науке: «Пей чай, ты совершенно обезвоженный», «Я сделаю тебе горячую воду, она раскрывает поры, и кожа дышит»... «Помой яблоко и ешь с кожурой, в ней много витаминов», «Не ешь огурцы, в них мало витаминов», «Дыши через нос, там гораздо более сильный фильтр, и пыль не так проходит».

Муж (или подруга) говорит ей: «Маша, не говори научно!» (Тут можно сделать небольшое обобщение насчет широкого, но поверхностного проникновения науки в жизнь.)

<К «МОСКОВСКОЙ ПОВЕСТИ»>

Это был хороший поэт, здорово чувствующий фактуру стиха. Нежность и сила его старых стихов были поразительны. Он тоже приложил свою маленькую, беленькую, хилую ручку к смерти Поливановой. Он боялся ехать на фронт, но не боялся бороться с беззащитной и разбитой женщиной в далеком тылу. Позднее он писал очень красивые и чистые стихи о советской морали. Когда он узнал о смерти Поливановой, он сказал сурово: «Миллионы гибнут сейчас на всех фронтах». Как раз в это время Сталин затеял в Москве создать новый Гимн СССР — национальный гимн взамен «Интернационала»: ликвидация Коминтерна уже была решена. Решено было вызвать в Москву ряд поэтов, в том числе и его. Он, получив вызов «Правительственная», решил, что его посылают на фронт, и написал в ЦК письмо, полное просьб о снисхождении и жалоб на плохое здоровье, старость и т. д. Номер (двойной люкс) в гостинице «Москва» напрасно прождал известного поэта, карточки на полное снабжение по высшей посольской норме (с вином и табачным довольствием: настоящими папиросами «Казбек» в век махорки и филличевого табака) были выданы кому-то другому или присвоены кем-либо. Узнав о своем конфузе, поэт долго ругал себя и стал много плакать, и испуганно оглядывался на улице, и заискивал перед своими собратьями, подозревая, что они знают всю историю, и снова написал письмо, полное подобострастных извинений, и его стихи становились все подхалимистей и хуже, так что даже местная городская газета уже неохотно их печатала. И он думал, что газета неохотно их берет потому, что знает обо всей истории, и плакался перед женой по поводу мстительности, злопамятности и мелочности режима.

В доме пахло печеным хлебом, солодом квасов, салом, сушеными грибами и травами из боковушек и кладовок, деревянным маслом лампадок и керосином стенных ламп. Мебель — из карельской березы двадцатых годов, стулья пудовые, кресла как шарабаны, диваны как струги, комоды — пузатые, шкафы —

медведи. Все грузно давит на крашеные полы, въедается дерево в дерево.

Из коника в сенях, из чуланных створ и западней, из выдвигаемых ящиков и дорожных сундуков сложный дух затхлости.

На окнах — герани, бальзамины, фуксии, в углах — фикусы.

Портреты генералов и архиереев. Ермолов, Дибич, Паскевич-Эриванский, Филарет Московский, Иннокентий Таврический.

Темные картины масляными красками — вероятно, рисованные крепостными из дворовых: Моисей со скрижалями, Отдых св. сына на пути в Египет, молодой Грек, защищающий отца своего, призвание Михаила Романова на царство.

Чириканье сверчка, треск древоточца.

Кремлевская соборная площадка (Ивановская) («Кричи во всю Ивановскую») — в пасхальную ночь. Иллюминации: белые огни на карнизах; прозрачное пламя на древних церквах. Староста Успенского собора — известный присяжный поверенный Ф. Н. Плевако (Федор Никифорович).

Благовест мощный и долгий.

Хорош и властен тяжелый, широкий звук кремлевского колокола-богатыря. Его басовый рев на «С» контроктавы узнается из тысяч колокольных голосов. Серьезный задушевный тон, легкая хрипота от стародавней трещины. Кто стоит на площадке и слушает, как благовестит Иван Великий, другие колокольни Москвы не слышит.

Могучие колокола Христа Спасителя, колокол Софиевской церкви очень полнозвучен, далеко слышен.

Лучшие места для постижения всей пасхальной гармонии сорока сороков — не Кремль, а Тайницкая набережная, или Александровский сад, либо Каменный мост (А. Чехов, великий любитель и знаток колокольной музыки, любил именно Каменный мост). Гул всей Москвы хорошо резонируется рекой.

Колокольный перебой качается в воздухе мерными и широкими размахами, то один, то другой баритонный бас из меди вступает в дело и долго звучит резкими

синкопами, пока не догонит прежние голоса. Издали тявкают голоса мелких замоскворецких церквей. Выход крестного хода из Успенского, Архангельского и Благовещ[енского] соборов. Три процессии с хоругвями. Затор у Арх[ангельского] собора.

Пушечные залпы с Тайницкой башни.

Разошлись домой и по церквам — на куличи и пасхи.

Владимир Соловьев — запоминающееся лицо, апостольская борода, прекрасные глаза, длинные волосы.

Улицу не спеша переходят куры: петух с церковного двора ведет семью кормиться на богатый двор Голяшкиных.

Сергей Аполлонович Скирмунт (его дом, видно, тот, где в последние годы жил Горький). Книгоиздательство «Труд» на Тверской улице. (Любил детей, природу, симфоническую музыку, романы Диккенса, хор, кофе (варил сам). Вегетарьянец. Горбоносый, с высоким лбом, синими глазами, апостольской бородой. Сыщики у его дома, дежурный на лавочке возле дома, ему выносили есть, жалели, звали по имени-отчеству. В 1902 г. арестован, сослан в Олонецкую губ., в 1905 г.— субсидировал «Борьбу», снова арестован, выпущен под залог, уехал в Париж. Горький приезжал с женой и 3-летним сыном из Нижнего, останавливался у Скирмунта.

Мода на Горького: прическа «а-ля Максим Горький», водка «Максимовка»; папиросы.

Братья Хлудовы разгуливали по Кузнецкому с ручной пантерой (70-е годы?).

Дети в башлыках

В дни «тезоименитств» город утопал в трехцветных флагах, на Патриарших прудах, на катке рокотали трубы военного оркестра

Благотворительница Варвара Морозова — строгая, вся в черном, похожая на раскольницу.

Красавица Вострякова в соболях.

Известные кадеты — братья Долгорукие, два бородача богатырского роста.

Бунин — самолюбивый провинциал в дворянском картузе.

Учительница — епархиалка. <...>

Буслаев

Донская улица, церковь Риз-Положения. Наискосок против этой церкви к стороне Калужских ворот выходил длинный забор (вообще в Москве было тогда много длинных заборов); за ним — большой двор, заросший зеленой травой. Налево — каменный дом XVIII в., двухэтажный, с толстыми-претолстыми стенами, окна маленькие, с железными решетками внизу. Наружная дверь — тоже железная, ржавая. К ней поднимались по двум каменным ступенькам, изрытым и истертым донельзя. От двора отделен решеткой большой луг, на нем кое-где высокие деревья столетние. Летом тут паслись три-четыре коровы. Справа — грядки «со всяким овощем», огороженные плетнем. Хозяйка — Наталья Васильевна Кушечнякова (фамилия хороша!), старая девица под 50 (родная сестра вотчима. Сын Аполлон Ильич служил в опекунском совете, дослужился до звания почетного опекуна).

Зубово, у Неопалимой Купины, деревянный дом с мезонином в переулке, который с задней стороны церкви тянется параллельно Смоленскому бульвару.

Городская площадь с собором, с присутственными местами, с гимназией, семинарией, дворянским собранием и театром, с казенными зданиями для губернатора и архиереем. За площадью старая березовая роща, называемая «гуляньем». Церковь Боголюбской божьей матери при кладбище.

(Бумажных обоев в 40-х годах не было, стены были покрыты темно-лазуревой краской, а белый потолок разрисован гирляндами и букетами из тюльпанов, роз, и др. цветов.)

Вид из окна: верхняя часть города ниспадает к самой реке, за рекой — холмы, покрытые темной зеленью дремучего соснового бора; справа — далекая равнина и роща, перед которой белела церковь Всех Святых с городским кладбищем. Налево же тянулась гора, у подошвы которой стояло село Валяевка, куда ходили на богомолье к источнику святой воды.

Крашенинный сарафан.

Извозчики: лихачи, парные «голубчики», «ваньки», желтоглазые, погонялки — извозчики низших классов, «кашники», «зимники» — приезжали только на зиму, стояли кучками возле своих саней на «биржах», стояли, курили, болтали, распивали сбитень, иногда водку, которой сбитенщики приторговывали с негласного разрешения городового. Когда публика выходила, извозчики набрасывались:

— Вам куды? Ваш здоровь, с Иваном!

— Рублик! Вам куды?

— Куды, куды?

В купеческом клубе: стерляжья уха, двухаршинные осетры, белуга в рассоле, банкетная телятина (белая, как сливки), индюшка, откормленная грецкими орехами, «пополамные» расстегаи из стерляди и налимьих печенок, поросенок с хреном, поросенок с кашей. На парадные обеды поросята покупались у Тестова И. Я., каплуны и пулярки из Ростова Ярославского, а телятина банкетная от Троицы, там телят отпаивали одним цельным молоком.

Русский хор от «Яра». Содержательница Анна Захаровна. Цыганский хор Федора Соколова от «Яра» и Христофора из Стрельны.

— Э-ге-гей, голубчики, грабят! — любимый ямщичий клич, оставшийся от разбойничьих времен на больших дорогах.

Обедают по вторникам, обеды были многолюдны. Другие дни недели купцы питались всухомятку в своих амбарах и конторах, посылая в трактир к Арсентьичу или в Сундучный ряд за горячей ветчиной и белугой с хреном и красным уксусом или покупая все это и жареные пирожки у разносчиков в городских рядах и торговых амбарах на Никольской (?).

Долгополый сюртук и сапоги бутылками.

Дворяне: Долгорукие, Долгоруковы, Голицыны, Урусовы, Горчаковы, Салтыковы, Шаховские, Щербатовы.

Купцы: Солодовниковы, Голофтеевы, Цыплаковы, Шелапутины, Хлудовы, Обидины, Ляпины.

Великан-купчина в лисьей шубе нараспашку.

Татьянин день в день 12 января (ст. стиль) был студенческим праздником московского университета.

Рядом с Екатерининской больницей на Страстном бульваре — особняк кн. Волконского, ранее принадле-

жавший кн. Мещерскому, рядом с ним барский дом, после революции «Огонек», а рядом дом Сухово-Кобылина, где была убита француженка Диманш.

Дом Волконского был сдаваем в аренду кондитерам Завьялову, Бурдину, Феоктистову, там была вывеска: «сдается под свадьбы, балы и поминовенные обеды».

<Январь 1960 г.>

О ЧЕХОВЕ

Увенчав великий XIX век русской литературы, он начал собой великий XX век литературы мировой. Без него был бы немыслим новый подход к изображению современного человека во всей тонкости и сложности его душевных движений, т. е. были бы, грубо говоря, немыслимы Хемингуэй, итальянское кино.

Что касается его влияния на нашу, советскую литературу, то оно столь безгранично, что даже иногда становится опасным. Делать «под Чехова» легко, так как Чехов как будто бы весь в обыкновенном, весь в обыденном. Если не заметить за этим обыкновенным, обыденным великой поэзии человеческой жизни и великого обаяния человеческой личности — можно впасть в ничтожество. Это и случается иногда с нашими новеллистами, работающими «под Чехова».

Чехова называли раньше писателем сумерек, камерным лириком, поэтом «безвременья». Оказалось, что он увенчал великий XIX век русской литературы и явился зачинателем великого XX века литературы мировой.

28.I.60.

Завет:

Писать только то, что хочешь; хотеть только то, что можешь;[1] мочь почти все.

Ленин перед своим уходом из шалаша говорит Емельянову о камышах и здешнем кустарнике: «Чего только он не наслушался за месяц! Каких разговоров, споров, цитат, всякой латыни, немецкого, французского, английского, итальянского! Это теперь самый образованный и самый левый камыш в мире!»

---

[1] То есть точно знать свои возможности, не зарываться *(примеч. автора).*

21.II.60.

Тетка Марфа (рассказ) Неру приезжает на завод. Суматоха, незаметная для глаз неуклонная программа <...> Директор и сопров[ождающие] гостя лица идут на завод, осматривают, беседуют с заранее подготовленными людьми. И вдруг — мгновенное замешательство — Неру куда-то шагнул и оказался среди станков рядом с уборщицей теткой Марфой, пожилой, немного чудаковатой (даже не в себе); муж у нее погиб на войне, живется ей плохо, она выпивает; директор с ужасом вспоминает, что она у него была третьего дня, просила квартиру, он ей отказал, живет она в бараке, получает мало. Ему мерещится снятие с работы и др[угие] беды. Но уже поздно, Неру беседует с ней. И она говорит — говорит о том, что все хорошо, что она всем довольна, что у нас заботятся о рабочих людях, что муж у нее погиб за родину, и что если бы опять напали, она сама пошла бы... И что бывает трудно но она знает, что все будет хорошо. И вот здесь ничего не было, и стал завод такой, и ради этого стоит пострадать. И директор чувствует, что у него становится тепло в глазах, и записывает: дать тетке Марфе квартиру, но потом забывает об этом. Неру тоже растроган.

У нее серые глаза, веселые, а если вглядеться, то странные (веселость неподвижная), с сумасшедшинкой в самой глубине. Когда на заводе при Неру она вдруг оборачивается и видит директора, глаза ее становятся стальными и, по-панибратски взяв Неру за плечо, она указывает ему на директора. Директор замирает со страха. Она говорит по-хозяйски:

— А это наш директор, Валентин Иванович... Сам из рабочих, инженер... Доменщик большой специалист — мы его уважаем. И он нас... Так у нас водится в Советской стране...

(На приеме) он спрашивает ее:

— Почему ходишь, как распустеха?

Она до той поры добродушная вдруг рассердилась, и ее глаза вспыхнули. Подняв на него глаза, она спросила:

— А почему твоя жена ходит, как б....?

Он покраснел, покосился на Анну Семеновну (та явно была довольна и еле сдерживала улыбку).

Директор вскочил, но сдержался, перешел на «вы».

— Ну, знаете, тетка Марфа... Нехорошо так выражаться... Почему ты так говоришь?

— Каждый раз в другом платье. Я считала, насчитала 20 штук.

— Разоденется, как пава, губы намазанные до ушей, глаза подведенные... А я что? Я живу в бараке... Отгорожена фанеркой... Вот как я живу. Распустеха... Хе-хе... Вот там у тебя машина стоит, поехали со мной, посмотришь, как я живу.<...>

— Не могу я. Я занят, понимаете? Занят. Квартиру мы вам дадим, но не сейчас. Летом, когда тридцатидвухквартирный дом закончим...

(Он вспоминает эту сцену.)

<Без даты.>

ЭТЮД О СОБСТВЕННОСТИ

1. Теперь, как и во все времена, вопрос об отношении к собственности является центральным вопросом идеологии.

Великая Французская революция привела к победе частной собственности. Она оградила частную собственность от произвола короля, феодалов, полиции. Она сделала ее королевой, более властной, чем Мария-Антуанетта и даже Мария-Терезия. Она узаконила то, что уже давно стало насущной потребностью общества.

2. Наша революция, провозгласив анафему всякому угнетению и всякой эксплуатации, обязательно должна была замахнуться на частную собственность, являющуюся источником эксплуатации и угнетения. Взглянув в корень вещей, Маркс увидел того паучка, который свил вокруг себя всего тонкую изящную паутинку государства, права, искусства и наук. Этот паучок — экономика, грубая материальная основа жизни. Она — стеснительная штучка, ей не хочется вылезать наружу, она любит темноту, она обволакивает себя неслыханной красоты махровыми паутинками, означающими красоту, совершенство, добродетель. Но в центре — она.

Разглядев эту странную истину, которую многие умные люди ощущали, но которая все время ускользала, не давалась, прикрываясь сентиментальностями и предрассудками, и требовала великого сурового ума, готового к любым жертвам ради постижения истины, чтобы проявиться со всей беспощадной ясностью,

Маркс сделал единственно правильный вывод. Ленин и большевики, воспользовавшись исторически сложившейся ситуацией, сумели сделать этот вывод мощнейшим рычагом для переворота в России.

3. Сделав переворот в аграрной стране, еще не достигшей расцвета капитализма, партия почти сразу обнаружила, что ее задача необыкновенно сложна.

Вести борьбу с белогвардейскими и иноземными армиями оказалось легче, чем с инстинктом приобретательства, т. е. с частной собственностью. Это сказалось не сразу, тут были этапы.<...>

21.3.60 г.

Любовь к родине — великая страсть и великая сила, способная делать чудеса доблести и добра и чудеса подлости и злобы. Для того, чтобы второго не было слишком много, надо эту любовь питать тихо, без шума. Родину надо любить тихо, как добродетельную женщину. Кто громко, напоказ любит родину — тот наглец и негодяй. Кто расхваливает ее публично — подлец, желающий один получить то, что причитается многим. Кто гордится тем, что он сын своей родины, — глупец, ибо нельзя гордиться тем, что не является твоей заслугой.

11.4.60, Италия.

Этот день был полон событиями, разными переживаниями. В однодневье я вылетел из Москвы, опустился в Париже, проехал через весь Париж, вылетел из Парижа и через два часа был в Риме. Все это было похоже на сон и было по-настоящему боязно проснуться. Все было необыкновенно, даже ужин на «каравелле». Лица попутчиков, то и дело попадавшие в поле зрения, выглядели неожиданными здесь.

12.4.60 г.

Сегодня — второй день поездки, а кажется, что прошло много дней, так насыщены были эти считанные часы впечатлениями огромными, как мировые события. Я встал сегодня в 7 утра и пошел в город. По нашей Via Viminale направо, затем налево по Via Torino. Тут я вскоре увидел очень знакомую церковь.

Это оказалась Санта-Мария Маджоре. Перед ней стоял обелиск в честь Августа времен Августа. На огромной церковной паперти гуляют и сидят дети. Они разговаривают по-итальянски. Лица у них очень различные, в конце концов они мало чем отличаются от наших детей, среди них много блондинов и шатенов. Они — веселые и разбитные и смотрят понимающими глазами. Это — настоящий большой город, тут нет деревенщины. Все одеты очень скромно, вообще на внешность не очень обращают внимание, и это — тоже городское. Естественность в движениях и взглядах. Город — весь Рим, а не центр. Можно везде гулять, а не на двух-трех улицах. Но вернусь к С.-Мария Маджоре. Я вошел внутрь. В огромном помещении и притворах люди. Их не очень много, они разбросаны группами по гигантскому залу. С обеих сторон цепочки людей по 6—7 человек — очереди к исповедальням. Там скрытый от взоров патер. Мальчик или взрослый входят в кабину, видно, что он становится на колени. У маленьких алтарей в притворах — небольшие группы молящихся. Молятся деловито, привычно и поспешно (до неприличия). Ведут себя свободно. Смеются, переговариваются. Благоговения на лицах никакого. Девочка приложила руку к слишком высоко для нее расположенной статуе и потом приложила ее к губам бегло и тоже деловито.

Ленин жил в гостинице «Эркулано», «Геркуланум» на острове Капри, когда приезжал к Горькому.

Рим. Базилика св. Петра in Vincoli в Риме. Там цепи и Моисей, а не в базилике св. Павла. В последнем только огромность и дворик очень хороший. Полутьма действует торжественно.

Наши заграницей. А. А. знает Италию по итальянским фильмам. Это очень интересно. Чивитта-Веккиа напоминает ему песню из фильма, а не Стендаля; пл[ощадь] Испании — не кафе Греко, не Гоголя, Иванова и др., а фильм «Девушки с площади Испании». Стадион ему интереснее развалин. Он не лицемерит, хотя немножко этим позирует. Правда, как человек талантливый он не может не быть захвачен.

<...> Дом Горького в Сорренто. Здесь он жил с 1924

по 1933 г. Есть мемориальная доска на доме — частное владение, вход туда воспрещен. Внизу даже кое-где проволока — чтоб не прислонялись, что *ли?*

Помпеи. Это гениально. Помпеи — одно из наиболее ярких событий моей жизни.

15.IV.60 г.

Сегодня страстная пятница. Сорренто. Шествие в черных мантиях с капюшонами. Несут «тело Христово» в белых цветах. Многие опустились на колени, другие чуть подогнули ноги на минуту. Потом — статуя богородицы из папье-маше в черном одеянии. Маскарад, где зрители становятся актерами <...>

16.IV.60.

Флоренция. Ночь пасхальная. Служба в соборе и в С.-Мария Новелла. Орган и хор. Никакого благоговения я не испытывал, все здесь привычно, нетемпераментно, затянуто. Только в 12—12.20 началось что-то настоящее.

Ночь та же. Площадь Синьории. Лоджия Латри, Давид, Микеланджело, Юдифь и Олоферн. Донателло. Радость почти до перепуга <...>

Флоренция — строгий, немного чинный город необыкновенной красоты. Арно. Ренессанс на каждом шагу <...>

Палаццо Дожей. Львиный зев для доносов.

Город Венеция ночью. Не город, а очень большой дом с узкими коридорами.

Гондолы. Гондольеры.

Засратое Мурано. После Гуся-Хрустального это просто дерьмо. Зато венецианское.

Русская хозяйка стекольной фабрики. Глупая и ничтожная. Муж — прелесть, участник Сопротивления. Его женитьба на русской идейное действие, а она оказалась столь ординарной мелкой хищницей-хозяйкой <...>

Сон. Вся Венеция — хороший, хотя и диковинный сон великого художника или писателя.

Шейлок. Отелло. Мне кажется, что это нельзя было написать, не побывав здесь. Актер Шекспир — не автор этих пьес <...>

<19.4.1960 г.>

(Милан.) «Тайная вечеря». Это равно всей Флоренции или всей Венеции. Это нельзя сравнить с другой картиной, это можно сравнить с городом или страной. Главное — масштаб. Все описатели картины забывали упомянуть едва ли не самое главное — ее размеры. Размеры Христа и апостолов. Вы входите в беседующую между собой компанию сверхчеловеков, гигантов, не кичащихся своими размерами, вполне спокойно воспринимающими свои размеры, попросту не сознающими их в отличие от фигур Микеланджело, кот[орые] все время сознают свою величину. Вы сами становитесь гигантом, равным им на время. Вы думаете увидеть картину, а видите живых людей, огромных по размерам и по страстям. То, что происходит между ними, такими людьми, не может быть не важным, от этого разговора не может не зависеть судьба человечества. На такую картину можно и нужно потратить целую жизнь. Я понял впервые величие Леонардо, так мало сделавшего (по количеству картин). Это всегда меня несколько удручало. Теперь я понял, что он сделал. Сикстинскую мадонну я тоже понял по-настоящему, лишь когда увидел оригинал. Но все-таки это была картина — более глубокая, более душераздирающая, чем я думал. Вечеря же — не картина. Это подсмотренная художником жизнь гигантов, повседневная. Вы как бы для них неизвестно подглядели ее. Они вас не видят. Она остается *тайной* вечерей, хотя Леонардо и вы за ним вслед подсмотрели ее. Вы (вслед за ним) становитесь автором Евангелия, все посредники исчезли, испарились. Вот что это за картина, дай ей бог долголетия! К слову сказать, годы, испортившие ее во многом, в чем-то и улучшили ее. Они сделали все линии менее определенными, т. е. более естественными.

* * *

Когда в Италии будет революция, мы будем посылать туда хотя бы на 10 дней всех рабочих по очереди, именно рабочих и крестьян русских. Пушкин мечтал когда-то поехать туда, Гоголь там жил несколько лет. Теперь мы пошлем туда рабочих. Все им покажем. Думаю, что папу римского итальянцы оставят, поскольку еще останутся верующие. В партию его не заставят

вступать, в профсоюз тоже. Монахов станет меньше, но несколько монастырей, конечно, останутся. Что нужно будет сделать обязательно — не из антимонархизма, а по велению изящного вкуса — это снести все белое сооружение со статуей Виктора-Эммануила (на пл[оща-ди] Венеции); статую можно будет, в крайнем случае, поставить за городом, в какой-нибудь лощине.

Ах, значит, история Франчески да Римини, семьи Борджиа, значит, история Гракхов, Калигулы, значит, история разрушения Иерусалима и терзаний первых христиан — все это не выдумка? Значит, это было на самом деле? Значит, бедняга Овидий был действительно выслан на Днестр, где его угрюмая тень спустя много столетий встретила Пушкина? Значит, Петроний Арбитр действительно перерезал себе вены, а Петр был распят головой вниз, а Сципион победил Ганнибала, а Брут вонзил кинжал в Цезаря, а Суллу пожрала проказа или сифилис, а Спартак устроил восстание гладиаторов?.. Значит, все это было?.. (Как богат и прекрасен мир, европейский мир, который и мы унаследовали во всем его чудесном многообразии.) Это не выдумки книг, а события живой жизни многих столетий, наследниками которой и мы являемся? О, как богат и прекрасен мир! Как наши души обедняли и коверкали при этом угрюмом и недобром маньяке, этом злобном оппортунисте! И как сам он обеднял и коверкал собственную душу, которой нужно было так мало, всего лишь — власти!

Брюссель, 22.IV.60.

Сегодня — 90-летие Ленина. Я в Брюсселе. Где моя повесть о Ленине — не знаю.

* * *

Итальянский лавочник в Венеции прикладывал конец отреза к груди одной нашей толстухи и громко кричал: «Лоллобриджида!»

10.V.60.

Сегодня днем умер Ю. К. Олеша. Москва понемногу пустеет. Это был писатель крупного таланта, но у него не оказалось сил, чтобы в условиях нашего времени дать свой максимум. От этого он пил, от этого умер.

Он был ни на кого не похож. Таких становится все меньше. Он всю жизнь приспосабливался, но в конце концов оказалось, что он не из гнущихся, а из ломающихся. Оказалось в конце концов, что он твердый человек, не идущий на уступки, но не настолько тверд, чтобы при этих обстоятельствах еще и писать.

Копенгаген, 15.V.60.

Ученые глупцы точно выяснили, что никакой Гамлет в Эльсиноре не жил, что королевской резиденции там сроду не было и Шекспир был введен в заблуждение. Сегодня в Эльсиноре (он, впрочем, и называется-то иначе — Хельсингёр) мне это рассказывала гидесса с ученым видом. Я внутренне смеялся и думал о том, что Шекспир знал правду лучше всех. Там жил Гамлет, иначе никому не было бы интересно туда ездить. Дух Гамлета витает над этой землей — того нереального принца, который сделал Данию Данией. Ибо он сказал: «Дания — тюрьма», и это как раз то, что большинству человечества только и известно о Дании. Все равно у этих рвов на стене ходили Марцелло и Бернардо и друг Горацнй здесь заклинал привидение. Это реальнее, чем сама Дания с ее городами и автомобилями.

<Без даты.>

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИТАЛИЮ

I

Нас было 26 человек, и каждый настолько отличался от другого, что часто мне было неясно, принадлежим ли мы все к одной породе? В этом разнообразии лиц и интеллектов было нечто трогающее и радующее меня. Эти 26 человек, которых я видел так часто и каждое движение которых я мог бы уже — на исходе поездки — заранее предсказать, — тоже являлись частью путешествия, и о них будет речь впереди. Во всяком случае, скажу наперед, что это маленькое общество, оказавшееся обособленным в незнакомом и изумительном мире путешествия, отличалось всеми особенностями, свойственными большому обществу. Пропорции человеческих достоинств и недостатков были здесь тоже вполне выдержаны. Я насчитал одного злобного негодяя, трех стяжателей и одного негодяя мелкого калибра; 5 человек — совершенно незначительных; 8 человек глупых; 5 — совершенно необразованных; двух — ярко выраженных индивидуалистов; следовательно, 25 порядочных чел[овек], 21 людей интересных, 21 образованных, 24 коллективистски настроенных, 18 чел[овек] неглупых, далее — значительных людей — 6; щедрых — 6; высокообразованных — 9, умных — 12, добрых — 10. Такова была статистика. Она вызвала во мне приступ оптимизма, вскоре, правда, ослабевший, в связи с другими заботами и, главное, оттого, что, вернувшись из путешествия, я почувствовал себя ничтожным и никому не нужным человеком (чем сильно пополнил ряды отрицательных типов). Может быть, это была всего лишь реакция после великих переживаний от лицезрения Италии.

А переживания эти действительно были велики, если учесть, что с детских лет я, мальчик любознательный, с большими глазами и ушами, открытыми для самых разнообразных звуков и картин нашей земной жизни, любил все относящееся к Италии и к Древнему Риму, и со свойственным юности острым восприятием как бы видел воочию и пережил сам, своими собственными чувствами, Римское государство от Ромула и Нумы Помпилия до вторжения варваров, Италию от Джотто и Данте и до Тольятти и Феллини.

Но несмотря на то, что вся эта Италия казалась мне необыкновенной реальностью, в глубине души я не очень-то верил в ее существование, настолько была она отгорожена от нас, с одной стороны железной необходимостью сосредоточения в себе, которое диктовалось категорическим императивом окруженного врагами социалистического строительства, с другой — угрюмым и подозрительным характером нашего диктатора, который не пускал советских людей в страны древней культуры <...>

И вот, когда ты свою мечту видишь осуществленной так поздно, когда голова твоя седа и сердце утомлено, то чувствуешь, что к твоей радости примешивается оттенок печали, на дне стакана с игристым вином ощущается вкус горечи.

9.6.60 г., Переделкино.

«Давно ничего не записывал» — привычная и скучная жалоба ведущих дневники. Однако! За это время я стал человеком, побывавшем в Риме, Флоренции и Венеции, видевшим Париж, видевшим «Тайную вечерю» в Милане, видевшим Альпы и Лагомаджоре, бродившим по Помпее. Вот каким стал [illegible] человеком. 47-ми лет [illegible] достиг мечты всей жизни. То, что [illegible] видел, достойно было быть мечтой. О поездке [illegible] кое-что записывал в другие блокноты.

Затем я ездил в Норвегию, и по дороге побывал в Копенгагене, Стокгольме и Хельсинки. Все это было бы вдвое прелестней, если бы я до того не хлебнул Италии. После же — все пресновато.

Теперь я сажусь работать. Кропотливо, непрерывно, тихо, систематично, истово. Я буду на даче всю оставшуюся половину года. Каждый день. Вот план оставшегося полугодия: а) Закончить «При свете дня»; б) Окончить 1-ю часть романа; в) Написать очерки путевые (вчерне) и г) Написать рассказ «Тетка Марфа» (1/2 листа). М. б., если время останется,— вчерне закончить «Московскую повесть» и «Рицу». Но время вряд ли останется. Так что лучше это отложить, чтоб не отвлекало мыслей. Можно даже пожертвовать «При свете дня», не кончать его ради романа. А «Московскую повесть», «Рицу», «Иностранную коллегию» и «Крик о помощи» отложить на 1961 год, «Калинина» сделать частью романа (8-я послевоенная часть); в 1961 году писать и 2-ю часть романа — Магнитогорскую и Дальневосточную. Тогда же съездить на Магнитку и на Дальний Восток.

Здесь же на даче буду вести дневник. Честное пионерское!

13.VIII.60 г.

Когда [illegible] окончу первую книгу романа и должен буду отдохнуть от него, я начну писать «Этюды о русских писателях». Хочу написать 10—12 этюдов: 1) Г. Успенский, 2) Н. Успенский, 3) Помяловский, 4) Левитов, 5) Даль, 6) Фадеев, 7) Пастернак, 8) Цветаева, 9) Олеша, 10) Шолохов и Панферов, 11) Заболоцкий, 12) Твардовский (м. б. Горький?). Клюев.

<Без даты.>

ЭТЮД О ВЛАДИМИРЕ ДАЛЕ

Этот человек с красивой, несколько стилизованной длинной бородой, с внимательными, очень ясными глазами — сын датчанина и немки, ставший величайшим знатоком и пропагандистом русского языка и русского национального духа. Мы так привыкли к нему, он занимает такое большое место как автор «Толкового словаря» в сознании каждого образованного русского, что и немецкая фамилия его кажется нам истинно русской, хотя и немного искусственной. Это полнейшее «обрусение» иностранца — явление, которое может показаться странным. На самом деле оно совершенно естественно и только доказывает — в который раз — все ничтожество и глупость всякого рода шовинизма, всяческих теорий расы и крови. Не раса и не кровь, а окружающая жизнь и воспитание прежде всего создают национальный характер. Еврейская кровь Левитана, уроженца Литвы, не помешала ему стать поэтом среднерусской природы. Русская кровь не помешала Достоевскому, уроженцу Москвы, быть совершенно равнодушным к среднерусской природе.

Во время моих заграничных поездок [illegible] вначале с удивлением, а затем все с большей радостью отмечал в людях разных национальностей одни и те же черты человеческого характера, видоизмененные [illegible] мелочах, но не в главном. К счастью, ум и талант, доброта и юмор, скромность и доброжелательство, любознательность и душевная широта — явления интернациональные. К сожалению, холуйство и хамство, глупость и злоба, зависть и вспыльчивость, бездарность, равнодушие, собственничество и национальная ограниченность — тоже явления интернациональные. Французский фашист так же отвратителен, как и немецкий, еврейский спекулянт так же подл, как и украинский, американский солдафон так же неприятен, как и русский, итальянский дурак так же несносен, как китайский. Труженики, французский и немецкий, ученые, американский и русский, революционеры, украинский и еврейский, умники, итальянский и китайский,— все они равно сложны, интересны, симпатичны, умны, красивы.

Это, впрочем, присказка. Сказка впереди...
Владимир Даль родился <*запись на этом прервана*>

27.8.60 г.

Сегодня закончил «При свете дня». При переписке исправлю погрешности, добавлю важное, выкину несущественное. Этот рассказ я задумал 13 лет тому назад, и он все время так или иначе маячил перед глазами. Окончив его, я устранил последнее препятствие для работы над романом, только романом.

30.8.60 г.

...5 рассказов нужно бы написать «сверх плана»:
1. «Тетка Марфа».
2. «Небо и земля».
3. Два председателя.
4. Собака.
5. Попов.

31.8.60 г.

<...> Приехала Маргарита из города и сообщила, что утром умер Панферов. Он умер во сне, не просыпаясь, без мучений и без знания того, что он умирает. Жаль его. Среди редакторов нашего времени это был единственный, способный на поступки <...>

<Без даты.>

На этом позвольте мне кончить эту повесть, которую я назвал «Поразительное отсутствие доброты». Она правдива, почти все, что в ней описано, действительно случилось. Люди, изображенные здесь, действительно существовали, и я их знал лично. О чем моя повесть? Ее пафос не в сюжете и не в изложении трагических судеб — а в идее: пора подумать о людях, о каждом человеке в отдельности — не на словах — слов на этот счет у нас было много; надо ценить каждого человека в отдельности, памятуя, что настала пора прекратить болтовню о гуманизме, настала пора проявлять его. Гуманизм имеет много больших и сильных врагов, но самый страшный враг его — это болтовня о гуманизме. И еще: гуманизм не означает любви к человечеству — все человечество любить не дюже трудно — он означает любовь к к а ж д о м у человеку. Я провозглашаю вместо культа личности одного человека культ личности каждого человека, всех людей. Только так мы на этом этапе развития сможем убедить мир в справедливости нашего дела. Прошло время революций и войн, настало время деятельного спокойного соревнования с капиталистическим миром по таким показателям, как производительность и культура труда, а так же: а) доброта, б) чистота, в) любовь к людям, г) яростная ненависть к насилию, холуйству и хамству. Fini.

<Без даты.>

<К «ТИХИМ ДНЯМ ОКТЯБРЯ»>

Хельсинки. У Ровио в Гельсингфорсе, потом корниловское восстание, хотел ехать из Выборга в Питер, но ЦК не разрешил. Тогда Ленин сказал: «Вы это серьезно?» — «Серьезно, Владимир Ильич». Ленин — Напишите.

Он пишет, что ЦК не разрешает.

— Ага, они серьезные люди, солидные, министериабельные. Они, наверно, считают, что я немного ребячлив. Увлекаюсь, строю дикие планы, например — устроить революцию в России. Об этом удобнее писать статейки.

Шотман его уговаривает, что еще не готово все.— Вот и Подвойский говорит.

Ленин успокаивается и говорит:

— Хорошо, хорошо.

Спрашивает, когда приедет Шотман с материалами. 28 сентября. Приезжает Шотман 27-го, но Ленина не застает. Фин-адвокат Латука говорит, что Ленин уехал, взял вещи.

Ленин у Фофановой на квартире.

Ленин едет как финский пастор, провозит его Рахья, документы имеются нужные, едет в поезде. Там же казачок. Ленин беседует с казачком. Вспоминает, что его видел. Сначала хотел притвориться, что не знает языка. Но говорит с ним. У казака плохо на душе, с перепоя, счастья нет, и он, несмотря на свою рожу, думает, чувствует. И погода еще слякотная... Плохо

ему, казаку. Спрашивает у Ленина: что бы такого сделать?

Потом он же в казачьем разъезде едет по Питеру и встречает Ленина с перевязанной щекой. Есаул говорит, что надо проверить документы. Он трогает повод, видит фигурку маленькую, жалкую, в черном пальто, с перевязанной щекой, говорит есаулу:

— Да ну тебя, хоть пусть сам Ленин это будет.

Смеется над своим предположением, что это может быть Ленин.

Представляет себе Ленина высоким, с раздвоенной бородой, как у есаула или командира дивизии.

Еще в поезде, когда казак уходит, заговаривает с кондуктором, который очень кидается на Ленина, говорит, что Ленин бунтовщик, что он, хотя во многом и прав, действительно, бедным людям плохо, но не через бунт, так развалишь Россию. Ленин говорит с кондуктором уважительно, слушает внимательно. Рахья говорит потом на улице Ленину о кондукторе: «Какой глупый человек». Ленин отвечает: «Нет, не глупый. Умный. Много понимает. Хозяин. Заботится о России. Будет еще большевиком».

Уже уходили. Рахья говорит: «Какого-то кондуктора, который о вас говорил бог знает что, вы хвалите, говорите, что он все понимает, что он будет большевиком, слушаете, говорите с ним уважительно, а вот старые друзья и вы так с ними, нехорошо». Ленин: «Как вы не понимаете? Я их любил, и потому что они близкие мне люди, и они же необыкновенно знающие, полезные партии, но то, что они сделали — предательство. Это хуже, чем враждебность, опаснее».

Под квартирой Фофановой гимназист учит наизусть «Октябрь уж наступил». Всё стихотворение. Каждый раз забывает на тех же местах. Нудно учит. Ленин иногда досадливо разводит руками и подсказывает (про себя). В конце оказывается, что Ленин выучил наизусть и читает его целиком (в ожидании посланной в Смольный Маргариты Васильевны).

26.10.60 г.

После больницы я многое забыл из того, что написал. С удивлением читал заключительную страни-

цу «Московской повести», написанную незадолго до последнего сердечного приступа. Здорово сделано. Или, может быть, приступ ослабляет чувство самокритики? (А память здорово ослабела. «Не дай мне бог...»)

Вчера Н. читал «При свете дня» и высказал много похвал. Он — первый литератор (притом талантливый), читавший рассказ. Он был искреннейшим образом захвачен и взволнован. Он ошибается? Нет, кажется, нет. Очень рад.

Вдруг захотелось писать «Иностранную коллегию». Почему? Неужели потому, что она анонсирована в «Октябре» — отписка несерьезная, которую я им дал в ответ на их просьбы. Вот что, стало быть, означает внешнее поощрение, даже вот такое призрачное, ничтожное! <...>

Архангельское, 20.XI.60 г.

Я поймал себя на странном чувстве — зависти к Л. Толстому. Он так много взял у природы, что мало кому что-нибудь осталось. Впрочем, он и сам, как природа. Трудно завидовать высоте горы, широте моря, зелени леса. Трудно, но можно.

Сегодня Ляличка мне сказала по телефону, что верстка «Синей тетради» уже прибыла в редакцию «Октября» и завтра будет у меня. Это очень хорошо, но уже трудно радоваться после трех лет ожидания, суеты, волнений. Помимо того,— чем ближе все дело к завершению, тем больше мне кажется, что вещь слабая. Иначе, если бы она не была слабая, зачем бы ее разрешить к печати?

21.11.60 г., Архангельское.

Ясно, почему я стал писать «Тетку Марфу» и думаю все время об «Иностранной коллегии»: я боюсь *романа.* Я еще слишком слаб после болезни, слаб умственно и физически, чтобы снова взвалить на себя эту гору. Это — самосохранение организма и самосохранение художника. И — нужно, чтобы Галя выздоровела.

23.11.60.

<...> Я дал читать верстку повести милейшему человеку, с которым я подружился здесь,— полковнику-профессору Фоме Фомичу Железову. Он специалист по электронике, причем блестящий, крупный, ездивший в Америку, Англию, на днях уезжающий в Японию. И вот он прочитал. Он читал всю ночь — не мог, по его словам, оторваться. Он в таком восторге, что описать трудно. Он говорит, что это вещь замечательная, что Ленин — удивительный, что ничего такого он не читал и не *надеялся* читать, что он, старый член партии (он в комсомоле с 1924 г.), узнал из повести бесконечно много того, что раньше не знал. А это, по его мнению, главный критерий для оценки. Может быть, он прав? Значит, мои опасения неосновательны — вещь действительно хорошая? Это — первый мой читатель из не литераторов и не начальства, и он прямо в восторге бесконечном. Он говорит, что и раньше ценил меня (он читал «Весну на Одере» и «Дом на площади», больше ничего), но теперь он только понял, какой я писатель. Он сказал такую фразу: «Ведь вы описали маленький эпизод (о нем так буднично писали: «Скрывался от ищеек Керенского на ст. Разлив, в шалаше»), а ведь это — огромная глыба, которую вы подняли, и эта глыба — не камень, а золото». Он стал как-то нежен ко мне. Мне это так приятно. Он говорил: «Боритесь за эту вещь, боритесь, если будут трудности, если будут критиковать, ругать (у вас есть враги!) — плюйте, как Ленин плевал на это, держитесь — вещь стоит многих жертв. Вы оказали ею партии колоссальную услугу!» Может, он прав? Он особенно обратил внимание на слова Ленина о правде. (Это — первый читательский отзыв.)

27.11.60 г., Архангельское.

«Русские в Италии» — повесть в 7 новеллах.

1-я новелла: Пушкин в Крыму (1823, попытка бегства в Италию; «Скала и шторм, скала и плащ и шляпа». Роман с Воронцовой).

2-я новелла: Гоголь в Риме и Римской Кампанье (1843) (Иванов, Анненков и пр.).

3-я новелла: Герцен и русский гарибальдиец М. С. Пинегин в Милане и Венеции.

5-я новелла[1]: А. Блок. Предчувствия. Россия.

4-я новелла: Горький на Капри в 1910 году. Ленин, Богданов, Шаляпин.

5-я новелла: Горький в Сорренто (1925. Приезд молодых советских писателей — Бабеля, Леонова, Федина).

6-я новелла: Советский военнопленный Джовани (Иван Лядов) — боец итальянского Сопротивления (1943, Флоренция, Равенна, Падуя).

7-я новелла: Я, Паустовский и Алигер в Италии. Писатели-туристы. Встречи с монахом, монахиней, антисоветски настроенным перемещенным лицом («вы не перемещенное лицо, а перемещенная ж...»), коммунистом, с К. Леви, Феллини, Пьовене, Лоллобриджидой, женой Феллини, П. Тольятти, римским папой и рабочими римской канализации. Форум, Капитолийский холм, «Моисей» Микеланджело и т. д. <...>

28.11.60 г., Архангельское.

(К «КРИКУ [redacted] ПОМОЩИ»)

— Когда немецких евреев расстреливали в рижском гетто, они кричали: «Es lebe Deutschland».

— Ох, пришибленные души! Вместо того, чтобы кричать: «Verfluchtet sei, Deutschland», они кричали «Да зравствует!..» Рабы!

— Они, вероятно, подразумевали не ту Германию, которая их расстреливала, а другую, великую Германию Гете и Бетховена...

— Ах, какие сантименты! В тот момент их расстреливала Германия Гете и Бетховена... По крайней мере, расстреливавшие не могли иначе воспринять их крика, как выражение примирения со смертью и преклонения перед немцами, перед германским гением, в ряду которого, по мнению расстреливаемых, были и Гете и Гитлер.

— Не знаю, не думаю... Может быть, все это сложнее. Их убивала не Германия, их убивал фашизм, который интернационален, несмотря на националистский его звериный запах... Французские фашисты те

[1] Ошибочная нумерация автора. (*Примеч. ред.*)

же, что и немецкие,— разницы нет. Таковы же русские, украинские, литовские, любые другие фашисты. Фашизм, наоборот, привел бы и уже приводил к разложению и обескровлению германской нации, нации Гете и Бетховена и, таким образом, был ей враждебен.

— Не знаю, если бы меня расстреливали французы, я бы не кричал «Vive la France le pays et de Moliere et de Pasteur». Кстати, великих французов много, и я вряд ли успел бы пересчитать и двух из них, как меня бы уже поразила французская пуля! Нет! Я бы кричал: «Долой французскую фашистскую сволочь!» В тех криках «Да здр[авствует] Германия» мне чудится элемент слабой надежды на то, что эдак кричавшего пощадят...

— Вы злой человек.

— Да, я злой, как черт. Я очень сильно ненавижу.

— И меня?

— Нет. Вас я люблю. И очень сильно. Так же сильно, как тех ненавижу.

— О, тогда ты сильно любишь меня!

5.12.60 г., Архангельское.

Я недооцениваю свои усилия в работе над своими вещами и поэтому удивляюсь своим сердечным приступам и нервной истощенности, сулящими мне недолгую жизнь (а я хотел бы пожить подольше, чтобы успеть больше). Все очень просто: работа и связанное с ней стоит мне чересчур много здоровья.

<К РОМАНУ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»>

В 1932 году он приезжает из голодного края и встречает знакомого, который ведет его в «Метрополь», устраивает там в номере. Жизнь в «Метрополе». Женщины. А главное — еда. Он видит, как они едят, и удивляется, что они к этому привыкли; они не доедают, и остатки забирает официант. А Феде хочется все съесть, чтобы не пропадало. Потом он идет домой к товарищу (работнику кино) и видит то же самое изобилие. Он оправдывает это. Товарищ (оператор) снимает картину о колхозной жизни. И Федя оправдывает это: всего мало, и нужно кормить преимущественно людей самых нужных.

Он все оправдывает и только в 41 году, отступая к Москве, понимает, что это оправдание всего привело к отступлению; нельзя все оправдывать, надо бороться со злом.

Отсутствие идеализма. Причем идеализм путают то и дело с философским идеализмом.

Чем хуже жилось всей стране — тем лучше жилось Льву Ивановичу Вошанину, его бухгалтеру Натану Семеновичу Минскому, его заместителю Карапету Оганесовичу Асратьяну, его зав. складом Мамая Гогоберидзе и его продавщицам Соне, Тане и кассирше Анне Ивановне. Чем меньше обуви приходило для продажи в магазин — тем больше зарабатывали Вошанин, Минский, Асратьян, Гогоберидзе, Соня, Таня, Клава и Анна Ивановна.

Егор Кузьмич: Владимир Ильич Ульянов-Ленин — человек святой, его и церковь к лику причтет — подождите, сами увидите. Были и язычники святые, в рай попали — даром, что язычники. Он был дворянского сословия, присяжный поверенный, ученый, профессор — ему и при старом режиме жилось бы совсем даже хорошо. Я был у Владимира Никифоровича Плевако, знаю, как присяжные поверенные жили... Но он, Ленин, не схотел жить так, думал не о себе, а про весь народ, и сидел по тюрьмам, жил в бедности, как праведник... А енти, теперешние,— что? Лаптем щи хлебали... Каб не революция, что, к примеру, сапожнику, да еще осетину (?) делать? Сапоги тачать! Вот оно что... Они для своего интересу старались, а он для всех... Да-с, Федор Никифорович, как дела-то обстоят.

— А вы не боитесь, что я сообщу про ваш разговор в ГПУ? — спросил Федя, побелев от ярости.

— А не боюсь, я человек старый... Чего ж, сообщи, сообщи,— ответил Егор Кузьмич.— Может, себя обелишь, снимут с тебя клеймо... Давай, давай, иди...— Голос его не дрогнул, он сохранил полное спокойствие, только тоже «заокал» по-ярославски чуть сильнее.

Я, разумеется, отдаю себе отчет в том, как сложна задача, поставленная мной перед собою — написать ро-

ман о жизни наших людей на протяжении 25—30 лет. При мысли о событиях этого периода, о глубоких процессах перестройки жизни, поневоле приходишь в отчаяние, думая о трудностях их отражения в художественной литературе. И все-таки я взялся за это и надеюсь довести работу до конца. Я вдохновляюсь при этом самоотверженным трудом нашего народа, который не боится больших дел. Писатели должны брать с него пример.

Это было очень давно, но об этом необходимо написать. Ничто в истории не пропадет зря. Все то, что по условиям времени и обстоятельств так или иначе замалчивается или скрывается, позднее выходит наружу, и тогда создается возможность понять и осмыслить. Предпримем и мы эту попытку, и какие бы препятствия любого порядка не стояли на нашем пути, мы хотим довести дело до конца во имя человечества, революции и истины.

7.12.60 г., Архангельское.

Федя с его сантиментальностью умел говорить о вещах проникновенно и искренне. С течением времени это стало привычкой, и он умел уже говорить проникновенно и искренне о самых безразличных для себя делах и вещах; это нравилось окружающим и было для него тем же самым, что защитная окраска для некоторых слабых животных. К счастью для него, его свойство самоанализа несколько ослабило разъедающее влияние такого рода притворства: он сам знал, когда притворяется, и говорил себе: «врешь» — так же, как в сказках играющий с дьяволом в карты крестит карту под столом.

Архангельское, 10.12.60 г.

Боли в животе не дают работать и не дают отдыхать. Послезавтра между тем кончается путевка и я уезжаю домой. За этот почти месяц многое записал, набросал рассказ «Тетка Марфа». Это — грунтовка холста и первые пятна, распределение темного и светлого. Кое-

где более основательно написан то кусочек фона, то кусочек руки. Но все-таки это уже много. Дома перепишу, если поджелудочная железа не выбьет меня совсем из колеи. Буду голодать. (Сердце перестало болеть.)

<К «МОСКОВСКОЙ ПОВЕСТИ»>

«Чем мне закончить мой отрывок?» Читатель хочет знать, что было дальше с другими героями повести. Что ж, расскажу вкратце.

Мариус стал писать все лучше и лучше, но после войны его совсем уже не печатали, даже когда стихи были о весне, елке, ночных огнях. Это приводило в ужас истинных ценителей искусства, ибо им казалось, что советская власть и искусство — две вещи несовместные. На самом же деле это были крайности диктатуры полусумасшедшего человека. Ведь в 30-х годах Мариуса охотно печатали, однако от этого ни индустриализация, ни коллективизация не приостановились.

Он стал писать стихи свободные, глубокие и простые. Несколько стихов посвятил он памяти Поливановой. Он, в общем, понимал свою вину. Он умер 70 лет от роду от рака легких. Демьянов застрелился после смерти Сталина. Ему было в то время 55 лет. Мариус оказался победителем; его правота была доказана опытом этих трех жизней. Поэзия — пресволочнейшая штуковина: существует и ни в зуб ногой. И она побеждает именно тогда, когда кажется особенно беспомощной, придавленной, почти умирающей. Когда Николай I думает, что он — главный, и правит Пушкина. (Тацит об этом же.)

<Февраль — март 1961 г., больница.>

<К РОМАНУ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»>

1930

Володя Ловейко жил в молодежной коммуне, он был ее душой. Вечера, разговоры, диспуты и т. д. Но по сути дела, несмотря на ее внешнее процветание, она медленно умирала. Многие женились, выходили замуж, хотели уюта, тихой любви, жизни вдвоем. Другие,

начиная зарабатывать больше, не хотели делиться. Борьба с уравниловкой, естественно, губила коммуну. Кроме того, к ней стали относиться недоверчиво: сборища, дискуссии и т. д. Володя это чувствовал и понимал, что этому приходит конец, и оправдывал это, считая коммуну пройденным этапом, хотя и прекрасным: нет экономической возможности совмещать коммунистический быт с индустриализацией.

Невыносимо быть больным и беспомощным, когда у тебя в душе, еще не на бумаге, такая книга.

Только дети считают свой дом и свою семью незыблемой, вечной, прекрасно-постоянной крепостью. Взрослые же, их родители, построившие его, знают его недолговечность, шаткость, знают, что это табор. Они знают начало и видят конец. Но, к счастью, и они были детьми и когда-то испытали радостную веру в постоянство и незыблемость.

Воспоминания детства — это воспоминания о постоянстве, устроенности, незыблемости окружающего мира. Поэтому они кажутся прекрасными.

14.3.61 г., больница.

Окончившие смену няни, уже одетые «в штатское», т. е. без халата, в своей простой домашней одежде, идут домой. Смена тяжелая, они устали, идут неторопливо к выходу, но на их лицах — чудесное выражение людей, которые нужны людям, которые трудятся, честно выполняют свои обязанности. Это выражение — неосознанное, не от гордости, но это сознание сильно и выражается независимо от их воли. Они идут вперевалку, по-хозяйски.

Март 61 г., больница.

Статья: «Долой вранье!»

В ней все высказать насчет хвастовства, очковтирательства, газетной слащавости, лакировки в искусстве — всего, что дает противникам возможность вести

свою неумную пропаганду с успехом. Покончить со сталинской тактикой обмана и самообмана. И помнить: пропаганда должна быть обращена не к тем, которые уже распропагандированы, а к тем, кто против или кто колеблется.

30.III.61 г., больница.

И вот, как ни странно, после операции, явившейся огромным нервным потрясением, я почти здоров. Потерял около 20 кг., помолодел, глаза стали большие, как в юности. Если это все даст 7—10 лет настоящей работы, я выполню свое предназначение.

Первые две ночи и два дня после операции нужно было продиктовать все приходящие в голову мысли. Теперь все переживания потускнели, потеряли мучительную свежесть. Но все-таки я, кажется, смогу еще достаточно сильно описать все впечатления и страдания, связанные с этим, едва ли не сильнейшим в жизни потрясением. Это — после, когда уйду из больницы и сяду за работу. Какую? Роман, «Иностранная коллегия» и заметки-заготовки к «Московской повести», «Рице», «Тихим дням Октября», «Былям XX века», Заметки к «Жизни Ленина» (кажется, я твердо решил писать это); перевести (продиктовать пока без отделки) «Искру жизни» Ремарка: последнее я считаю своим долгом (как, впрочем, и все, что я делаю и собираюсь делать).

Ладно. Там видно будет. Пока трудно представить себе, что у меня не будет болеть живот каждый день и каждую ночь.

Одна из первых моих работ — я должен это сделать для того, чтобы удача с «Синей тетрадью» из моей личной удачи превратилась бы безоговорочно в общую удачу нашей литературы, русской, советской, моей любимой, уже чреватой величием, но не могущей еще пробиться сквозь стены, искусственно созданные глупостью и невежеством. Работа эта — доклад в Союзе писателей на тему: «Как я писал «Синюю тетрадь»<...> Я смогу помочь внести в л[итерату]ру ясность, здоровый дух взаимного уважения и соревнования, вражды к серости и лжи, любви к труду честному и добросовестному в литературе. Этот доклад или «творческое собеседование» я могу написать либо только законспек-

тировать; второе — лучше, сохранится прелесть вольной беседы. А затем опубликовать правленую стенограмму. В докладе я расскажу метод своей работы над образом В. И. и весь путь моих творческих усилий, затем весь крестный путь моих мытарств по напечатанию вещи, затрону все самые важные теоретические и практические вопросы, ставшие перед литературой в наше время. Я нанесу сильный удар по вранью в любых видах, по близорукости и недейственности нашей пропаганды. Говорить надо со всей откровенностью и прямотой, но с верных ленинских позиций. Я надеюсь даже не слишком сильно рассердить начальство — оно, во всяком случае, будет расколото в смысле своего отношения к моим мыслям. (Обида грузин на «низложение» Ст[алина] — всего лишь повод для проявления стародавнего груз[инского] бурж[уазного] национализма. В этом — лицемерие, фальшь, ибо, на совести Ст[алина] — кровь Серго и Орахелашвили, Картвелишвили и Лакобы, Ломинадзе <...>, Паоло Яшвили и Тициана Табидзе — цвета грузинской соц[иалистической] нации. Вот это — повод для душевной драмы замечат[ельного] народа. А «бунт» по поводу недостатка уважения к Ст[алину] — мелкобуржуазная нац[иональная] спесь ранее угнетенных наций (знакомая и мне, как еврею): де, наш властвует в Кремле, в царском дворце над ста народами. В этом нет ничего коммунистич[еского],— пережитки феодального общества и прошлого угнетения. Когда-то гордились царскими генералами. В этом — нац[иональная] узость мысли, и я не верю, что это разделяют рабочие и крестьяне Грузии; это — движение золотой молодежи.) Это — между прочим, но важно.

Самоограничение автора. Нельзя вмешиваться автору, когда герой — Ленин. Прямая ленинская речь, назло беллетристике. Но тогда все мысли, вызвавшие к жизни замысел, выходят из игры. Автор имеет перед героем одно преимущество: он знает, что было после 24 года. Но использовать это преимущество он не имеет права, он сам отказывает себе в этом праве, ибо глупо пытаться быть умней В. И. Ленина. Надо перевоплотиться в него, хотя бы на мгновенье,и узнать то, что знает он — это уже возможно, хотя и очень трудно. И вот автор читает не только Ленина, но и всё, что читал Ленин, он входит в круг его интересов и вопросов, вплоть до увлечения латынью и Римом.

31.III.61.

Теперь нужно, несмотря на ликвидацию язвы, или благодаря этой ликвидации, ввести в работу и жизнь строгий режим<...>

М. б., уехать в Крым и жить там, как покойный Сергеев-Ценский, тихо и углубленно в работу, с поездками (ежегодными) в места, необходимые для романа, в Москву, Италию и Париж.

Хорошо бы мне дали журнал «Красную новь», скажем. Чувствую в себе гигантские силы для создания журнала необыкновенно талантливого, умного, революционного, целеустремленного. Я бы взял в редколлегию (приблизительно): 1) Алигер, 2) Антонова, 3) Вершигору, 4) Макашина, 5) одного из молодых критиков, 6) Радова или А. Злобина, 7) Нилина, 8) Панову, 9) Паустовского, 10) Погодина, 11) Мих. Ромма, 12) Смелякова, 13) Тендрякова, 14) Шкловского, 15) Эренбурга (Залыгин, Симонов, Щипачев, Кривицкий).

Можно поручиться за 200 тыс. тиража. Я бы завел «Дневник писателя», как Достоевский, и ежемесячное (или раз в три месяца) лит[ературное] обозрение (анонимное, от имени журнала, но оно должно быть и может быть на уровне Добролюбова).

Это бы мне не мешало работать. Напротив, оно тонизировало бы меня, вытаскивало бы из одиночества, из творческой мономании — виновницы многих моих болезней. <...> Надо быть среди людей, но не как заседающий, а как работающий. Помимо того, так, с пользой для общего блага, зарабатывать себе на жизнь благородней, чем редактировать или переводить г...., а рассчитывать на собственные гонорары не дюже приходится.

Ладно. Хватит. Пока — поправляться скорее. И за роман.

1.IV.61, больница.

Апрель настал. На улице — солнце и тающий снег. Я не был на улице 3 месяца почти.

Вот план: на 1961—1963 годы.

1961 — 1. Делать 1-й том романа (почти кончить).

2. Набросать «Иностранную коллегию».

3. Издать «Синюю тетрадь».
4. Издать «Три повести».
5. Опубликовать «При свете дня» и «Ив[анушку]-дур[ачка]».
6. Поездка в Одессу.
7. Поездка в Италию и Испанию.
8. Перевести «Искру жизни».
9. Издать ее (?)
10. Отделать «Тетку Марфу».
11. Очерки о деревне, о заводе, об Италии.

1962 — 1. Кончить 1-й том.
2. Кончить «Иностранную коллегию».
3. Издать то и другое.
4. Основать журнал.
5. Поездка на Дальний Восток.
6. Поездка на Урал.
7. —«— на Север (?)
8. Крымский вариант.
9. Кончить «Моск[овскую] повесть».
—«— «Рицу» и также «Дочь диктатора».
Писать рассказы «Попов» и др.

1963 — Кончить 2-й том.
Работать над «Жизнью Ленина».
Поездки по Ленинским местам <...>

21.IV.61, больница.

История с «Синей тетрадью» дает мне в руки возможности, кот[орые] надо использовать с умом и спокойно. Кто знает, м. б., эта история даст мне возможность работать на полную силу, т[о] е[сть] добиться максимума — максимум для любого писателя немало <...> Открывающиеся передо мной некоторые возможности плюс сила воли, кажется, имеющаяся у меня, приведут мою работу к серьезным достижениям; надо только не отвлекаться на второстепенное — т.е. не творческое,— соблюдать строгий режим в быту (чтобы продлить сроки работы), не давать ни славе, ни неуспеху отнимать драгоценное время. Когда ты приходишь к сознанию собственной силы — при этом отталкивая от себя мысли о бренности всего существующего — время решает все <...>

<2-я половина апреля 1961 г.>

<К РОМАНУ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»>

Чистка. Сначала: «Садитесь». Он садится на стул у стола президиума. Секретарь берет учетную карточку и читает: «такой-то, родился, образование, соц[иальное] положение, соц[иальное] происхождение, стаж, работа, уч[астие] в гражд[анской] войне». «Расскажите о себе». (Перед председателем кипа заявлений. Неизвестно — сколько относится к имярек.) Начинает рассказ о себе.

Очень важно (по моим воспоминаниям): толпа очень хорошо видит, что человек хочет утаить или о чем он говорит с нарочитой небрежностью. Нет более чуткого организма, чем собрание, созванное для контроля.

«Прочитал «Капитал». Сначала он мне не понравился: вместо дела — абстракция. Потом освоил»... (нарочитость в этом «не понравился». Кто тебя спрашивает? Значит, чего-то боишься, хочешь подчеркнуть свою искренность).

О замужестве сестры — бегло. Собрание обязательно спросит: «За кого вышла замуж сестра?» Хитрый это может использовать: нарочито недоговаривать для того, чтобы задали вопрос; ответ: «Муж сестры — рабочий-литейщик Сормовского завода и сейчас там работает»... Это производит отличное впечатление. Или ответ: «Я не имею с ним (или с ней) связи» — в случае, если он или она в чем-то предосудительны <...>

16.VI.61.

Схема? Замысел, композиция и есть по существу «схема», «головное построение». Но без этого нет искусства. Разве структура «Войны и мира», «Медного всадника», «Преступления и наказания» — не «головное построение», т. е. не продукт дисциплинированнейшей работы великого ума, понимающего, что́ необходимо для раскрытия великого сердца? Эта гигантская работа ума коррегируется сердцем, чувствами, ими подстегивается, ими заполняется, как эластичная оболочка — воздухом, как апельсинная корка — мякотью. А кто

сказал, что корка апельсина менее гениальна, чем мякоть? Что прозрачные оболочки долек менее гениальны, чем содержимое? Что для создания их — корки и оболочек — творец употребил меньше творческой силы?

17.VI.61.

В доме старых большевиков старая большевичка, дряхлая, седая, толстая, сидя в шезлонге, говорит:

— Вот видите... Воевали, боролись, шумели, управляли, рвались вперед, в будущее, а теперь — развалины... сидим на скамеечках, греемся на солнышке... Нет, не годится большевикам доживать до старости...— Она задумалась на мгновенье, по ее <...> большому лицу прошла тень, и она добавила: — Только один большевик должен был бы дожить до старости. Ильич. Этот — да. Этот должен был бы дожить. Этак лет двадцать еще пожил бы хотя бы. Он — да.— Она усмехнулась.— А если он пожил бы, то и мы не вышли бы так скоро в тираж.

20.VI.61.

Приведены в божеский, годный для печати вид, первые два листа моей главной книги. Хочу надеяться, что этот роман будет достоин России, русской революции и русской литературы.

Прежде всего это огромный труд. Но кроме того, это — опасный труд — минерское дело. Насколько это сложнее и труднее работы, скажем, Льва Николаевича над «Войной и миром»! Там все заключалось только в таланте и труде. Чтобы написать «Войну и мир», «Онегина», «Братьев Карамазовых» и другие великие творения русского гения, нужно было иметь только (!!) талант и трудолюбие. Мне нужна и храбрость, элементарная храбрость, бесстрашие, т. е. отсутствие страха, солдатское, не писательское качество. Если бесстрашие мне изменит, то ничего не сделают талант и труд. Независимо от того, насколько хуже я пишу, чем великие писатели прошлого, труд мой тяжелее и больше, чем их труд.

НОВАЯ ЗЕМЛЯ

Картины советской жизни

И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали.

Апокалипсис, 21.I

Книга первая

СТОЛИЦА И ДЕРЕВНЯ

Часть первая

МЕТЕЛЬ

I

Немало заманчивых начал мерещились моему воображению с тех пор, что я леплю и строю эту книгу. Неплохо было бы начать ее кратким, суховатым, но сильным историческим обзором описываемой поры, где при некотором умении открывается возможность дать резкие и глубокие обобщения пережитого. Можно начать и с деревенского пейзажа, с прелестной картины природы среднерусской нечерноземной полосы, столь легко и без труда живописуемой современными сочинителями, поднаторевшими в словесных комбинациях из рощ, перелесков, тучек небесных и цветочков земных. Можно далее пустить этакую символическую фистулу, вроде упавшего дуба либо летней грозы, или же бурного ледохода на большой реке. Можно наконец начать с изящных сетований по поводу тяжести и запутанности неуютного переходного времени, котороеде так же трудно и опасно описывать, как и переживать.

Но я не буду начинать таким образом. Я ненавижу себя за услужливо подсовывающиеся со всех сторон начала, середины и концы, глубокомысленные диалоги и озаренные солнцем картинки, сотни мужских и женских лиц, знакомых и придуманных, бесконечно разных, но похожих на меня, как на родного брата; вот они взапуски лезут под перо, строятся в точно продуманные ряды, знаменуя (каждое!) целый класс, слой, прослойку или явление, хотят выдать себя за живых, ожидают похвал, восторгов и слез.

Если эта яркость и это многообразие называются талантом, то я ненавижу свой талант. Я хочу быть грубым и глубоким, как жизнь, которую я описываю, скупым и сосредоточенным, как стальная рельса, которой нет дела не только до пробегающих мимо рощ, но даже до своей пары, идущей рядом.

Я не буду стараться быть принципиальнее и смелее других, я откажусь от всех соблазнов: от соблазна нравиться, от соблазна учить, даже от соблазна не только казаться, но и быть несчастным. Я буду делать свое дело без дерзости и без боязни.

Вечером 16 февраля 1930 года в актовом зале 1-го Московского университета им. Покровского на Моховой состоялось общеуниверситетское партийно-комсомольское собрание. Второй секретарь Московского комитета партии товарищ Леонов прочитал двухчасовой доклад о решениях январского Пленума МК и МКК. Речь шла о наиболее важном вопросе текущего момента — о положении в деревне. Доклад изобиловал цифрами посевных площадей, выполнения хлебозаготовок, процентами коллективизации по краям, областям и нацреспубликам, цитатами из речей Сталина, Яковлева и Баумана.

Доклад слушали не слишком внимательно. Подавляющее большинство студентов были городскими жителями, деревенские проблемы интересовали их сравнительно мало. Многие понимали, что идет большая ломка, последствия которой неисчислимы, но студенты не ощущали ее связи с их собственной жизнью — зачетами, экзаменами, раскладкой небогатых стипендий на тридцать долгих дней, доставанием учебников, составлением конспектов и прочей вузовской текучкой.

После докладчика выступили два профессора — политэконом и историк, затем три студента — Полетаев, Готлиб и Ошкуркин.

Аркадий Полетаев, один из наиболее выдающихся студентов исторического факультета, всеобщий любимец, в своем выступлении обнаружил, как и подобает историку, точное знание предмета, назвал наизусть множество цифр и употреблял с абсолютной свободой такие слова, как «пар», «зябь», «весновспашка», «яровой клин» и так далее, хотя не имел никакого представ-

ления о том, что эти понятия означают в натуре. Однако любые тяжеловесные материи он умел пересыпать остроумными и тонкими замечаниями и неожиданными примерами, все слушали его, как всегда, с удовольствием и любовались гордой посадкой его головы, темно-русой шевелюрой и вздернутым крутым подбородком.

Борис Готлиб, филолог, тоже славился своими большими способностями, особенно к языкам. Как оратор он соперничал с Аркадием и имел много сторонников, считавших его «более глубоким умом», чем Аркадия. Он рассказал о своей недавней поездке на Северный Кавказ в совхоз «Гигант» и нарисовал перед слушателями пронизанную солнцем оптимистическую картину будущего сельскохозяйственного производства при социализме, без лошадей, с минимальным количеством персонала, управляющих при помощи электрических машин посевом, созреванием, жатвой и — внимание, внимание! — погодой! Да, дождем и вёдром! В поле все будут делать «комбайны» — слово в то время новое, мало кому известное и поэтому окруженное ореолом всемогущества. О лошадях Борис говорил с насмешкой и несколько наивной враждебностью горожанина.

Федор Ошкуркин был крестьянским сыном, и хотя от деревни оторвался и даже гордился этим, разбирался он в происходящих там событиях больше, чем другие. Он привел несколько примеров из современной деревенской жизни, подчеркнув в особенности факты кулацкого засилья и кулацкой скрытой, но неизбывной ненависти к советской власти. «Покуда жив кулак, — сказал он просто, но сильно, — мы не хозяева в деревне, запомните это, товарищи». Потом он неторопливо повернулся к Готлибу, добрейшая и хитрейшая улыбка осветила его большое красивое лицо, и он проговорил: «На лошадок, Боря, ты зря ополчился. Видно, извозчик однажды содрал с тебя лишний двугривенный, и это помутило твой обычно ясный разум. Лошадь еще долго нужна будет в сельском хозяйстве для разных мелких надобностей, которые машинами справлять невыгодно. Впрочем, ты литератор, тебе фантазировать разрешается, не то что нам, историкам...»

Ошкуркину дружно аплодировали. Все помнили, как он появился здесь два с половиной года назад после окончания рабфака еще полной деревенщиной,

робел, мучительно краснел, нещадно окал и приобрел прозвище «Бабу́шка» с ударением на «у», так как однажды употребил это слово с таким, принятым в его местности, ударением. Он развивался на глазах, запоем читал книги, порядочно изучил немецкий язык, стал членом бюро комсомольской ячейки университета; из рослого, сильного, но скованного и услужливого до раболепия деревенского парня он превратился в человека самостоятельно мыслящего, знающего себе цену, отличавшегося широтой натуры и тяжеловесным изяществом, хотя по-прежнему очень доброго и склонного к самокопанию и дружеским излияниям.

После собрания трех выступивших студентов задержал ненадолго секретарь МК Леонов. Не скрывая своего восхищения знаниями и умом «младшего поколения», он похвалил их речи, особенно речь Феди, и сказал, что пора подумать о передаче всех троих из комсомола в партию, при этом он посмотрел уголком глаз на стоявших поблизости ректора и секретаря райкома: этот взгляд означал, что сказанное — не только совет, но и директива.

Польщенные похвалой старого большевика из рабочих, три вузовца покинули университет в приподнятом настроении. Они решили прогуляться пешком по морозцу. С Моховой они пошли по Волхонке к Пречистенским воротам. Было пустынно и белым-бело. Редкие санки извозчиков проносились мимо, оставляя на свежевыпавшем снегу темный след полозьев. Полетаев жил тут недалеко, в Померанцевом переулке, у Остоженки. Друзья пошли по Остоженке, на углу простились с Аркадием, и тут Аркадий вспомнил, что имеет поручение от своей сестры Киры, пригласить обоих друзей на ее день рождения 19-го вечером; насмешливо скосив глаза в сторону Ошкуркина, Аркадий добавил, что сестра особо настойчиво приглашала Федю.

— Ты имеешь успех,— сказал Аркадий, усмехаясь,— не только у секретарей Московского комитета партии.

Федя скрыл радостное смущение за какой-то шуткой, и вместе с Борисом они пошли к трамвайной остановке, чтобы ехать домой,— оба они жили в одной комнате студенческого общежития, что в Охотном ряду, дом № 7.

Приехав к себе, оба, порядком озябшие, налили кипятку из большого «титана» в конце коридора,

выпили несладкого чаю (сахара у них не было), разулись и сели заниматься. Готлиб продолжал одолевать «Шахнаме» Фирдоуси на персидском языке, а Федя — «Русскую историю с древнейших времен» Покровского вперемежку с «Крестьянской войной» Энгельса. Рядом занимались другие студенты — соседи по комнате — каждый своим делом.

Федя начал уже подумывать о том, не лечь ли спать, когда раздался стук в дверь и послышался мужской голос:

— Ошкуркин, иди вниз, к тебе пришли!

«Кто бы это мог быть?» — подумал Федя, зевая, он надел ботинки на босу ногу и помчался вниз по слабо освещенным лестницам.

В дальнем полутемном углу проходной конторы, возле низкого подоконника, Федя сразу заметил человеческую фигуру — приземистую, бесформенную, похожую на сверток с вещами. Завидя Федю, сверток зашевелился, затрепыхался и кинулся к нему. Только лишь когда смешалось их дыхание, Федя узнал свою младшую сестричку Надю — Наденку, как ее звали в деревне. Красавица Наденка, гордость семьи Ошкуркиных, стояла в проходной конторе в напяленном как попало большом романовском полушубке, трех платках на голове и четвертом на бедрах под полушубком, в черных катанках и, по-видимому, многих юбках и кофтах. Ее большие иссиня-серые глаза сузились и вспухли, полные губки-вишни сжались в одну нитку, и это сделало ее похожей на их тихую безответную мать Екатерину Тимофеевну, и оттого, что она стала похожей на мать, Федя почему-то подумал, что мать умерла и поэтому Наденка здесь в таком странном виде.

— Федя,— сказала Наденка и повторила со странной торжественностью,— Федя.

Она подняла маленькие руки на уровень его лица и взялась ими за его щеки, ощупывая их, как слепая.

— Нас раскулачили,— сказала она негромко, но Феде показалось, что эти слова набатом раздались по всем закоулкам проходной конторы. И первым его непроизвольным движением, еще прежде, чем до него дошло все значение произнесенных слов, было — оттеснить Наденку обратно к окну, в угол, и сказать ей что-то (он сам не знал — что) шепотом, тем самым приглашая и ее говорить тихо.

Она вполголоса начала рассказывать, но он не слушал ее; вернее, слушал, но не слышал — ее рассказ не вызывал в нем никаких представлений зрительных; если он и видел что-нибудь из того, что она рассказывала, то только баньку в глубине сада, среди малины, и именно среди малины, а не снежных сугробов, как должно бы быть теперь, зимой. Но банька эта была тоже только фоном; на этом фоне перед Федей выскакивали из темноты, пропадали и снова проявлялись лица: Аркадий Полетаев, его отец Виктор Васильевич, секретарь МК товарищ Леонов, Боря Готлиб, ректор университета, Кира Полетаева, секретарь райкома комсомола и другие. Нельзя с уверенностью сказать, что Федя видел их лица,— это были чаще всего не их лица, а движения их рук, челюстей, мигание их глаз, повороты их голов, иногда даже просто их имена, даже хлопанье двери, ведущей в их комнату, даже запах трубки, которую кто-то из них курил, и запах мыла, которым кто-то из них умывался. Эти люди появлялись перед Федей и опять пропадали, и при каждом появлении отдалялись от него все больше, смотрели на него с жалостью, злобой, укоризной, а затем все более равнодушно, отводя глаза в сторону — на свои бумаги, столы, к другим людям, к другим разговорам, к другим временам. Они уходили из его жизни.

Он же цеплялся за них, кидался следом за ними, пытался их остановить при помощи целого потока фраз, оправданий, объяснений, произносимых то с достоинством, то с отчаянием [самобичеванием],— готовых фраз, читанных или слышанных, сильных именно тем, что они были произнесены миллион раз, и этим же слабых, но произнося мысленно эти фразы, Федя чувствовал, что они разбиваются обо что-то, как волна — о камень; и этим камнем была стоявшая рядом девушка в одежде, спасенной от реквизиции.

Надя, хотя она и повидала виды за последние два дня, испугалась остекленевших глаз брата и вцепилась в его руку своими маленькими ручками, готовая испустить истошный деревенский вопль. Но Федя сразу же оправился — может быть, потому, что и во внезапном своем беспамятстве, похожем на обморок, боялся такого вопля,— и сказал:

— Хорошо, хорошо. Подожди тут. Я оденусь, и мы пойдем поговорим.

Он опасливо оглянулся. Запоздавшие студенты и студентки разворачивали перед вахтером свои пропуска и мчались по лестнице вверх, беззаботно прыгая через две ступеньки. Федя медленно поднялся по лестнице. Всюду было тихо. Общежитие угомонилось. Федя медленно пошел по коридору, дошел до двери своей комнаты, постоял с минуту, затем толкнул дверь, вошел и — поразился: все здесь осталось таким же, каким он оставил вечность тому назад. Эта вечность длилась десять минут. Боря Готлиб наклонял свой тонкий профиль аскета над той же древней персидской поэмой. Паша Андреев допивал второй стакан кипятку и доказывал на бесконечных листках бумаги все ту же бесконечно длинную теорему. Петя Онищенко лежал в постели и, надев наушники, водил стальным волоском по камушку детекторного радиоприемника, установленного на крышке папиросного коробка. На столе перед свободным стулом, где десять минут назад сидел Федя, лежал открытый на той же 201 странице второй том «Русской истории с древнейших времен» Покровского и толсто переложенная вкладками из газетной бумаги книга Энгельса. Все находилось в таком же состоянии, как в то мгновение, когда раздался стук в дверь и чей-то голос произнес: «Ошкуркин, иди вниз, к тебе пришли». Феде это показалось потрясающим, и он окинул всех горестным и удивленным взглядом, как фотографию, снятую много лет назад.

Он начал бесшумно одеваться, желая избежать расспросов. Готлиб, подняв на него рассеянные глаза, сказал: «Слушай, как здорово», и прочитал по-персидски несколько непонятных, но очень красиво звучащих строк. Потом, заметив, что Федя стоит одетый, рассеянно спросил: «Куда собрался?»

Федя пробормотал что-то неразборчивое и вышел.

II

Брат и сестра пошли по обставленному лотками и мелкими лабазами Охотному ряду. У них не было никакой цели. Единственной до сих пор осмысленной целью Феди было увести скорее Надю подальше от общежития. Но и эта цель была неопределенной и зыбкой, и, может быть, поэтому он вел сестру петлями,

вокруг да около — то через Иверские ворота они выходили на Никольскую, то плутали в Старопанских и Черкасских переулках, то плелись вдоль приземистой стены Китай-города и возвращались на площадь Свердлова, а оттуда снова к Охотному ряду, чтобы здесь опять повернуть за первый попавшийся угол. Мимо то и дело проносились дребезжа трамваи, но ни Феде, ни Наде не приходило в голову сесть в трамвай. Для Нади это было естественно, Федя же почувствовал себя так отчужденно от московской жизни, эта жизнь представлялась ему до того отдалившейся, что и трамвай уже, казалось, был создан не для него.

Наконец они очутились возле Александровского сада и, потоптавшись у входа, вошли в него, оставляя на пушистом снегу глубокие следы — единственные в эту позднюю пору. Федя смахнул полой полушубка снег со скамейки и сказал:

— Посидим. Расскажи мне все подробно.

Говоря, он мимоходом, с ужасом отметил, что окает, как раньше, по-деревенски, и это внезапное непроизвольное возвращение к деревенскому прошлому показалось ему полным трагического смысла. Пока Надя рассказывала, он не раз возвращался к этому психологическому феномену.

Надя рассказала, как она поехала гостить к старшей сестре Варваре в Нижний Новгород на рождество и Новый год, там задержалась и только на днях, одиннадцатого февраля собралась домой.

Поздно ночью она вышла из вагона на станцию, где ее должен был ожидать Макар с розвальнями, но на пристанционной площади, еле освещенной керосиновым фонарем, не было ни души. Сыпал густой снег. Он покрыл сплошняком обычно утоптанную здесь желтую от конского навоза и нитей сена землю.

Наденка удивилась и рассердилась. Она соскучилась по родным, еще в вагоне предвкушала встречу, представляла себе, как добродушно и сонно облапит ее Макар большими руками, как пахнет от него родным деревенским запахом овчины и молока; Сивка будет дружелюбно помахивать хвостом и прясть ушами; старая собака Жучка, обладавшая, по мнению всех домашних, человеческим умом, обязательно поймет, зачем Макар едет на станцию, увяжется за ним и встретит Надю счастливым повизгиванием, переходящим в сдавленный радостный лай, будет прыгать ей на грудь и лизать щеки.

Наде ужасно надоел город, где она провела полтора месяца. Муж Варвары, Калистрат Степанович Спиридонов, бывший их односельчанин, работал на строительстве автомобильного завода. Жили они на самой стройке, в бараке. С утра до ночи здесь царил оглушительный шум, раздавалась площадная брань. Люди тут много пили и жили какие-то неприкаянные, как на временной стоянке.

Тем не менее, Наде жилось весело. Она имела большой успех. Ей там сделали три предложения. Калистрат Степанович несколько раз с трудом предотвращал драки между двумя ее воздыхателями — шофером и монтажником, а вскоре появился третий — молодой инженер Карпухин. Он дважды водил ее в театр, в Нижний, показывал ей территорию нижегородской ярмарки. Верно, Наде было с ним скучновато — он был сух, молчалив, неловок, редко смеялся, видимо, все время помнил о своем инженерстве.

Побывала она у него в комнате, в доме ИТР на территории уже действовавшего автосборочного завода «Гудок Октября». Комнатушка Карпухина была похожа на него самого — тоже скучноватая, содержимая в полном порядке, обставленная самым необходимым; книги тут были только технические. На верху книжной полки лежала новая инженерская фуражка с зеленым плюшевым околышем, которую Карпухин, впрочем, не надевал, так как после шахтинского процесса вредителей такие фуражки были несколько скомпрометированы и понемногу выходили из обихода.

Здесь, в этой комнатке, под шум «фордов», сновавших по заводскому двору, Карпухин сделал Наде предложение. При этом его руки дрожали. Она засмеялась и сказала, что не может жить в таком аду и выйдет только за своего, деревенского или за городского, который ради нее согласится жить в деревне, потому что в городе она жить не станет.

— У вас уже есть кто-нибудь? — спросил он, помертвев.

— Нет,— сказала она полуправду, пожалев его: в действительности считалось, что она почти невеста Мити Харитонова, соседского сына; впрочем, Митя уже два года как находился в армии на Дальнем Востоке.

Карпухин просиял и начал убеждать ее в том, что и город неплох, если это настоящий город, а не новостройка, и что он может попроситься в Ленинград. Тифлис, Киев — а это все очень красивые города. И еще он что-то обещал ей и смотрел на нее при этом во все глаза. Она действительно была очень привлекательна. Высокая грудь, покатые круглые плечи, мощные и изящные икры — все это особенно волновало мужчин в сочетании с почти детским маленьким коротконосым румяным лицом, залитым светом больших серых глаз, ресницы вокруг которых были поистине удивительной длины и густоты, почти пушистые. Когда она прикрывала глаза, лицо ее в тени этих ресниц становилось томным и грешным, но когда глаза были раскрыты — оно было невинным свежим деревенским лицом, достойным, впрочем, кисти богомаза, пищущего лики ангелов для притвора какой-нибудь затерянной в глуши деревенской церковки.

Весь ее облик будоражил в Карпухине его чахлую чувственность аккуратиста и буквоеда. Ему, угловатому и застенчивому человеку, нужна была именно такая женщина, чтобы он мог ощутить подъем и совершить что-нибудь необыкновенное. Ради этой Нади он мог горы перевернуть. Он не верил, что может ей (и вообще кому-нибудь) понравиться, и не питал никаких надежд на то, что она примет его предложение. Он и сделал ей предложение только потому, что не мог иначе выразить всю меру восхищения ею. Но он был настойчив и упорен и в его узкой груди билось сердце, способное на великое постоянство.

Весь вечер после этого разговора она смеялась, вспоминая дрожь его рук, и искренне удивлялась тому, что не кто-нибудь, а настоящий инженер так дрожал и изменялся в лице перед ней, деревенской девчонкой. Это подняло ее цену в собственных глазах.

Может быть, поэтому она, приехав на станцию и не застав Макара с санями, особенно обиделась и рассердилась. Впрочем, позже, когда стало ясно, что сани не появятся вовсе, у нее внезапно защемило сердце.

Она посидела в помещении станции — большой бревенчатой комнате с грязным полом и наглухо закрытым окошечком кассы. Здесь никого не было, но в воздухе стоял заматерелый запах махорки и кислятины. В полутьме белели плакаты. Из-за стены доносился

стук аппарата Морзе и ленивый разговор дежурного со смазчиком.

Как только начало светать, Надя пустилась домой пешком, не дожидаясь попутных саней, какие могли подойти,— так хотелось ей скорей попасть к своим. До деревни было двенадцать верст. Вначале Надя шла угрюмая и злая, тем более, что тащила на спине не очень легкий сундучок с гостинцами. Но по мере того, как становилось все светлее, досада ее понемногу проходила, кругом было так тихо и красиво, воздух был так чист и свеж, что Надя, сравнив эту благодать с сутолокой, гамом и пылью новостройки, начала улыбаться и петь. Издалека — вероятно из Мстеры — слышалось заливистое пение петухов. Огромный красный шар солнца поднялся над деревьями, покрыв на мгновенье снег и верхушки елей легчайшим малиновым покровом. Надя даже громко вскрикнула от восхищения.

Выйдя из лесу на Аракчеевский тракт — большак, идущий от Нижегородского шоссе ко Мстере, и повернув направо, она встретила первые сани и решила, что это едет опоздавший Макар. Однако это был не Макар, а Савелий Овчинников, молчаливый черный мужик, исполнявший обязанности почтальона. Он ехал на станцию за почтой, Наденка, впрочем, обрадовалась и Савелию, настолько все кругом казалось ей приятным и радостным. Она остановилась, чтобы перекинуться с ним словом. Савелий проследовал было мимо, но, вглядевшись в девушку и узнав ее, вдруг оглушительно крикнул: «Тпру, проклятая» и остановил лошадь.

— Здравствуй, дядя Савелий,— сказала Наденка приветливо.

— Здравствуй,— сказал Савелий. Он снял рукавицы и вынул из кармана кисет с махоркой, при этом глядя безотрывно на Надю.

— Как живете? — спросила Надя.

— Обнаковенно живем,— кратко ответил Савелий.

— А я у Варвары гостила.

— Знаем,— сказал Савелий.

— Кланялась она всем деревенским и тебе кланялась. Тоже и Калистрат Степанович приказали кланяться.

— Мг.

— Жалованье хорошее получает. Он ударник, портрет его висит на стройке. Про него в газете писали.

— Так, так... В газете... Мг... Да...— он скрутил цигарку, достал спички, закурил и не двигался с места. Надя спросила:

— Как там наши — папа, мама, Макар?

Савелий ответил:

— Да так... обнаковенно.

На его тупом лице что-то шевельнулось, и он неожиданно сказал:

— Тебе на станцию не надо? А то подвезу...

Она удивленно подняла брови:

— Я ведь и то со станции иду.

— Мг,— согласился Савелий, продолжая курить и не трогаясь с места. Надя пожала плечами и пошла дальше. Потом обернулась. Сани стояли на месте. Савелий все сидел неподвижно в санях и курил.

Поднявшись на бугор, поросший мелким ельником, Надя увидела нестерпимо сверкающий в свете солнца золоченый купол колокольни и тусклые голубые луковки Спас-Благовещенья, их приходской церкви. А внизу, у ее подножья, высовывая из-под ослепительного снега коричневые бревенчатые углы и темные треугольники дощатых фронтонов, лежало село. Так как ветра не было, то дымы из всех дымоходов шли вертикально к голубому морозному небу, и от этого вся картина дышала еще большим спокойствием. А дальше за селом, за еле угадываемыми, почти неразличимыми изломами заснеженных холмов, ощущался провал речной поймы, а еще дальше, за ней — левый, уходящий вдаль до горизонта низменный берег. Там, среди легких заиндевевших лесов тяжелела белая, словно тоже из льда и снега сложенная, громада Серапионова монастыря.

Надя спустилась с холма и пошла по дороге. Идти стало легко — почти все время с горы. Вскоре она поравнялась с крайними домами. Улицы были пустынны. Все было до того ослепительно-белое, что, когда Надя зажмуривала глаза, ей казалось, что все кругом ослепительно-алое. Так она шла по улице и то закрывала, то открывала глаза, превратив это занятие в чудесную и яркую игру: то весь свет был ослепительно-красный, то ослепительно-белый. А когда она подошла к их дому, она заметила у ворот трое городских санок с

лошадьми, привязанными к забору, но без людей. А люди — среди них знакомые односельчане и дети — стояли на улице неподалеку от ворот небольшими кучками, по двое и по трое, и смотрели в одном направлении, неизвестно куда, не то вдоль улицы, не то еще куда-то. Казалось, они ждут заезжего фокусника или еще какого-то зрелища — и даже не ждут, а уже смотрят на него, и это не показалось Наде странным только потому, что она уж очень спешила домой увидеть своих родных.

Их знакомый до мелочей двор показался Наде в это утро еще шире и привольней, чем когда-либо,— по-видимому, оттого, что составлял контраст с теснотой и многолюдьем новостройки. Это был большой и хороший двор, на заднем плане которого чернели среди белого снега узловатые стволы яблонь и желтели с восковым блеском несколько ульев. А спереди снег был желтый от конского навоза и нитей сена, как на пристанционной площади, и такие же желтые стежки шли к низкой дверце крытого двора налево, к низкой баньке в глубину и к возвышающейся над землей, похожей на сугроб, крыше погреба вправо.

Не успела Надя войти во двор, как к ней метнулась жена Макара, Поля. Она обняла Надю и что-то непонятное запричитала. Но тут на пороге дома появился отец. Поля сразу же замолкла — она робела перед Никифором Фомичем. Надя подняла глаза на отца и обмерла. Сундучок с гостинцами с глухим треском упал на землю. Ей показалось, что Никифор Фомич сильно пьян. Его рыжеватые волосы и редкая бородка были растрепаны, руки дрожали, глаза были красные и страшные. Нательный крест на буром тряпичном шнурке, который он никогда не носил, так как был не дюже верующим, теперь висел снаружи на рубашке. Он пошел к Наде нетвердыми шагами и, подойдя, неожиданно обнял ее. Он никогда не обнимал дочь и вообще был скуп на ласку, и это объятие потрясло Надю больше, чем могло бы потрясти что-либо другое; оно, это объятие, красноречивее чего-нибудь другого дало ей понять чрезвычайность происходящего.

— Горе мое,— сказал Никифор Фомич.— Приехала, Наденка... Лучше бы глаза мои тебя не видели. Беги обратно. К Варваре, к черту, к лешему.

Надя заплакала от страха.

— Мы уже не люди,— продолжал Никифор Фомич.— Мы трава. Фу — и нету.

Он взял ее за руку, ввел в дом и провел прямо в большую чистую горницу к улице, где никто обычно не жил. В горнице такой же группкой, как и те люди на улице, словно чего-то ожидая и глядя в одну точку, стояли — все одетые, словно на улице,— Екатерина Тимофеевна, семилетний сын Макара Санька и присоединившаяся к ним Поля с маленькой девочкой на руках. Екатерина Тимофеевна бросилась было к дочке с плачем, но Никифор Фомич отстранил жену и сказал сурово:

— Не шуми, старуха.

В это время вошел Макар. Он остановился в дверях, большой, темный, с обвисшими плечами.

— Пришли,— сказал он.

Никифор Фомич затрепыхался, как зарезанный, потом медленно собрался, расчесал пятерней волосы, перекрестился и пошел к двери. Как только он вышел, Екатерина Тимофеевна, застывшая на полдороге после окрика мужа, бросилась к дочери, обняла ее и, спрятав маленькое морщинистое лицо на ее груди, заплакала молча. Однако Надя рванулась из ее объятий и бросилась к двери вслед за отцом.

Теперь двор был полон народу. Тут были и незнакомые Наде люди — военные и штатские,— и местные власти — председатель сельсовета Овчинников, и отец Калистрата, Степан Ефимович Свиридов, председатель недавно созданного колхоза «Светлый путь», и сосед Иван Иванович Харитонов, и еще много других, в том числе Надины подружки, стоявшие теперь в стороне неподвижно и молча, как в театре. Жучка надрывалась от лая, в то же время трусливо прижимаясь к стенке крытого двора.

Между тем кто-то отпер амбар, кто-то вывел из стойла лошадь и жеребенка, кто-то погнал со двора корову Машку с подтелком. Овцы, выгнанные из закута, быстро и вроде как бы зябко перебирали тонкими ножками, направляясь к воротам. Часть людей хлынула в дом, сапоги загрохотали по комнатам и чердаку, в окна было видно, как чужие руки шарят по запечьям, открывают сундуки и ворочают столы. Кто-то из вошедших в дом стал распахивать окна, и они, крепко заклеенные на зиму, отскакивали с громом,

похожим на пушечные выстрелы, и из них некоторые разбивались при этом, стекла звенели и падали, кромсая девственный снег. Из распахнутых окон слышались негромкие, но возбужденные голоса. Некоторые из оставшихся во дворе, услышав эти голоса, тоже кинулись в дом и в крытый двор, и среди этих кинувшихся были Дуся Серебрянникова и Фрося Кузнецова, лучшие Надины подруги, и они пробежали мимо Нади, словно не замечая ее, и в их глазах был азарт почти до невменяемости.

Надя растерянно постояла среди двора, но когда эти две ее подруги пробежали мимо нее, чтобы, как мелькнуло у нее в мозгу, забрать себе ее платья, она задрожала и метнулась к человеку в кожаной куртке, который, по-видимому, всем здесь заправлял.

— Ты что делаешь? — спросила Надя, подступив к нему так близко, что ее грудь соприкоснулась с его кожаной курткой.— Грабишь? Ты что? Рабочего крестьянина обижаешь? Что у нас — советская власть или старый режим? Да я Сталину напишу! Я к самому Калинину пробьюсь...

Она вцепилась ему в грудь. Платок слетел с ее головы, и толстая русая коса упала вниз и забилась на высокой груди, как живая. Человек в кожаной куртке отступил и почти умоляюще обратился к стоящим возле него людям:

— Уберите вы ее, пожалуйста...

— Как твоя фамилия? — завизжала Надя, рванув на нем куртку.— Ты скажи, не утаивай... Я до тебя доберусь! Не на таковских напал!..— Кто-то оттащил ее, поволок в сторону, но она все рвалась и кричала: — Ты свою фамилию назови, начальник говенный!..

Человек в кожаной куртке отдавал распоряжения, не обращая, казалось, внимания на крики Нади. Наконец он повернул к ней голову и сказал:

— Моя фамилия Русанов, Петр Иванович. Хочешь, запишу? И успокойся, пожалуйста. Заберите ее отсюда. Заберите. Не надо ей тут быть.

И непонятно было, говорит он с жалостью или злобой. Какой-то военный схватил Надю за руку и потащил за собой. Она билась, вырывалась, но в то же время видела все, что делается во дворе. Она увидела и мать и Полю с детьми, которые неизвестно когда вышли во двор и теперь стояли плотной кучкой, словно

привязанные друг к другу. Она увидела отца. Он все время молча стоял у стены дома, с лицом неподвижным и серым. Казалось, он ничего не видит. Даже когда мимо него провели упирающуюся лошадь и жеребенка, на которого он так надеялся, он не шевельнул пальцем. И когда Надю оттаскивали в глубь двора, он ничего не сказал и не сделал. Но когда кто-то впопыхах, вероятно, даже без умысла, пнул ногой уже присмиревшую Жучку, путавшуюся среди людей, лицо Никифора Фомича вдруг налилось кровью. Почти обезумев, он стал ворочать головой вправо и влево, словно искал чего-то. Тут он заметил уроненный Надей сундучок на снегу, уже почерневшем от шагов множества людей, раздавленных окурков и плевков. Он схватил этот сундучок и бросил его в гущу стоявших людей и сам пошел вслед за ним, подобрав с земли слегу, нагнув голову, как бык, крича и матюкаясь. Его схватили, милиционеры скрутили ему руки и сунули в милицейские санки, для этой цели стремительно влетевшие во двор. Высокая лошадь, испуганная многолюдьем и нервными отрывистыми подергиваниями вожжей, бешено закидывала голову вверх и кусала уздечку. Тут же, следом за ней, во двор внеслись вторые санки и третьи, и все трое, после того, как в них усадили всех Ошкуркиных, включая Полю с младенцем, стали разворачиваться, и люди разбегались в стороны, а лошади толкали их и друг друга оглоблями, пока не развернулись и не вынеслись со двора по направлению к Аракчеевскому тракту.

— Мама! — кричала Надя и рвалась обратно во двор, но военный не пускал ее. Он выволок ее со двора и остановился вместе с ней, запыхавшись и что-то бормоча. Когда городские санки пронеслись мимо и промелькнули среди заиндевевших деревьев на тракте, он снова потащил ее куда-то. Слезы мешали ей видеть. Она видела только шинель и буденовку и думала, что военные хватают ее, чтобы куда-то отправить, но что-то было в сильных руках этого человека такое властное и в то же время ласковое, что она, слабо крича, не сопротивлялась им. А он уводил ее все дальше, они пересекли улицу. Он повернулся к ней лицом, и лицо его показалось ей странно знакомым. Она в замешательстве перестала кричать, удивление на минуту вытеснило все остальные чувства. Это был

Митя Харитонов, сильно изменившийся, повзрослевший за два с лишним года отсутствия. То был он, с его смугловатым лицом, прямым носом, строгим выражением полных, но суровых мальчишеских губ.

— Митя! — крикнула Надя не своим голосом.— Спаси нас...

Он промолчал и все продолжал тянуть ее, а она послушно, хотя и медленно, шла за ним. И, отдаваясь во власть его рук, закрыла глаза. И она стала открывать и закрывать глаза, как давеча, но несмотря на то, что солнце по-прежнему ярко освещало ослепительно-белый снег, красный свет в глазах больше не появлялся, и, когда она закрывала глаза, все было черно.

Митя отвел ее в отцовскую избу и оставил на попечении своей сестры Павлы, а сам куда-то ушел. Павла уложила Надю в постель и укутала в одеяло. Надю бил озноб, и она негромко говорила:

— Мам, мам, мам, мам...

В печи только что ярко разгорелись березовые дрова, чугуны с водой и картошкой, щами, пойлом для поросят стояли среди них пока еще спокойные, холодные. Петухи перекликались за окном на разные голоса. Боль в Надиной душе то утихала от всех этих обычных звуков и картин, то как раз из-за обычности этих картин и звуков доходила до такой остроты, что ее всю разрывало от рыданий. Павла ничего не говорила ей в такие минуты, только стояла возле нее как виноватая.

Позже вернулся Митя с отцом, Иваном Ивановичем Харитоновым. Они принесли сверток с вещами — то, что Мите удалось заполучить при помощи Русанова для Нади. Тот против ожидания охотно согласился посмотреть сквозь пальцы на исчезновение Нади и на то, что для нее унесли что-то из вещей. Может быть, тут сыграла роль бумага, которую Митя предъявил Русанову. В этой бумаге сообщалось, что Митя едет в Москву за получением ордена Красного Знамени, как отличившийся в боях с белокитайцами во время конфликта на КВЖД.

Харитоновы предложили Наде пожить у них, и Надя вначале согласилась. Однако, выйдя под вечер на улицу, и увидев родное село, и услышав неподалеку гармонь и девичьи припевки, ощутила такую ненависть к этому месту, раньше столь любимому, что этой же ночью, не слушая уговоров, ушла на станцию.

III

Федя слушал рассказ Нади и ловил себя на мыслях, которые ужасали его самого. А именно — он ловил себя на том, что, представляя себе все события, происшедшие в родной деревне, он испытывал к отцу, матери, Макару, Поле, Саньке чувства, похожие на ненависть. Такую же ненависть он испытывал и к Наде, которую очень любил,— к ее вспухшим глазам, всхлипываниям, к наверченным на ней вещам: эта привязанность к вещам, о которых не было забыто даже в момент величайшей беды, раздражала его ненависть, служила ей оправданием. Он думал о том, как было бы хорошо, если бы всех его родных никогда не было на свете или если бы вдруг выяснилось, что он не родной, а приемный сын.

К судьбе отца, матери, брата и Нади он испытывал — и сознавал это сам,— полное и ужасающее безразличие. В сущности, он думал только о себе. Он, оказывается, не считал их жизнь ценной, а считал ценной только свою собственную жизнь и не понимал того, что если сам он так легко отказывается от своих родных, то как может он надеяться, что кто-то в университете или в райкоме заступится за него, когда сам он не хочет и не может заступиться за других, притом наиболее близких ему людей, гораздо более близких, чем он — ректору, декану и секретарям райкома.

В то время, как Надя, заливаясь слезами, то умолкала, то быстро и подробно рассказывала, Федя неотступно думал о том, что будет с ним, что решат те или иные инстанции, что скажет такой-то и такая-то. Впрочем, было ясно, что его исключат из комсомола и из университета. Он был отныне классовым врагом. Слабо усмехнувшись этому своему новому званию, он тут же подумал, что эта усмешка не более как слабая попытка сохранить собственное достоинство, а на самом деле он сейчас сползет со скамейки на мерзлую землю, уткнется головой в снег и замерзнет. Он почти готов был это сделать, и только стыд перед сестрой помешал ему.

Надя, в отличие от брата, ни минуты не думала о себе, о своей участи. Она все время видела перед собой, как наяву, сани, на которых увезли отца, мать и

Макара. Перед ее глазами стояло лицо матери — осунувшееся жалкое лицо и губы, шепчущие молитву, а в ушах стоял гул разговора, ржанье лошадей, голоса Мити, Павлы и того, в кожаной куртке,— Русанова. Однако теперь она не чувствовала себя такой несчастной и покинутой — ее поддерживало присутствие Феди, которого она считала мужественным человеком, способным выручить семью из беды. Она преклонялась перед братом, восхищалась его умом и образованностью и ожидала, что он сейчас, сию же минуту что-то скажет спасительное и предпримет нужные шаги. Его сосредоточенную молчаливость она приняла за обдумывание их положения и поиски выхода из него. Глядя снизу вверх на его красивое серьезное лицо, она думала с гордостью: «Стоит ему только пойти к Калинину...»

Вся надежда у нее была на Калинина. Сталин ей не нравился. Ей казалось, что Калинин, сам русский мужик, может и должен их спасти и что Калинин не знает, что кругом творится, между прочим, потому, что Сталин, человек нерусский и недобрый, от него все скрывает.

— Ты должен сходить, все сказать,— зашептала она.— Что мы середняки, сказать. Что мы не твердозаданцы. Батраков у нас не было. И лошадь была одна. Пегаш ведь не лошадь... ему два года всего. У Мальковых две лошади, а их не тронули... Ты расскажешь складно, не то что кто из деревенских... Вся деревня подтвердит. Все же знают.

— Знают,— сказал Федя,— а на собрании решили...

— Их заставили,— снова зашептала Надя.— Напугали их! Завидки взяли на наше хозяйство.

— Эх, Надя, Надя,— проговорил Федя и не сдержался, жалобно всхлипнул.

Она посмотрела на него с ужасом, затем, все поняв, торопливо вытерла глаза тыльной стороной обеих рук и поднялась со скамейки.

— Пойду я,— сказала она сухо.

Он овладел собой и тихо спросил, вставая:

— Куда?

— Пойду к дяде Егору Кузьмичу.

Федя нахмурился. Туголуков Егор Кузьмич был сводным братом Екатерины Тимофеевны. Не так давно он жил в деревне богатым лавочником, несколько лет назад все распродал и уехал в Москву, где-то здесь

служил. Федя, ненавидевший всю материнскую торгашескую родню, не поддерживал с Туголуковым никаких отношений.

— Что ты, к Егору Кузьмичу...— пробормотал Федя.

— А куда мне деваться?— спросила Надя вызывающе.— В общежитие ты меня не пустишь, кулацкую дочь? Али пустишь? Защитишь?

— Где он живет?— спросил Федя.

— В Марьиной роще.

Они вышли из сада по своим, неярко освещенным фонарями, глубоким следам в снегу. На Большой Дмитровке они стали ждать трамвая. В это время из Экспериментального театра (теперь его называли «Второй ГОТОБ») повалил народ: окончился спектакль. Рядом с театром и наискосок, возле Дома Союзов, стояли рядами санки. Извозчики с широкими ватными задами зазывали театральных посетителей.

В этом театре Федя на днях смотрел оперу «Лакмэ» — вернее два последних акта этой оперы. Вообще студенты общежития в Охотном ряду были театралами своеобразными: они никогда не смотрели первых актов. Дело в том, что денег на билеты у них не было, и они бежали к началу второго акта без пальто и шапки к театрам, расположенным поблизости — Большому, Малому, Второму Художественному и Второму ГОТОБ, а иногда даже добегали до Художественного — и входили в театр ко второму акту, так как их без верхней одежды принимали за вышедших во время антракта покурить зрителей. Так Федя и многие другие студенты и студентки ухитрялись пересмотреть в нескольких театрах весь репертуар без первых действий. Иногда по вечерам они собирались и придумывали первые действия, если пьесы были им незнакомы раньше.

Эта радостная яркая жизнь — была ли она, или ее не было? Эти мощные звуки большого оркестра, игравшего мелодии, которые он, Федя, только недавно научился понимать благодаря этой хитроумной выдумке беганья к театральным подъездам без пальто,— слышал ли он их когда-нибудь? Трудно было в это поверить. Трудно было поверить даже в то, что он ходил по тому самому снегу, который сыпал во время собрания и после него, во время прогулки с Моховой до Остоженки.

Они сели в трамвай. Покинув центральные улицы,

трамвай опустел. Окна его были залеплены снегом. Он мчался быстро, останавливался только на мгновенье и тут же, не ожидая звонка сонных кондукторов, мчался дальше, все дальше от ярко освещенного центра в тьму предместья. Казалось, он мчится по вымершему городу, где нет ни души, где все звуки задушены снегом.

Наконец они вышли из трамвая. Трамвай умчался и оставил их на очень темной улице, еле освещенной редкими фонарями, под светом которых снежинки суетились и мельтешили особенно тесно и таинственно. Остановившись возле ворот, примыкавших к кирпичному трехэтажному дому с темными окнами, Надя вошла во двор, и Федя за ней. В коридоре дома и на лестнице тьма стояла кромешная.

Тем неожиданнее в глаза им ударил свет и в уши — шум, когда после Надиного стука в дверь третьего этажа им открыли.

Большая прихожая — она же кухня: здесь на жаркой, местами поверху докрасна раскаленной плите пошумливали, посвистывали, испускали пар деревенские черные чугуны, городские эмалированные кастрюли и разновеликие сковородки. А рядом с плитой стоял самовар с тоже докрасна раскаленной трубой, выпускающей дым в печную отдушину. В прихожей было очень тепло, и лежавшим на длинном столе полушубкам и пальто разного меха и меховым шапкам было, казалось, невмоготу, как северным пушным зверькам под южным солнцем.

Молодой человек, открывший дверь, спросил: «Вам кого?» и, услышав ответ, крикнул оглушительным голосом:

— Папа! Тут к вам пришли!..

Тогда одна из двух дверей прихожей отворилась, и оттуда показался небольшой старичок с аккуратно подстриженной серенькой бородкой, в жилетке с золотой цепочкой и в очках в железной оправе. Он посмотрел на вошедших внимательно и удивленно, потом, узнав Надю, радостно засуетился.

— Наденка! Вот так уважила старика! В самый раз приехала, к праздничку. Милости прошу. Чай, с поезда прямо?

Он перевел глаза на Федю, которого не узнал.

— Это Федя, дядя Егор,— сказала Надя.

— Федя! Федор Никифорович! Не чаял, не гадал! —

Его глазки, широко расставленные, глубоко забившиеся под косматые брови и очень умные, засверкали.— Раздевайтесь, дорогие гости. Устали небось? Раздевайтесь, детки... Марфа Игнатьевна, погляди, кто к нам пожаловал!..— В это мгновенье он пристально посмотрел на обоих и сразу умолк. Затем спросил приглушенным голосом: — Стряслось что? — Но тут же снова захлопотал.— Раздевайтесь, Наденка, Федор Никифорович... Вот сюда положите... Ладно, ладно, потом расскажете все по порядку, тихо, спокойно, с толком...— Он помог Наде снять полушубок, платки и, снимая с нее платок за платком, продолжал говорить как ни в чем не бывало: — Вот сюда клади, Наденка... Ух, большая ты выросла, племянница... Чего же вы, Федор Никифорович, не раздеваетесь? Смелее, смелее... Вы у своих, все равно что дома... Правда, вы не жаловали дядюшку... не изволили навещать... Ничего, ничего... Дядюшка не в обиде... знает, что молодым до стариков дела нет, неинтересно им со стариками.

Тут в прихожую вошла Марфа Игнатьевна, рыхлая, с красным от плиты и беготни лицом, одетая, несмотря на жару, в тяжелое темное платье с черными кружевами, в длинной плисовой накидке. Наскоро изобразив радость по случаю приезда Ошкуркиных, она кинулась к плите — что-то снимать, соскабливать, переворачивать, затем раскладывать на блюда и в супницы. Из оставшейся открытой двери высовывались мужские и женские лица. Из-за двери слышался шепот, приглушенные смешки и толкотня: видимо, всем хотелось посмотреть на вновь прибывших. Однако, когда Федя и Надя разделись и старик повел их в комнату, дверной проем мигом опустел, и, войдя, Федя и Надя застали все общество чинно сидящим за большим столом, уставленным горками блинов, соусниками, сливочниками и молочниками со сметаной и растопленным маслом, рыбными блюдами, разносолами и графинчиками с водкой.

Вокруг стола сидело человек двадцать, за одной половиной стола — сплошь молодые, за второй — сплошь пожилые люди. Однако здесь не было ничего похожего на рознь между молодыми и стариками,— может быть, стол с блинами и водкой оказался той платформой, которая их дружно объединила. Впрочем, здесь не было и особого уважения молодых к старым, и

в этом одном, может быть, сказывались новые веяния и городской обиход. Молодежь вела себя независимо, брала со стола то, что ей требовалось, без оглядки. Пожилые люди воспринимали это как должное. Феде и Наде устроили два места рядом на половине молодых, но когда задержавшийся было в прихожей Егор Кузьмич вошел в комнату, он тут же устроил им два места возле себя,— возможно в предвидении серьезного разговора или для того, чтобы отличить Федю, с которым он обходился с подчеркнутым уважением.

Усадив гостей, Егор Кузьмич начал представлять пришедшим пирующих, при этом улыбаясь и тыча в каждого представляемого пальцем, для чего пошел вокруг стола:

— Вот это мой Толя, старшенький, а это Егорушка, средненький, [illegible] это Левушка, младшенький... А это Аглаюшка, а это Ариаднушка, а это Ванечка и Манечка, племяннички. А это Сонечка, сиротка, дочь Акулины Лазаревны, царство ей небесное... Это, прошу любить и жаловать, братец мой, ваш дядя Полиевкт Кузьмич, и супруга его, Капитолина Ивановна... Иванихина, Михаила Степановича, старшая дочь... Это мой добрый друг, прошу знакомиться, гражданин Винницкий Исаак Моисеевич и супруга его Цецилия Ефимовна.— Рядом с Винницким сидел бритоголовый бледный человек, но его Егор Кузьмич представлять не стал, только почему-то погладил его по плечу быстро и ласково и крикнул Марфе Игнатьевне: — Икорочки вновь прибывшим не забудь, Марфа Игнатьевна... Красненькая?.. И красненькая пойдет... Бывало в старину на масленой... что было смеху, что песен, что угощения... Нынче и яств таких нету, вывелись.— Обойдя стол кругом, он подошел к Ошкуркиным и продолжал говорить: — Народу много, все равные значит, есть хотят равно... В старину не то было. Тут, конечно, нашу власть винить нельзя — она власть справедливая, хочет всем добра, всех накормить, одеть, обуть поровну. А не знает она, власть, что всех накормить, одеть и обуть нет никакой возможности. Стерлядку кольчиком не ели? Не ели. Не может ее, стерлядки, на всех хватить. Она рыба царская. Я, бывало, с моим отцом покойником, царство ему небесное, ездил, возили рыбку к «Яру», да в «Славянский базар». Раза два с нами ездил и ваш батюшка,

Никифор Фомич, а еще раньше того — дед ваш — Фома Демьяныч, царство ему небесное, пусть земля ему будет пухом... Все мы были молодые, озорные, охальные...: Ездили мы в санях, а в них — садки с живой рыбой. В Вязниках, во Владимире да в Покрове воду меняли, чтобы рыбка не уснула, не дай бог: уснет — продадим в полцены... Люди мы были зажиточные, а разве стерлядь употребляли? Или икорку? Ни боже мой! Икорка — снедь господская, на пролетариев всех стран икорки не напасешься. Я вот до восемнадцати лет в лапоточках ходил. Уже женихом был и сапоги имелись, а лапоточки с онучами не бросал... А теперь все норовят — в сапогах. Галошки всем нужны. Э, нет, тут и кож не хватит, не наготовишься на всех.

Он говорил, то останавливаясь возле Феди, то опять шнырял между стульев, ухаживая за гостями и собственными детьми, чуть юродствуя, то и дело спрашивая: «А тебе, Левушка, чего? Тебе, Аглаюшка, рыбки не положить ли? А тебе, сиротка?» Но обращался он к Феде, и все видели, что он обращается к Феде и говорит только для него.

Это особое внимание Егора Кузьмича к Феде не осталось незамеченным. Молодежь то и дело стреляла любопытными, где-то в глубине зрачков смеющимися глазами в Федю и его сестру, которые среди благодушия и негромкого веселья сидели очень серьезные, отчужденные и тем самым какие-то значительные. Федя смотрел поверх голов в глубину комнаты, в дальний угол, почти сверху донизу уставленный иконами. Надя же глядела на одного только Егора Кузьмича грустным, вопрошающим взглядом и все время следила за ним глазами, ожидая, когда он подойдет к ней. Наконец старик незаметно мигнул ей, она поднялась и ушла следом за ним в другую комнату.

— Чего же вы ничего не едите? — услышал Федя рядом с собой низкий женский голос и только теперь заметил, что Нади возле него нет, а на ее место пересела одна из дочерей Егора Кузьмича — не то Аглая, не то Ариадна. Он посмотрел на нее и встретился с ее узкими монгольскими глазами, над которыми узкие же и точеные брови выглядели еще чернее от гладкости и белизны низкого лба. Она держала под столом руку с папиросой и, нагибая лицо к столу, то и дело затягивалась, и снова прятала руку с папиросой под стол.

— Вот вы какой!..— продолжала она с непонятным ему удивлением и восхищением и тут же объяснила.— Папа любит про вас рассказывать, какой вы умный да какой образованный... Ему один ваш профессор наговорил про вас всяких чудес. Мне все хотелось на вас посмотреть. Вот и дождалась.

— Ну и как? — спросил Федя рассеянно, глядя при этом на дверь, за которой, по-видимому, находились Надя и Егор Кузьмич.

Она засмеялась, что-то ответила, но он не слышал, так как дверь, за которой находились Егор Кузьмич и Надя, приоткрылась. И Федя подумал, что сейчас они появятся и потом начнут с ним что-то говорить о случившемся, и он должен будет отвечать и притворяться потрясенным судьбой родителей и соображающим, что бы такое сделать для облегчения их участи, хотя на самом деле знал, что все пропало. Но в дверь никто не вошел.

— ...Вам не нравится у нас? — продолжала девушка, затягиваясь папироской.

— Нет, отчего же,— ответил Федя.

Она положила ему в тарелку блинов, налила в рюмку водки. Потом она отошла к другим, и он проводил ее взглядом. Она была высока, с тонкой талией и слабой грудью и в то же время с широкими бедрами и полными могучими ногами.

В этом несоответствии было что-то похотливое, как и в ее узких монгольских очень черных глазах.

Щуплый блондинчик — племянник Егора Кузьмича, Ванечка,— сел к пианино и стал играть один из венгерских танцев Брамса. Федя почувствовал, что у него к горлу подступают слезы, и сделал над собой огромное усилие, чтобы не заплакать. Отвернувшись, он выпил рюмку, затем вторую. Тут в комнату вошел Егор Кузьмич, но без Нади. Федя в это мгновение понял, что все это время ждал, когда появится Егор Кузьмич, и подумал, как это было глупо ждать и на что-то надеяться.

Пианист перешел на русскую пляску, и молодежь стала выталкивать друг друга в круг. Егор Кузьмич подошел к Феде и сел рядом так близко, что боком прикасался к нему, и начал хлопать в ладоши в такт начавшейся пляске. При этом он приговаривал, улыбаясь:

— Веселитесь, детки, веселитесь, пока нет оснований печаловаться...— Затем он перестал хлопать, налил себе водки в первую попавшуюся, немытую рюмку, выпил, закусил огурцом и повернулся к Феде всем своим лицом, на котором не осталось и следа от напускного веселья и добродушия — оно было грустным и злым. Он снял с носа очки и приблизил свои широко расставленные маленькие злые глаза к самому лицу Феди.— Говорить мы сейчас ни о чем не будем, Федор Никифорович, поговорим после. Одно вам скажу: наступают времена Апокалипсиса, Федор Никифорович. Зверь из бездны появился, я его вижу, как Иоанн Златоуст на Патмосе, не знаю, известно ли вам такое видение, вы-то ведь в советских школах учились... Вы, Федор Никифорович, и ваша сестрица Надежда — вы как былинки в поле.— Он начал трогать Федю за руки и за плечи, и от этих прикосновений Феде стало неприятно и горько, и он отодвинулся. А Егор Кузьмич налил и выпил еще рюмку и сказал так тихо, что только один Федя расслышал: — Упокой, господь, души рабов твоих Никифора и Екатерины.— Он перекрестился широким крестом и заплакал.

Кое-кто из гостей — из тех, кто стоял вокруг пляшущих лицом к столу,— заметил странный жест хозяина и его перекосившееся лицо, но никто не подал виду; все не переставали хлопать в ладоши, хотя лица их стали при этом очень серьезными. Марфа же Игнатьевна, стоявшая у буфета, распаренная, с мучнистым лицом, смотрела издали на мужа напряженно, но безмолвно.

— Чего присмирели, молодые люди? — послышался веселый елейный голосок, и из-за стола поднялся Полиевкт Кузьмич, брат хозяина, очень на него похожий, но побольше, потолще, пошире ■ плечах и не в косоворотке, как Егор Кузьмич, а с галстуком и в приличной черной тройке, тоже с бородкой, но без седины в ней, более аккуратной, изящнее подстриженной. Несмотря на свою полноту, он с удивительной легкостью перелетел в центр круга и сказал под смех и рукоплескания: — Сейчас перед вами выступит прима-балерина Екатерина Гельцер.

И он стал изображать движения балерины, высоко задирая ноги, прохаживаясь на носках, трепеща руками и разводя их в стороны, нагибаясь, складывая руки, как бы умоляя о сострадании. Когда все это проделывал массивный мужчина с бородой и лысиной, все было до того смешно, что даже Марфа Игнатьевна, стоявшая у буфета, хотя она видела этот «номер» не раз, начала усмехаться и, чтобы не смеяться, укоризненно отмахивалась толстой ручкой, отворачивалась и шептала:

— Ну и охальник, прости господи.

Пока все это длилось, Егор Кузьмич оправился. Он встряхнулся, встал, засмеялся дробно-дробно, глядя на своего брата, и, когда Полиевкт Кузьмич выделал последнее па — завертелся волчком на одной ноге,— Егор Кузьмич крикнул высоким не своим голосом:

— Ши-ро-о-кая масленица!.. Гуляй, душа!..

IV

— Вы бы спели, Егор Кузьмич,— попросил Ванечка, повернувшись на круглом рояльном стуле вместе со стулом лицом к хозяину. Его маленькое старообразное личико было серьезно и только в небольших, но очень умных глазках за [огромными] очками шевелился смешок.

— А что,— запетушился Егор Кузьмич и обернулся к Феде: — Я, Федор Никифорович, с детских лет пел в церковном хоре, у Спас-Благовещенья, а на большие праздники — даже и во Мстере, в Богоявленской... А бывало, как урожай снимем, обмолотим и в амбары золотое зернышко ссыпем, из Преображенского монастыря в Вязниках возили по деревням животворящий крест. Вы этого уже не помните, Федор Никифорович. Али помните?.. Толпами в деревне собирались, тот крест целовали, молились, под благословение подходили. Нарядно все было, пестро.— Он запел громким, неожиданно высоким тенором: — Кресту твоему поклоняемся, владыко, и святое воскресение поем и славим!..

Эти же слова на один и тот же мотив, но с разными вариациями, то тонким, то низким голосом Егор Кузьмич пропел несколько раз и с каждым разом сам все больше умилялся и оглядывал всех сидящих победоносно. А Ванечка стал аккомпанировать ему короткими, но точными аккордами. Сыновья же Егора Кузьмича — тот, что первый открыл Ошкуркиным двери, и два других — стали ему подпевать вто́рой и при этом глядели на него со странной смесью уважения и ласковой

насмешечки. Марфа же Игнатьевна, махая на них руками, приблизилась к столу и повторяла:

— Потише, Егор Кузьмич... Сосед партейный...

Однако он не обращал внимания на ее просьбы, его голос дрожал от умиления. И, право же, в этот миг, по-видимому, он готов был на любые гонения и пытки, но тем не менее, не желая выглядеть смешным в глазах Феди, иногда оборачивался к нему, подмигивал: «мол, знай наших», затем, внезапно прервав свое пение, сел, вытер лоб красным платком и сказал дрожащим голосом, но деланно-иронически:

— Вот бывало как, Федор Никифорович, конечно, смешно, а? Али не смешно?

Феде действительно вдруг захотелось смеяться, и он с ужасом думал о том, что сейчас засмеется, и с трудом подавил в себе смех, вероятно, истерический. Стариковский голос, дрожащий от умиления, и испуганные причитания Марфы Игнатьевны: «Сосед партейный», и открытые рты сыновей Егора Кузьмича, и сконфуженные лица еврея и еврейки во время пения, и непонятный перепуг бритого худого старика, съежившегося с широко открытыми глазами на своем стуле,— все это показалось Феде необыкновенно смешно и в то же время чуждо и ненавистно. Никакого умиления он не испытывал. Пение, иконы, занимавшие весь угол сверху донизу — Богородица Одигитрия с темным ликом и огромными глазами, Нерукотворный Спас, Николай Мирликийский, святители Гурий, Самон и Аввива (от лихорадки), Георгий-победоносец (от падежа скота), электрическая лампада, таинственно освещавшая их,— все это наполняло его враждой и презрением. «Куда я попал? — думал Федя с ужасом.— Со света опять во тьму? Обратно в идиотизм деревенской жизни?»

Он чувствовал себя брошенным из большого вольного мира, где ему было так хорошо, в этот отживающий мирок, который он научился презирать. Все в нем бунтовало против этой противоестественной связи, и все-таки он сознавал, что эта комната с буфетом, божницей, модернизированной электрической лампадой теперь становится единственным местом на свете, где он себя может чувствовать полноправным человеком. Потом он вспомнил о том, что раз сегодня широкая масленица, а завтра начнется великий пост, то, значит, сегодня воскресенье — в связи с переходом на непрерывную рабочую неделю, месяц в том мире, где он жил раньше, делился не на недели, а на пятидневки и декады, дни недели теперь были в загоне и никем не вспоминались: следовательно, очередное заседание комсомольской ячейки будет в четверг. И на этом заседании он встанет и расскажет о том, что случилось в деревне, названия которой члены бюро не знают, с людьми, с которыми члены бюро не знакомы,— и это повлечет за собой тягостное молчание — прекрасное лицо Аркадия Полетаева задрожит и покроется пятнами, и партприкрепленный Павлюков перекосится весь и начнет хрипеть и кашлять, и Малеев, секретарь ячейки, побежит в райком, и будет назначено внеочередное заседание, на котором его исключат из комсомола и университета, как это было с Ланским, студентом пятого курса физмата.

Ланской скрыл, что он был сыном дворянина, штаб-офицера царской армии, и что мать его эмигрировала за границу из Одессы в 1919 году и жила в Париже. Последнее обстоятельство особенно потрясло комсомольцев. Для них не было более страшного и постыдного слова, чем эмигрант. Эмигрировать из Советской России казалось им не только верхом подлости и преступности, но и верхом глупости, ибо что, по их мнению, могло быть глупее, чем бежать из страны с самым справедливым строем на свете, страны, где сам народ управляет государством. В связи с делом Ланского Федя много думал об этом предмете и, узнав о том, что мать Ланского балерина, негодовал тем больше. На заседании бюро, и затем на комсомольском собрании упоминался в этой связи и Федор Иванович Шаляпин, у которого правительство недавно отняло звание народного артиста республики. Федя слышал его пение в граммофоне у Полетаевых, и, потрясенный этим пением, удивлялся, и не мог понять, как может человек, так поющий, бросить Советскую Россию. Почти со слезами в голосе говорил об этом Федя на комсомольском собрании, и его речь глубоко потрясла всех и решила вопрос об исключении Ланского.

На собрании Ланской был спокоен, но очень бледен. Он признал свою вину и сказал, что заслуживает самого строгого наказания. Только в самом конце [своей] речи он сказал, что предан комсомолу и партии до глубины души, и мельком сообщил, что является

потомком декабриста. На Федю и на остальных комсомольцев это произвело впечатление. Узкий профиль Ланского в их глазах на мгновенье приобрел обаяние барельефа, изображающего погибших борцов с самодержавием. Однако Аркадий Полетаев, выступивший вслед за Ланским, с присущим ему блеском рассеял это впечатление. Он сказал, что принадлежность Ланского к декабристскому роду ровно ничего не значит, так как из этого же рода вышло немало верных слуг самодержавия. И вообще, марксизм учит нас, что нельзя рассматривать явления вне их развития. Русское офицерство первой четверти девятнадцатого века — точнее, второй половины первой четверти — действительно было в оппозиции к самодержавию; однако уже следующее поколение служило царю верой и правдой, а в эпоху пролетарской революции офицерство, за редким исключением, единодушно выступило на защиту своих классовых и сословных привилегий. «Помещик князь Трубецкой,— сказал Аркадий,— владевший бесчисленными землями в Херсонской губернии, а теперь пишущий антисоветские брошюрки в эмиграции, тоже потомок декабристов».

С этим все согласились, а Федя, взяв второе слово, сурово, тем более сурово, что ранее «колебнулся» — сказал, что если Ланской гордится своим происхождением, то было бы значительно красивее, даже с точки зрения «дворянской чести», чтобы он козырял этим происхождением раньше, при вступлении в комсомол, а не писал бы в анкете, что отец его служащий, умерший в Сызрани в 1918 году, хотя на самом деле он был командиром артиллерийского полка и погиб на Юго-Западном фронте в июне семнадцатого года.

Феде вспомнилось мертвенно-бледное лицо Ланского и лица студентов, смеявшихся в особенно удачных местах речей Аркадия и Феди с беспечной жестокостью молодости. Теперь Федя Ошкуркин не мог не подумать о том, что факты не всегда так ясны, какими кажутся на первый взгляд. Может быть, не всегда верно думать только о принципе, надо думать о каждом данном человеке? Может быть, Ланской был действительно предан комсомолу до глубины души, так же, как и Федя Ошкуркин, несмотря на то, что Федя — сын кулака?

«Сын кулака»! Лоб Феди покрылся испариной. Он

мог доказать членам бюро, что отец его не кулак, а середняк. Однако его раскулачили? Да, раскулачили. И все-таки вы не считаете, что он кулак? Не считаю. Значит, вы утверждаете, что органы советской власти и деревенская общественность поступили несправедливо, незаконно? Отсюда — один шаг до утверждения, что советская власть ошиблась не в этом единственном случае. Может быть, советская власть вообще ошибочно проводит политику ликвидации кулачества как класса на базе сплошной коллективизации? Может быть, вы согласны с бухаринской платформой о военно-феодальной эксплуатации крестьянства?

Опять будет собрание в актовом зале. Девушки будут смеяться. Или, пожалуй, что не будут — случай с Ошкуркиным будет посложней, чем с Ланским. Помимо всего, он был членом бюро ячейки университета. Они не будут смеяться, а будут глядеть на него с омерзением и страхом, иногда сострадая и борясь с состраданием.

Ланского исключили из комсомола, а спустя несколько дней был вывешен приказ ректора об исключении его из университета. Его пытался защитить профессор Введенский, ссылаясь на его выдающиеся способности к наукам. Мировое имя и академическая шапочка на седых волосах ничего не смогли поделать против горячности комсомольцев и корректной твердости партийного руководства. Выдающиеся способности не казались никому веской причиной. Успехи в науках — думало подавляющее большинство студентов — результат усиленного труда и преданности делу. Кто был ничем, тот станет всем. Теперь Федя думал о том, найдется ли у него хоть один защитник, и ему хотелось, чтобы хоть один защитник у него нашелся. Но он с содроганием сердца предчувствовал, что после случая с Ланским никто не выступит [в] защиту Ошкуркина.

«Нет, лучше умереть, чем сказать. Лучше умереть, чем сказать. Да, лучше умереть, чем сказать». Он говорил эти слова мысленно и повторял их без конца, скользя невидящими глазами по лицам людей. Слова эти были общеупотребительными в таких случаях, терминологическими. Он не вкладывал в них конкретного содержания. Он еще не задумывался над тем, что умереть — действительно выход из положения.

Федя настолько ушел в свои мысли, что не видел и не слышал людей, кружившихся вокруг него, что-то

говоривших, кричавших и певших, девиц, приглашавших его на танцы, и молодых людей, пытавшихся заговорить с ним. Впрочем, от него почти сразу же отстали, так как его задумчивость была похожа на столбняк и взгляд его широко открытых больших беловатых глаз был настолько пугающе далек от всего окружающего, что люди даже не обижались по поводу его невнимательности, а просто пугались и отходили.

Федя очнулся от этого состояния оттого, что дверь широко распахнулась и на пороге показался большой человек с иссиня-черной бородой лопатой, похожий на какого-нибудь купца Калашникова, в толстенном извозчичьем армяке, с витым кнутом под мышкой, в черной твердой шляпе с завернутыми вверх полями на голове.

— Прибыл, ваше степенство,— сказал он густым басом, снимая шляпу и шутливо обращаясь к Егору Кузьмичу по старинке, как было принято до революции у извозчиков обращаться к купцам.— Как условились. Мы — вам. Вы — нам.

— Ты что, один, что ли, Фрол?— спросил Егор Кузьмич.

— Никак нет-с. Со мной Гришка и Яшка. Да они на углу остались — чтоб не было лишнего шуму. Санки поданы. Извольте.

Марфа Игнатьевна поднесла ему водки в старинном серебряном стаканчике. Егор Кузьмич сказал:

— Левушка, покличь сюда Гришку и Яшку. Пусть тоже погреются.

Левушка шмыгнул в дверь и вскоре вернулся с двумя извозчиками, одетыми так же, как Фрол, но попроще, победнее. И бороды их были лопатой, но не такой большой и густой, и не такие черные, а посветлее и пожиже. Им тоже поднесли по стаканчику водки, но не по серебряному, а в обыкновенных рюмках.

Дочь Егора Кузьмича, та самая, с монгольскими глазами — то ли Аглая, то ли Ариадна,— подошла к Феде, взяла его за руку и подняла с места.

— Одеваться, одеваться!— воскликнула она.— Поехали, Федор Никифорович. Прокатимся! Нас Фрол далеко завезет, на край света. До Симонова монастыря. Правда, Фрол? Прокатишь? С ветерком?

Она уже не отпускала Федю. Они вместе, вслед за

остальными, вышли в прихожую. Тут все быстро расхватали пальто, полушубки, шапки и полушалки.

— Тише,— напутствовала их Игнатьевна строгим шепотом.— Не шумите в коридоре. Сосед партейный.

Федя мельком увидел Надю, которую тоже одевали и тормошили, и она смеялась негромко и как бы против воли.

Все гурьбой высыпали на улицу. В суголоке спутница потеряла его, он безвольно делал то, что все другие: уселся в санки с кем-то из молодых людей. К ним на руки сели три девицы. Федя не знал, кто именно. А напротив них тоже сели двое. Было темно. Рядом затеяли игру в снежки. Наконец все уселись, и трое санок помчалось по темной улице. И только когда они выехали на довольно хорошо освещенную площадь, и девушка, сидевшая у Феди на коленях, обернулась к нему, он увидел близко у своих глаз немигающие узкие глаза опять же Аглаи или Ариадны. Санки дернуло, и холодное лицо Аглаи прикоснулось к лицу Феди, и она не отняла лица. Снег падал на них, и снежинки таяли от их совместного дыхания. Федя откинул голову назад, хотя ему было приятно чувствовать возле себя ее лицо. Он отодвинулся именно потому, что ему это прикосновение было приятно. Он не мог позволить себе, чтобы ему было приятно. Он вспомнил старую не то немецкую, не то шотландскую балладу, в которой рассказывалось, как убитый возлюбленный приходит на свадьбу своей любимой и танцует с ней, и она спрашивает его, почему он так бледен и холоден, а он говорит ей, что он мертв.

И Федя думал о том, что вот у него на коленях сидит девушка, которая принимает его за живого, но на самом деле она сидит на коленях у мертвеца. И, ощущая это совершенно определенно, он в то же время не мог не признаваться себе, хотя и с удивлением и с насмешкой над собой, что он испытывает удовольствие от быстрой езды и от присутствия девушки, так откровенно льнущей к нему, и оттого, что ее сердце стучит быстро и сильно.

Рядом гикали, хохотали, а они двое сидели молча. Санки мчались по безлюдным окраинам, сыпал медленный снег, из-под копыт лошади летели комья снега и искры. Темная грива лошади развевалась, и задние ее ноги пританцовывали, и в них, в этих ногах, было

что-то похотливое. И лошадь то и дело поднимала хвост, и из-под него выпадали на мостовую темные яблоки и доносился сильный и терпкий запах навоза. Эти конские пританцовывающие ляжки, и темные яблоки, и запах навоза — все это было прошлое, и оно уносило Федю с ужасающей и приятной быстротой в темноту, прочь от его нынешней жизни. А извозчик Фрол то и дело оборачивался и скалил белые зубы, и в этом оскале было тоже нечто похотливое, и он насмешливо и ласково говорил:

— Целуйтесь. Чего не целуетесь? Папаше не расскажем.

И молодые люди смеялись и чмокали друг друга. А Аглая (или Ариадна), ожидая, но не чувствуя отклика, огорченно и просительно прижимала горячий рот к Фединой щеке.

V

Молодежь вернулась домой в третьем часу ночи. Надя, опьяненная быстрой ездой, одурманенная вином и ветром, несколько успокоилась. Теплая родственная встреча и веселая прогулка не то что заставили ее забыть о горестях последних дней, а просто показались ее юному сердцу достаточным поводом для уверенности в будущем. Раз тут все так мило и хорошо, то и в том деле, самом главном, тоже окажется вскоре все благополучно. Впрочем, она и во время катания, подняв пылающее лицо навстречу метели, давала себе клятву не успокаиваться, пока не соединится со своими родителями.

Очутившись опять в прихожей, которая казалась ей теперь родным домом, она обнаружила, что Феди нигде нет. Она точно помнила, что он отправился вместе со всеми, однако среди вернувшихся его не было. Она стала расспрашивать ехавших с ним в одних санках. Аглая, поправляя перед зеркалом сбившуюся под шляпкой прическу, небрежно сказала:

— Кто? Федор Никифорович? Ну да, когда лошади отдыхали возле Симонова монастыря, Федор Никифорович сказал, что ему пора... Дела какие-то... Тут трамвай как раз проезжал. На нем он, наверно, и уехал.

Людей осталось мало. Пожилые гости разошлись в то время, как молодежь каталась. Сразу же исчезли и племянники и племянницы, и вокруг большого, заставленного грязной посудой, остывшими блинами, заваленного огрызками и окурками стола уселось всего человек семь. А между ними стояли пустые стулья, и это было немного грустно.

— А Симонова монастыря-то нету!..— сказала Аглая, подняв на отца узкие недобрые глаза.

— Как так нету?

— Да так, нету. Попросила я Фрола повезти нас туда — а он обернулся и говорит: «Был да сплыл». И правда — монастырь, оказывается, вчера или позавчера весь взорвали. Одни камни — целые горы.

Марфа Игнатьевна закрестилась, запричитала.<...>

Надя, впрочем, почти не заметила развалин, мысли ее были заняты, и, как сказано, она даже несколько успокоилась. Вернувшись же вместе с другими в теплый и мирный дом Туголуковых, она и вовсе оживилась и преисполнилась больших надежд.

Не последнюю роль в этом ее успокоении сыграло отсутствие Феди. Да, к удивлению Нади, отсутствие брата принесло ей некое облегчение. Оно делало ее душевную драму менее острой и наполняло Надю надеждами, которые в его присутствии казались несбыточными. Дело в том, что Надя, продолжая, несмотря на все разочарования, высоко ценить своего брата, его талант и характер, перед лицом его растерянности и разбитости ощущала всю мощь противостоящих семье Ошкуркиных сил. Но теперь Феди не было, и Наде эти силы казались не такими большими и сложности жизни — не такими уж сложными. Притом на нее подействовало крепко стоящее на земле многолюдное семейство Туголуковых, их — по крайней мере на первый взгляд — дружное и спаянное житье. Многочисленные иконы, перед которыми Надя не молилась уже несколько лет, теперь наполнили ее благоговением и надеждой. Ее сердце сильно забилось и затрепетало, когда она сообразила, что ей стелют здесь, в столовой, и ночью, когда все улягутся, она сможет встать на колени перед киотом и помолиться, как в детстве. Со страстным ожиданием этого мгновенья она косилась на серьезные и мрачные лики.

Егор Кузьмич был трезв и угрюм. Праздничное

оживление сползло с него, как чужая кожа. Пока Ариадна, младшая дочь, стелила Наде постель на старом протертом кожаном диване, он молчал. Когда же она простилась и ушла спать в другую комнату, он жестом руки остановил поднявшегося было с места, чтобы тоже уйти спать в прихожую, наголо обритого мужчину, молчавшего весь вечер, и сказал, обращаясь к Наде:

— А теперь, Надя, погоди ложиться. Расскажи все как есть. Не бойся этого человека. Пусть послушает этот умный человек. Он совет тебе, может быть, подаст. Все расскажи как есть.

«Умный человек» беспомощно разводил руками и в сомнении качал головой, говоря тихим голосом:

— Совет? Какой тут дашь совет...

Однако Надя стала рассказывать. Во время ее рассказа «умный человек» слушал плохо, все время поводил головой, словно ему было тесно в совершенно свободном воротнике синей косоворотки, все время поглаживал свои щеки — даже не поглаживал, а скорее ощупывал, очень быстро, лихорадочно, словно рука его не узнавала их. Выслушав Надин рассказ, «умный человек» снова развел руками и сказал:

— Светопреставление.— И словно в оправдание себе, добавил, обратившись к Егору Кузьмичу: — Что мы можем. Ничего мы не можем. Если не вмешаются добрые люди оттудова... тогда — один господь бог...

Хлопнула форточка, и он вздрогнул. Это за окном свирепствовала вовсю метель, и ветер был так силен, что снежные хлопья летели почти горизонтально, словно падали не с неба, а откуда-то из-за города, из подмосковных лесов или, может быть, еще дальше — из дальних держав, на вмешательство которых намекал бритый.

Егор Кузьмич горько усмехнулся, заметив испуг бритого, подошел к окну и закрыл форточку, затем вернулся обратно к столу.

— Метель, батюшка, метель,— сказал он успокаивающе.

Он встретил укоризненный взгляд бритого, осекся и покосился на Надю. Надя, однако, не обратила внимания на обращение «батюшка», так как не могла заподозрить в совершенно бритом — без гривы и бороды — человеке священника. Впрочем, немного позже

священник сам себя выдал. Когда Надя, рассказывая подробности, заплакала, он тоже не сдержался, заплакал и забормотал о том, что он даже не знает, где матушка и две дочки-двойняшки четырнадцатилетние. Тут уж Егор Кузьмич укоризненно посмотрел на бритого, но, уразумев по испуганному и удивленному взгляду Нади, что она поняла, кто такой этот бритый, Егор Кузьмич махнул рукой и уже стал обращаться к тому, открыто называя его «отцом Иакинфом» или «батюшкой». Когда отец Иакинф вышел на минутку, Надя спросила шепотом:

— Расстрига?

— Нет,— кратко ответил Егор Кузьмич и приложил палец к губам.

Теперь Наде стал ясен и странный жест бритого, когда он ощупывал свои щеки: рука искала привычную бороду.

Вернувшись, отец Иакинф рассказал Наде про свои злоключения, и получилось так, что не она у него просит совета, что делать, а он у нее. Почему-то она вызвала в нем доверие и не только доверие: ее пылающая ненависть к обидчикам и любовь к родителям была настолько сильна, что чувствовалось, что она пойдет на все в этой любви и ненависти. В ее красивой детской головке ощущалась недетская воля и упорство. И именно вот эти качества Нади завоевали доверие беглого священника. Егор Кузьмич — тот тоже ощутил в Наде внутреннюю силу, которую в ней не предполагал. Он вначале усмехнулся, когда Надя вызвалась помочь отцу Иакинфу в розысках попадьи и поповен, для чего согласилась — разумеется с условием, что вначале сделает здесь, в Москве, все, что может, для своей семьи,— поехать в Кимры и постараться найти следы сбежавших в роковую для священника ночь неизвестно куда.

Об этой ночи отец Иакинф Коллеров рассказал Наде так же подробно, как она о своих злоключениях.

Когда горсовет принял решение разобрать церковь Преображения, Коллеров через верующих объявил по всей округе «последнюю службу». Он разослал гонцов по деревням и призвал прихожан прийти к заутрене помолиться в последний раз и велел звонить во все колокола. В собравшейся толпе народа вскоре возникло настроение глухое и тревожное. Старики нищие,

кормившиеся на церковной паперти, первые подняли вой о гонениях на христианскую церковь. Они разрывали на груди лохмотья и обнажали свои уродства. Зажиточные крестьяне окрестных деревень, частью уже вступившие в колхозы, частью ожидавшие раскулачивания и высылки, а также мелкий городской люд, взбудораженные колокольным звоном и слухами о войне, которую якобы объявили Советской России великие державы для защиты христианской церкви, все больше и больше преисполнялись ненавистью, которой удобно было прятаться за любовью к Христу-распятому и к этой красивой белой церкви, много лет служившей украшением приземистого городка, церкви, где всех их крестили и куда все они в детстве ходили молиться, испрашивая у господа и святых его благословения своим немудрящим делам.

Отец Иакинф Коллеров сам не ожидал такого наплыва народу, так как совершенно не понимал, что его призыв сомкнется с разнообразными интересами взбудораженных горожан и крестьян. Он действительно думал только о храме божьем и о прощании с ним. Однако настроение толпы подействовало и на него. Его проповедь, составленная наперед, в жалостных, но вполне мирных тонах, была им отброшена с первых же слов. Почти навзрыд он стал говорить о гонениях на первых христиан, о временах Диоклетиана и Юлиана Отступника. Эта проповедь, которую он произнес в почти невменяемом состоянии, по вдохновению, послужила сигналом для восстания. С криками: «Бей коммунистов» толпа бросилась на улицы. В эти часы отец Иакинф возомнил себя великим вождем христианства. В его доме, в церковном дворе не спали и постились два дня и две ночи. Добровольные агенты-эмиссары приходили сюда с донесениями о городских новостях и уходили с неопределенными, но возбуждающими, пересыпанными церковно-славянской заумью инструкциями. Из заволжской слободы пришли сапожники и кожевники-кустари, пьяные от даровой водки, которую кто-то им раздал. Избивали девушек в красных косынках, поранили лектора из союза воинствующих безбожников, выбежавшего к пьяным и начавшего доказывать, что бог — это только страх человека перед природой и что легенда о непорочном зачатии имеет своими истоками религии еще более древние, чем христианство.

Все эти события, включая даровую раздачу водки и разбрасывание напечатанных типографским способом глупейших листовок — в них сообщалось, что на Москву идет адмирал Колчак (через семь лет после того, как он был расстрелян), приписывались отцу Иакинфу, хотя он обо всем этом слыхом не слыхал. Но он не отказывался от своей причастности. Напротив того, гордился этим. К нему ночью втайне приезжал представитель патриарха Всея Руси из Петровского подворья в Москве. Привез ему брошюрки на русском языке, выпущенные в Париже и Варшаве. С замиранием сердца читал он в них призывы к свержению советской власти, выступления эмигрировавших за границу митрополитов и епископов православной церкви. Эти статьи и речи совершенно вскружили ему голову, он в своем завихрении чувств думал, что советской власти уже нет, что раз маленькие бедные Кимры встали за православную веру, то уж Москва, Киев и Тверь тем более взбунтовались и отстояли свои храмы. Он очень удивился однажды утром, когда, вышедши на улицу и пройдясь по городу, нашел на домах, где находились горсовет и райком партии, те же красные дощечки с надписями и над торговыми рядами — портреты Маркса и Клары Цеткин.

Этой же ночью его предупредили, что надо бежать: в город прибыл на автомобилях полк войск ГПУ. Отец Коллеров скрывался сначала у знакомых на станции Савелово, а затем, по совету умных людей, отправился в Москву, оставив попадью и детей, с тем чтобы, устроившись, вызвать их. Он еще тогда не понимал, что является государственным преступником и что ГПУ будет его упорно преследовать, так как по прошествии угара, убедившись, что все государство стоит на месте и о кимрском бунте вообще никто за пределами Кимр и не знает, он забыл о своем воспарении, и ему казалось, что речь шла не больше как о прощании с храмом, предназначенным к разрушению или превращению в какой-нибудь клуб или кладовую.

Какие-то люди скрыли его сначала у одного земляка, затем у Егора Кузьмича Туголукова. Кто-то заботился о том, чтобы достать ему паспорт, и он в ожидании целыми днями сидел в комнате возле икон, ничего не делая, не читая и даже ни о чем почти не думая, только изредка удивляясь нашедшему на него

затмению, но тем не менее вспоминая об этом времени с трепетом и восторгом.

Егор Кузьмич погасил лампу, и теперь в комнате светилась только электрическая лампадка возле иконы Богоматери. В окна заглянул серый, еще бессильный рассвет. Отец Иакинф очнулся, вдруг заторопился и сказал:

— Сейчас бы к заутрене... К первой великопостной заутрене, Егор Кузьмич. Помолимся, Надежда Никифоровна.

Все трое в полумраке подошли ближе к иконам, и Коллеров почти шепотом запел «Да исправится молитва моя яко кадило пред тобою».

Егор Кузьмич так же тихо подпевал ему, а Надя только встала на колени и, забыв обо всем, тихо шептала просьбы к богу, чтобы вернул он ей родителей Никифора Фомича и Екатерину Тимофеевну, и брата Макара Никифоровича, и невестку Полину Прокофьевну, и детей ихних Александра Макаровича и Марию Макаровну. Она называла всех по имени и отчеству, чтобы бог не ошибся и точно знал, кого щадить и охранять от бед и смертей, кого возвратить в родные Сенькины Деревеньки.

— «Верни их всех в Сенькины Деревеньки, в наш дом, и чтобы все было хорошо, а все, что было плохо, чтобы его как бы не было, а было как до тринадцатого числа, четверга. Аминь».— Так молилась шепотом Надя.

Помолившись, все трое снова сели за стол и вернулись к Надиным делам. Надя говорила, что обязательно сегодня пойдет к Калинину. Егор Кузьмич скептически морщился, но отец Коллеров — тот поддержал Надю. Он тоже, как оказалось, питал слабость к Калинину, и сам собирался при случае «пасть к ногам» всесоюзного старосты и при этом говорил, что у Калинина доброе сердце, что сам он тверской, как и отец Иакинф и матушка Василиса Петровна. Василиса Петровна — та происходила из Корчевского уезда, из села, расположенного поблизости от Верхней Троицы — деревни, где родился Калинин. Егор Кузьмич с еле скрываемым раздражением прервал умиленные воспоминания отца Иакинфа, направив разговор в практическое русло. Было решено, что Надя к Калинину пойдет, но главное теперь — узнать, где находятся арестованные Ошкуркины, для чего придется обратиться в прокуратуру СССР или в ГПУ.

— В ГПУ? — с ужасом спросил отец Иакинф.— Туда, в логово зверя?! Ее же там тоже... могут и не выпустить...— Он смотрел страдальческими глазами на девушку.

— Пойду я,— решительно сказала Надя, тряхнув головой.— А если не выпустят — ладно. Без мамы все равно мне не жизнь.

У Нади была еще одна надежда, о которой она пока никому не сказала. Митя Харитонов, прощаясь с ней, сказал, что в Москве он остановится в гостинице Центрального дома Красной Армии, и они условились встретиться там. Эта встреча должна была состояться завтра вечером. Командир Красной Армии, да еще орденоносец, представлялся Наде большой силой.

Тут стали просыпаться и выходить в столовую дети Егора Кузьмича. Несмотря на великий пост, они отлично поели и вскоре разбежались каждый по своим делам. Левушка работал фотографом, Николай посещал курсы чертежников на Сретенке, Аглая тоже работала в фотографии ретушершей. Толя отправился на биржу труда отмечаться как безработный. Соня — «сиротка», как ее неизменно звал Егор Кузьмич,— торговала в обувном магазине Петровского пассажа.

VI

Соне — «сиротке» и было поручено по дороге на Петровку показать Наде приемную Калинина, помещавшуюся на углу Воздвиженки и Манежной, напротив Троицких ворот Кремля.

Соню Надя в течение вчерашней ночи почти не замечала: девушка была дурнушкой, сутулилась, ее невьющиеся льняные волосы, зачесанные на прямой пробор, были на затылке собраны в прическу, которая очень ее старила. Видимо, сознавая и даже преувеличивая свою некрасоту, она держалась сдержанно, жалась по уголкам и глядела на людей исподлобья — однако ее взгляд не был затравленным или смиренным, а, напротив, любопытствующим, и даже немного насмешливым, взгляд зверя слабого, но укрытого в некоем узком убежище, в которое большому зверю нет хода.

По дороге к трамвайной остановке «сиротка», бросив на Надю быстрый испытующий взгляд, спросила:

— Что у вас там, в деревне, стряслось?

Надя, мимолетно удивившись тому, что Егор Кузьмич не рассказал своим домашним о сути дела, и заодно вспомнив, что и Федя в дежурке и на улице говорил шепотом, тем не менее не смогла промолчать или соврать и ответила прямодушно:

— Нас раскулачили. Папу и маму увезли.

При всей глубине Надиного горя она не без детского тщеславия ждала, что «сиротка» ахнет, всплеснет руками, запричитает или заплачет. Однако Соня ничего не сказала, только черты ее бледного лица отвердели, и глаза заволоклись как будто посторонними мыслями. Затем она усмехнулась, взяла Надю под руку и зашептала ей в самое ухо:

— А он-то, дядя Егор Кузьмич,— он хитрый... Знал, когда из деревни в Москву выехать... ЗаранЫше все знал...

На мгновенье Наде показалось, что Соня сожалеет о том, что Егор Кузьмич оказался таким «хитрым». Впрочем, Наде было не до разбирательства в характере взаимоотношений семейства Егора Кузьмича. Они подошли к остановке и сели в подоспевший трамвай. Сидя напротив Сони в трамвае, Надя вдруг всплакнула и при этом заметила, что взгляд Сони стал теплым и сочувственным. Соня вытерла ей глаза собственным носовым платком, и Надя благодарно улыбнулась ей. Они смотрели друг на друга молча, но с симпатией. Впрочем, вскоре трамвай переполнился людьми, девушек отделили друг от друга чужие ноги и туловища, одетые в пахнущие снегом, жильем, табаком, лекарством пальто, полушубки, тулупы, сермяги. Дальше к центру эта одежда сменилась чем-то более городским, воздушным, приятно пахучим, пушистым и гладким. Оттого, что девушек все время разделяли чужие люди<...>

Наконец «сиротка» встала и окликнула Надю. Обе пробрались сквозь толпу и вышли на остановке возле Манежа. Город еще плотнее укрылся снежным покровом, а в этот ранний час пушистые наметы лежали еще девственно-белые, почти не тронутые, и в их рамках дома казались меньше и ниже. И большой зеленый дом на углу тоже казался не таким большим. Впрочем, возле него уже возились мужчины в ватных кацавейках и белых фартуках, очищая лопатами от снега

тротуар. Возле подъезда, несмотря на ранний час, уже толпились мужчины и женщины, иногда и дети, жались к стене дома, образуя еще не определившуюся очередь. Большинство здесь было деревенских.

Внезапно Надя оробела. Почти с ужасом глядела она на большую застекленную дверь и на огромные окна, прикрытые широченными занавесками из хорошей материи, и на людей, которые жались к стене, негромко переговариваясь, и то и дело собирались в кружки, возбужденные и сдержанные. В поле зрения Нади попадало то озабоченное исхудалое женское лицо, то большие, застывшие на какой-то горестной точке глаза, то близко, почти впритык придвинутые одна к другой две бороды, что-то тихо и без умолку говорящих, по-видимому, советующихся о том, ка́к сказать, что́ сказать... В руках у многих были листы бумаги или конверты с уже заключенными в них прошениями. Некоторые сидели на сундучках или баулах. Вся эта картина, внешне ничем не примечательная, но если присмотреться, полная внутренней сдержанной тревоги, испугала Надю не сама по себе, а тем, что жалобщиков было так много и что подходили все новые, появляясь то из-за угла Воздвиженки, то со стороны Моховой, то из-за Манежа, то справа из-за дома Коминтерна. Их сразу можно было отличить от обыкновенных прохожих тем, что у них были блуждающие, ищущие глаза, неуверенность в походке и часто — сундучок или баул в руке.

«Сиротка» подтолкнула Надю в очередь и, заметив растерянность и уныние Нади, долго не уходила от нее и хотя стояла молча, не пытаясь поддержать ее какими-нибудь словами, но все-таки ее присутствие несколько Надю подбадривало. Пугаясь собственной робости, Надя думала о том, что зря пришла вчера вечером к Егору Кузьмичу, ела там блины и другую вкусную еду, каталась на санках, чувствовала во время катания на себе распаленные взгляды молодых людей и была довольна тем, что на нее так смотрят: все это смягчило ее, развлекло, размыло гущу ее отчаяния. Ей следовало бы с вокзала сразу ехать сюда и здесь стоять всю ночь и накаляться решимостью, ненавистью и любовью. Теперь же она не знала, что скажет, и, перебегая глазами с одного просителя на другого, думала с острой завистью, что вот он-то скажет

получше, покрасноречивее, он-то добьется своего... В этот момент она вспомнила о Феде почти с ненавистью: ведь именно он должен был бы сюда прийти, он-то сказал бы лучше всех, он-то смог бы убедить...

«Сиротка», кивнув ей ободряюще, ушла по направлению к Охотному ряду, и Надя осталась одна среди чужих людей.

Утихшая было легкая вьюга словно бы ожила. Мелкие сухие снежинки заплясали, становясь все гуще. От этого отвлекающего кружения снежинок или, может быть, оттого, что вьюга над Кремлем и над приемной Калинина ничем не отличалась от тех вьюг, которые Надя видела у себя в деревне на протяжении жизни, Надя немного успокоилась. Успокоилась и вся очередь, речи стали тише, движения — уравновешаннее, взгляды — меланхоличнее. Снег все мел и мел, словно хотел замести прижавшуюся к стене очередь и придать ей спокойные очертания, неподвижные и округлые. Впереди Нади стояла молодая оборванная женщина с грудным младенцем на руках. Младенец спал, и на его маленькое лицо и в складки красного одеяла, обрамлявшего лицо ребенка, падал снег. В мельтешении снежинок казалось, что очередь плывет, медленно движется, оставаясь на месте,— медленно, но чуть быстрее, чем дом и подъезд.

В подъезде появился и поплыл навстречу очереди милиционер в черной шинели с алыми петлицами, с закрученными вверх черными усами, пробивая спокойным и добрым, резко очерченным в сутолке снежинок, лицом дрожание густой белой мошкары, и прошел вдоль очереди, спрашивая:

— У вас заявления приготовленные? Заявления все имеют?

Эти вопросы взбодрили очередь, которая ожила, зашевелилась, стала смахивать с лиц, плеч и одежд снег, скинула с себя оцепенение, в глазах зажегся интерес к жизни, и все устремили взгляды к большим дверям, которые, по-видимому, сейчас должны были открыться. Голоса стали громче, возбужденнее.

Когда милиционер уже прошел мимо Нади, слова его дошли до ее сознания, и она с ужасом вспомнила, что никакого заявления у нее нет. Когда же милиционер, возвращаясь обратно, поравнялся с ней, она сделала шаг к нему. В ее глазах изображался такой

панический ужас, что милиционер даже и сам испугался и спросил, что с ней. С трудом поняв из ее лепетания, чем она озабочена, он успокоительно улыбнулся.

— Как открою, садитесь к столу и напишите. Вы грамотная, гражданка?..— Он внимательно на нее посмотрел и спросил: — Не знаете небось как писать? Попросите кого-нибудь. Тут много людей культурных.

Он поискал глазами и обратился к стоявшему на несколько человек впереди Нади худому мужчине в очках, в высокой шапке-треухе и неровно застегнутом волчьем полушубке, так что одна пола была выше другой, высокий, тощий, он держал высоко на уровне глаз книжку и читал ее, отрешенно шевеля губами.

На этого человека Надя и раньше обратила внимание. У него был несчастный, замученный вид. Лицо его со втянутыми щеками было побрито с неприятной тщательностью — до сыроватого оттенка синевы на скулах и с многочисленными порезами от тупой бритвы. Его свежевыбритый подбородок навел Надю на мысль, что мужчина этот тоже переодетый священник, как отец Иакинф Коллеров. Горькие складки вокруг рта и неотрывное чтение книжки под снегом — все это вызывало в Наде сочувствие к этому человеку. Когда он, оторванный милиционером от чтения, подошел к Наде, ей даже захотелось перестегнуть пуговицы на его полушубке, чтобы полы выровнялись.

Заявление он пообещал Наде написать, как только они войдут в приемную, а пока стал излагать ей то дело, ради которого он уже, как он выразился, «четыре недели топчет московскую мостовую». Надя вначале слушала его внимательно, но, уразумев, в чем дело, потеряла к рассказчику интерес. Мужчина, оказывается, был не священник, не раскулаченный и не безработный, а прибыл с Севера, из Архангельска и даже еще севернее — с острова Жижгин, для того, чтобы жаловаться на какие-то организации, которые не дают ходу «энтузиастам», желающим организовать производство йода из водорослей Белого моря. Йод, втолковывал Наде этот человек, мы покупаем за границей за валюту. Между тем наладить заготовку водорослей, высушивать их, сжигать в кучах, золу выщелачивать водой и из получаемого рассола посредством особого реактива осаждать сырой йод, чтобы затем сублимиро-

вать его в ретортах и получать в итоге кристаллический йод, не представляет особых трудностей и освободит нас от иностранной зависимости.

— Главное,— говорил он Наде серьезно, словно беседовал с знающим человеком, и его лицо сводило гримасой горечи и боли,— все понимают, что это выгодно, что это необходимо, но дело не движется с места. В прошлом году архангельский завод дал всего тысячу килограмм йода, в то время как Советскому Союзу необходимо при нормальной потребности сто пятнадцать тонн в год. Для того, чтобы получить это количество, нужно утвердить наш проект печей для сжигания водорослей и сушек, способных консервировать водоросли в течение зимы, чтобы заводы могли работать круглый год... Нельзя нам зависеть от штормов, от того, что они выкинут на берег водоросли!... Вы понимаете, мы отправляемся с первым пароходом на остров Жижгин и остаемся там до глубокой осени... А всю зиму завод простаивает... Вы никогда не были на Севере? Места небогатые: мхи, низкий кустарник, валуны. Но скучаю по тем местам...— Его глаза стали мечтательными, однако сразу опять лихорадочно загорелись.— Пока не добьюсь от Госплана капиталовложений — не уеду отсюда.— Он доверительно нагнулся к Наде и сообщил ей с тихим и смущенным смехом, словно о чем-то очень приятном: — Командировочные кончились, собственные проживаю.

Надя сразу потеряла всякий интерес к этому человеку и даже почувствовала к нему антипатию, ибо, убедившись в том, что он не несчастен, разочаровалась в нем. Она только удивлялась, как можно так сильно переживать из-за таких ничтожных дел, как водоросли, печи, сушилки и так далее — а то, что этот человек съедал себя, было видно: казалось, он сгорает на сильном огне от всех своих забот, обид и треволнений. Надя не могла этого понять да и не старалась. Она краем уха слышала его рассказы, затем в разговор вступил другой человек, который стал говорить о положении в птицерассаднике возле станции Кучино, в бывшем имении Рябушинского: речь шла об английских инкубаторах, которые получены некомплектными, и о замене нерентабельной крестьянской курицы курицей «родайленд». Этот «курощуп», как его мысленно назвала Надя, тоже имел замученный и в то же время

петушистый вид, выкрикивал угрозы каким-то людям и учреждениям, особенно Наркомторгу. И снова Надя удивлялась тому, как можно чувствовать себя несчастным и так волноваться по столь ничтожным поводам.

Но и к тем людям, которые были одеты по-деревенски в нагольные тулупы, сермяги, некоторые в лаптях с онучами, Надя не испытывала чувства симпатии и близости — именно потому, что догадывалась по их испуганным, заплаканным лицам, по их робким или отчаянным взглядам, по их громкому взволнованному шепоту, что они пришли по таким же делам, с теми же жалобами, что и Надя, и вместо того, чтобы преисполниться чувства единомыслия и солидарности с ними, Надя, напротив того, ощущала ревность и боязнь, как бы многочисленность этих дел не повредила ей, не сделала ее дело обыденным, рядовым, хотя ей казалось, что *ее* дело более вопиющее, чем все остальные, что *ее* отец и мать более достойны участия и жалости, чем другие, что *ее* дом и двор, *ее* корова и лошадь — единственные на свете. Но все же Надя, при всей оцепенелости ее вокруг собственного горя, понимала, что и другие люди думают о своих делах то же самое, что она о своих, и потому испытывала к ним нехорошее ревнивое чувство и досадовала, что они тоже, как и она, догадались прийти сюда, набились сюда со всех концов России. С особенной неприязнью относилась она к тем, кто стоял впереди нее в очереди. Она смотрела на них исподлобья, изучала их повадки, лица и движения, и чем несчастнее был вид того или другого и особенно тех, кто был с детьми, тем больше она опасалась их, подозревая некоторых женщин даже в том, что они нарочито оделись так плохо, почти в лохмотья, чтобы разжалобить Калинина. Сама Надя, напротив, оделась в лучшее из того, что она имела, и теперь жалела об этом.

Тем временем тот, с водорослями, разговаривавший с «курощупом», вспомнил о Наде и обратился к ней с вопросом, что нужно ей написать в заявлении. Надя замялась, ей не хотелось рассказывать ему, занятому совсем другим, о своем горе. Она не успела ничего сказать, как дверь растворилась и люди хлынули вовнутрь. Во время этого быстрого рывка всей очереди вперед Надя растерялась, отстала, однако сразу же опомнилась, энергично и зло растолкала людей, опере-

дивших ее, и снова заняла свое место вслед за смуглой женщиной с ребенком. Затем она огляделась. Это был большой зал, несколько темноватый, хотя наверху неярко горели лампочки на больших люстрах. Посреди зала стояло несколько столиков, а слева, с краю, находилась длинная дубовая стойка, за которой мелькали белые кофточки служащих женщин.

Надя думала, что, очутившись в этом зале, она сразу увидит Калинина на каком-то торжественном возвышении, похожем на алтарь. Но Калинина еще не было, и алтаря не было, а была эта дубовая стойка, за которой, по словам соседей, и будет стоять Калинин, выслушивая просьбы. Тут же распространился слух, что Калинина вообще не будет, так как он находится в Центральной Черноземной области, и вместо него заявления будут рассматривать другие люди. Назывались даже фамилии: Петровский, Червяков, Чуцкаев, Смидович... Но тот же милиционер с черными усами успокоил всех, сказав, что Калинин вчера вернулся из Центрально-Черноземной области и будет принимать.

Милиционер снова подошел к Наде — он запомнил ее — и дал ей листок бумаги для заявления, указал место за одним из столиков и даже придвинул ей чернильницу и ручку, когда она сказала, что решила писать заявление сама. Заявление она с грехом пополам написала. Когда милиционер снова к ней подошел и спросил, указала ли она свой адрес, по которому нужно дать ответ, она снова впала в панику, так как боялась дать адрес Егора Кузьмича, где находился беглый священник, и адрес Феди, который, как она понимала, был бы вне себя, если бы она вмешала его в это дело. Тогда она написала адрес Харитоновых в деревне, вспомнив, что они уговаривали ее остаться у них и, следовательно, не будут на нее в обиде за то, что она изобразила себя их квартиранткой.

На душе у Нади становилось все тяжелее. Она считала, что заявление написано плохо и неверно. Вдобавок ко всему, когда Надя на вопрос милиционера, по какому делу она пришла к «Михал Ваньгчу» (так он ласково и фамильярно называл председателя ЦИКа), ответила, что по делу о раскулачивании родителей, милиционер довольно сухо протянул: «а-а...», стал каким-то рассеянным, невнимательным и отошел, ничего не сказав больше.

Внезапная холодность доброго и дружелюбного милиционера, недоверие к слогу своего заявления и всеобщее волнение, нараставшее в очереди с каждой минутой, привели Надю в состояние почти истерическое, хотя она сама не отдавала себе в этом отчета. Тут еще некоторые грудные дети, на улице безмятежно спавшие, здесь, в закрытом помещении, проснулись, стали вопить или — что еще больше выматывало душу — смеяться и лопотать. Рядом что-то такое радостное лопотал ребенок в красном одеяльце. Надя засмотрелась на него, потом вдруг заметила, что вокруг стало очень тихо, подняла глаза и увидела вдали за перегородкой очень знакомое лицо. Лицо, к которому она давно привыкла и сначала даже не поняла — каким образом. Портрет Калинина висел в их избе много лет почти рядом с божницей. Она восприняла это лицо, как совершенно родное, именно потому, что оно висело в их далекой избе — и теперь оказалось здесь рядом, точно такое же, как на том, засиженном мухами портрете. Это потрясло Надю. У нее подогнулись колени, и она, забыв про все на свете, повалилась, как ночью под иконами у Егора Кузьмича, заплакала и запричитала. К ней кинулись люди, они стали ее поднимать, но она не хотела встать, просто не могла встать. Ей поднесли стакан воды, и после этого, не так от самой воды, как от стука своих зубов по стакану, она опомнилась. Но теперь, заметив, что Калинин всматривается близорукими, но внимательными глазами в нее и окружающую суматоху, она, не без звериной хитрости, не захотела встать, несмотря на внимание и испуг окружающих, ужас переконфуженного непорядком милиционера, уговоры одетых в полувоенные костюмы служащих. Чувствуя вокруг себя все это верчение, она продолжала рыдать и причитать, сама не веря, что это она причитает и рыдает. Ей все время казалось, что это кто-то другой — какая-то, может быть, цыганка, у которой забрали деньги на ярмарке — странное ощущение, совсем реальные, может быть, воспоминания раннего детства,— а она, Надя, со стороны смотрит на все это.

И ее вопли, отталкиваясь от высокого потолка и дальних стен, возвращались обратно, гулкие и странно смешные, болтливые, словно сами себя передразнивали. Однако они вызвали и другие отклики — из очереди то тут, то там раздались тоже всхлипывания и крики

женщин. Надю вежливо и решительно подняли с пола и повели, почти понесли вперед, мимо негромко зароптавшей очереди, прямо к перегородке. Надя сразу же замолчала, и вслед за ней замолчали все, и в зале стало совершенно тихо, только раздавался где-то сдержанный кашель, еще больше подчеркивающий тишину.

— Чего вы плачете?—услышала Надя негромкий голос рядом с собой и подняла лицо. Калинин смотрел на нее участливыми, но спокойными глазами—глазами, которые все уже на свете видели.

— Не надо плакать,—продолжал он, по-прежнему глядя на нее ласково и спокойно,—слезами горю не поможешь. Что у вас случилось? Где ваше заявление? Как вас звать?

— Надя,—ответила Надя, смотря на Калинина преданно и влюбленно.

Стоявшие рядом с Калининым пожилой военный и молодой с галстуком засмеялись этому ответу. Улыбнулся и Калинин. Однако, пробежав глазами заявление, Калинин снова стал серьезным, затем даже каким-то рассеянным и невнимательным—точь-в-точь, как тот милиционер с усами после того, как услышал ту же историю. Калинин сказал:

— Значит, вы говорите, что ваши родители середняки? Так все говорят. Самые зажиточные сейчас рядятся под середняков. Хорошо, мы это выясним... Оставьте ваше заявление здесь. Видите ли, две лошади во Владимирской губернии—это не так мало... Там у вас безлошадных много. Губерния бедная, богатая бедняками. Отходников у вас много. Вы ведь, наверное, тоже про это знаете? А тут две лошади. А коров небось три-четыре? Две? Что ж,—две коровы—это тоже немало. А в колхоз почему не записались? Не хотели ваши родители в колхоз? Почему не хотели?

Он говорил, глядя немного в сторону, словно размышляя, или, может быть, для того, чтобы не разжалобиться видом девушки, чьи глаза, излучающие преданность и совершенное, полнейшее непонимание всего, что он говорил, и особенно русая коса, почти расплетенная, распущенная, казалось, тоже исстрадавшаяся донельзя, не могли не вызвать участия.

Последние вопросы дошли до сознания Нади, и она торопливо проговорила:

— Не верьте им! Мы середняки!..—Она хотела его

назвать по имени и отчеству, но в это мгновение забыла, как его зовут, от этого растерялась, но потом выкрикнула отчаянно:—Мы и в колхоз записались бы! Неужто не записались бы? Папа говорил: «Подумаем, поглядим, а потом запишемся».

— Вот видите,—оживился Калинин, взглянув на девушку, и его голос стал торжествующим и даже по-милому, по-деревенски сварливым,—«подумаем да поглядим». Мы такую страну поворачиваем на сто восемьдесят градусов, сажаем с лошади на трактор! А если каждый будет говорить: подумаем, да поглядим, да посмотрим еще, понравится или не понравится,—какой тут толк будет?! Нет, не будет толку, Надя. Вот, Надя, дело ваше мы, конечно, рассмотрим... Внимательно рассмотрим. Возьмите ее заявление. Вам обязательно сообщат. А плакать—что? Плакать ни к чему. Москва слезам не верит. Слышали такую поговорку? Понятно вам это?

— Да,—прошептала Надя и, в это мгновение вспомнив имя и отчество Калинина, сказала просто, уже без слез и без хитростей, но с большой внутренней силой:—Михаил Иванович, спасите нас.

Уловив в ответ на эти слова какое-то душевное смятение на лице Калинина, Надя вышла из приемной почти пьяная от волнения и счастья и пошла по улицам, не видя, куда идет. Метелица клубилась вовсю. Снежинки из мелких стали крупными, как бы отяжелели, увлажнились, смягчились, перестали дрожать, а плавно опускались прямо вниз и ложились на все как-то ласково, без прежней сухой мелковатой стремительности. Это соответствовало перемене в душевном состоянии Нади. Конечно, некоторые из слов «всесоюзного старосты», когда она вспоминала о них, казались ей чуточку зловещими: упреки по поводу невступления в колхоз, поговорка о Москве, которая не верит слезам, и так далее. Но Надя считала более важным, что сам Калинин, сам он разговаривал с ней, Надей, что он назвал ее по имени, что он сказал: «внимательно рассмотрим», «обязательно», и то мгновенное смятение, то ласковое и одновременно горькое выражение, которое пробежало по его лицу после последних Надиных слов.

Опомнившись от нахлынувших на нее разнородных чувств, Надя заметила, что находится в незнакомом ей

месте, возле роскошного собора, широкие ступени которого были густо засыпаны снегом. Надя постояла в нерешимости. С одной стороны, она не могла не подумать, что неспроста очутилась на ступеньках церкви — по всей видимости храма Христа-Спасителя (Надя о нем много слышала), следовало войти и помолиться, возблагодарить бога за удачу в приемной Калинина; с другой стороны — убежденная, что ее хождение к Калинину увенчалось успехом и что вскоре она увидит мать, отца, Макара и братнину семью,— Надя опять впала в почти полное безбожие, свойственное ей и прежде, до их несчастья. Так она стояла и колебалась, пока не увидела, что две старушки поднялись по гигантским ступеням, оставляя на них крохотные следы в снегу. Старушки подошли к широким дверям, попытались открыть, но не смогли: церковь была не только заперта, но и заколочена двумя досками крест-накрест. Старушки перекрестились и пошли обратно почти точно по своим прежним следам.

VIII

Убеленный снегом прохожий посоветовал Наде сесть в трамвай «А», и Надя быстро очутилась у Петровских ворот.

Обувной магазин в Петровском пассаже Надя нашла сразу. К двери магазина стоял длиннейший, извивающийся хвост, заполнивший половину пассажа, нескончаемый обувной хвост, тянувшийся инородным телом вдоль витрин с парфюмерией, книгами, канцелярскими товарами. Очередь не двигалась, а только пузырилась, стоя на одном месте, волновалась, сердилась, переругивалась, то добродушно, то свирепо. Ждали галош.

Надю в магазин не пустили. Напрасно клялась она, что ей галоши не нужны, а нужна ей одна из продавщиц, двоюродная сестра. Железные старухи, стоявшие в проеме двери, даже не оглядывались на нее и только изредка кто-нибудь из них бросал ей оскорбительную фразу, вроде:

— Бог подаст.

Или:

— Молодая, а уже научилась врать.

К счастью, из дверей выглянула востроглазая девушка-продавщица в синем халате. Узнав, что Надя пришла к Соне, она накричала на старух, и они сразу присмирели, притихли. Наде было очень стыдно, что из-за нее так грубо кричали на старых женщин, она к этому в деревне не привыкла.

Войдя в магазин, Надя увидела в дальнем углу Соню. Соня стояла за прилавком и смотрела куда-то вдаль, не то пригорюнившись, не то просто задумавшись. Она ничего не делала, так как полки магазина были совершенно пусты, если не считать белых коробок из-под обуви. Соня удивилась, увидев Надю так рано. Она подняла доску прилавка, пропустила Надю за прилавок и прошла вместе с ней в заднюю дверь. Здесь, в узком коридорчике, почти простенке, среди ящиков, в резком запахе кожи, пеньки и стружки, Надя рассказала Соне о событиях сегодняшнего утра. При этом она постыдилась рассказать о своем полупритворном обмороке, плаче и причитаниях, и Соня, внимательно посмотрев на сияющее, необыкновенно красивое в этот момент лицо Нади, сказала с чувством и не без затаенной, хотя и беззлобной зависти:

— Ты такая красивая, что тебя без очереди всюду пустят.

— Не всюду,— ответила Надя с некоторым замешательством по поводу не совсем заслуженной похвалы.— Сюда, в магазин, не пустили.

— Сюда! — воскликнула Соня презрительно и добавила сумрачно: — Сюда и ангела божьего не пустят...

Она поманила за собой Надю, и они поднялись по узкой лестнице вверх, в небольшой, тоже уставленный ящиками склад, где запах обуви был еще сильнее, чем внизу, хотя обуви и тут не было в помине. Соня открыла дощатую дверь, но войти в комнату они не могли, так как там было необыкновенно тесно: в маленькой комнатушке стояли три канцелярских стола и один письменный, у каждого из столов стоял стул, а на каждом стуле сидел человек. Причем сидели они так тесно, что спинка каждого стула упиралась в задний стол, а животы людей упирались в край их столов. Казалось, им нельзя было вздохнуть, не раздвинув столы.

Письменный стол, самый большой из всех, стоял в центре. На нем красовался самый большой письменный

прибор. Он был покрыт сильно поблекшим красным сукном, облитым разноцветными чернилами. За этим столом сидел полный человек, суровый, с красным лицом, в защитной гимнастерке и защитной фуражке.

— Лев Степанович,— сказала Соня, стоя на пороге.— Ко мне из деревни сестра приехала. Разрешите пойти с ней, проводить ее домой. Еще заблудится.

— Сестра, говоришь?— лениво спросил человек в гимнастерке.— Покажись, какая ты там...— Увидев смущенное лицо Нади и полуприкрытые длиннейшими ресницами глаза, он продолжал:— Вот ты какая! Гм... Полненькая. Что ни говорите, а деревня — это есть деревня. Воздух, здоровая жизнь... Вы что, в Москве первый раз? Ладно, иди, Софья, проводи ее домой. Тут мы без тебя обойдемся. Галоши будут ли, еще неизвестно. Если будут, то немного, пар двести.— Он снова обратился к Наде, приподнявшись и оглядывая всю ее:— Да, вам в одиночку ходить в Москве поменьше надо, Москва — это город такой! В Москве держи ухо востро.

Лев Степанович встал, отодвинул стул, что немедленно отозвалось на заднем столе, который, отодвинувшись, чуть не придушил старика бухгалтера, сидевшего у самой стены. Выйдя из-за стола, Лев Степанович спустился вместе с девушками по лестнице и вместе с ними вошел в магазин под взглядами десятков глаз, устремленных на него из-за витрин и из проема двери. Он двигался медленно, оглядывая углы магазина строго, его ножки в защитных галифе и хромовых сапожках в обтяжечку, пружинили. Острыми глазками из-под рыжих бровей он смотрел то вправо, то влево без всякой цели — просто это выглядело хозяйственно и внушительно и как бы компенсировало несколько пустоту магазинных полок.

Очередь, по-видимому, знала Льва Степановича или определила его ранг по хозяйскому виду — его приход вызвал оживление, очередь вся запузырилась от волнения и тут же затихла, ожидая больших событий. Подобно тому как хороший актер не смотрит на публику, так и Лев Степанович не обращал внимания на очередь, как будто ее не было, но сознание своего значения было разлито по его лицу, а в его чуть сутулой толстой спине и в его походке чуть-чуть носками внутрь — во всем этом была этакая властительная

расслабленность всех частей тела вплоть до век, сонно полуопущенных на внимательные, совсем не сонные глаза.

Пока Соня одевалась, Надя стояла у стены возле большого зеркала. Лев Степанович, сделав круг по магазину, подошел к ней и встал с ней рядом напротив зеркала, переваливаясь с носков на пятки и пружиня, и так они постояли молча друг возле друга, как на фотографии, после чего он подмигнул ей в зеркало и пошел к выходу. Железные старухи в ужасе попятились перед ним. Он встал в проеме и, словно не видя очередь, сказал подошедшим Наде и Соне:

— Проходите, проходите. Ты, Софья, можешь не возвращаться, Тоня с Клавой сами справятся.— Встретившись глазами с Надей, он улыбнулся,— Заходите к сестричке, не стесняйтесь. Мы тут народ гостеприимный, Москва — она хлебосольная.

Когда девушки вышли из пассажа, Надя спросила:

— Что он у вас, военный?

Соня удивленно взглянула на нее.

— Почему военный? А, по одежке!.. Какой он военный!.. Он не военный, а вор.

У Нади округлились глаза.

Прежде чем ехать домой, Надя попросила Соню проводить ее до Фединого общежития. Она хотела сообщить Феде о том, что случилось с ней в приемной Калинина. Они пошли к Охотному ряду. Наде было страшно и неприятно снова входить в этот дом, и Соня вызвалась сходить сама, а Надя осталась ждать ее на улице под слабым снегом, сменившим бурную пургу. Однако Соня вскоре вернулась: Феди в общежитии не оказалось. Более того, кто-то из студентов, живших с ним в одной комнате, сказал, что он и не ночевал в общежитии. Тогда они направились к университету на Моховую. Там тоже Соне сказали, что Феди на факультете нет. Не было его и в бюро ячейки, куда Соню кто-то направил.

Соня заблудилась в длинных замысловатых коридорах старинного здания, гулких от эха ее шагов, со сводчатыми окнами, светящими тусклым светом в их дальних концах — окнах, которые, когда к ним приближаешься, оказываются прорубленными в необычайной толщины стенах. Двери по бокам коридоров — глухие и таинственные и, казалось, никогда не открывающиеся,

манили Соню, представлялись ей ведущими в покои изумительной красоты, полные чудес, именно сказочных чудес — птиц с драгоценным оперением и черных людей в чалмах и неведомых зверей — всего того, что Соня слышала или читала именно в сказках, а не в книгах, где говорится о реальной жизни.

Многочисленные объявления на досках и просто на стенах коридоров вперемежку со стенгазетами, воззваниями насчет сбора утиля, «социалистическими обязательствами», и призывами вступить в Осоавиахим или общество «Долой неграмотность» тоже не в силах были развеять ощущение чудесного, которое испытывала никогда не учившаяся деревенская девушка в стенах Московского университета, куда она попала впервые. Иногда, вконец запутавшись в коридорах, Соня открывала первую попавшуюся дверь. За дверью оказывалась аудитория, иногда потрясающе пустынная, большая, без единого человека, с огромным количеством столов и скамеек; там жило эхо, оно встречало Соню глумливым откликом на открываемую дверь и на робкий Сонин вопрос: «Можно?» Иногда же за дверями аудиторий оказывалась толпа молодых ребят и девушек, десятки безмерно веселых глаз оглядывались на Соню, и их присутствие казалось еще более странным и чудесным, чем пустота в тех, других аудиториях. Парни и девушки сидели за столами, лекторы стояли на кафедрах и говорили, географические карты придавали стенам очень ученый и в то же время лазурно-зеленый, весенний вид; иногда взблескивали стеклянные колбы и пробирки на столах, и нос улавливал запах серы, эфира и спирта.

Наконец Соня выбралась из путаницы коридоров и вышла к Наде, которая стояла на улице возле высокой решетки ограды и уже вся покрылась медленно идущим снегом.

Они пошли к трамвайной остановке, и после того, как картины университетских коридоров и аудиторий потускнели в сознании Сони, она подумала о Феде и встревожилась. Прошлой ночью она следила за Федей неотступно, так как в семье Туголуковых любили посудачить о молодом незнакомом родиче: вчера она не знала о несчастье, постигшем Ошкуркиных, но присущая ей почти звериная чуткость помогла Соне уловить на лице Феди и во всем его облике загнанность — тоже

сродни звериной и поэтому близкую ей. Теперь же, сопоставив факты, она испугалась за него и подумала, не наложил ли он на себя руки.

То, что не приходило в голову юной, жизненно неопытной Наде, пришло в голову Соне-сиротке, хотя она была ненамного старше, по той простой причине, что и она часто думала о том, чтобы наложить на себя руки. Она, впрочем, ничего не сказала Наде, не захотела тревожить девушку, полную в этот момент радостной удовлетворенности собственной удачей и уверенности в будущем.

IX

Федя Ошкуркин, увидев поздний трамвай, бросил веселую компанию у развалин Симонова монастыря потому, что почувствовал, что больше не сможет выдержать шум, смех и крики, и потому еще, может быть, что вид разрушенного монастыря слился в его душе с ощущением собственной разрушенной жизни. Трамвай шел в парк через Ильинку и Варварку. У Ильинских ворот Федя соскочил и пошел к общежитию, но у самого общежития раздумал туда идти. Ему было бы невмоготу смотреть на спокойные лица товарищей по комнате. Он пошел к центральному телеграфу на Тверскую улицу и тут, в помещении междугородной телефонной станции, в тепле и негромком шуме немногочисленных и меняющихся посетителей, просидел часа полтора.

Вокруг тоже сидели люди — некоторые дремали, а другие выглядели деловитыми и энергичными, как средь бела дня. То одного, то другого вызывали из окошка, и тогда они скрывались в кабинках, и их лица были видны из-за стекол кабинок. Видно было, как их рты открывались и закрывались, как они энергично размахивали руками и трясли головами, но ничего не было слышно.

Страшная мысль, беспрерывно гнетущая Федю, не переставала терзать его. Но она тоже как бы скрылась в кабинку и, словно отгороженная стеклом, была не слышна, не кричала в нем, как раньше, истошно и беспрерывно, и от этого было (немного) легче.

Федя сам не заметил, как очутился опять на Тверской; он неизвестно почему вышел и удивился, что

не заметил,— удивился и усмехнулся, так как это значило, что он был весь целиком погружен в свои мысли, а между тем ему казалось, что он ни о чем не думает, а так только — живет, сидит и дышит. Но коль скоро он оказался на улице, он не стал возвращаться на телеграф, а пошел вверх к Страстной площади и опять словно бы упал в какой-то глухой колодец, не то сосредоточенной мысли, не то полного бездумья. Очнулся он, почувствовав чью-то руку, просунувшуюся под его левый локоть и схватившую его неуверенно, но цепко. Он посмотрел налево и увидел устремленное ему навстречу женское лицо, вначале показавшееся ему старым оттого, что челка, брови и ресницы были седыми от снега. Но это было очень молодое лицо, в этот миг напряженное и строгое. Глаза из-под заснеженных ресниц сверкали как будто сердито.

— Скажите, что я с вами,— шепнула женщина быстро и повелительно.

Федя ничего не понял, и только пронзительные милицейские свистки и остервенелые женские крики ниже Моссовета заставили его внимательно посмотреть на пятнистую от метели улицу. Десятка два женщин, из которых некоторые жались к слабо освещенным витринам, а другие пытались бежать вниз, к Охотному, превратили Тверскую в какой-то непонятный театр, в какое-то мгновенное завихрение людских судеб вперемежку с вертящейся снежной заварухой. И Федя почувствовал себя тоже частью этого завихрения, одной из ее снежинок, и оттого, что он в его положении мог еще, оказывается, кому-то в чем-то помочь, показалось ему даже забавным.

В этих женщинах, мятущихся по заснеженной мостовой, визжавших, хрипло ругавшихся невозможной площадной бранью и жавшихся к витринам, было нечто омерзительное. Но не менее омерзительно выглядело то, как милиционеры гонялись за ними, путаясь в длинных шинелях, грубо хватали их, тащили или теснили куда-то, в какую-то подворотню или парадный подъезд, избранный как сборный пункт облавы.

Когда Федя со своей спутницей прошел мимо милиционеров, те поглядели на них подозрительно, но ничего не сказали. Федя и его спутница почти дошли до Страстной площади, девушка тем не менее не выпускала Фединой руки и шла молча, очень чинно, стараясь маленькими ножками ступать в ногу с Федей. И оттого, что она так пыжилась и не без натуги делала широкий шаг маленькими ножками, Феде чудилось в ней что-то детское, а во всей ситуации и в том, как они вдвоем шли,— что-то юмористическое. И он подумал о том, что если бы то же самое случилось вчера, то он, вероятно, как идейный комсомолец и враг распущенности, передал бы эту девицу в руки милиционеров и уж во всяком случае не стал бы ее укрывать от них. А сегодня, после всего случившегося с ним, он уже не мог этого сделать.

Как только они достигли Страстной площади, Федина спутница робко оглянулась на Тверскую через правое плечо, задев головой Федино левое. Обнаружив, что милиционеры исчезли и все вошло в обычную колею, она сразу же отпустила Федину руку, весело, хотя и несколько хрипло захохотала, повернулась лицом к Тверской и закричала:

— Ну что, менты проклятые? Поймали?

От нее пронзительно пахло одеколоном и вином. На ней была короткая рыжая жакетка «на рыбьем меху» и лиловая шелковая блестящая юбка. А на жакетке была худенькая рыжая лисья головка с блестящими стекляшками вместо глаз, и лицо девушки было похоже на эту лисью головку — тоже с острой голодной мордочкой и блестящими золотистыми глазами.

На Страстной площади было еще несколько женщин, видимо, тоже вырвавшихся из кольца облавы и знакомых Фединой спутнице. Они бегали одна к другой, громко шептались и смеялись, только одна плакала громко, перемежая плач отборными ругательствами: у нее в суматохе потерялась сумочка. Федина спутница отбежала от него к одной из женщин, а с той вместе побежала к третьей. Федя постоял и пошел мимо памятника Пушкину влево по бульвару. Однако не успел он отойти несколько шагов, как она догнала его и сказала полувопросительно, без интереса, как бы по обязанности:

— Пойдем?

Он ничего не ответил и пошел дальше по бульвару, но она и на этот раз догнала его и пошла с ним рядом.

— Ты кто? — спросила она.— Студент? Может, у тебя денег нет? Ничего, пойдем без денег. У тебя, наверно, ночевать негде? Не пьяный, а ходишь ночью...

Он продолжал идти, и она сказала обиженно:

— Ты что, немой, что ли?

— Чего вам нужно от меня? — сказал Федя.

Что-то в этой фразе, сказанной большим и сильным человеком маленькой бульварной потаскушке, поразило ее. Она смиренно сказала:

— Если у вас ночевать негде, то вы можете пойти ко мне.

Он не понял ее слов, и только несколькими мгновениями позже у него в мозгу начали медленно отпечатываться эти слова по очереди: «если, у вас, ночевать, негде» и так далее. Тогда он посмотрел на нее, усмехнувшись, и она поняла его усмешку как согласие, взяла его снова под руку, и они пошли по белому бульвару к Никитским воротам.

— Да, действительно, у меня денег нет, — сказал он, сделав несколько шагов и с досадой остановившись. — На кой я вам сдался? У меня, может, копеек пятьдесят — шестьдесят. Ведь этого мало?

— А как ты думал? — сорвалась она с тона. — Тоже предложил — полтинник! За полтинник куры... — Но посмотрев ему в лицо, она прервала себя и сказала опять тихо и ласково, хотя уже на «ты»: — Я же сказала. Такому парнишке и без денег с удовольствием. А чего? Ты что думаешь? Только про деньги и думаю? Не обязательно.

Она повела его по Бронной направо, куда-то к Патриаршим прудам, в безлюдные темные переулки. Оба молчали. Вдруг она сказала нервно:

— Чего ты молчишь? Знаешь, с тобой ходить небольшое удовольствие. Тоже кавалер! Молчит все время. С тобой страшно даже, честное слово! Ну скажи что-нибудь.

— Что мне сказать?

— Что-нибудь. Хоть про погоду.

— Метель.

— Да, метет, заметает. Ну и что такого? Ты так сказал «метель», что мне страшно стало, честное слово. Как артист. Странный ты какой-то. Как тебя зовут?

— Федором.

— Федя! Люблю это имечко! Федор! Федор Шаляпин. Федор Качалов.

— Он не Федор.

— Нет, Федор.

— Он Василий.

— Василий? А кто же Федор?

— Я Федор.

— Хи-хи... Тоже знаменитость!.. А почему ты не спрашиваешь, как меня звать?

— Как вас зовут?

— Ты послушный. Меня зовут Любой... Почему ты не говоришь: «Ах, любовь!»? Так все сразу говорят, как узнают, что меня Любой зовут. А ты не говоришь. А как зовут Кторова? Не знаешь. Анатолий.

Наконец она замолчала и замедлила шаги. Они стояли перед большим домом с красивым, несколько вычурным подъездом, похожим на боярское крыльцо. Однако повела она Федю не к подъезду, а во двор, и здесь, через черный ход — еле заметную обшарпанную дверь, к которой надо было спуститься на две ступеньки вниз, — они прошли в кромешной темноте в довольно большую кухню, слабо освещенную маленькой лампочкой, заключенной в железную сетку.

Заметив при тусклом свете лампочки, что Федя весь в снегу, Любка жестами предложила ему отряхнуться, они вышли обратно за дверь, здесь она, вставши на цыпочки, сняла с него шапку, ударила ею о стену, затем шапкой же стала стряхивать снег с его куртки, со своей жакетки. Потом они вернулись и прошли через кухню в коридор. Они прошли коридор из края в край. Возле самой дальней двери Любка остановилась, прислушалась и потянула за ручку. Дверь была заперта. Любка негромко выругалась и постучалась. Старушечий голос спросил: «Кто там?» «Я», — ответила Люба и слегка оттолкнула Федю в сторону. Дверь отворилась. Любка вошла одна, притворив за собой дверь, и Федя остался стоять в темном коридоре, который был освещен только далекой полоской тусклого света, падавшего из двери кухни. Он закрыл глаза и так стоял с закрытыми глазами, равнодушный ко всему, даже к своему глупому положению в этом коридоре перед этой дверью, где он оказался без надобности и откуда должен был бы уйти, если бы не равнодушие и душевная усталость, заставлявшая его стоять тут, как стоят неодушевленные предметы — скамейка, фикус, сундук.

Потом дверь открылась, и Люба поманила его пальцем. Он вошел в комнату причудливых очертаний, со скошенным потолком, освещенную, как и кухня,

лампочкой в железной сетке, обставленную очень скудно, с двумя маленькими окнами и огромной, почти во всю стену дубовой дверью, которую пытался, но не мог закрыть убогий платяной шкафчик. По расположению комнаты и по большой двери Федя вскоре догадался, что комнатка сделана из прихожей, примыкающей к парадному подъезду — тому самому, похожему на боярское крыльцо.

В комнатке стояла только одна кровать — довольно большая, с никелированными шарами на спинках. Но теперь, ввиду его прихода, часть постельных принадлежностей лежала на полу и на них сидела полуголая старуха в платке. Она заканчивала свое несложное устройство на полу — расправляла рядно, служившее простыней, и натягивала на себя одеяло.

— Здравствуйте,— сказал Федя.

— Здравствуйте,— ворчливо ответила старуха, после чего недовольно промолвила: — Больно поздно стали приходить. Чего-нибудь выпить небось не принесли? Только «здравствуйте» принесли!..— Она заворочалась, заворчала, зачертыхалась, но вскоре обратила внимание на скромность и сдержанность гостя, на его стеснительность и связанность, молчаливость и деревянность, и тогда она внимательно посмотрела на него маленькими выцветшими глазками, в которых, несмотря на всю, с Фединой точки зрения, позорность ситуации, еще сохранились остатки нормального человеческого и материнского выражения,— и сказала довольно ласково (видимо, его лицо, с большим чистым лбом и русыми, несколько вьющимися волосами и серо-голубые глаза под пшеничными бровями, потемневшие от страдания, произвели на нее впечатление и удивили ее):

— Чего вы стоите? Раздевайтесь,— и добавила одобрительно и немножко завистливо: — Подхватила паренька... Красивый паренек,— и наконец закончила неодобрительно: — такому пареньку жениться надо, а не по б..... ходить.

Люба хихикнула и сказала:

— Понравился ты бабке Милке.— И, зная, что это редкий случай, чтобы кто-нибудь из посетителей понравился бабке, она тоже внимательно посмотрела на Федю и неожиданно прильнула к нему, глядя ему в глаза снизу вверх, крикнула бабке: «Будет тебе! Спи!» и, все так же глядя ему в глаза, нащупала левой рукой выключатель на стене и погасила свет.

— Я не буду,— сказал Федя.

Ее ручки, расстегивавшие ему полушубок, замерли. Она прошептала:

— Раздевайся, глупенький.

— Я не буду,— повторил он.

Она начинала сердиться, но сдержалась.

— Ты чего? — спросила она.— Ты не бойся, я здоровая.

— Я не буду,— сказал он, пытаясь встать.

Она прошептала ему на ухо бранное, оскорбительное слово. Он промолчал. Оцепенение снова охватило его. Он думал о том, что если бы она от него отстала, он бы тут же сидя заснул или просто пересидел бы до утра. Оцепенела и она, и в комнате стало очень тихо — в этой тишине стало слышно, как где-то в подполье пищат мыши.

— Чудак,— сказала Любка шепотом и хихикнула смущенно.— Не хочешь, не надо. Очень ты мне нужен. Может, ты святой? В церковь ходишь? Или у тебя машинка не работает? — Не дождавшись ответа, она медленно отделилась от него, отодвинула лицо, убрала руки, отодвинулась вся. Потом легла на кровать к стене. Посидев, он снял полушубок и шапку и тоже лег на кровать.

Они лежали рядом молчаливые и неподвижные. Он вскоре забыл, где находится, и, только изредка вспоминая об этом, думал, что до сегодняшней ночи в сущности не подозревал, что есть и такая сторона жизни в Москве, хотя она, эта сторона жизни, находилась рядом с ним, с его общежитием и его университетом, с его ячейкой и его райкомом. И он думал о том, что, вероятно, никогда не узнал бы об этой стороне жизни, если бы не случилось то, что с ним случилось, если бы он не оказался вышибленным из обычной колеи. О девушке, лежавшей рядом с ним, он не думал совсем. Комсомольское правоверие и крестьянская добропорядочность отделяли его от нее как бы железной стеной. Он даже и заснуть долго не мог не только из-за своих мыслей, но и потому, что в этой постели ему чудилась физическая нечистота, но потом он все-таки заснул.

X

Первое, что Федя Ошкуркин увидел проснувшись, был большой железный крюк, торчавший без всякой надобности из стены почти под самым потолком. Этот крюк способен был изуродовать любую комнату, даже самую нарядную, а здесь, в этой бесформенной прихожей, превращенной в жилье, с потолком, наполовину скошенным под углом в сорок пять градусов,— очевидно, над ним шла лестница на второй этаж,— с обшарпанной мебелью и вытертыми до дыр занавесками, он был совсем омерзителен. Занавесок же тут было почему-то много, жители этой комнатенки, видимо, считали их неким шиком. Занавески висели на шкафу, на окошке, и на двух дверях — заколоченной — к улице и действующей — в коридор. Кроме того, один из уголков комнаты был тоже огорожен грязной ситцевой занавеской.

Окинув взглядом комнату, Федя убедился, что никого здесь нет — ни Любки, ни старухи. Надо было встать и уйти, и он уже готов был это сделать, но снова взгляд его упал на крюк, и он стал смотреть на этот крюк, так что вскоре крюк стал двоиться у него в глазах.

Снова и снова Федя хотел встать и уйти, но потом подумал, что ему некуда идти, некуда и незачем. И он лежал, несмотря на обычную свою щепетильность в отношении к людям; ему было все равно, если кто придет и придя застанет его на постели и будет недоволен или даже будет возмущаться вслух. Ему теперь все это было безразлично. Ему казалось, более того — он был уверен, что он встанет только для того, чтобы повиснуть на этом крюке. Та основательность, с которой был вбит крюк, завораживала его, он чувствовал — ему даже казалось, что он это делает,— что, раскачивая этот крюк, пытаясь вырвать его из стены, он обязательно встретится с колоссальной силой сопротивления; крюк даже не шелохнется, настолько он намертво вбит, и, видимо, в незапамятные времена, и неизвестно зачем — разве только затем, чтобы дождаться его, Феди; чтобы дождаться, пока он, Федя, выйдет из телеграфа на улицу, и девушка схватит его под руку, и он спасет девушку от милицейской облавы, и придет сюда, где его ожидает этот крюк, вбитый, может быть,

еще до рождения Феди и все равно предназначенный для него.

Федя с трудом глотнул, ему уже казалось, что горло его стянуто веревкой.

— Дяденька, вы еще не встали? — послышался детский голос, и мальчик лет двенадцати показался из-за занавески.

Меньше всего ожидал Федя увидеть здесь ребенка и, встретившись с ним взглядом, покраснел и быстро встал с постели. Он не думал, что что-нибудь может теперь поднять его с постели,— он не мог предвидеть появления ребенка. Глаза мальчика, большие и ясные, смотрели на Федю без презрения и без укоризны, но с привычным равнодушием, которое укололо Федю сильнее чего-либо другого. В этом детском взгляде было такое молчаливое понимание ничтожества людей, такое спокойное знание изнанки жизни, что Федя, олицетворявший в этот момент для мальчика эту изнанку, почувствовал себя глубоко униженным. Однако именно это чувство заставило Федю сбросить с себя хотя бы немного тяжелое оцепенение, отвлечься от железного крюка и заговорить с мальчиком — вначале через силу, с трудом произнося слова, а потом, после разумных и ясных — под стать его глазам — ответов мальчика — с некоторым даже удовольствием.

Признав в Любином братце (а это был, несомненно, ее братец, он был на нее очень похож) своего сотоварища по принадлежности к великому содружеству несчастных, Федя собрал все свои силы, чтобы оправдаться перед ним. И для этого он заговорил с ним просто и серьезно, как с преподавателем или товарищем вузовцем,— о предметах, очень далеких от этой комнаты. Например, он стал ему рассказывать о рыбной ловле, в частности, о ловле щук на кружки́. Эти деревянные кружки́, окрашенные в два цвета, зеленый и красный, ставятся кверху зеленым цветом. Когда же щука ухватится за наживу, кружо́к переворачивается красным вверх, рыболов издали следит из лодки за этими кружка́ми. Как только он видит красный кружок,— он, подобно железнодорожнику при виде красного света, бросается туда и вытаскивает рыбу. Потом он рассказал мальчику о растении, которое само ловит насекомых и съедает их. Этот коварный и злой цветок ждет, пока комарик или муха сядут на его лепестки и

сжимает лепестки, как руку. Потом он поведал ему об опытах по искусственному дождеванию и объяснил, что́ это принесет в будущем человеку, когда можно будет сделать дождь по заказу.

Все это он рассказывал ровно и серьезно, и мальчик, не привычный к такому обращению, видевший здесь, в комнате, мужчин только глупых и подлых или оглупевших и оподлевших от водки и низменных страстей, удивился, потом просиял и, засуетившись, только полчаса спустя вспомнил о поручении, которое имел передать «дяденьке» от сестрицы, ушедшей отмечаться на биржу труда: пусть дяденька не уходит, а ждет ее и попьет чай с ним, Костей. И что если он курящий, то здесь в шкафу имеются папиросы «Наша марка».

Костя повел Федю по длинному коридору в умывальню и уборную и стоял на часах возле той и другой, и, когда Федя выходил оттуда, он уже искал и находил ясный и твердый взгляд Костиных глаз — взгляд вполне мужской неподкупной дружбы.

Когда они возвращались обратно по коридору в комнату, открывались двери квартир и оттуда выглядывали лица, главным образом женские, и слышался шепот. Под этими взглядами Федя ускорил шаг и шедший впереди мальчик тоже ускорил шаг, и у одной из последних дверей, которая тоже открылась и из-за которой раздалось совсем уж откровенное хихиканье, мальчик быстро повернул лицо к Феде, и Федя увидел его сжатый рот. И тогда Федя замедлил шаги, и, поравнявшись с окном, выходящим направо во двор, остановился и сказал:

— А метель все метет. Для нас это привычно. А вот на днях мы встречались с одним человеком из Индо-Китая — он тамошний комсомолец, был здесь на пленуме Исполкома КИМа. Так он никак не мог оторваться — все смотрел в окно, удивлялся и шептал: «нэж, нэж...» Это по-французски снег. Он видел снег первый раз в жизни. Мы потом над ним смеялись — он вздумал взять немножко снега с собой в Индо-Китай, чтобы показать своим.

— Что, положил в карман? — Костя недоверчиво усмехнулся.

— Да, в оба кармана.

Костя помолчал и вдруг прыснул, и его смех, захлебывающийся, веселый, безудержный, неумелый и обаятельный, вызвал отклик в длинном коридоре. Двери ракрылись шире, и человеческие лица, раньше следившие за Федей исподтишка, теперь, не скрываясь, высунулись из-за дверей. Потом появились дети — девочки и мальчики. Некоторые выползали в коридор медленно, робко, другие — выскальзывали после сдавленного шепота, толкотни, сопения, третьи — выскакивали как пробки, может быть, подстегнутые подзатыльниками. Они подошли близко и, не здороваясь, смотрели снизу вверх на Федю внимательными глазами разных оттенков — от черных, как шарики из нефти, до голубых, цвета зимнего неба.

Федя, продолжая все так же серьезно рассказывать Косте разные истории и ловя в промежутках между своими фразами напряженное и полное интереса молчание, подумал с вспыхнувшей внезапно любовью к самому себе, что недаром мечтал он с детства учить детей и что если бы он кончил университет, он, очевидно, мог бы это делать очень хорошо. Но так как он уже не кончит университета...

Резко оборвав разговор, он пошел дальше по коридору, в ту комнату, где висел крюк. Дети пошли за ним и только у самого порога одни остановились,— видимо, здесь для них была некая запретная черта — другие же вошли совершенно бесцеремонно вслед за Федей и Костей. Федя, постояв некоторое время молча, сказал:

— Что ж ты меня не знакомишь с твоими товарищами?

Костя, тыкая каждого ребенка пальцем в грудь, довольно хмуро — видимо, не без ревности — назвал всех по имени. Обеих девочек звали Фая, и для того, чтобы различить их, Костя так же хмуро сказал, что одна из них — «Фая, которая потеряла рубль», а другая — «Фая, которую оплевал верблюд». Эти прозвища были основаны на действительных фактах. Вторую Фаю, ярко-рыжую, верблюд действительно оплевал когда-то в зоопарке — может быть, ее рыжие волосы на него так подействовали. Потом Костя представил мальчиков — их было трое. Но Федя уже не слушал, весь ушел в себя и смотрел на крюк. Молчать ему было тем легче, что когда кто-нибудь из детей обращался к нему, Костя обязательно обрывал их, словно Федя был его собственностью.

Потом Федя, очнувшись от своих мыслей, снова посмотрел на детей. Дети стояли молча, но, кажется, им было не скучно,— они смотрели на Федю и при этом, очевидно, жили какой-то напряженной внутренней жизнью, которую Федя не мог разгадать. И это заставило Федю опять заговорить с ними — собственно, даже не заговорить, а прочитать «Сказку о рыбаке и рыбке» — он знал ее, как и почти всего Пушкина и Некрасова, наизусть. Они слушали, потрясенные сказкой, показавшейся им великой драмой. Кончив чтение, Федя минуту помолчал вместе с ними, потом спросил:

— Почему вы в школу не идете?

Костя ответил не сразу, ему было трудно выскользнуть из туманного края сказки.

— Нас не пускают,— сказал он наконец.— У нас тут Петька болен скарлатиной...— Подняв острое личико к Феде, он сказал: — Он бы ей надавал по морде...— Его мужская гордость не могла примириться с унижением старика.— Чего он такой смирный! Дал бы ей раз по зубам.

Дверь распахнулась. Маленькая растрепанная женщина с большими обвислыми грудями под лоснящейся от жира ситцевой кофтой появилась на пороге.

— Валька! — заговорила она громко и визгливо.— Ты зачем сюда пришел? Тоже — клуб?! Сколько раз я тебе говорила, сюда не ходить! — Встретив сумрачный взгляд Феди, она осеклась и сразу же понизила голос: — Иди домой, Валька. Там керосинщик приехал, надо за керосином пойти.

— Не пойду,— сказал Валька.

— Почему?

— Тут дяденька сказки рассказывает.

Пять пар детских глаз угрюмо сверлили ее. Она сказала заискивающе:

— А может, дяде совсем неинтересно с вами возиться!..

Она подождала, предполагая, очевидно, что Федя отзовется каким-нибудь приличествующим в таких случаях словом или хотя бы хмыкнет, или хотя бы улыбнется, но Федя ничего не сказал, не хмыкнул и не улыбнулся, а только смотрел на нее молча, так как опять думал о своем. И дети тоже смотрели на нее так же молча, на лету усвоив по какому-то детям свойственному наитию странную манеру этого «дяди» молчать тогда, когда принято говорить, и говорить тогда, когда никто этого не ждет. И от этого всего Валькина мама окончательно смутилась и, пятясь, вышла из комнаты.

— Пойду и я,— сказал Федя и встал.

Дети заволновались, переглянулись и все вразброд произнесли тонко и вяло, как бы неискренне, одни и те же слова:

— Не уходите, дяденька.

Фая, та, которую оплевал верблюд, наиболее смелая из всех, взялась за Федину руку худенькими слабыми ручками, и другая Фая, потерявшая рубль, от этого тоже осмелела и взялась за ту же руку, но выше, у локтя. Тут и мальчики расхрабрились и стали держать Федю, не пускать его — несильно, настойчиво, как бы в шутку, чтобы он не рассердился. Один лишь Костя ничего не сказал и не подошел к нему, только лицо его враз потемнело. И, увидев это лицо, Федя не снял полушубка с гвоздя, и опять уселся на стул. И дети переглянулись и счастливо засмеялись — именно счастливо и гордо, так как почувствовали власть над взрослым человеком и подивились этому, так как привыкли к тому, что взрослые не исполняют детских просьб.

Тут вошла бабка Милка, она была в ватнике, с фартуком поверх и в яркой фуражке с надписью «Моссельпром». С ней была другая бабка, тоже в ватнике, фартуке и фуражке. Бабка Милка зоркими глазами окинула всю картину и сняла фартук.

— У инвалидов конфеты по рубль по двадцать, а в ларьке по рубль сорок пять,— сказала она, зорко глядя на Федю, и, положив на кровать лоток с папиросами и конфетами, села к столу.

— И куда все девалось? — спросила вторая бабка.

Бабка Милка спросила:

— Чай пили? Не пили? Садитесь, молодой человек. Садись, Констянтин... А вы — марш отседа! Чего пристали к человеку! Идите, идите... Небось Костю из своих квартир гоните, а сами прётеся... И ты, Фая, тута? Мамаша небось не знает, а то дала бы тебе по жопе.

Дети все стояли, сгрудившись вокруг Феди и не трогаясь с места.

— И что ета за дети, за наказание такое? — спросила вторая бабка.

Дети, однако, не уходили. Они привыкли, что все их шпыняют, и придавали этому мало значения. Однако бабка была не из покладистых. Сквернословя и бранясь, хотя и беззлобно, но надоедливо, она одного за другим выпроводила детей из комнаты.

Во время чаепития обе бабки все время разговаривали друг с другом и все делали, не переставая разговаривать. Федя вначале не слушал их разговора, потом стал слушать. Они говорили о том, что Моссельпром прекращает торговать вразнос и меньше чем через две недели обе бабки окажутся безработными. Потом бабки собрались уходить и снова надели поверх ситцевых платков синие фуражки, по околышам которых было написано большими буквами «Моссельпром». Бабки в этих фуражках выглядели очень смешно, тем более, что явно гордились этими фуражками, и как только надели их, так сразу стали стараться выглядеть подчеркнуто и лихо.

XI

Не успели обе бабки из Моссельпрома выйти, как в комнату вернулись дети,—и не только те, которые были раньше, но и другие, не осмелившиеся раньше сюда войти в силу родительских запретов или природной робости. Федя вывел их во двор, под метель, и слепил при их помощи большого снежного человека. Дети принесли угольки, старую морковку и старую шапку. С угольками вместо глаз и морковкой в качестве носа, в рваной шапке набекрень, человек этот, чуть наклонившись в сторону, как Пизанская башня, и по этой причине похожий на пьяного, был необыкновенно смешон. Вначале дети не смеялись, так как не смеялся Федя, и дети, видя это, тоже старались не смеяться. Но затем, уже не в силах сдерживаться, они стали хохотать и тоже валиться набок. И каждый произносил какую-нибудь фразу от имени снежного человека—либо стараясь говорить басом, либо, наоборот—тонким голоском. От имени этого человека они старались сказать что-нибудь очень смешное, и чью-нибудь особенно смешную или особенно заумную фразу покрывали громким хохотом.

Валька сказал:

— Распрягайте, хлопцы, коней, та лягайте почивать.

А Фая сказала:

— Айдапулифурипуски.

И, застыв, стала валиться влево. И на нее стали валиться другие, задыхаясь от смеха и крича: «Айдапулифурипуски!» Затем другой мальчик, по имени Паша, вставил себе в рот карандаш, как папиросу, и, выпуская воображаемый дым, сказал:

— Какие тут могут быть вопросы? И не думайте, и не мыслите, и не гадайте!..

Это вызвало почти истерику, особенно когда Паша с застывшим лицом, как будто бы очень серьезно, тоже повалился на снег.

— Ну вот, играйте,—сказал Федя,—а я пойду.

Он сказал это тихо, не так для детей, как для Кости, который стоял все время возле него, но все услышали и сразу смолкли. А Костя схватил Федину руку, и Федя постоял-постоял и остался. Он остался потому, что подумал, что ему просто некуда идти. Конечно, он понимал, что ему надо куда-нибудь идти—хотя бы для того, чтобы уйти отсюда. Не может же он быть тут вечно. Но он никак не мог придумать, куда идти, и снова остался, хотя понимал, что выигрывает-то всего час или два, а потом надо что-то решать.

Затем дети разошлись по домам по разным надобностям—кого позвали матери, кого послали за чем-нибудь—и Федя вернулся в комнату с Костей и с рыжей Фаей, которую оплевал верблюд. Потом пришла какая-то женщина—мать кого-то из ребят, но Федя так и не понял, кого именно, и пригласила его с Костей к себе обедать. Они пообедали у нее и снова вернулись в комнату. Там уже была бабка Милка—без фуражки и без лотка. Узнав, что Федя с Костей обедали у соседей, да еще к тому же у Тамары Лазаревны, бабка Милка посмотрела на Федю озадаченно и уважительно. И когда в комнату снова пришли дети, бабка Милка ничего не сказала.

Метель все мела, поэтому стемнело рано, свет зажгли чуть не с полдня, и было непонятно—поздно или рано. По-видимому, не знала этого толком и Любка, когда ее нерешительные шаги зашаркали за дверью. Потоптавшись за дверью и прислушавшись, она тихо и очень медленно открыла дверь и шепотом сказала Милке, которую увидела первой:

— Инженера привела.

Она была очень пьяна, еле держалась на ногах. За ней появилось маленькое личико с усиками, в инженерской фуражке.

В следующее мгновенье Любка увидела Федю и детей, наклонившихся над столом, где он что-то рисовал для них. Увидев Федю, Любка поразилась. То ли она забыла о нем, то ли не думала, что он задержится так поздно. Может быть, ее изумила больше всего та поза, в которой сидели рядом Федя и Костя, та близость, которая чувствовалась между ними — до того, что они казались похожими друг на друга; во всяком случае их глаза смотрели с одинаковым выражением.

Инженер, увидев мужчину и детей, страшно испугался и отпрянул от двери. Однако Любка уже оправилась и, схватив его за рукав, потащила в комнату.

— Заходи, заходи, не бойся,— сказала она не очень уверенно.

— Я приехал издалека,— забормотал инженер извиняющимся голосом,— знакомых нет...

В руках у него был портфель. Он положил портфель на стол, вынул оттуда две бутылки и не без подобострастия поставил их на стол перед Федей.

— Выпьем, а?! — воскликнула Любка, тревожно глядя то на Федю, то на инженера.— Вот видишь... Рябиновая настойка и пшеничная водка. Ты что больше любишь, рябиновую или пшеничную? — Не получив ответа на свой вопрос, она злобно сказала: — А вы чего тут сидите, пялитесь? Марш отсюда! — Дети мигом хлынули к двери и исчезли.— И ты,— сказала Любка после паузы, подняв глаза на инженера.— И ты тоже. Иди себе.

Она взяла бутылки и сунула их обратно в инженерский портфель. Закрыв портфель, она отдала его инженеру в руки, надела на него фуражку, которую он снял было, и выпроводила, не говоря ни слова, по коридору на кухню. Ее каблучки, за минуту до того робко скользившие возле двери, теперь решительно стучали по коридору. Она вернулась, молча сняла свою жакетку с лисой, послушала, что говорят между собой Федя и Костя, умилилась, всплакнула быстро и бурно, вытерла глаза, засмеялась и сказала:

— На черта он мне сдался... Просто ему деться некуда... коек в гостинице нет. А вы, Вася, чай пили? Костя, ты Васю чаем угощал?

— Меня зовут Федором,— сказал Федя.

— Ты же сказал Василием,— произнесла она смущенно.

— Нет.

Она помолчала, потом раскрыла свою сумку и вынула из нее завернутые в бумажные салфетки котлеты, жареную картошку и несколько конфет. Она все это положила на стол, потом постояла минуту молча и проговорила:

— Отец наш погиб на гражданской войне. Мама умерла от тифа.

Костя сказал угрюмо:

— Врет.

Любка кротко промолчала, потом стала стелить постели. Себе она постелила за занавеской на Костино место, а Феде и Косте велела лечь на кровати.

Наутро, когда все спали, Любка ушла на базар.

Чем ближе время подходило к вечеру, тем беспокойнее становилось на душе у Феди. Костя заметил его состояние и, тревожно глядя издали на Федю, с замиранием сердца ожидал того мгновенья, когда его новый друг наконец встанет и скажет те слова, которые говорил уже не раз, но которые, как Костя чувствовал, могут теперь оказаться окончательными.

— Ну, мне пора.

Взгляд у Феди стал отсутствующим и пустым, и Костя видел, что его новый друг думает о чем-то далеком и полон равнодушия к этой комнате и к самому Косте — даже когда его взгляд скользил по лицу Кости, лицо его не выражало никаких чувств, никакой сдержанной ласки, той сдержанной ласковости и мужского взаимопонимания, которые сразу и навсегда приворожили Костю.

Любка, та, напротив, не чувствовала ничего. Она возилась на кухне, готовя обед, с подчеркнутой независимостью топала каблучками по коридору туда и обратно, на кухне вела себя без обычной своей робости, прикрывающейся напускным нахальством. Она довольно бесцеремонно обращалась даже к Полине Марковне, всеми уважаемой даме из третьей квартиры, служившей в Моссовете, и даже несколько высокомерно — к Валькиной маме, Евдокии Степановне. В обычное время эти женщины не стали бы разговаривать с Любкой, а тем более занимать ей соль и лук. Теперь же

они с ней разговаривали, как с равной, так как здесь, на кухне, как бы незримо присутствовал высокий мрачноватый, но, несомненно, интеллигентный и умный парень, очаровавший всех детей в коридоре и совершенно не похожий на обычных посетителей Любки. Он как бы незримо защищал ее от оскорблений; его светлые глаза под темными бровями, смотревшие с каким-то загадочным выражением, как бы смотрели через весь коридор в эту кухню, похожую на маленький заводик, полную шипения, пыхтения и клубов пара. Простоволосые ведьмы стояли каждая у своего примуса и мокрыми красными руками что-то резали, чистили, мыли, месили. И впервые Любка находила во всем этом интерес и, чувствуя себя равной со всеми, преисполнилась симпатии ко всем другим женщинам, которые были ей еще вчера ненавистны, и усердия к кухонному труду, который тоже еще вчера был ей в тягость, казался унизительным и ничтожным.

Но вот, забежав на минуту в комнату для того, чтобы взять макароны, тоже купленные ею сегодня на базаре, она увидела, что Федя надевает полушубок.

— Мне пора,— сказал он.

Он одевался быстро, и Костя понимал, что никакие упрашивания здесь больше помочь не могут. Поняла это и Любка. Но она ничего не сказала, только положила кулек с макаронами обратно на стол.

— А обедать не будете? — спросила она спустя минуту, когда он уже направился к выходу.

— Нет,— сказал он рассеянно.— До свидания.

Она пошла следом за ним, неизвестно зачем, так они прошли по коридору, затем по кухне. Когда он открыл входную дверь и ушел, она осталась посреди кухни, затем подошла к своему примусу, некоторое время бессмысленно смотрела на пар, вырывающийся из кастрюли.

— У вас суп выкипает,— заметила соседка.

— Ну и х.. с ним,— спокойно сказала Любка, потушила примус и ушла.

XII

Снова над Федей кружила неугомонившаяся вьюга, и вскоре он был весь белый, как и редкие прохожие, иногда попадавшиеся на его пути.

Было уже довольно темно, но еще, по-видимому, рано. Но Федя решил пойти в Померанцев к Полетаевым и уже там, возле их дома, где-нибудь рядом час или полтора постоять или походить, чтобы не прийти к ним раньше всех.

Однако, очутившись на Остоженке, он поскользнулся левой ногой, и, еле удержав равновесие, остановился, и вспомнил, что это считается дурной приметой. Он подумал о том, что никогда не верил в приметы, с самого раннего детства, и вот теперь вдруг поверил в них. Но, посмеявшись над собой, он тем не менее все еще не решался идти дальше, так как понимал, что в сущности ему нечего делать в доме старого коммуниста-академика, ему — кулацкому сыну.

Но его тянуло туда. Он пошел дальше, миновал Померанцев, добрался до Крымской площади, решил уже свернуть направо, но не смог совладать с собой и вернулся обратно: в последний момент, когда он окончательно решил не ходить к Полетаевым, его заставила изменить свое намерение новая мысль, показавшаяся ему очень здравой и верной. Он подумал, что может рассказать Виктору Васильевичу, отцу Аркадия и Киры, свое горе, рассказать ему, посоветоваться с ним как со старшим товарищем.

«Посоветоваться со старшим товарищем». Как только эта мысль вылилась в такую уже многократно произнесенную фразу, так она стала казаться очень простой, удобной и неопровержимой. Она входила в комсомольскую терминологию, позабытую было Федей за эти дни, теперь она, осторожно отряхиваясь от потрясений, как бы встала на ноги, ожила, даже замахала крылышками.

Нет, Федя не собирался просить Виктора Васильевича о заступничестве перед, например, председателем ЦКК-РКИ Орджоникидзе, с которым Виктор Васильевич был близко и издавна знаком, или перед другими вождями партии, с которыми старик Петров-Полетаев со многими был в дружеских отношениях. Федя хорошо усвоил старый партийный принцип презрения, даже ненависти к достижению каких-либо целей путем личных знакомств и считал неблагородным воспользоваться случайным знакомством с Петровым-Полетаевым. Но надежда на чудо жила в нем. И когда этой надежде пришла на помощь комсомольская терминология («по-

советоваться со старшим товарищем»), Федя решился и завернул в Померанцев переулок.

Дверь в квартиру Петровых-Полетаевых была, как обычно, не заперта. Федя постоял у двери, прислушиваясь, и ему казалось, что он, как вор, хочет проникнуть в место, где не имеет права быть, что он обманщик, принявший чужую личину для того, чтобы сюда прийти. Он толкнул дверь. В прихожей было полутемно, верхней одежды на вешалке было совсем мало: видно, гости еще не пришли. Из дальних комнат слышались негромкие спокойные голоса.

Федя долго стоял в полутьме прихожей, не осмеливаясь сделать шаг вперед и не решаясь уйти. От чужих пальто пахло сложными запахами: мехом, телом, лекарством, снегом, духами или, если дать им истолкование,— спокойствием, благополучием, счастьем. Так казалось Феде в эти минуты, когда он впервые в жизни почувствовал раздвоенность бытия и трагедию своего существования.

Тут раскрылась дверь, послышались легкие шаги, потом раздался испуганный голос Киры:

— Ой, тут кто-то есть!

— Это я,— сказал Федя.

— Федя! — воскликнула Кира и втащила его в ее маленькую комнатку возле вешалки. Здесь было почти совсем темно: метель залепила окно и все лепила и лепила его. Кира зажгла свет, и метель словно исчезла, утонула во мраке.

— Поздравляю,— сказал Федя, бросив на Киру взгляд исподлобья.

Она же ничего не сказала, только махнула рукой не то презрительно, не то горестно.

— День рожденья — буржуазный предрассудок,— произнесла она наконец насмешливо.

Видимо, он был занят собой и не улавливал переходов в ее настроении: он только смотрел на нее, видел ее тонкую фигуру, темные блестящие волосы до плеч и очки, за которыми большие светлые глаза всегда смотрели пристально и смущали людей даже очень взрослых и самоуверенных. Очки на ее юном лице были неожиданны и как бы неуместны, но в то же время придавали глазам Киры особую притягательную силу — подобно тому, как покров, одежда, скрывая тело, делает его еще более желанным.

Кира смотрела на Федю так проникновенно, так печально и насмешливо, что Федя одно мгновенье думал, что здесь, у Полетаевых, уже известно о постигшей его катастрофе, и он испытал унизительный страх и стыд. Но тут же оказалось, что непривычно горестный взгляд Киры связан с ее собственными переживаниями. Она стала рассказывать жалобным голосом о том, что нынешний день рожденья сорвался, не состоится, так как папа поссорился с ней — «и, кажется, навсегда». Сегодня утром Кира, «совсем даже в шутку», как она выразилась, «просто для интересу», намазалась губной помадой — парижской, которую папа привез на днях из Парижа в подарок своей жене.

— Что было с папой! — сказала Кира, усмехнувшись.— Он побледнел как мертвец и стал говорить, говорить, говорить. Начал с матери братьев Гракхов и кончил Кларой Цеткин и Надеждой Константиновной Крупской. А твой дружок Аркаша подбрасывал хворосту в костер,— Кира надменно вздернула подбородок.— Все меня учат. И хоть бы я промолчала... Но я имела глупость спросить папу: «А почему ты бросил маму, которая вся сплошной положительный пример, и женился на Маше, которая — вся сплошной отрицательный?..» На это он, конечно, не смог ответить. Он только швырнул об пол вазу для цветов, разбил ее и сказал, что не будет у меня на именинах, и что вообще никаких именин не будет, тем более, что именины тоже пережитки старого мира, как и губная помада и вообще все на свете, кроме ударных бригад и непрерывной недели!

Пока Кира выкладывала ему свое горе, Федя почувствовал себя необыкновенно усталым и сел, как был в полушубке, на край кровати. А она, рассказывая — то жалобно, то иронически, то со слезами, то с язвительным смехом,— не понимала выражения его лица и принимала его печаль за сочувствие ее горю и закончила неожиданно:

— Ты лучше всех, Федя... Ты ведь меня не осуждаешь, правда? Ты не ханжа ведь, верно? — Она нагнулась и поцеловала его — вернее, обслюнила сладкой слюной висок и бровь и затем, прислушавшись, зашептала: — Он уходит... Пойдем, Федя. Он тебя уважает. Считает тебя человеком, как он выражается, «дельным»... Особенно с тех пор, как он узнал, что ты можешь сложить печку, он в тебе души не чает.

Федя встал и вышел вслед за ней в прихожую.

Виктор Васильевич уже надевал шубу.

— Папа, Федя пришел,— смиренно сказала Кира.

— Пролетарское студенчество, как всегда, в авангарде,— пробасил Виктор Васильевич вовсе не сердито, а, наоборот, гостеприимно и ласково, как всегда. Он уже жалел о размолвке с Кирой в день ее рождения, воспоминания о детстве Киры, несмотря на раздражение, смягчили его сердце. Кира родилась в 1913 году в городе Париже, в XXIV арондисмане, на улице парка Монсури; в предместье Сен-Жак обычно селились русские эмигранты. Неподалеку, на улице Мари-Роз, жил Ленин, он уехал раньше рождения Киры, но когда она родилась, прислал из Кракова поздравления; Раиса Самойловна, беременная Кирой, полдня просиживала в парке Монсури возле пруда. Иногда Ленин, приходивший туда с книгами и тетрадками, а порой и без всякой работы, просто для отдыха, садился рядом с ней. Тут он никогда не разговаривал о политике и о делах, а больше о деревьях и цветах — Раиса Самойловна была естественницей по образованию. Эти воспоминания и вообще картины довоенного Парижа, любимого города Виктора Васильевича, связанные с рождением и ранним детством Киры, смягчили его, а приход Феди создал возможность для отступления и примирения — разумеется, оно должно было состояться на некоторых условиях, которые Виктор Васильевич чуть ли не весь день втайне вырабатывал, хотя в глубине души порой сознавал свое бессилие.

Не снимая шубы, он завел Федю в столовую, Кира с притворной робостью последовала за ними — в душе она ликовала.

— Пролетарское студенчество голодное,— продолжал Виктор Васильевич, смеясь и глядя на Федю поверх пенсне.— Накормите Федю Ошкуркина обязательно. А то гости начнут съезжаться поздно, а он будет тут пялить глаза на закуски... Я это помню по своей молодости. Когда учился в Юрьевском университете и меня приглашали в богатый дом, где я репетировал молодого кретина... я постарел от долгого и напрасного глазения на вкусную снедь.

Он повернулся к вошедшим из другой комнаты двум женщинам — Марии Христофоровне, или Маше, как ее все называли, жене Виктора Васильевича, и Раисе

Самойловне — его первой жене, с которой он разошелся несколько лет назад, она жила отдельно, но приходила часто к детям в Померанцев.

Федю с его остатками деревенских представлений о жизни удивляли и несколько шокировали взаимоотношения в семье Виктора Васильевича. Раиса Самойловна, старая большевичка, работник ЦКК-РКИ, сохраняла со своим прежним мужем дружеские отношения с оттенком снисходительности и насмешки. Кира жила вначале с матерью, но Раиса Самойловна, человек занятой, проводившая дни и ночи на работе, вскоре привела Киру к отцу; к тому времени мать Киры уже присмотрелась к Маше, та ей понравилась, и она решила, что Кире будет у отца лучше.

— Она халда,— говорила про Машу Раиса Самойловна,— но в ней что-то есть.

Маша — большая, красивая, неопрятная,— целые дни курила, и писала коричневые, словно загоревшие на солнце пейзажи и разные фрукты, в квартире все пропахло маслом и красками, на всех столах и часто на полу валялись гниющие груши, заплесневелый виноград и высохшие до размеров грецкого ореха лимоны. Маша все время куталась в огромный цветастый цыганский платок, казалось, что она дома в гостях.

— Вернусь я часа через два, продолжал В[иктор] В[асильевич]. На радиостанции имени Попова в восемнадцать тридцать моя лекция о новом быте и социалистических городах. От антирелигиозной лекции в Замоскворецком райкоме меня обещали освободить в связи с семейным торжеством.

Раиса Самойловна подошла к буфету, где стоял привезенный на днях Виктором Васильевичем из Франции сервиз с тончайшими <чашками,> раскрашенными пастушка́ми и пасту́шками, придворными дамами и кавалерами. Она взяла в руку одну из чашек и желчно усмехнулась:

— Лекции о новом быте ты читаешь, товарищ Петров-Полетаев. Но сам ты что-то слишком красиво живешь...

Виктор Васильевич ответил с легкой иронией:

— Не волнуйся, товарищ Петрова... Мировую революцию за фарфор не продадим.

— А не продали еще?

— Не продали.

— Что ж, хорошо,— сказала она кротко и поставила чашку обратно на блюдце. Ее суровые глаза за стеклами пенсне смягчились, стали совсем добрыми.

Федя пошел провожать Виктора Васильевича к автомобилю. По дороге, на лестнице, Виктор Васильевич как бы прорепетировал предстоящую лекцию, набросав перед Федей основные тезисы: надо строить большие блоки с общей кухней и столовой, с яслями и детским садом, это должна быть коммуна, но не на двадцать или сорок человек, для которых создавать детские учреждения и учреждения общественного питания невыгодно, а на четыре — шесть тысяч. Никаких кухонь в семьях. Личным имуществом должны быть только зубные щетки. Дети должны с грудного возраста воспитываться в яслях — «смешной термин, происходящий, как ни странно, от яслей, где родился наш спаситель Иисус Христос, теперь это стало вполне социалистическим термином» — без участия родителей, которые, если родительские чувства их не атрофированы, могут брать к себе ребенка на выходной день...

Автомобиль уже был совсем белый от снега. Когда Виктор Васильевич захлопнул за собой дверцу, со всех сторон посыпался снег. Машина завелась не сразу, ей как будто было тяжело или холодно завестись под снегом. Пока она заводилась и глохла, Виктор Васильевич смотрел из окошка на Федю, а Федя смотрел на него, на его доброе большое лицо с темной бородкой и усами и думал о том, что это стекло, разъединяющее их, только мельчайшая доля всего того, что их разделяет теперь и через что невозможно перешагнуть.

Автомобиль отъехал, а на том месте, где он стоял, на снегу осталась только легкая черта и желтизна. Но Федя все стоял и думал: идти ли обратно в дом или уйти. Он все-таки вернулся и даже помогал Кире и Маше приносить что-то из кухни в столовую, носить стулья, что-то отвечал им на вопросы, а потом, когда пришел Аркадий, они о чем-то разговаривали в кабинете Виктора Васильевича среди тысяч книг,— но что он говорил и на что отвечал, Федя мог бы вспомнить только с некоторым трудом уже через минуту после сказанных слов.

Между тем начали съезжаться гости. Столовая и кабинет, комната Маши, вся обвешанная холстами с этюдами, и комнатушка Киры понемногу заполнялись

людьми. Общество у Виктора Васильевича собиралось самое разнообразное. За тринадцать лет советской власти Петрова-Полетаева перебрасывали с работы на работу; при своей доброжелательности, обаянии и широкой образованности он всюду заводил себе друзей. Во время гражданской войны он работал в политических органах Красной Армии, затем в Наркомпросе, затем Наркоминделе, снова в Наркомпросе, в «Правде», преподавал в Институте красной профессуры. Соответственно в гости к нему пришли военные, дипломаты, композиторы, писатели и артисты, партийные работники, слушавшие его лекции в Свердловском университете и ИКП, и, наконец, художники — друзья Маши и несколько сотрудников ЦКК — товарищи по службе Раисы Самойловны. Были здесь и несколько студентов, друзей Аркадия, в том числе Готлиб и Федя, и подружки Киры по школе. Но те и другие держались скромно, в стороне, пялили глаза из темных уголков на московских светил, сидевших, ходивших по комнатам, оживленных и зевающих.

Отсутствие Виктора Васильевича не смутило гостей: с ним это бывало часто — созовет гостей, а сам опоздает на час — на два, но тем не менее, поскольку не было того центра, который объединил бы всех за столом, гости разбились на отдельные кучки, группирующиеся вокруг того или иного наиболее интересного или наиболее активного человека.

В кабинете, у письменного стола Виктора Васильевича, много народу окружило комкора Орешко, только что приехавшего с Дальнего Востока, где он участвовал в боевых действиях в связи с конфликтом на КВЖД. Этот конфликт — первая проба сил Красной Армии после гражданской войны — был теперь у всех на устах. Конфликт кончился быстрой и решительной победой Красной Армии, а быстрота и решительность победы, по-видимому, имели в настоящий момент особое значение: они послужили предупреждением не только китайцам.

Комкор Орешко рассказал о ходе операции под Санчагоу, которая кончилась окружением и пленением почти стотысячной армии генерала Ляна.

И вот на зеленом письменном столе Петрова-Полетаева командир корпуса изобразил ход операции перед склонившимися над столом сугубо штатскими в

своем большинстве людьми. И так как он обладал талантом живописания словом, а в помощь слову привлекал то спичечную коробку, то чернильницу, то карандаш, то жест большой руки — большой, коротко-палой, поросшей русыми волосками, красной на фоне яркого света настольной лампы и смуглой, когда она выносилась из-под света лампы, когда Иван Трофимович Орешко, сам восторгаясь и желая, чтобы восторгались другие, разводил руки вширь на уровень своих плеч, как дирижер, вытягивающий из своего оркестра «престо» и «фортиссимо».

Когда он для изображения станции клал на зеленое сукно спичечный коробок, а для изображения железной дороги или реки — карандаш или линейку, то казалось, что настоящие поезда, гудя, несутся мимо настоящих станций, и, когда он левой пятерней не спеша проводил по столу полукруг и останавливался у корешка книги, изображавшей город, то казалось, что видишь верховых красноармейцев конного полка, зашедших в тыл белокитайцам; пальцы, замерев возле книги, начинали постукивать нервно и быстро по сукну, как сдерживаемые кони копытами.

—Я все никак не мог понять,— сказал он внезапно, отстраняя от себя папиросные и спичечные коробки, книги, линейки и резинки и усаживаясь мальчишеским движением на угол стола,— почему китайские солдаты, попадающие к нам в плен, часто пытаются кончить самоубийством. Откуда страх у них. Тогда я велел принести агитационную литературу, которую распространяли среди китайцев. Что там только не писали! Китайские генералы раскопали историю о том, как в Амуре в девятисотые годы потопили две тысячи китайских рабочих... И еще каких только историй не раскопали или не придумали! Пришлось вместе с политуправлением принять меры, чтобы китайские рабочие и крестьяне отличали как-нибудь царскую власть от нашей рабоче-крестьянской... И надо сказать, что наши красноармейцы и краснофлотцы показали высший класс пролетарской солидарности. Китайским пленным первым отдавали обед, обувь, им раньше, чем нашим солдатам, перевязывали раны. Наши отдавали им последний свой табак. Даже табак! Сахар им давали. Они сахар особенно любили — редко его видят. На китайцев особенное впечатление, кроме сахара и табака, производили товарищеские взаимоотношения между нашим начальствующим и красноармейским составом. Они были удивлены и обрадованы. Говорили: «Шибко шанго красный капитан, наша капитана не шанго, наша капитана бьет, рубит голову, наша буржуя не шанго...»

Густой голос комкора, подражая китайцам, внезапно стал тонким и слегка медоточивым, большое, чуть рябое лицо с темными усами чуть сморщилось.

— Вы настоящий артист! — не удержался от похвалы народный артист Таланов, седой красавец с бархатным голосом, известным всей России.

<2-я половина июня 1961 г.>

В наше время молодые люди созревают поздно. Это многими замечено, но никем не объяснено. Полагаю, что причины таковы:

1. Мир сложнее во сто крат, и постигнуть его сложности во сто крат труднее.

Во времена Веневитинова и Пушкина из обихода молодых людей были исключены тома представлений технического и научного порядка. Воспитание ограничивалось гуманистическими навыками, религией, чувствами.

2. Молодого человека политика как таковая непосредственно не затрагивала. О классовой борьбе он ровно ничего не знал. Круг его знакомств ограничивался сословием, в котором он состоял.

13.8.61. Паланга.

Уже 8 дней, как я здесь. Ничего не пишу, не записываю даже. Много хожу и гляжу на море. Оно обладает дивным даром обрывать, рассеивать все мысли.

15.VIII.61.

Обязательно к собранию сочинений — если оно выйдет — дополнить «Дом на площади» продолжением рассказа о «шести солдатах» путем писем: во 2-й части — три письма, в третьей — три письма (вразброс); письма из России о жизни в городе (Атабеков), о

деревне (Петухов) и из Германии в ответ (Небаба, Веретенников), о Германии, Лубенцове, тоске по родине, сравнение уровня жизни и прочее; мысли о будущем, тревога за умонастроение немцев.

<1961 г.>

<К «МОСКОВСКОЙ ПОВЕСТИ»>

...Некоторые идеологи, сознательно или бессознательно, готовы провозгласить девальвацию, то есть обесценение человеческой жизни — каждой в отдельности. В этом особенно заинтересованы диктаторы, считающие возможным объявить каждого человека винтиком огромной машины, которой управляет и которую регулирует якобы только он один, сам диктатор. Обесценение жизни маленьких людей увеличивало цену жизни и судьбу людей «больших», то есть захвативших много места, много благ и много влияния на общие дела своих народов.

После падения диктаторских режимов важнее всего теперь восстановить цену любой человеческой жизни, любой судьбы.

Вот я выхожу на улицу и вижу перед собой огромные толпы снующих туда и обратно вкривь и вкось людей. Это ужасно, если я буду относиться к ним как к быдлу, как к безликой толпе. Напротив, я стараюсь найти в каждом человеке его характер, его отдельную судьбу. Вот этот старичок с авоськой в руке, из которой торчит хлеб и пучок редиски,— я узнал его вдруг — врач из той больницы, где я лежал. И в связи с тем, что я узнал его, я вспоминаю все, с ним связанное, вспоминаю, сколько людей он успокоил, утешил и просто спас, слышу его властный и в то же время ласковый голос, вижу его на обходе, вижу десятки устремленных на него глаз, полных надежды и преклонения. Поистине — это человек, царь природы, существо, полное значения и смысла. И вот я вижу старушку. Это няня из той больницы, где я лежал. Что она такое? Идет себе старушка по тротуару, песчинка в бесчисленной массе таких, как она, ничтожество на взгляд высокомерного седока автомобиля или тщеславного исторического лица. Между тем она способна делать и действительно делает столько добра, она является источником радости и надежды для многих людей. Ее руки, имеющие талант облегчить людям страдания, эти простые красные руки, умеющие взбивать подушку, помочь бессильному делать то, чего он не мог бы без нее, ее ворчливый голос, ее уменье скрывать свою маленькую корысть, вызванную нуждой, а не дурным характером, за словами, полными поддельной заботы и ласки,— все это нужно людям как воздух, которым они дышат. Да, думаю я, это человек, царь природы, существо, приручившее сокола и покорившее слона, добившееся, чтобы от земли оторвался и ушел в воздух аппарат, который тяжелее воздуха, сумевший на дощатых скорлупках переплыть океаны и измерить пространство между звездами.

Оттого, что я узнал в этих двух людях в течение получаса знакомых мне людей, я посмотрел другими глазами и на других людей, шедших рядом с ними, но знакомых другим людям, и понял, что нет среди них ни одного, который не был бы полезен окружающим или который не мог бы стать полезным, если бы не обстоятельства, злой рок или злые люди, каждый из которых тоже зол не от рождения, а от обстоятельств, простых и страшных в своей простоте.

Так что повесть моя не только о поэте, и не столько о поэте, его таланте, его удивительном даре, сколько о самом простом человеческом таланте, о таланте быть человеком. Вот этот талант надо ценить и беречь. Для этого теперь пришла пора, и если мы теперь этого добиться не сможем,— мы проиграли великую битву за будущее человечества, и будем отброшены на столетия назад, чтобы затем снова, ценой морей крови, океанов страданий, начать путь сначала. И хорошо, если наш опыт будет учтен — но ведь может получиться, что человечество опять будет ощупью в кромешной темноте искать путь в будущее.

<8—9 сентября 1961 г., Париж.>

8 сентября я вылетел в Париж. В 9 утра по парижскому времени.

8. IX за день я проделал пешком по Парижу около 30 км. С площади Лафайетт по б. бульварам, затем к Лувру, Тюильри, на пл. Согласия, к пл. Звезды, по ав[еню] Иена к Трокадеро (дворцу Шайо), к Эйфелевой

башне, по свят. Доминик, набережным и обратно домой. Нет почти такой улицы, площади, набережной, где не хотелось бы жить или хотя бы гулять.

В одном из бесчисленных кафе сидел человек с девушкой и зевал. И я подумал с безмерным удивлением: «Ты живешь в Париже и зеваешь?» Город — рабочий, служащий, трудовой, толпа не нарядная, только очень пестрая. Она — спокойная, нешумливая, ненавязливая, у нее внимательные, немного печальные глаза. Она столичная, т. е. не глазеет на тебя и ни на кого, а ведет себя естественно — так, словно она одна.

Память Парижа — большая, глубокая, не ограниченная своим брюхом или своим островом, как Лондон. Она — в названиях улиц и площадей, «беспартийных» названиях, впитывающих весь пестрый мир Европы, а иногда Америки, Африки и Азии. Франция может захиреть,— Париж будет жить, ибо он Европа. Герцен, Гейне, Хемингуэй. Впрочем — хвалить Париж — пошлость. Кто не хвалил Парижа?

Дом Инвалидов. Гробница Наполеона. Маленький итальянец. Маленький грузин.

<Сентябрь 1961 г., Франция.>

О, поля Нормандии, огороженные живыми изгородями, желтеющими в сентябре! О, это олицетворение частной собственности, поля (не сады!), огороженные как бы крепостными валами. После урожая здесь лежат пятнистые нормандские коровы со скучающими лицами членов президиума. Индейки, величиной со страуса, куры, ростом с гуся!

Деревни, где деревянные только деревья.

О, край Мопассана, пославший своего бедного сына заявить о себе миру, край, давший великих завоевателей и прижимистых торгашей! Север без морозов, край яблок и омаров — сады и море, блондинок-скандинавок и брюнеток-испанок! Одна из колыбелей Британии и <*неразборч. слово*> Сицилии!

Между тем, как мы ходим, смотрим, радуемся, удивляемся, веселимся и сравниваем, наш руководитель испытывает в одиночестве собственную гамму чувств. Он ходит со скучающим и брюзгливым лицом

человека, знающего все наперед: он демонстрирует свое равнодушие к изобилию товаров и к красотам природы. Его равнодушие к товарам до некоторой степени искренне: он часто ездил в заграничные командировки с деньгами, и его жена и сам он перенасыщены заграничными промтоварами. Поэтому он может себе позволить высокомерно посмеиваться над нашими бедными дамами, в первый раз попавшими в этот дамский рай. Его, помимо того, коробит наша независимость. На мне он не может сорвать свою самолюбивую злость, и он поэтому выбирает для этой цели более слабых. Он капризен, как баба, и не умеет разговаривать с человеком.

В Канне нас в гостинице встретили несколько человек из общества «Франция — СССР». Один — поэт, маленький, в очках, с ним жена. Он преподает историю и географию в технологическом колледже, она воспитательница детсада. Человек с усиками — торговец. С ним жена и девочка. Жена происходит из Одессы, еврейка, муж — француз. Они полны любви и уважения к СССР и радуются как дети, получая значки с Гагариным или Титовым. Поэт участвовал в юношеском Сопротивлении и сидел в немецком лагере до 45 года.

Гавр.

Я живу в отеле Марли. Мои окна выходят на улицу Эмиля Золя <...>

Угол улицы Шатильон и Орлеанской — Совет ред[акции] «Пролетария» (полукруглый вход). Июнь 1909.

Площадь Орлеан, 110 — типография («Социал-демократ» и «Пролетарий»).

Спальня. Камин из черного камня с белым зеркалом. Дверь — окно с решеткой и деревья (деревянные жалюзи).

Вид из окна — садик и стена из камня, за ней — буржуазные домики.

2-й этаж по-франц[узски] (наш 3-й этаж).

Коридорчик (4 двери), слева спальня, маленький ведет на кухню (стенной шкаф).

Рядом — спальня Н. К. Крупской (без окна, между спальней и кабинетом), *освещение газовое.*

Рабочий кабинет — на ул. Мари-Роз.

Камин каменный мраморный бело-коричневый и зеркало (над ним). Коричневая резьба.

Маленький балкон железный, слева фонарь, железные жалюзи (балкон — он же окно). За углом — рю Саррет.

Потолок с гипсовой лепкой (цветы, виноград, фрукты), темная *деревянная панель.*

Полы — деревянный паркет.

Дом занимает весь квартал от рю Пер Корантэн до рю Саррет.

Верхний этаж — длинные балконы, над ними — мансарды.

Гулял в парке Монсури, читал газеты. Озера парка.

Столярная мастерская в Лонжюмо, там происходили занятия школы — стеклянная стена (галерея рядом с каменным домом).

В. И. жил в деревянном домике.

«Closerie des lilas» (ресторан на бульваре Монпарнас). Ленин там иногда обедал (по свидетельству Поля Фора).

Кухня (окна в садик).

Дом четырехэт[ажный] (кроме нижнего), железные балкончики, железные жалюзи, высокие дымоходы.

<2-я половина сентября 1961 г., Москва.>

Необъятна историческая память Парижа. В названиях его улиц — вся Европа, Азия, Америка, Африка, история и география.

В доме Инвалидов, где лежит маленький итальянец, наложивший такой неповторимый и вечный отпечаток на эту страну <...> Наполеон был деспотом, но деспотом, чуждым коварству. Он прикарманивал чужие страны, но сам при этом рисковал жизнью. Он губил врагов, но ласкал друзей. Он был честолюбив, но не был жесток. Поэтому, несмотря на деспотизм и эгоцентризм необычайный, он был так обаятелен, что покорил Гейне и Пушкина, Лермонтова и Гете, Гюго и Бальзака, Стендаля и Байрона.

6.10.61.

Вышла отдельным (прелестным) изданием «Синяя тетрадь». Скольких трудов и нервов стоила мне эта маленькая синяя книжица. Но она вышла.

11.10.61.

Пьеса «Измена родине». Группа туристов. Напуганный и потому строгий руководитель, глупый и плоский, 25 лет. Изменник — ничтожество, мнящее себя «критически мыслящей личностью». Полный предрассудков, член партии, не понимающий ничего и не разделяющий ни одной из основ партии. Промтовары пленили его. Однако не он один виноват. Виноват многолетний самообман: «они — гибнут, мы — процветаем». Для мелкой души это — решающее. Разочарование. Когда все это случается, остальные мечутся. Что делать? Кому-то удается прорваться к нему, она объясняет ему: что-де мы жертвовали и т. д. «А почему ему это раньше не говорили?» (или, может быть, не пьеса, а повесть? Это было бы удивительно интересно! Основные, главные вопросы современности были бы поставлены во всю ширь.)

14.10.61.

О С—ВЕ И ДРУГИХ

Их объединяет не организация, и не общая идеология, и не общая любовь, и не зависть, а нечто более сильное и глубокое — бездарность. К чему удивляться их круговой поруке, их спаянности, их организованности, их настойчивости? Бездарность — великая цепь, великий тайный орден, франкмассонский знак, который они узнают друг на друге моментально и который их сближает, как старообрядческое двуперстие — раскольников. Бездарность — огромная сила, особенно в нашем мире, который провозгласил счастье и процветание обыкновенных простых людей своей целью. Простых, обыкновенных, не обязательно талантливых и умелых. Наши недостатки суть продолжение наших достоинств; провозгласить процветание всех

людей своей целью — достоинство; оно превращается в порок, когда дело касается таланта; ибо это достоинство нашего строя используется Бездарными со всей силой их цепкости и жажды низменных наслаждений, составляющих смысл жизни для Бездарных.

Они сильны, потому что едины, а едины из чувства самосохранения, ибо каждый из них в глубине души знает, что в одиночку он нуль.

24.12.61.

Я. Господи, разве можно так поступать? Дать человеку талант и не дать ему здоровья! Смотри, как мне плохо. А ведь я должен написать свой роман. Кто-кто, а ты ведь знаешь, как это нужно написать.

Бог. Ты напрасно жалуешься. Тебе 48 лет. За это время можно было успеть кое-что, согласись. Приходится еще раз тебе напомнить, что Пушкин, Рафаэль и Моцарт умерли в 37 лет, что многие другие умирали еще раньше, и успевали сделать так много, что откладывали отпечаток своей личности и своего искусства на целые поколения.

Я. Это... верно, но ты ведь знаешь причины, почему я не смог развернуть свои силы. Ты не можешь не учитывать время, в которое я жил; разруху, голод, многолетнюю жестокую диктатуру. Ты не можешь не знать, что в такие времена вообще, а в наше время в частности, люди рано созревают житейски и поздно — в моральном отношении, что в нашем демократическом обществе — ибо несмотря на диктатуру, общество было и старалось казаться демократическим — знания преподавались односторонне и опыт приобретался односторонний: то, что требуется знать художнику, было в загоне: латынь, Гомер в оригинале, свобода духа. Ты ведь все это знаешь; некоторые даже считают, что именно ты всему этому виновник. Я не стану на тебя взваливать всю ответственность, но знать-то ты должен.

Бог. Все это верно. Но великие тем и отличаются, что даже в труднейшие времена они способны остаться собой и оттиснуть очертания своего лица (или хотя бы ладони) на огромном изменчивом железном лице времени. Раз ты не смог, значит ты не велик. Примирись с этим и не жалуйся.

7.1.62.

Незаметно в русский язык вошло очень умное, емкое, выразительное слово, вначале техническое, затем ставшее психологическим — «обтекаемость», «обтекаемый». Какой язык! Какая выразительность!

15.2.62.

ДЕСЯТЬ СТРОК О ГРИНЕ

Он непохож на всех других. Разве этого мало? Непохож не потому, что старался быть непохожим, а потому, что иначе не мог. Вероятно, хотел, но не мог.

Почему он был таким, а не другим — это вопрос особый; разрешить загадку Грина — значит разрешить некоторые важные проблемы всей нашей литературы — литературы эпохи великого перелома. Понятие «перелом», кроме всех прочих, переносных, смыслов имеет еще один, совсем прямой, смысл: от глагола «ломать», «переломать». Грина время тоже ломало и переламывало, а он не давался. По мере сил.

Только в процессе деятельности познается человек. Мысль — тоже деятельность. Переживания, сомнения и преодоление их — тоже деятельность.

Обладая властью, весьма заманчиво преувеличивать достоинства своего руководства. Бойтесь этого.

<11—22.3.1962 г.>

1. Аэровокзал и вокзал в Риме.

2. Флоренция. Конгресс. Джанкарло Вигорелли. <...>

Твардовский устал и грустен. Выглядит неважно <...> Говорили с ним о сельском хозяйстве. Ведь он сам был на Пленуме, но впечатления его и заботы полностью совпадают с моими.

Моя гостиница «Риччиоли» — на самом берегу. Мутные воды Арно довольно быстро текут слева направо, и от этого кажется, что я плыву вместе с домом. Напротив — холм Сан-Миннато, кипарисы и оливки, до-

ма с зелеными жалюзи и бурыми черепичными крышами.

Равенна. Чудесная дорога через Аппенинские горы. Фоли. Равенна сама по себе нехороша. Но гробница Галлы Плачидии, чудная церковь с византийскими и римскими мозаиками и баптистерией (все 5—6 веков) поразительны. На обратном пути в горах нас застала снежная буря.

Гробница Данте нехороша, но там лежит все-таки не кто иной, как он. За гробницей висит колокол, отлитый на средства всех муниципалитетов Италии; каждый день в час заката он бьет 13 раз: 13 числа Данте умер (1321 г. какого месяца?).

Вчера в автобусе из гостиницы «Минерва» в кинотеатр Андронников сказал Хикмету, что я здесь. Хикмет вдруг встал (они сидели впереди) и прошел ко мне и сказал: «Я старый глупый турок. Простите меня. У меня склероз. Я слышал, что вы приедете, и все спрашивал о вас. А когда вы приехали, я не понял, что это вы,— человек, которого я люблю». Он расцеловался со мной. Он был очень растроган, я—смущен, и мне было неловко перед другими за то, что меня любят. После кино Хикмет зазвал нас выпить. Мы разговаривали до 1 ч. ночи. Он иногда смотрел на меня с любопытством.

<...> После этого мы ушли к себе в гостиницу через ночную Флоренцию.

Здесь я неожиданно услышал через стенку голос Твардовского. Я зашел к Винокурову и Вознесенскому. Там были три итальянца, Твардовский, оба поэта молодых, <...> Ирина Огородникова и русская жена итальянца Страды—Клара. <...> Мы много пели. Перед уходом (в 4 ч. утра) итальянцы сказали: «Мы тут говорили между собой: разве мыслимо, чтобы изв[естные] итальянские писатели: Моравиа, Пратолини или др., приехав в Ленинград, сидели с русскими и пели до утра!»

Клара—жена Витторио Страда, русская. Она здесь 1 г. 4 мес. Ее тоска по родине доходит до истерии. Она не отходила от нас. Она смотрела на нас—как Мария на младенца—любовно и тревожно. В конце концов она убежит.

20.3.62, Рим.

Я пишу это в ресторане гостиницы «Имперо» на Виа Виминале. Я ужинаю один. Я одинок после двух недель беспрерывного нахождения на людях. Все ушли на прием в посольство, а я не пошел, сослался на болезнь (живот!). И очень доволен. Хорошее тихое настроение. Ужасно надоела суета <...>

1.IV.62.

В «Знамени» напечатана статья Ф. Левина «При свете дня». Странный метод! Защищать Ольгу Петровну вздумал! Будто кто-то ее обвиняет. Да хотя бы и обвинял—как можно защищать беспамятность и душевную черствость. Будто у нас нет таких женщин? Такие есть. Единственный упрек, который критик имеет право и обязан предъявить автору, это: выдуманность, нежизненность героя или ситуации. Но раз не выдуман, он существует, и ситуация тоже жизненная, как может критик возражать? Это глупо.

1944

Рассказ об операции «В». В 1944 г. наши захватили в заволжской степи трех немецких шпионов с рацией, спущенных с самолета. У них узнали шифры и стали держать связь с Берлином. По указанию наших немцы прислали новый стратег[ический] бомбардировщик «Ю-124»(?) с большим к[оличест]вом взрывчатки. Из Москвы туда отправили три батальона войск НКВД и оперативную группу, на посадочной площадке прорыли длинную траншею, накрыли ее дерном, выложили огни и стали ждать.

Самолет сел, одно его колесо попало в траншею. Страшный гул моторов. Все бросились к самолету. Оттуда—стрельба из пулеметов. Убили человек 9. Взрыв на самолете: это была взорвана самолетная рация (новейшего типа). Затем полковник—командир самолета—застрелился. Остальные 4 кинулись вниз в траншею, и вскоре сдались. Летчик был убит. Захватили самолет новейшей конструкции. Если бы выдержали нервы—всё захватили бы целиком.

30.VI.1962 г.
<В Кунцевской больнице.>

В голове что-то явственно поворачивается, и я явственно слышу вопросы то басом, то детскими голосами — краткие, быстрые. «Цедалкитамо. Ой-ой-ой». И другие.

1.VII.1962 г.
<В Кунцевской больнице.>

Два заглавия. Первое для книги: «Человек и его страдания», если я смогу ее написать, и второе — для части о старшем Ловейко: «Левая губерния».

3.VII.1962 г.
<В больнице.>

Когда я что-то говорю и меня понимают,— меня это удивляет. Это к ощущениям больного человека.

<4.VII.1962 г.>

Выяснить, когда был отменен партмаксимум и каким образом: решением или как-нибудь иначе.

Во время бреда — стихи:

Шепот в Ваганьково и в Новодевичьем:
Ну, что же медлят там с Казакевичем?

<Август 1962 г.>

<...> Большинство человечества, подчиняясь укоренившимся инстинктам — самым элементарным, но самым сильным — заботе о собственном благополучии и продолжении рода — считают стремление к собственности естественным состоянием человека, а заботу о других — довеском, украшением, весьма приятным для самолюбия, но не обязательным в жизни <...> Бороться за лозунг коллективизма, социализма трудное дело.

18 сентября 1962 г.
Таганская больница.

Если я все это превозмогу, надо написать маленькую повесть о чувствах одного хирурга — со всеми подробностями, разумеется. Это дает такой материал — социальный, бытовой и лирический, что, пожалуй, не с чем сравнивать. При этом я смогу описать это с точек зрения самого хирурга, больных, их родственников, обслуживающего персонала — сестер и нянеей, других врачей, выше и ниже поставленных. Такая многозначительная вязь! Дает возможности необыкновенные. Я к ней совсем готов уже. Правда, нужна одна малость — чтобы болезнь отступила.

Тут может быть еще один роман мирового масштаба, вроде Фауста и Маргариты или Отелло и Дездемоны: молодой врач и молодая сестра, пожилой врач и молодая пациентка.

Ох, когда я уже смогу владеть своими конечностями, чтобы писать! И головой — диктовать хотя бы.

КОММЕНТАРИИ

В настоящий том вошли произведения последнего пятилетия жизни писателя — с 1957 по 1962 год. Они отличаются друг от друга и по материалу и по жанру. Наряду с современной темой, представленной рассказами, здесь отразился опыт его работы над материалом историческим, связанным с образом В. И. Ленина. Над Ленинской темой Эм. Казакевич собирался работать долгие годы, она значительно преобразила жанр повести, привычный для писателя, отразила его новые искания как художника. Одновременно происходит становление Казакевича-публициста, и читатели найдут в томе лучшие образцы его публицистики.

Значительная часть тома отдана извлечениям из дневников и записных книжек. Этот раздел является выборкой наиболее интересных, общественно значимых записей периода 1948—1962 годов. Четкой границы между дневниками как таковыми и записными книжками (рабочими тетрадями, заготовками к произведениям) у Казакевича не было. Хотя ■ его архиве имеются 2—3 тетради-дневника, но даже и ■ них много художественных набросков. И наоборот — в рабочих тетрадях куски прозы перемежаются с дневниковыми записями.

Исходя из этого при подготовке к публикации данного раздела составитель и редакторы не отделяли одно от другого, расположив материал строго по хронологии.

Раздел «Из дневников и записных книжек» представляет несомненный интерес не только для специалистов, но и для широкого круга читателей, знающих и любящих творчество Эм. Казакевича.

Ранняя смерть не позволила до конца раскрыться этому яркому художнику. Именно ■ последние годы жизни вынашивал он многие замыслы, среди которых роман-эпопея «Новая земля». Написание этого произведения Казакевич считал главным делом всей своей жизни. Помещенные среди дневниковых записей готовые главы романа «Новая земля», заготовки к нему, сжатые конспекты задуманных повестей и рассказов — великолепная проза, обогащающая современного читателя не только духовно, но и эстетически.

С и н я я т е т р а д ь. — Впервые: «Октябрь», 1961, № 4. Работа над повестью была начата в 1957 и закончена осенью 1958 года. Летом 1957 года Казакевич жил на Клязьме, в гостях у бакенщика Алексея Ефимовича Бударина на бакене № 108. Там, в условиях, приближенных к быту В. И. Ленина (стол и лежак для сна были сбиты из досок), несколько дней прожившего в сарайчике Н. Емельянова, Казакевич и начал писать повесть «Ленин в Разливе» (так она поначалу называлась). Писатель продолжал работать над ней и в Магнитогорске, куда уехал в начале 1958 года, а закончил в Подмосковье на станции Отдых.

Замысел повести находится в прямой связи с общественной атмосферой после XX съезда КПСС.

В 1956—1958 годах на страницах журналов «Коммунист», «Вопросы истории КПСС», «Исторический архив» и др. систематически публиковались (с перепечаткой ■ республиканских журналах) новые документы В. И. Ленина, его не обнародованные ранее автографы. В 1958 году по специальному постановлению ЦК КПСС начало выходить Полное собрание сочинений В. И. Ленина. В нем впервые включаемые в Собрание документы составили по объему около 20 томов. Выход этого издания в свет явился большим событием в жизни партии и народа.

Одновременно в газетах и журналах публиковались или перепечатывались воспоминания старых большевиков, соратников В. И. Ленина. «Воспоминания о В. И. Ленине» ■ 2-х томах (М., Госполитиздат, 1956—1957), сборник «Ленин — вождь Октября. Воспоминания петроградских рабочих» (Л., Лениздат, 1956), «Ленин в 1917 году» (М., Госполитиздат, 1957), «Ленин в Октябре» (М., Госполитиздат, 1957), «Памятные встречи» (М., Госполитиздат, 1958) и другие издания.

Работе над повестью предшествовал большой подготовительный период, в течение которого писатель заново тщательно изучал труды Ленина, знакомился с огромной литературой о нем, ■ том числе и с теми материалами, которые появились ■ печати по постановлению ЦК КПСС.

Не довольствуясь опубликованным, Казакевич поспешил войти ■ контакт с большевиками старого поколения, чья живая память сохранила образ вождя, события предоктябрьских лет и месяцев. Он много общался с Николаем Александровичем Емельяновым и его женой Надеждой Кондратьевной. Н. А. Емельянов (1871—1958), рабочий Сестрорецкого оружейного завода, был активным участником революцион-

ного движения, членом партии с 1904 года. После Февральской революции 1917 г. избирался депутатом Петроградского Совета. Когда Казакевич встретился с ним, за его плечами была трудная, но достойная жизнь, отмеченная высокой наградой — орденом Ленина. Писателю были хорошо известны его опубликованные воспоминания, весьма одобрительно оцененные Н. К. Крупской (см. рецензию: Исторический архив, 1957, № 2).

Но они не могли заменить личных бесед с человеком, который организовал и реально обеспечивал вместе с женой и сыновьями «шалашное» подполье В. И. Ленина.

Казакевич пользовался также устными свидетельствами Фофановой Маргариты Васильевны (1883—1976), старой большевички, участницы революционного движения с 1902 года. Ее петроградская квартира многократно использовалась товарищами, возвращавшимися из ссылок, тюрем, эмиграции. После июльских дней 1917 года у нее некоторое время скрывался В. И. Ленин. В 1964 году в связи с выходом фильма «Синяя тетрадь» Фофанова писала: «Я хорошо была знакома с писателем, который в течение полутора лет не раз консультировался со мной...» (Советский экран, 1964, № 8).

Общественная, острополитическая направленность повести осознавалась самим писателем очень четко, и именно это подсказало ему выбор фактов для сюжета и обязало быть предельно верным исторической правде.

Подполье с Лениным делил Г. Е. Зиновьев. Его разрыв с Владимиром Ильичем и предательство ленинской политики еще впереди. За хронологическими рамками повести остаются колебания Зиновьева, его несогласие с резолюцией ЦК партии о вооруженном восстании, выраженное в выступлении вместе с Каменевым в полуменьшевистской газете «Новая жизнь». За пределами произведения остаются и более поздние выступления Зиновьева против ленинской политики партии. Повесть отражает момент, который объясняет это будущее. Разрыв Ленина с Зиновьевым предрешен, но это разрыв с бывшим единомышленником, с человеком, который много лет был лично близко связан с Лениным. В этом драматическая сложность исторического момента. В большевистской партии Зиновьев (Радомысльский) состоял с 1901 года. С V съезда РСДРП он — член ЦК, входил в редакции газет «Пролетарий» и ЦО партии «Социал-демократ», издававшихся за границей. В эмиграции (1908 — апрель 1917) Ленин и Зиновьев жили поблизости друг от друга — и в Женеве, и в Париже (в известной школе в Лонжюмо Зиновьев читал лекции по истории партии), и в Кракове, и в Закопане (неподалеку от Поронино). Все это хорошо известно из «Воспоминаний о Ленине» Н. К. Крупской. Вместе с Лениным и другими большевиками-эмигрантами вернулся в Россию и после июльских событий также должен был скрываться от преследований Временного буржуазного правительства.

Казакевич использовал реальную ситуацию для того, «чтобы разоблачить сущность оппортунизма, развенчать любых предателей революции, даже если они находятся в близком окружении Ленина». Свой замысел писатель прямо связал с задачами, выдвинутыми Совещанием коммунистических и рабочих партий в 1957 году. Он был уверен, что, «утверждая ленинские взгляды на диктатуру пролетариата, «Синяя тетрадь» бьет и по ревизионизму, склонному обелять оппортунистов прошлого, частенько ссылаясь на их личную близость к Ленину, и по догматикам, боящимся правдивого изложения фактов истории, поскольку эти факты не влезают в их сухие, упрощенные, бесплодные схемы».

«Синяя тетрадь» строится на подлинных фактах и событиях. В ней действуют или упоминаются реальные исторические лица. Речь идет также о подлинных статьях, написанных Лениным в Разливе, о продолжении работы над книгой «Государство и революция». Заготовки для нее содержала та самая, вполне реальная синяя тетрадь, которую Ленин просил доставить ему в Разлив и которая подсказала писателю окончательное название повести.

Сделав ленинские статьи объектом изображения, Казакевич использовал их и как опору для исторически правдивой обрисовки политической обстановки в стране после 3—4 июля 1917 года, когда в Петрограде была расстреляна мирная демонстрация. При попустительстве эсеров и меньшевиков, имевших большинство в Советах рабочих и солдатских депутатов, ожесточилась травля В. И. Ленина и большевиков. В черносотенной газете «Живое слово» была опубликована заведомая ложь о связи Ленина с германским штабом. Буржуазная печать подхватила эту клевету, называя Ленина германским шпионом, агентом кайзера Вильгельма II. В добавление к этой лжи на Ленина и большевиков, вопреки фактам, возвели обвинение в подстрекательстве масс к вооруженному выступлению против Временного правительства, хотя, как известно, именно большевики, не имея возможности предотвратить выступление 3—4 июля, попытались придать ему мирный характер. По оценке Ленина (см. статью, написанную 10 июля и опубликованную в кронштадтской газете «Пролетарское дело»,— «Политическое положение»), наступил кризис, показавший, что контрреволюция организовалась, укрепилась и фактически взяла власть в свои руки. Рассеяны надежды на мирное развитие революции. Вожди Советов из партий эсеров и меньшевиков во главе с Церетели и Черновым отдали дело революции в руки контрреволюции. В этих условиях Ленин предлагает снять лозунг «Вся власть Советам». Обстановка вынуждала партию, соединяя легальную и

нелегальную работу, собирать силы, реорганизовывать их и готовить к вооруженному восстанию; его цель — переход власти в руки пролетариата, поддержанного беднейшим крестьянством.

Важную опору для себя нашел писатель и в статье «К лозунгам», где Ленин объяснял, почему прежде верный лозунг «Вся власть Советам» перестал им быть и объективно ведет к обману народа. «Нет ничего опаснее обмана» [1],— писал Ленин.— «Народ должен прежде всего и больше всего знать *правду* — знать, в чьих же руках на деле государственная власть. Надо говорить народу всю правду...» [2].

Справедливо увидел здесь Казакевич важную черту ленинской тактики общения с массами и на этом построил в повести дискуссию Ленина с Зиновьевым о правде.

Исторически правдиво освещен в «Синей тетради» и вопрос о неявке Ленина на суд. Вопрос был непростой. Ленин сам сначала склонялся к тому, чтобы явиться на суд и воспользоваться им для открытого публичного разоблачения Временного правительства, клевещущего на большевиков. Так же поначалу думали и некоторые большевики. Но на совещании членов ЦК и ряда партийных работников на квартире С. Я. Аллилуева в присутствии В. И. Ленина, В. П. Ногина, Г. К. Орджоникидзе, И. В Сталина, Е. Д. Стасовой было принято решение — не являться. Комиссия по расследованию клеветнических обвинений, образованная меньшевистско-эсеровским Центральным Исполнительным Комитетом Советов рабочих и солдатских депутатов по настоянию большевистской фракции, сложила свои полномочия, как только стало известно, что Временное правительство передало дело расследования прокурору Петроградской судебной палаты, а 13 (26) июля меньшевики и эсеры на объединенном заседании ЦИК Советов признали даже недопустимым уклонение от суда. В то же время — 13—14 (26—27) июля вопрос о явке на суд обсуждался на расширенном совещании ЦК РСДРП(б) с представителями Петербургского комитета, Военной организации при ЦК РСДРП(б), Московского областного бюро, Московского комитета и Московского окружного комитета. Было принято решение — не являться. Против явки высказывался и VI съезд партии, вернувшийся к этому вопросу. В ряде статей той поры («Где власть и где контрреволюция?», «Гнусные клеветы черносотенных газет и Алексинского», «Новое дело Дрейфуса», «К вопросу об явке на суд большевистских лидеров», «О конституционных иллюзиях») В. И. Ленин объяснил наивность расчетов на то, будто Временное правительство заинтересовано в расследовании

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 34, с. 17.
[2] Там же, с. 15.

истины и доведет дело до суда. Позднее стало известно, что юнкера, которые должны были арестовать Ленина, получили приказ убить его по дороге.

Повесть передает реальный драматизм момента, реальные опасности. На поиски Ленина были брошены большие силы полиции вместе со знаменитой ищейкой по кличке «Треф», появились и добровольные помощники. Необходимость скрываться в подполье осложняла связи Ленина с товарищами по партии в трудные месяцы 1917 года, делала невозможным его присутствие на VI съезде, вынуждала руководить съездом заочно.

Вместе с тем в полном согласии с правдой Казакевич сумел передать ленинский оптимизм, его уверенность в том, что скоро будет новая революция, которую большевики доведут до победы. Об этом свидетельствуют статьи Ленина и его настроение, зафиксированное общавшимися с ним товарищами.

Весьма примечательно, что Казакевич включил в повесть подлинный факт, рассказанный старым большевиком А. В. Шотманом. Перед тем, как ехать к Ленину в Разлив, он зашел в Петербургский комитет партии большевиков. Там шла беседа о дальнейшем развитии революции. В противовес опасениям некоторых товарищей, думавших, что Керенскому удалось загнать партию в подполье на продолжительный срок, М. М. Лашевич, председатель большевистской фракции Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, сказал: «Вот увидите, тов. Ленин в сентябре будет премьер-министром».

«...Сообщая т. Ленину петербургские новости,— вспоминает А. Шотман,— я передал ему и слова т. Лашевича, на что т. Ленин очень спокойно ответил: «В этом ничего нет удивительного» [1]. Тот же факт зарегистрирован и в воспоминаниях С. Орджоникидзе «Ильич в июльские дни».

Строгое подчинение исторической правде ставило Казакевича перед немалыми трудностями. Ведь в передаче подробностей разговоров, которые ведут между собой реальные персонажи, известные деятели партии, писатель в подавляющем большинстве случаев не располагал фактами. Тем более это относится к невысказанным мыслям героев. И все же художник с основанием утверждал: «Все это правда, чистая правда и только правда, но правда художественная, дающаяся в руки не всегда и не всем». Здесь и не факт, и не вымысел, а воображение и догадка художника, ориентирующаяся на знание событий тех дней, биографического материала, писем, воспоминаний современников, теоретических

[1] См. сб.: Последнее подполье Ильича. М., изд-во «Старый большевик», 1934, с. 59.

работ, статей и огромного количества других материалов, изученных писателем перед началом работы над повестью о Ленине.

В одном частном письме по этому поводу Казакевич писал: «Я при разговоре Ленина с Зиновьевым не присутствовал. И тем не менее этот разговор мог быть и мог быть именно таким, потому что такими были эти люди, таковы были их позиции в событиях, которые тогда разворачивались...» Для писателя художественное воображение «подчас оказывается достовернее всяких фактов». Вот один пример, дающий сразу психологическую характеристику приехавшего в Разлив Свердлова. Он хотел показать Ленину рукопись своей работы, но так и не показал. Известно, что Свердлов действительно написал эту работу еще в ссылке, но не закончил (в печати она появилась после смерти Свердлова и Ленина). Казакевич проанализировал черты характера и биографию Свердлова, в частности, то, что он был самоучкой и поэтому стеснялся своих литературных опытов (подтверждением тому служат его письма). В связи с этим писатель счел возможным предположить, что Свердлов мог поступить именно так, как он сделал это в повести.

Конечно, без художнической свободы нельзя было обойтись и при изображении живого Ленина. «То, что рассказывается, могло и не быть в действительности; но оно могло и быть; более того, оно должно было быть» [1]. Вся проделанная подготовительная работа давала Казакевичу уверенность, и он смело взял на себя ответственность за точность и достоверность изображения.

Меру своей ответственности перед великой темой писатель понимал очень хорошо. Об этом свидетельствует задуманный им конспект статьи-доклада для Союза писателей под названием «Как я писал «Синюю тетрадь» (см. наст. том, с. 99).

Усилия автора «Синей тетради» были поняты и одобрены как читателями, так и критиками. Казакевич гордился тем, что повесть приняли старые партийцы, что диапазон признания был сверх ожиданий велик. Критики оценили и умелое использование художником избранной страницы биографии для воссоздания образа Ленина (Панков В. На тихом озере.— Знамя, 1961, № 9), и новаторский подход к ленинской теме (Златова Ел. Похож! — Литературная газета, 1961, 22 апреля), стремление писателя изобразить неустанную работу ленинской мысли, приоткрыть внутренний мир гениальной личности (Кузнецов М. Новое в жизни и литературе.— Новый мир, 1961, № 10; Светов Ф. Нравственный кодекс героя.— Вопросы литературы, 1962, № 3). Особенно порадовала статья Н. Погодина «Ново, талантливо, интересно» (Известия, 1961, 1 июня). Писателю было дорого, что сторонником его повести является автор известных пьес о Ленине, один из зачинателей великой темы.

[1] Вопросы литературы, 1963, № 6, с. 174.

Еще при жизни Казакевича началась работа над сценарием для фильма. Автор сценария Лев Кулиджанов. Он же режиссер фильма, поставленного на киностудии им. Горького в 1964 году.

Стр. 8. *...питерский рабочий Чугурин...*—Чугурин Иван Дмитриевич, партийный государственный деятель (1883—1947), в 1917 г. член Выборгского райкома партии. На Финляндском вокзале вручил Ленину билет № 600 большевистской организации Выборгской стороны.

Стр. 10. *Зиновьев* (Радомысльский Григорий Евсеевич, 1883—1936)—политический деятель, участник революций 1905—1907 годов, член ЦК в 1907—1927, член ЦИК и ВЦИК СССР.

Стр. 12. *...от всех врагов—Керенского и Половцева, Рибо и Ллойд-Джорджа...*—Керенский А. Ф. (1881—1970) после Февральской буржуазно-демократической революции 1917 г. был министром юстиции, военным и морским министром, а затем министром-председателем буржуазного Временного правительства и верховным главнокомандующим. После Октября вел борьбу против Советской власти и в 1918 г. бежал за границу, где вел антисоветскую пропаганду. Рибо Александр Феликс Жозеф—в это время премьер-министр Франции. Ллойд-Джордж Дэвид—с конца 1916 г. премьер-министр коалиционного правительства Англии, вдохновитель вооруженной интервенции против Советского государства.

...с плеча Сергея Аллилуева...—Аллилуев Сергей Яковлевич (1866—1945)—один из первых российских рабочих социал-демократов, с революционным движением связан с 1896 г., участник трех российских революций и гражданской войны. В июне 1917 г. в его квартире в Петрограде несколько дней скрывался Ленин, откуда и отправился в Разлив.

Стр. 15. *Арестованы Каменев, Коллонтай, Раскольников, Рошаль, Сиверс...*—Каменев (Розенфельд) Лев Борисович, член партии с 1901 г. На VII Всероссийской конференции избран членом ЦК. В 20—30-х гг. за антипартийную деятельность неоднократно исключался из партии. Коллонтай Александра Михайловна (1872—1952)—партийный деятель, дипломат, в социал-демократическом движении с 1890-х гг. После Февраля 1917 г. вела работу среди матросов Балтийского флота и солдат Петроградского гарнизона. Раскольников Федор Федорович (1892—1939)—в большевистской партии с 1910 г. После Февраля 1917 г. член кронштадтского комитета РСДРП(б), редактор газеты «Голос правды». Рошаль Семен Григорьевич (1896—1917)—в революционном движении с

1910 г., член большевистской партии с 1914 г. В марте 1917 г. избран председателем горкома РСДРП(б) в Кронштадте, убит контрреволюционерами. Сиверс Рудольф Фердинандович (1892—1918) — член партии с 1917 г., командир Красной Армии, один из создателей и редакторов большевистской газеты 12-й армии «Окопная правда».

Стр. 16. *...и Авксентъевым...*— Авксентьев Николай Дмитриевич (1878—1943), один из лидеров партии эсеров. После Февральской революции председатель исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов, министр внутренних дел во втором коалиционном Временном правительстве, позднее председатель контрреволюционного Временного совета Российской республики, белоэмигрант.

...старика Плутарха...—древнегреческий философ и писатель (ок. 45 — ок. 127), автор знаменитых «Сравнительных жизнеописаний» и «Этических сочинений», представляющих собой богатейший источник сведений о древнем мире.

Стр. 17. *...современных пилатов — Плехановых, Потресовых и Черновых...*—Пилаты — от ставшего нарицательным имени Понтия Пилата, римского наместника Иудеи в 26—36 гг. н. э., отличавшегося жестокостью, массовыми насилиями и казнями без суда. В Евангелии говорится, что он утвердил смертный приговор Христу. Плеханов Георгий Валентинович (1856—1918), деятель русского и международного революционного движения, философ, создатель первой русской марксистской группы «Освобождение труда» (Женева), один из основателей РСДРП и газеты «Искра», после Второго съезда РСДРП — один из лидеров меньшевизма. Вернувшись после Февральской революции в Россию, возглавил крайне правую группу меньшевиков-оборонцев, выступал против большевиков и социалистической революции, считая, что Россия для нее не созрела. Потресов Александр Николаевич (1869—1934) — с 1896 г.— член РСДРП, с 1900 г.— член редакции «Искры», с 1903 г.— один из лидеров меньшевизма. В 1917 г. редактировал газету «День», ведущую злобную кампанию против большевиков. После Октября — белоэмигрант. Чернов Виктор Михайлович (1873—1952) — один из основателей и теоретиков партии эсеров, в мае — августе 1917 г.— министр земледелия в буржуазном Временном правительстве, сторонник репрессий по отношению к крестьянам, захватывающим помещичьи земли, белоэмигрант.

Стр. 18. *Рябушинский и Бубликов...*—Рябушинский Павел Павлович (1871—1924), банкир и промышленник, лидер русской контрреволюционной буржуазии, руководитель корниловщины и калединщины, белоэмигрант. Бубликов — политический деятель, связанный ■ торгово-промышленной буржуазией.

Стр. 22. *Милюков и тот...*— Милюков Павел Николаевич (1859—1943), лидер партии кадетов, в первом составе буржуазного Временного правительства министр иностранных дел, в августе 1917 г. один из вдохновителей корниловского мятежа и иностранной интервенции, белоэмигрант.

Бульварное «Живое слово»...—ежедневная газета черносотенного направления, издавалась с 1916 г. в Петрограде под редакцией А. М. Уманского. Вела клеветническую кампанию против большевиков. В октябре 1917 г. была закрыта Военно-революционным комитетом.

...они как пошехонцы...—Имеются ■ виду герои «Пошехонской старины» М. Е. Салтыкова-Щедрина (1826—1889).

Стр. 23. *...законном раздражении против Дана и Церетели...*—Дан (Гурвич) Федор Ильич (1871—1947), один из лидеров меньшевизма, после Февраля 1917 г. член Исполкома Петроградского Совета и Президиума ЦИК первого созыва, поддерживал Временное правительство. В 1922 г. выслан за границу за антисоветскую деятельность. Церетели Ираклий Георгиевич (1881—1959), один из лидеров меньшевизма, в мае 1917 г. вошел в буржуазное Временное правительство ■ качестве министра почт и телеграфов, после июльских событий — министр внутренних дел, один из вдохновителей травли большевиков, с 1921 г. белоэмигрант.

Кадетская «Речь»...—центральный орган партии кадетов, издавался в Петербурге в 1906—1918 гг.

...а Дантон...—Дантон Жорж Жак (1759—1794), деятель Великой французской революции, один из вождей якобинцев. В октябре 1917 г. Ленин дважды цитирует приведенные ■ повести слова Дантона и отзыв Маркса о Дантоне как о величайшем в истории мастере революционной тактики (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., изд. 2-е, т. 8, с. 100—101).

Стр. 25. *Сам знаешь — Азеф...*— Азеф Е. Ф., член партии эсеров, тайный агент департамента полиции. Разоблачен ■ 1908 г.

Стр. 27. *...пишет Владимир Бурцев.*— Бурцев В. Л., участник революционного движения, близкий народовольцам, перед 1905 г.— эсерам, после него — кадетам.

Стр. 29. *...«русский Бебель».*— Бебель Август (1840—1913), один из основателей и руководитель германской социал-демократии и II Интернационала. Ленин считал его речи против реформизма и ревизионизма «образцом отстаивания марксистских взглядов и борьбы за истинно социалистический характер рабочей партии» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 23, с. 369).

Стр. 30. *...Переверзев решил при помощи ренегата Алексинского...*— Переверзев П. Н., министр юстиции в первом коалиционном буржуазном Временном правительстве. Алексинский Г. А., поначалу социал-демократ, примыкал к боль-

шевикам в период революции 1905 г. В 1917 г. занимал контрреволюционные позиции. В июле совместно с военной разведкой сфабриковал фальшивку, клевещущую на Ленина и большевиков. 5 июля в газете «Живое слово» за его подписью и подписью В. Панкратова появилась статья с ложным обвинением Ленина в его связи с германским генштабом. В апреле 1918 г. бежал за границу.

...анархиствующего денди Бориса Савинкова...— Савинков Борис Викторович (1879—1925), деятель контрреволюции, один из лидеров партии эсеров, после Февраля 1917 г. товарищ военного министра, затем военный генерал-губернатор Петрограда, после Октября организатор шпионско-диверсионной деятельности и ряда контрреволюционных мятежей против Советской России, белоэмигрант, арестован после нелегального перехода советской границы и осужден.

Стр. 30—31. *...бывшего большевика Мешковского.*— Мешковский И. П. (Гольдберг), в период первой русской революции входил в редакции большевистских изданий, на V съезде РСДРП от большевиков был избран в ЦК, в 1917—1919 гг. примыкал к полуменьшевистской группе «Новая жизнь».

...Мартов — мальчишкой...— Мартов (Цедербаум) Юлий Осипович (1873—1923), участник российского революционного движения. С 1895 г. член «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». С 1900 г. член редакции «Искры», с 1903 г. один из меньшевистских лидеров. После Февраля возглавлял группу меньшевиков-интернационалистов, входил в Исполком Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, с 1920 г. эмигрант.

Стр. 32. *...откровенной и полуоткровенной контрреволюции — Милюкову и Маклакову, Рябушинскому и Терещенко.*— Маклаков Василий Алексеевич (1869—1957), один из лидеров кадетов, адвокат, с июля 1917 г. посол буржуазного Временного правительства в Париже, затем эмигрант. Терещенко Михаил Иванович (1886—1956), русский капиталист сахарозаводчик, министр финансов, затем министр иностранных дел во Временном правительстве, белоэмигрант.

...телеграмма Корнилова...— Корнилов Лавр Георгиевич (1870—1918), генерал царской армии, один из руководителей российской контрреволюции. В июле — августе 1917 г. верховный главнокомандующий русской армии. Глава контрреволюционного мятежа в 1917 г. Впоследствии один из организаторов белогвардейской Добровольческой армии.

Стр. 33. *...отвечает сам Николай Семенович Чхеидзе* (1864—1926) — один из лидеров меньшевизма. Во время Февральской революции — глава Временного комитета Государственной думы, затем председатель Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, председатель ЦИК первого

созыва, активно поддерживал буржуазное Временное правительство. С 1921 г. белоэмигрант.

Стр. 39. *...Вячеслав Иванович Зоф* (1889—1937) — советский военный деятель, член партии с 1913 г., один из связных В. И. Ленина с ЦК.

Стр. 40. *...товарищ Лилина...*— жена Г. Е. Зиновьева.

...с *Токаревой...*— Токарева А. Н.— петроградская работница, возившая белье и провизию из города в Разлив в период подполья В. И. Ленина.

Стр. 43. *...арестованы Крыленко, Мехоношин, Арутюнянц...*— Крыленко Николай Васильевич (1885—1938), советский партийный и государственный деятель, член РСДРП с 1904 г. После Февраля 1917 г., сотрудник редакции газеты «Солдатская правда», участник конференции фронтовых и тыловых военных организаций РСДРП(б). Мехоношин Константин Александрович (1889—1938), советский партийный и государственный деятель, член партии с 1913 г., в 1917 г. член Петроградского Военного Революционного Комитета.

«Мировой дух», как выражался Гегель.— Представление о «Мировом духе» изложено в работе немецкого философа, идеалиста и диалектика Гегеля Г.-В.-Ф. (1770—1831) «Феноменология духа», которую Маркс назвал «истинным истоком и тайной гегелевской философии» (Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956, с. 624). По Гегелю, духовная культура человечества в ее закономерном развитии есть творческая сила Мирового духа и одновременно познание им самого себя, причем сокращенно стадии этого самопознания воспроизводятся духовным развитием индивидуума. В последнем «дух» просыпается к самосознанию сначала в виде слова, речи, языка. Орудия труда, материальная культура — позднейшие, производные формы воплощения творческой силы «духа».

...известный афоризм Гегеля...— Возможно, имеется в виду формула, которую Гегель отнес к Наполеону, французскому императору,— «Мировой дух на коне».

Стр. 54. *...«Берг» — он же Александр Васильевич Шотман* (1880—1937) — советский государственный и партийный деятель, профессиональный революционер с 1899 г., большевик, активный участник первой русской революции в Петербурге и Одессе. С июня 1917 г. член Петроградского окружного комитета партии; в августе того же года по заданию ЦК организовал переезд Ленина из Разлива в Финляндию. Участник Октября. Оставил воспоминания «В. И. Ленин в подполье», впервые изданные в 1924 г.

Стр. 54—55. *Андрей, Юзеф...*— партийные имена Свердлова Якова Михайловича (1885—1919) и Дзержинского Феликса Эдмундовича (1877—1926).

Стр. 59. *Наша «военка» — Миша Кедров с Подвойским...*—

Кедров Михаил Сергеевич (1878—1941), советский государственный и партийный деятель, участник революционного движения с 1899 г., член РСДРП с 1901 г. С мая 1917 г.— член Военной организации при ЦК РСДРП(б) и Всероссийского бюро большевистских организаций. Подвойский Николай Ильич (1880—1948) — советский партийный и военный деятель. В период от Февраля до Октября 1917 г.— член Петербургского комитета РСДРП(б) и Петроградского Совета, один из руководителей Военной организации при Петербургском комитете и ЦК партии. В октябрьские дни — председатель Петроградского Военно-Революционного комитета.

Стр. 65. *«Бежит он, тихий и суровый»...*— не точно процитированная заключительная строфа стихотворения А. С. Пушкина «Поэт» (1827). У Пушкина: «Бежит он, дикий и суровый...»

Стр. 66. *Очевидно, Бакунин так же относился к Марксу.*— Бакунин Михаил Александрович (1814—1876), русский революционер, один из основателей и теоретиков анархизма и народничества.

Стр. 67. *«Белые, бледные, нежно-душистые...»*— цыганский романс «Ночные цветы», слова Е. Варженевской, музыка А. Шиловского.

Стр. 74. *...не забыла господина Тьера...*—Тьер Адольф (1797—1877), французский государственный деятель, стяжал позорную славу кровавого палача деятелей Парижской коммуны, опирался на поддержку немецких оккупационных войск.

Стр. 83. *...замечание старика Тацита об одном римском заговорщике, кажется, о Пизоне...*— Тацит Публий Корнелий (ок. 58 — ок. 117), римский писатель, историк, автор «Анналов» и «Истории». Кальпурний Пизон Гай, один из организаторов неудачного заговора против императора Нерона. О нем — «Анналы», кн. XIV—XV и «История», кн. IV.

Стр. 84. *Еще Платон говорил...*— Платон (428 или 427 до н. э.— 348 или 347 до н. э.), древнегреческий философ. Далее воспроизводится мысль, высказанная Платоном в диалоге «Государство», кн. 5, 473. (См. его «Сочинения в трех томах», т. 3, ч. I. М., Мысль, 1971, с. 275.)

Стр. 85. *...если и тогда не предадим проклятию «терпение», как некогда Фауст...*—В переводе Б. Пастернака это место из 1-й части «Фауста» И.-В. Гете (1749—1832) звучит так: «Но более всего и прежде // Кляну терпение глупца».

Стр. 86. *...и Прудона...*— Прудон Пьер Жозеф (1809—1865), французский социалист, теоретик анархизма, сторонник взглядов утопического мелкобуржуазного реформаторства.

Стр. 88. *«Не успеет трижды пропеть петух...»*— по евангельской легенде, Иисус Христос произнес эти слова в

ответ на клятвы верности своего ученика Петра, предвидя, что он отречется от своего учителя.

Стр. 96. *...Рахъя,— ответил финн...*—Рахья Эйно Абрамович (1885—1936), деятель российского и финского революционного движения, член партии с 1903 г. В августе 1917 г. участвовал в конспиративной переправке В. И. Ленина в Финляндию и в октябре — обратно в Россию. В 1919 г. командовал воинскими соединениями, боровшимися против Юденича. Оставил воспоминания: «Мои воспоминания о Владимире Ильиче»; опубликованы в сб. «Ленин в первые месяцы Советской власти» (М., Политиздат, 1933).

Текст печатается по изданию: Казакевич Эм. Сочинения в 2-х томах. М., Гослитиздат, 1963.

При свете дня.—Впервые: Новый мир, 1961, № 7. Упоминания о работе над рассказом встречаются в письмах и дневниках 1951—1960 гг., название варьируется («Четыре сердца», «Человек издалека», «Человек с пустым рукавом»). Замысел рассказа относится к 1948 году. 27 августа 1960 года Казакевич записывает в дневнике: «Сегодня закончил «При свете дня». При переписке исправлю погрешности, добавлю важное, выкину несущественное». Писатель считал работу над ним «интересным экспериментом»: «Во-первых, это — впервые за мою прозаическую деятельность — интерьер. Действие происходит не на больших просторах, как в «Звезде», «Весне» и «Двое в степи», а в обычной московской квартире. Во-вторых, автор не вмешивается. Должно создаться впечатление предельной объективности. Тут мастерство играет величайшую, решающую роль. Действие развертывается как бы без всякого вмешательства творца. Это — почти протокол свершившихся в течение одного дня событий» (см. с. 234 наст. тома).

Одним из первых на появление «При свете дня» откликнулся Константин Симонов («Рассказ, о котором думаешь».— Известия, 1961, 16 августа). Говоря о своем впечатлении, Симонов отмечал глубину, таящуюся в рассказе, говорил о том, как много размышлений он вызывает. Гуманистический пафос произведения уловил В. Тихонов, который писал: «Осторожно! Рядом самый сложный, самый драгоценный механизм — человек. Будьте внимательны. Умейте разглядеть то прекрасное, что скрыто в нем и что не всегда доступно невнимательному взгляду» (Московский комсомолец, 1961, [illegible] сентября). Василь Быков отметил умение Казакевича «почеховски» тонко предостеречь от пагубного невнимания к человеку, автор рассказа подтверждает, что война проявляет человеческую сущность («Живые — памяти павших».— Дружба народов, 1962, № 12).

Высокая оценка критики была преобладающей. Но это не помешало возникновению споров вокруг образа Ольги Петровны. Спор этот был вызван статьей Л. Жак, которая увидела в героине вариант чеховской «Попрыгуньи» («Попрыгуньи, их враги и друзья».— Октябрь, 1961, № 9). Отвечая ей, Ф. Левин написал от имени Ольги Петровны оправдательный монолог, отвергая все обвинения, выдвинутые против нее. Спор с критиком вылился под пером Ф. Левина в спор с писателем («Выслушать и другую сторону».— Знамя, 1962, № 3). Ф. Левину отвечала Дора Дычко. В позиции критика она справедливо усмотрела перестановку акцентов, возникшую из пренебрежения к реальному тексту рассказа («Молодые герои и их критики».— Молодая гвардия, 1964, № 9). «Странный метод! — записывает по этому поводу в дневнике Казакевич 1 апреля 1962 года.— Защищать Ольгу Петровну вздумал! Будто кто-то ее обвиняет. Да хоть бы и обвинял — как можно защищать беспамятность и душевную черствость. Будто у нас нет таких женщин? Такие есть. Единственный упрек, который критик имеет право и обязан предъявить автору, это: выдуманность, нежизненность героя или ситуации. Но раз не выдуман, он существует, и ситуация тоже жизненная, как может критик возражать? Это глупо» (см. с. 447 наст. тома).

Острота постановки важных нравственных вопросов в рассказе обусловила интерес театра к нему. В 1963 году Театр им. Ермоловой осуществил по этому рассказу постановку. Авторы инсценировки Г. Казакевич, А. Шатрин, режиссер-постановщик Г. Лехциев. Театр столкнулся с большими трудностями и не во всем справился с ними. Рассказ Андрея Слепцова о своем командире был превращен в показ героических подвигов Нечаева, и Ольга Петровна видела их «словно в кино». (Об этом справедливо написала И. Вишневская в рецензии на спектакль — «А намерения были добрыми».— Комсомольская правда, 1963, 31 августа.)

Текст печатается по изданию: К а з а к е в и ч Эм. Сочинения в 2-х томах. М., Гослитиздат, 1963.

П р и е з д о т ц а в г о с т и к с ы н у.— Впервые: Знамя, 1962, № 5. По материалу рассказ находится в сфере притяжения эпопеи «Новая земля» (см. с. 287, 298 наст. тома). «Скелет» будущего произведения под названием «Отец» с пометой, что факт рассказан А. К. Соловковым, находится среди записей, сделанных в Магнитогорске. Варианты заглавий: «Золотистое и серое», «Иванушка-дурачок».

К началу февраля 1960 года рассказ был уже написан и нуждался лишь в переписывании — это следует из письма к дочери от 3 февраля 1960 г.: «Пейзаж и люди — почти совершенно новые в нашей литературе... Незамысловатый сюжет — неожиданно для меня самого — дал возможность показать картинки советского быта в индустриальном центре, «советский образ жизни» в его лучших проявлениях и неравномерность развития нашего общества в разных его частях» *(Архив писателя)*.

Критики высоко оценили рассказ, хотя его прочтение не было однозначным. Особое место заняла позиция И. Мотяшова, считавшего, что он написан не ради банальной мысли разоблачить и осудить собственническую мораль. «В том отношении к Ивану Ермолаеву, которое заронил в нас Э. Казакевич, смешиваются и восторг, и гордость, и восхищение, и радость, и боль, и ирония». Иронии подлежит представление о хорошей жизни, свойственное Ивану и его друзьям. Критик связывает его с иронией прошлого, с пренебрежительно-легкомысленным отношением героя ко всяким проявлениям интеллектуальной жизни. Однако «инерция непременно приходит в противоречие с неостановимым потоком жизни,— продолжает критик.— После истории с отцом Иван Ермолаев не может не понять, что жить по-прежнему больше нельзя. Горе Ивана Ермолаева — разрушение его иллюзий о хорошей жизни. Но в этом и его счастье, его спасение» («Охота на зайцев и новый человек».— Подъем, 1964, № 4).

У Казакевича были свои причины считать, что рассказ оказался шире авторского замысла. И. Мотяшов, дав такое очень своеобразное прочтение, подтвердил это с неожиданной стороны.

Печатается по изданию: К а з а к е в и ч Эм. Сочинения в 2-х томах. М., Гослитиздат, 1963.

С т а р ы е з н а к о м ы е.— Впервые: Красная звезда, 1950, 29—31 декабря. Казакевич писал очерк в октябре — ноябре 1950 года, находясь в это время в деревне Глубоково Вязниковского района Владимирской области; здесь он прожил полтора года и впечатления от природы, людей этого края отразились в очерке. Иван Симонов, вязниковский литератор, в ту пору часто встречавшийся с Казакевичем, свидетельствует, что «в описании сельских картин узнается сразу деревня Глубоково и приклязьминские вязниковские места, и прототипом главного героя очерка — сержанта Аленушкина — послужил рядовой колхозник из той же деревни, участник Великой Отечественной войны Аркадий Дорогов» («Воспоминания о Э. Казакевиче». М., Советский писатель, 1984, с. 230). Сам писатель называл это произведение «полустатьей-полурассказом» (письмо М. Минцу от 31 октября 1950 г.— *Архив писателя*).

Текст печатается по изданию: К а з а к е в и ч Эм. Сочинения в 2-х томах. М., Гослитиздат, 1963.

Ленин в Париже.— Впервые: Иностранная литература, 1962, № 1. Написан по следам поездки в Париж в сентябре 1961 г. (см. дневниковые записи этого времени, с. 441—442).

Текст печатается по изданию: Казакевич Эм. Сочинения в 2-х томах. М., Гослитиздат, 1963.

Из дневников и записных книжек.— Впервые посмертно (фрагменты): Вопросы литературы, 1963, № [illegible] («Из дневника и писем») и 1964, № [illegible] («Из дневников и писем»); Литературная газета, 1973, 28 февраля («Различать великое в малом. Из записных книжек»). В настоящем томе представлены наиболее полно — с января 1948 года, когда Казакевич начал делать записи, до сентября последнего года жизни. Иначе говоря дневники охватывают период всей послевоенной литературной деятельности писателя.

Записи не были ежедневными, но делались регулярно, с небольшими, редкими промежутками. Они не предназначались для публикации, не подвергались обработке. Разноплановость и разнохарактерность записей, сделанных даже в один и тот же день, говорит о их «первозданности». Не видно какой-либо особой заботы о композиции или стиле. Это записи для себя. Казакевичу хочется побыстрее зафиксировать впечатления от встреченного, увиденного, прочитанного, запечатлеть заинтересовавший факт, сформулировать внезапно осенившую мысль или выстраданную идею. Дневник стал для писателя своеобразной опорой, позволял сосредоточиться на планах, замыслах, прочертить близкую или более отдаленную перспективу работы, осмыслить сделанное, определить задачу на будущее. Вместе с тем это проза, которую интересно читать. В ней отчетливо выразилась личность автора, его искренность, самокритичность, способность к самоконтролю, его симпатии и антипатии, устремленность его интересов, его эмоциональный мир, склад его ума,— все, что может сблизить читателя с художником.

Круг тем широк. Казакевич много думает о влиянии общественной жизни, характера времени на писательский труд. Его волнуют судьбы тех художников, у которых были непростые отношения со временем. Размышления о власти его над художником и об обязанностях последнего перед ним, о трудностях постижения современной жизни с близкого расстояния человеком, являющимся и сыном и невольником своей эпохи, не были отвлеченными, они для Казакевича актуальны и подсказаны собственной работой, в частности, сложными отношениями с критикой.

Писатель убежден в силе искусства слова, у него есть здесь свои небожители, свое представление о вершинах, о их загадочности. Одна из них — Шекспир. Писатель предлагает

собственную версию разгадки. Аргументов для нее немного, но попытка проникнуть в тайну интересна.

Вместе с тем великие загадки не мешают будничным литературным заботам, которые то и дело заставляют втягиваться в обсуждение дискуссионных проблем: положительного героя, сатиры, типического, бесконфликтности, художественной правды, шире — отношений литературы с действительностью. Казакевич специально не занимается разработкой теоретических проблем, его суждения конкретны, но нередко направлены против теоретического упрощенчества.

Дневниковые записи дают многочисленные подтверждения разносторонности эстетических интересов писателя. Заметки, сделанные во время поездок в Италию, во Францию, в скандинавские страны, отражают не только естественное внимание к политическим, культурным, бытовым особенностям страны, впервые увиденной, но и взгляд на ее прошлое, на сохранившиеся следы ее истории. Историческая ее память ощущается писателем остро, он словно вживается в нее, убеждаясь, как богат и прекрасен европейский мир, и мы — его наследники, «наследники событий живой жизни многих столетий».

Многие страницы дневников — это записи о творчестве, о работе над произведениями. Приоткрыта дверь в писательскую лабораторию, обычно остающуюся недоступной читательскому взору.

Казакевич рано ушел из жизни, оставив нереализованные замыслы, задуманные, но не написанные или лишь частично написанные произведения. Дневники щедро знакомят с ними. Заготовки, наброски, наметки сюжетов, их «конспекты» позволяют догадываться, в каком направлении суждено было писателю развиваться.

Осуществление замысла эпопеи в нескольких книгах («Новое время» — «Новая земля») осознавалось писателем как решение новых для него задач. Возникает имя Л. Н. Толстого. Желание проникнуть в секреты писательского обаяния Льва Николаевича сочетается с наблюдением над тем, как происходит у него создание огромного самостоятельного мира. Аналогичную задачу ставил перед собой и Казакевич. Эпопея была задумана масштабно, должна была вместить разные исторические пласты с конца 20-х до начала 50-х годов, широкий круг лиц разных социальных слоев, исторических и вымышленных. Действие романа предполагалось развернуть на большой территории: в столице, Московской области, Ярославле, на Урале, Дальнем Востоке, часть повествования должна была быть перенесена в послевоенную Германию. Предполагалось отразить события международной жизни.

В дневниках даны и общие очертания грандиозного замысла, и первоначальные наметки к романам. Наконец,

судить о романе позволяют помещенные ■ записных книжках, отделанные набело главы начала первой книги эпопеи.

«Московская повесть» — это тоже прорыв за привычную тему «человек и война». В центре — трагическая судьба большого русского поэта, Марины Ивановны Цветаевой и ее семьи. Записей к повести меньше. Работа над ней была продвинута менее, чем работа над «Новой землей». Но основные очертания прояснены, как и идея, ради которой повесть была задумана.

Совсем немного записей о замысле «Мифов классической древности», однако ■ в этом случае речь должна идти о новых исканиях писателя. «Мифы...» определены как повесть, но повесть эта необычная, она носит характер сказания, легенды, так что и по материалу, и по жанру явно отличается от предыдущих произведений. Главный герой — певец, и Казакевич знакомит читателя с его песнями. Прозаический текст должен был сочетаться ■ ней с поэтическим, для чего пришлось вспомнить опыт собственной довоенной работы над стихом.

Как видно из дневника, у Казакевича было задумано автобиографическое произведение, и он хотел назвать его «Моя жизнь». Интересно, хотя и не во всем бесспорно, писатель размышлял о том, какое принципиальное оправдание может иметь обращение к автобиографическим заметкам, этому, как он считал, «полуфабрикату искусства». Для себя откладывал подобную задачу на будущее — время и силы должны быть отданы сочинениям, которые уже созрели, настойчиво просились на бумагу, мучили его воображение. «Моя жизнь» к ним не относилась, не была первоочередной, могла подождать. Страницы дневников до некоторой степени можно рассматривать как заготовки к будущим автобиографическим заметкам, как их «полуфабрикат». «Капля морская состоит из той же материи и мыслит так же, как и океан». По автобиографии, исповеди можно судить о бурно развивающемся мире вокруг. Правда, «требуется немало воображения, чтоб по этой капле воссоздать огромную толщу океана». Воображения требуют и дневники Казакевича. Но они позволяют воссоздать и образ сложной переходной эпохи, и образ человека, ищущего способ ее осмыслить, сказать о ней правду.

Все тексты даются по автографам, дополненные текстологом слова воспроизводятся ■ квадратных скобках, авторские датировки сохраняются, редакционные даты заключены ■ угловые скобки, в угловые же скобки взяты отточия, обозначающие сокращение текста.

Стр. 216. *...письмо от Л. Брик: сестре ее, Эльзе Триоле, и Арагону понравилась «Звезда», они переведут ее для журнала «Europe».*—Брик Лиля Юрьевна (1891—1978), близкий друг В. Маяковского, в известном завещании поэта («Всем») названа членом его семьи. Триоле Эльза Юрьевна (1896—1970) и ее муж Луи Арагон (1897—1982) — французские писатели и общественные деятели. «Звезда» Казакевича во французском переводе была напечатана ■ «Europe» (Париж) в 1949 г.

...пятую главу «Огаркова».—Речь идет о повести «Двое в степи».

...первые части «Весны ■ Европе».—Первоначальное название романа «Весна на Одере».

Стр. 217. *...колорит<...> свинемюндевский...*—от старого немецкого названия гавани и морского курорта на балтийском побережье бывшей Пруссии.

Шлиссельбуржец Н. Морозов...—Морозов Николай Александрович (1854—1946), революционер, народоволец, находившийся ■ заключении ■ Шлиссельбургской крепости 21 год, известен также как ученый, занимавшийся, ■ частности, историей религии и христианства.

...в литературе XX века Гамсуна, Банга и др.—Гамсун Кнут (1859—1952), норвежский писатель. Банг Герман (1857—1912), датский писатель, театральный деятель и критик.

Стр. 218. *...спиралями Бруно...*—Речь идет об особом виде проволочного заграждения (военный термин).

Стр. 219. *...(чувство Кекушева)...*—Кекушев — персонаж, в процессе работы исключенный из романа «Весна на Одере».

Стр. 220. *«Крик о помощи»...*—замысел повести не осуществлен.

...города, созданного французом...—Создание Одессы в 90-х годах XVIII в. связывают с именем герцога Ришелье, который ■ 1796 г. занял должность градоначальника. При нем Одесса стала большим благоустроенным городом, с 1805 г. — административным и торговым центром всей южной России.

Стр. 221. *...или Гракхов...*—Братья Гракхи, Тиберий (162—133/132 до н. э.) и Гай (153—121 до н. э.), политические деятели Древнего Рима, народные трибуны, провели ряд важных государственных реформ.

...роман не закончен, а пьеса только начата, и две маленьких повести существуют только ■ голове.—Речь идет о романе «Весна на Одере», повестях «Крик о помощи» и «Человек, пришедший издалека» (впоследствии рассказ «При свете дня»). К пьесе «Русские в Германии» был написан ряд сцен.

Стр. 222. *...о влиянии критики «Двоих»...*—Повесть «Двое ■ степи» вызвала разноречивые отзывы, среди которых были и отрицательные, например, статья А. Марьямова ■ «Litера-

турной газете» (1948, 10 июня), Б. Соловьева «Поощрение натурализма» (Новый мир, 1948, № 10), Т. Остапенко «Советский суд в кривом зеркале» (Социалистическая законность, 1948, № 12).

Стр. 224. *Может быть, мой роман будут хвалить...*— Имеется в виду «Весна на Одере».

Стр. 225. *...закончить «Колумба»... закончить «Моцарта»...*—Трагедия в стихах о Колумбе («Адмирал океана») и киносценарий о немецком композиторе В.-А. Моцарте — работы, начатые еще до Великой Отечественной войны.

Думать об эпопее.—Первое упоминание о новом замысле. Последующие записи отражают начало реальной работы над романом «Новая земля».

Делать заметки о колхозной деревне (имея в виду «Письма из колхоза» и др. рассказы).—Свое намерение писатель выполнял. Часть заметок, замыслы рассказов нашли свое место и в дневниках. О рассказе «Два председателя» см. с. 299 наст. тома.

Стр. 227. *...«Мы кузнецы, и дух наш молот».*— Искаженная первая строчка самого популярного стихотворения (1906 г.) пролетарского поэта Шкулева Филиппа Степановича (1868—1930).

Стр. 234. *«Четыре сердца»...*—см. примеч. к рассказу «При свете дня» в наст. томе, с. 462.

Стр. 236. *На вопрос Бориса Васильевича...*—Токарев Б. В. в те годы секретарь райкома партии.

Стр. 237. *...каждая часть романа...*—Речь идет о многотомной эпопее «Новая земля».

Стр. 246. *...один из крупнейших драматургов англ[ийского] Возрождения Грин.*—Грина Роберта (1558—1592) относили к предшественникам В. Шекспира.

Стр. 250. *...да еще в «Р. в Г.»...*—«Русские в Германии» — неоконченная пьеса Казакевича.

Ненавидит он только гебертистов...—Гебертисты — самая левая часть якобинцев во Французской буржуазной революции конца XVIII в.

Стр. 250—251. *...может кончиться только девятым термидора...*—По республиканскому календарю 9 термидора соответствует времени от 19—20 июля до 17—18 августа 1794 г. 27 июля этого года во Франции произошел контрреволюционный переворот, положивший конец якобинской диктатуре.

...прочитать Олара.—Олар Альфонс (1849—1928), французский историк либерального направления, автор исследования «Политическая история французской революции».

Стр. 255. *...как буриданов осел...*—Выражение, ставшее крылатым, приписывается французскому философу-схоласту XIV в. Жану Буридану, который считал примером отсутствия свободы воли осла, находящегося на равном расстоянии

перед двумя одинаковыми охапками сена. Не зная, с какой начать, он должен умереть с голоду.

Стр. 261. *...печатать поэму Твардовского...*—Речь идет о поэме «За далью даль», она вышла в 1954 г. в издательстве «Правда».

Стр. 262. *...написать очерк о Венгрии.*—Отрывки печатались в журнале «Новое время» (1954, № 27), газете «Красная звезда» (1954, 17—19, 23 июля) под названием «Глазами друга». Полностью: «Венгерские встречи. Путевые заметки». Воениздат. М., 1955.

Стр. 265. ... *(читая Костомарова).*—Костомаров Николай Иванович (1817—1885), историк, этнограф, писатель, автор книг по истории народных движений, по русской и украинской истории, трехтомной «Русской истории в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» и др.

Стр. 268. *...«Дон-Кихота» Ибера...*—Ибер Жак (1890—1962), французский композитор.

Стр. 273. *...ни Филипп Орлеанский, предавший свое сословие...*—Филипп Орлеанский (1674—1723), регент Франции (1715—1723) при малолетнем Людовике XV, сначала восстановил права парламента, а затем отменил сделанные ранее уступки ему, учредил советы, в которых преобладала придворная знать, затем их ликвидировал.

Стр. 274. *Кьяпп им всем роздал темно-серые пальто.*— В 30-х годах XVIII в. начальник парижской полиции.

Стр. 275. *...не мы украли Кутепова...*—Кутепов Александр Павлович (1882—1930), деятель российской контрреволюции, генерал-белогвардеец, связанный с Деникиным и Врангелем. После разгрома Врангеля эмигрант. 26 января 1930 г. исчез из Парижа при неясных обстоятельствах.

...Читали в «Правде» Ермилова против вас и Сельвинского?—Имеется в виду реальный факт выступления В. Ермилова в «Правде» 9 марта 1930 г. о «Бане» В. Маяковского и «Пушторге» И. Сельвинского.

Стр. 276—277. *Здесь бедствовала одинокая Марина Цветаева... О ней я еще напишу.*—Исполнением этого намерения должна была стать «Московская повесть», посвященная судьбе семьи Марины Ивановны Цветаевой (1892—1941).

Стр. 279. *...«Западня» или «В погоне за утерянным временем».*—Речь идет о романе Золя Эмиля (1840—1902) и о цикле романов «В поисках утраченного времени» Пруста Марселя (1871—1922).

Стр. 293. *Итак, Магнитогорск.*—Дневник содержит множество магнитогорских записей (здесь они даны в сокращении). Осуществляя свое намерение «жить с народом, среди народа», Казакевич почти полгода прожил в Магнитогорске, на квартире у доменщика Георгия Ивановича Герасимова. Общение с ним, дружба, позднее переписка дали писателю

очень много для понимания эпохи строительства Магнитогорска (чертами этого человека он хотел наделить одного из своих героев). Дневник отражает контакты писателя и с другими старожилами Магнитогорска, чьи судьбы были характерны для 30-х годов. В письме М. Алигер 10 марта 1958 г. Казакевич сообщал: «Я каждый божий день встречаюсь с одним-двумя интересными людьми, а ■ особенно удачный — с тремя. Кроме того, присутствую на партийных активах и рабочих собраниях, и это тоже бывает интересно». Он понимал, что избранная им методика не сулит легкого и короткого пути к правде, но считал счастливой для себя возможностью погрузиться ■ эпоху первой пятилетки, соприкоснуться с ее участниками, увидеть и почувствовать тех, кто ее создал. «Ведь дело не ■ том, чтобы просто рассказать о пятилетке, колхозах, войне,— писал он о предстоящих трудностях.— Задача писателя — показать все это через судьбы людей, через глубины психологии и детали быта, кипенье страстей и столкновение характеров» (В мире книг, 1962, № 4). Мы не знаем, как Казакевич смог бы использовать записи для «магнитогорской» части эпопеи, но даже ■ необработанном виде они имеют самостоятельную ценность, будучи своеобразной историей Магнитостроя ■ фактах и биографиях.

Стр. 296. *...побеседовать с Брутом, Катоном Утическим или Долабеллой...*—Брут Марк Юний (85—42 до н. э.), один из руководителей заговора против Юлия Цезаря. Противником Цезаря был и Катон Младший (95—46 до. н. э.), покончивший самоубийством ■ Утике (отсюда прозвище «Утический»). Публий Корнелий Долабелла (ок. 69—43 до н. э.), римский политический деятель, народный трибун, претор, ■ гражданской войне 49—45 гг. сторонник Юлия Цезаря.

...и Бубнову.—Бубнов Андрей Сергеевич (1884—1940), советский государственный и партийный деятель. С 1924 г.— начальник Политуправления РККА, с 1925—секретарь ЦК, член ВЦИК и ЦИК СССР.

Стр. 311. *Статья о Менерте...*—Была написана только часть статьи-ответа Менерту, эмигранту, литератору, публично горевавшему о своих потерянных ■ России родовых имениях.

Окончить «Михаила Калганова»...—Повесть осталась неоконченной.

Стр. 318. *Повесть. Русская повесть.*—Первое упоминание о «Московской повести», своеобразный конспект человеческой судьбы с ее главными трагическими поворотами. К тому времени Казакевич был уже хорошо знаком с обстоятельствами жизни М. И. Цветаевой, подружился с ее дочерью Ариадной Сергеевной Эфрон, помог ей подготовить первое посмертное издание сочинений М. И. Цветаевой (об этом

пишет А. С. Эфрон — см. сб. «Воспоминания о Э. Казакевиче»).

Волошины.—С Волошиным Максимилианом Александровичем (1877—1932) Цветаева была дружна с 1910 г., а летом 1911 г. подружилась и с его матерью, Еленой Оттобальдовной, когда гостила ■ их доме ■ Коктебеле. «М. Волошину,— писала она,— я обязана первым сознанием себя как поэта и целым рядом блаженных лет (от лето) ■ его прекрасном суровом Коктебеле» (цит. по комментариям А. Саакянц: Цветаева М. Сочинения ■ 2-х томах, т. 2. М., 1980, с. 505). Там же «Живое о живом», воспоминания о Волошине, которые Цветаева начала писать ■ 1932 г., сразу после того, как узнала о смерти поэта.

Вражда Брюсова.—О недобрых взаимоотношениях В. Я. Брюсова и Цветаевой можно судить по статье Брюсова «Вчера, сегодня и завтра русской поэзии» (Печать и революция, 1922, № 7) и записках М. Цветаевой (Воля России, 1925, IX—XI) «Герой труда». Отдавая свои симпатии пролетарской поэзии, Брюсов нелестно отозвался ■ М. Цветаевой и ее поэзии, творчестве, причисляя к тем поэтам, которые не дали «ничего самостоятельного ни в содержании, ни по форме». Но и Цветаева критически относилась к Брюсову, ■ частности, к его положению мэтра ■ поэзии, и стихи Брюсова казались ей холодными, рациональными, слишком академическими.

Стр. 319. *Рейснер пытается удержать...*—Рейснер Лариса Михайловна (1895—1926), русская советская писательница, участница гражданской войны.

Новые вехи.—Имеется ■ виду сменовеховское движение среди эмигрантов (по названию сб. 1921 г. «Смена вех»), допускающее примирение и сотрудничество с Советской властью, ■ расчете на ее перерождение в условиях НЭПа.

Пасионария. Диас. Л. Кабальеро.—Пасионария — псевдоним Ибаррури Долорес (род. ■ 1895 г.), деятеля испанского и международного коммунистического движения, ■ 1942—1960 гг. генеральный секретарь, с 1960 г.— председатель КП Испании. Диас Хосе (1895—1942)—деятель испанского и международного коммунистического движения, генеральный секретарь КП Испании с 1932 г., один из организаторов революционной войны против фашистских мятежников и итало-германских интервентов. Кабальеро Ларго (1869—1946)—деятель испанского рабочего движения, ■ 1932—1935 гг.— председатель социалистической рабочей партии, ■ 1936—1937 гг.—премьер-министр правительства Народного фронта, затем перешел на позиции антикоммунизма, был отстранен от руководства ИСРП. В январе 1939 г. эмигрировал во Францию, в 1943—1945 гг. находился ■ немецком концлагере, освобожден Советской Армией.

Сын. Его ненависть, его ужас, его детская жесто-

кость.—Георгий Эфрон родился в 1925 г. в Чехословакии. В СССР вернулся вместе с матерью. О нем и его взаимоотношениях с матерью см. «Воспоминания» Анастасии Цветаевой (главу — «Последнее о Марине»).

...в истории с «Живаго»...—Рукопись романа Пастернака Бориса Леонидовича (1890—1960) «Доктор Живаго», отвергнутая журналом «Новый мир» по идейным соображениям, была напечатана за рубежом без согласия автора.

Стр. 320. *«До крови кроил наш век-закройщик»* — строка из поэмы Б. Пастернака «Спекторский».

...Николае Ставрогине и полковнике Шабере, в Таис и деле Джорндайс—Джорндайс...—Николай Ставрогин — один из героев романа Ф. Достоевского «Бесы». Полковник Шабер — герой одноименного романа О. Бальзака. Таис — героиня одноименного романа А. Франса. Тяжба Джарндис против Джарндис — главное звено в сюжете романа Ч. Диккенса «Холодный дом».

Стр. 323. *Владимир Соловьев* — Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900), философ-мистик, поэт-символист.

Сергей Аполлонович Скирмунт (1863—1932) — в дореволюционные годы книгоиздатель, владелец издательства «Труд».

Стр. 327. *Тетка Марфа...*—о ней Казакевич планировал написать рассказ во втором полугодии 1960 г., имея в виду случай, описанный в дневнике. Рассказ не был написан.

Стр. 328. *...более властной, чем Мария-Антуанетта и даже Мария-Терезия.*—Мария Антуанетта (1755—1793), французская королева, жена Людовика XVI, организовывала контрреволюционные заговоры против революционной власти. По приговору Революционного трибунала была арестована и казнена. Мария Терезия (1717—1780), императрица, австрийская эрцгерцогиня с 1740 г.

Стр. 329. *11.4.60, Италия.*— На 11—23 апреля 1960 г. падает первая поездка Казакевича в Италию в составе советской делегации на Ассамблею Всеевропейского сообщества писателей вместе с А. Твардовским, А. Сурковым, В. Пановой и др.

Стр. 333. *...«Лоллобриджида!»*—Джина Лоллобриджида (род. в 1927 г.) — популярная актриса итальянского кино.

Стр. 338. *...«Поразительное отсутствие доброты».*—Повидимому, речь идет о «Московской повести», в которой эта тема должна была стать основной.

Стр. 341. *Сегодня Ляличка...*—младшая дочь Казакевича, Лариса.

...чтобы Галя выздоровела.—Галина Осиповна, жена писателя.

Стр. 342. *«Русские в Италии» — повесть в 7 новеллах.*—Не была написана.

Стр. 350. *...кровь Серго и Орахелашвили, Картвелашвили и Лакобы, Ломинадзе <...>, Паоло Яшвили и Тициана Табидзе...*—Серго — партийная кличка Орджоникидзе Григория Константиновича (1886—1937) — советского партийного и государственного деятеля, с 1921 г. члена ЦК ВКП(б), с 1930 г. члена Политбюро ЦК ВКП(б), с 1932 г. наркома тяжелой промышленности. Орахелашвили Иван Дмитриевич (1881—1937) — советский государственный и партийный деятель, член ВКП(б) с 1903 г. Член ЦК ВКП(б) в 1927—1934 гг. С 1932 г. зам. директора ИМЭЛ. Картвелишвили Лаврентий Иосифович (1890—1938) — советский партийный деятель, член партии с 1910 г. Член ЦК ВКП(б) с 1934 г. Лакоба Нестор Аполлонович (1893—1936) — советский государственный и партийный деятель, член ВКП(б) с 1912 г. С 1922 г. председатель СНК, с 1930-го — председатель ЦИК Абхазской АССР, член ЦИК СССР. Ломинадзе Виссарион Виссарионович (1897—1935) — советский партийный деятель, член ВКП(б) с 1917 г., с 1930-го — 1-й секретарь Заккрайкома ВКП(б), член ЦК ВКП(б) с 1930 г. Яшвили Паоло Джибраелович (1895—1937) — грузинский советский поэт. Табидзе Тициан Юстинович (1895—1937) — грузинский советский поэт.

Стр. 355. *Новая земля. Картины советской жизни.*— Начало первой книги романа, не было завершено. Отрывки из романа печатались посмертно: «У «всесоюзного старосты» (Известия, 1963, 24 февраля); «Новая земля». Отрывок из романа» (Литературная газета, 1963, 28 декабря) — публикация подготовлена Е. Пельсон; «Новая земля». Картины советской жизни. Роман. Кн. 1-я. «Столица и деревня», ч. I (Урал, 1967, № 3) — публикация и вступительная статья Н. Эйдиновой.

Стр. 363. *...после шахтинского процесса вредителей...*— Имеется в виду проходивший в Москве в мае — июле 1928 г. судебный процесс над специалистами промышленного Донбасса. Они обвинялись во вредительстве в пользу бывших владельцев донецких шахт.

Стр. 371. *...во время конфликта на КВЖД.*—В 1929 г. китайские милитаристы совершили нападение на китайско-восточную железную дорогу, которая была построена еще в 1897—1903 гг. и по соглашению от 31 мая 1924 г. находилась под совместным управлением СССР и Китая. Части Красной Армии отбили наступление и восстановили границы СССР.

Стр. 380. *...времена Апокалипсиса...* (еванг.) — будущие судьбы мира и человечества в изложении Апокалипсиса, одной из книг Нового завета, древнейшей из дошедших до нас христианских литературных произведений.

...как Иоанн Златоуст на Патмосе...—по канонической версии легенды, видение на Патмосе явилось Иоанну Богослову, любимому ученику Христа, апостолу, евангелисту, сослан-

ному на полупустынный остров за проповедь христианского вероучения. Впрочем, существовала и другая, неканоническая версия, связывающая с Апокалипсисом имя Иоанна Златоуста. Казакевич мог знать ее по книге Н. А. Морозова «Апокалипсис с астрономической точки зрения. Откровение в грозе и буре. История возникновения Апокалипсиса» (М., 1907).

Стр. 392. ...о *временах Диоклетиана и Юлиана Отступника.*—Диоклетиан Гай Аврелий Валерий (243—между 313 и 316), римский император, известный жестокими гонениями против христиан. Юлиан Флавий Клавдий (331—363), римский император, Отступником назван христианским духовенством за то, что объявил себя сторонником языческой религии, восстановил языческие храмы и издал ряд законов против христиан и христианства.

Стр. 441. *Июнь 1909.*—Здесь и далее речь идет о местах, связанных с пребыванием В. И. Ленина в Париже. Частично использовано в очерке «Ленин в Париже».

Стр. 443. *Пьеса «Измена родине».*—Нереализованный замысел.

Л. Гладковская

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ВОШЕДШИХ В СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ЭМ. КАЗАКЕВИЧА

СОДЕРЖАНИЕ

Казакевич Э. Г.

К14 Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 3: Синяя тетрадь: Повесть; Рассказы и очерки; Из дневников и записных книжек /Сост. и подгот. текста Г. Казакевич; Коммент. Л. Гладковской.— М.: Худож. лит., 1988.— 478 с.

ISBN 5—280—00421—9 (Т. 3)
ISBN 5—280—00420—0

В последний том 3-томного Собрания сочинений Эм. Казакевича вошли произведения, написанные автором в последние годы жизни: повесть «Синяя тетрадь», рассказы «При свете дня», «Приезд отца в гости к сыну» и очерки «Старые знакомые», «Ленин в Париже». Значительную часть тома составляют извлечения из дневников и записных книжек Казакевича, которые он вел с 1948 по 1962 г. Они передают широкую историческую и социальную панораму этого периода и приоткрывают творческую лабораторию писателя.

К $\frac{4702010200-234}{028(01)-88}$ подписное

ББК 84Р7

Эммануил Генрихович
КАЗАКЕВИЧ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том третий

Редакторы *Т. Аверьянова, Н. Кузьмина*

Художественные редакторы *Т. Самигулин, Е. Еленко*

Технический редактор *Л. Витушкина*

Корректор *Л. Лобанова*

ИБ № 3033

Сдано в набор 12.10.87. Подписано в печать 22.03.88. А02346. Формат 84×108 1/32. Бумага типограф. № 1. Гарнитура «Эксцельсиор». Печать высокая. Усл. печ. л. 25,2. Усл. кр.-отт. 25,2. Уч.-изд. л. 25,32. Тираж 100 000 экз. Изд. № Ш—2845. Заказ № 1726. Цена 1 р. 70 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» им. А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28.